



Берды Кербабает

Небит-даг

Роман

Часть 1

События одного дня

Глава первая

Мать провожала сына на работу

— Нурджан, сынок, одевайся теплее, — приговаривала мать, — видишь, буря поднялась.

Юноша, беспечный и торопливый, только посмеивался:

— Ветер и пыль не новость для нас.

— Нет, сынок, сегодня день не обычный...

— А какой?

— Страшный день, несчастливый день.

— Мама, мама, любишь ты страху нагонять.

— Не веришь мне, — нараспев приговаривала мать, — поди сам посмотри. У Айтджана крышу сорвало. У Кадыма дощатый чулан перебросило через дорогу. У Алтынджамал унесло чучело, которым приманивают верблюда. Бедная верблюдица осталась без «верблюжонка», бегают теперь, кричит, места себе не находит...

— Ай, как страшно, мама! Ты камня на камне не оставила.

— За тебя сердце болит, а ты смеешься. Сходи посмотри: за углом песок совсем занес улицу.

— У нас в поселке и песка нет, откуда же он взялся?

— Чего только не натворит черная сила! Я своими глазами видела, как у Халлыгюзель люди вылезали из окон — двери засыпало. Я своими руками помогла подняться Кадыму Хаджи, когда его свалил порыв бури.

Так в осеннюю непогоду провожала сына Мамыш Атабаева.

За двойными рамами окон и в самом деле всю ночь бушевала пыльная буря — и шуршала, и

хлопала, и свистела. Пыль даже в комнаты — неизвестно как — пробилась: поскрипывала на зубах. Юноше было и смешно и досадно. Он не без удовольствия слушал мать, которая все больше и больше воодушевлялась собственным рассказом, но знал, что если ее не прервать, то перечисление всех бед, случившихся в округе, затянется до полудня.

— Ох, мама, и выдумываешь же ты...

— Это не выдумки, ягненок мой, а чистая правда! Машину от ворот Култаковых угнало ветром в другой квартал...

Торопливо причесываясь перед зеркальцем, Нурджан поспешил успокоить мать.

— Не горюй, мама. Придет бульдозер — сразу все улицы в порядок приведет.

— Это уж его дело, ?зура-м?зура, а ты свою тонкую рубашку сними, надень парусиновую, сапоги тоже парусиновые, подпояшься, застегнись, шапку возьми с завязками, надень защитные очки...

— Мама! Я же не в море собираюсь, — укоризненно сказал Нурджан.

— Такой ветер и пыль — хуже моря. Этот ветер — признак скорой зимы. После такой бури случается, что и снег выпадает.

— Может, и град выпадет?

— Все тебе шулки. На сапоги, вот брюки!

Вздыхая и ворча, сын подчинился. А когда за ним захлопнулась дверь, мать подошла к окну и долго смотрела вслед.

Год назад муж ее Атабай, известный буровой мастер, отправился со своей бригадой в длительную командировку в глухую сторону пустыни, в барханные пески, где шла разведка нефти. Только раз в месяц, в зачет своих выходных дней, прилетал он на самолете, чтобы получить зарплату да поспорить о делах в конторе, особенно со снабженцами. А дома все три дня отсыпался, спал непробудно. И, захватив хурджин с домашними лепешками, снова мчался на аэродром. Совсем унылой стала теперь жизнь хозяйки дома — пустые, чисто прибранные комнаты, не с кем поговорить. Старший сын Аман давно жил самостоятельно в городе, в тридцати километрах отсюда, заезжал навестить мать раз в неделю, не чаще. И то хорошо при его занятости: ведь он парторг конторы бурения, всем нужный человек. Мамыш тосковала в одиночестве и все заботы свои неумолимо изливала на младшего сына. Нурджан один в семье работал неподалеку на старом промысле, но ведь и он уходил на вахту то спозаранку, то поздно вечером. У молодого свои дела: курсы, девушки, клуб. Проводы его на работу и вечерний ужин вдвоем были теперь в жизни женщины единственными отрадными минутами длинного тягостного дня.

Становилось все темнее, пыльной вьюгой заволокло и небо и улицу, и вскоре мутная мгла совсем поглотила удалявшуюся фигуру. А мать все стояла у окна, и мысли ее уносились в далекие-далекие времена...

...Тогда они жили в ауле Гарагель на острове Челекен. И день был тогда такой же, как сегодня... К вечеру переменилась погода, шквальный ветер подул с моря. Он крепчал с каждой минутой, кибитка ходила ходуном. Муж Атабай был в Небит-Даге, Аман — с рыбаками в море. Одной было трудно натянуть човши, она и не успела, а лишь изнутри подперла столбиком свод кибитки и всей тяжестью своего тела повисла на закопченной веревке, скреплявшей верхние жерди. Помочь было некому — у соседей своих забот по горло. Ветер сотрясал кибитку, трещали жерди, и, растерявшись, она крикнула четырехлетнему Нурджану:

— Сынок, помоги! Иди скорее, тяни за веревку!

Напуганный бурей и треском кибитки, ребенок готов был заплакать, но догадался, что теперь некому вытирать ему слезы; а может, не захотел, чтобы буря унесла их единственную кибитку, может, и дрожащий голос матери подтолкнул его. Мальчик бросился к ней, но он был еще так мал, что не мог дотянуться до веревки и, уцепившись за материнский подол, повис на нем.

Кибитка качалась, зловеще трещали жерди подпорок, ветер, раздувая дверной полог, врывался резкими порывами. Мамыш торопливо бормотала:

— Минуй нас, беда, минуй нас, беда, пронесись мимо, беда!

Все сильнее бросало кибитку из стороны в сторону, будто тростинку на воде. Мать молила:

— О боже, приди нам на помощь!

И сама не слышала своего голоса. Он терялся в шуме шквала.

— Пусть я буду жертвой твоей, покровитель ветров! Чурек пожертвую тебе. Обереги нашу кибитку от беды!

Но мольбам не внял ни бог, ни покровитель ветров. Беда не миновала. Кибитка рухнула. Порыв ветра скомкал войлок и забросил на соседнюю кровлю. Верхний круг со сломанными спицами покатился вдаль и исчез в волнах пыли. Мать и Нурджан упали, а жерди и подпорки сомкнулись над ними и образовали подобие пещеры. Они лежали в ней, исцарапанные, в крови, пока не сбежались соседи...

«Ах, как давно это было, — думала Мамыш, поглаживая ребра радиатора, — кажется, что века прошли, а всего-то лет пятнадцать минуло...»

## Глава вторая

Что видишь с Большого Балхана

К юго-западу от скалистого и обрывистого кряжа Большого Балхана на десятки километров тянется почти до самого Каспия широкая солончаковая равнина. Некогда в древности между Большим и Малым Балханом могучая река Узбой несла к морю свои полные мутные воды. Но реку давно поглотили пески. И теперь здесь отполированная до белого блеска земная гладь. Солончаки. Такыры. Песчаные гряды. Под песчаными грядами — соль.

Ее издавна добывают. Залежи ее в аулах зовутся «Бабаходжа», а среди рабочих, служащих и торговых работников укоренилось название «Джебелсоль», потому что основная переработка соли ведется в Джебеле.

Вплотную к горам прижалась Красноводская железная дорога. Начинается она у морских пристаней и тянется по пескам и солончакам Западной Туркмении далеко на восток, к Ашхабаду, бежит дальше, к Ташкенту. Сверкает под солнцем рельсовый путь. Изредка верблюды, кочуя по скудным пастбищам в поисках полыни и колючки, пересекают железнодорожное полотно. Важно шагают они по шпалам. И тогда машинист тепловоза, ведущий состав по пустыне, в тревоге высовывается из окна...

Ночью ли в поезде подъезжаешь к нефтяному району Небит-Дага, когда он весь в мерцании

огоньков, днем ли, когда близость индустриального города угадываешь по сверкающим бакам нефтехранилищ, по электромачтам и трубам заводов, — в какое бы время суток ты ни приблизился к этому ни на что не похожему, особенному месту на земле, тебя охватит и чувство особое. Невозможно оставаться равнодушным, когда видишь, как среди мертвых песков возникает деятельная, бодрая жизнь.

Городу Небит-Дагу нет еще и тридцати лет. Он весь в садах и бульварах. В его кварталах забываешь, что ты в пустыне. Здесь найдешь все, что должно быть в любом советском городе: горисполком с госторгинспекцией, госстрахом и горпланом, горком партии с его отделами, банки, прокуратуру, милицию, сберкассы, школы, гостиницы, библиотеки, дома культуры... Но есть в этом городе и нечто особенное: геолого-поисковые конторы, конторы озеленения, комплексные геологические экспедиции, энергопоезда, кислородный завод, геофизические партии, конторы водоснабжения, санитарно-эпидемиологические станции. И есть множество учреждений, названия которых говорят о нефти: Нефтестрой, Энергонефть, Техснабнефть, Дизельмонтажнефть, нефтяной техникум, Бурнефть, Нефтепроект, даже газета называется не как-нибудь, а «Вышка».

Собственно, в самом городе и вокруг него нефти нет. По двум асфальтовым дорогам тянутся машины к нефтяным промыслам. Там, возле нефти, рабочие поселки, один из них тоже называется Вышка, второй — Кум-Даг. В треугольнике — город и два поселка — все принадлежит нефтяникам! Когда едешь из Небит-Дага по шоссе, вдали, словно остров, возникший из вод, начинает маячить Нефтяная гора и невольно притягивает взор путника. Впрочем, хоть и зовется она горой, а точнее будет сказать — это просто гряда холмов, то совсем пологих, то покруче. Сложены они из галечника, глины, песка, а на самых вершинах холмов высятся рябовато-серые каменные глыбы, торчат обломки выветрившихся горных пород.

Северные склоны Нефтяной горы — это сплошь вышки, вышки, вышки, густой лес вышек. Рассыпаясь по взгорьям и ложбинам, промыслы уходят в солончаки, и далеко, до самого горизонта видны колющие рога вышек.

Бегут по асфальтовым дорогам грузовые машины, мчатся легковые и мотоциклы, ползут гусеничные тракторы, бульдозеры и автокраны. Оставляя в солончаках следы, напоминающие незатейливый узор на пресных лепешках, движутся без дорог от вышки к вышке могучие тягачи, таща за собой на платформах то громадные чаны, то связки длинных труб... В песчаную бурю всю эту торжественную картину труда, все это средоточие жилых кварталов и нефтяных вышек, мастерских и заводов, градирен и подъездных путей заволакивает косо летящая желтая зыбучая мгла. Но жизнь никогда не замирает: здесь добывают, поднимают на дневную поверхность из-под спуда геологических пластов драгоценную вязкую маслянистую жидкость — нефть. Тысячи и миллионы тонн нефти...

Кончится пыльная буря, прояснеет синее южное небо, и снова отчетливо отграничится мир поселка и промысла от бескрайней вокруг пустыни. Мираж ли тому виной или дождевые воды долго не впитываются в засоленную почву, но в ясные дни под знойным солнцем солончаковые степи сияют, как гладь спокойного моря...

## Глава третья

Дуй, ветер, дуй, беснуйся...

Не догадываясь, что мать смотрит вслед из окна, Нурджан быстро шел по улице поселка. За третьим домом улица взбегала на пригорок и уже асфальтовой дорогой среди песков вела

прямо к промыслу. Тут было совсем недалеко, но идти стало труднее. Буря гуляла на всем просторе между Большим Балханом и Малым. Пески текли густо, будто мутные волны Аму-Дарьи. Между землей и небом летели тучи пыли, нельзя было разглядеть, где асфальт, где бугор, где овраг. Казалось, что прямо на глазах ветер передвигает песчаные холмы, похожие на горбы залегших верблюдов.

«Такого давно не видел! — подумал Нурджан. — Если не знать дороги — заблудишься и погибнешь... Не разобрать, где юг, где север». И правда, солнце сегодня совсем не показывалось. Грузовики еле двигались, освещая путь зажженными фарами. Их свет, издали видный по ночам, желтел теперь, словно затухающие угольки, чуть заметный лишь за несколько шагов от машины.

Медленно шел Нурджан. Ноги утопали в песке, но глубокие ямки следов тут же разравнивал ветер. Ветер упирался в грудь юноши, ветер теребил полы парусиновой тужурки, ветер хлестал по лицу пригоршнями песчинок, ветер качал из стороны в сторону, словно хотел заставить остановиться и лечь.

— Вот проклятый, мстить, что ли, собрался! — вслух сказал Нурджан и не услышал своего голоса в шуме ветра.

Еще вчера стояла теплая погода, и никому не приходило в голову сменить легкую летнюю одежду. Только теперь оценил Нурджан материнскую предусмотрительность.

«Жертвой бы мне стать ради матери! — с улыбкой поклялся он. — Если бы не она, ушел бы в рубашке с короткими рукавами, не подпоясался, не натянул бы сапоги. И кружил бы меня ветер, как перекасти-поле. Надень я не шапку с завязками, а фуражку, ветер давно бы унес ее...»

Так размышляя, он то и дело отфыркивался — пыль забивалась в нос и рот, мешала дышать. Хорошо хоть, что на глазах защитные очки с кожаным ободком, но и их часто приходилось протирать.

Юноша не унывал. С трудом вытягивая ноги из песка, он горделиво озирался и думал: «Пусть беснуется непогода, пусть злится ветер, не остановить ему Небит-Дага!»

И верно, работа на нефтяных промыслах шла обычным порядком. Наперекор непогоде сотни расставленных повсюду станков-качалок, около которых почти не было видно людей, неторопливо наклоняли и вновь разгибали журавлиные шеи, будто рассказывали что-то и подтверждали свои слова важными, степенными кивками. Оглядывая безлюдную территорию эксплуатационного участка, нельзя было догадаться о мощном движении нефти, которое совершалось повсюду как бы само собой, без участия человеческих рук, но Нурджан уже год работал промысловым оператором и хорошо знал, что теплая нефть, с силой вытекая из глубин земли, как всегда, бежит по трубам к широким белым резервуарам. У нефтяников так основательно все обдумано, так слаженна их работа, что не только песчаная буря, Думалось Нурджану, но и никакие силы, ни земные, ни подземные, не могут помешать.

— Что только делается! — сказал Нурджан и остановился, чтоб лучше взглянуть в то необыкновенное зрелище, которое будто померещилось ему в песчаном облаке. Буровая вышка, еще вчера грозно высившаяся среди барханов, сегодня была совсем недалеко от дороги.

«А ведь это монтажники сдвинули вышку со старого места, а теперь приостановили работу. Еще вчера говорили, что тридцать восьмую будут передвигать», — подумал Нурджан и пристальнее взгляделся в песчаную мглу, где упрямо высился в вихрях пыли остроконечный силуэт громадной буровой вышки. Теперь Нурджан хорошо различал вокруг застрявшей вышки тракторы вышкомонтажной бригады. Шесть тракторов, видно, тянули ее на тросах за

собой, пока их не захватила буря, а седьмой позади фиксировал, то есть натягивал стальной канат, чтобы сорокаметровая громадина не потеряла равновесия. И люди были видны. Они перебегали справа и слева от вышки и тракторов, стараясь закрепить тросы покрепче. Только не слышно было, о чем они кричат друг другу, став спиной к ветру и сложив ладони трубками у губ.

Нурджан в свои девятнадцать лет всем завидовал. Он завидовал кум-дагским нефтяникам, которые закачали воду в земные недра и вторично стали гнать нефть из уже отработанных пластов. Летчикам, которые весной летели над барханами, стараясь закрепить их посевом семян саксаула, черкеза и тамариска. Завидовал и родному отцу, который вот уже год ведет буровую разведку где-то в безводной пустыне... И сейчас он позавидовал вышкомонтажникам, застигнутым бурей врасплох на полпути движения вышки от старого места бурения к новому. «Вот это дело!.. И ведь справятся!»

Ветер взметал веера пыли с гребней барханов и закрывал картину — и снова она будто только померещилась Нурджану.

Он пошел своей дорогой.

Объезжая бригаду выщечников, навстречу Нурджану прополз пятитонный тягач с платформой, на которой были сложены буровые трубы. Толстые скаты платформы оставили глубокий след на песке, а свет фар тягача обагрил пыльное облако. «Трубы придут на место раньше вышки, — подумал Нурджан. — Ах, как зловеще она раскачивалась, но ребята ей не дадут упасть...»

— Вот что такое техника! — сказал он. — Техника — не только ум ученого, но и сила воли, сила рук и сноровки рабочего!..

Эта мысль очень понравилась ему, а еще больше понравилось, как складно она им выражена. Довольный собой, он шел, сильно наклонившись вперед, продолжая разговаривать сам с собой, не замечая теперь ни ветра, ни песка.

Вдруг он очнулся и поглядел по сторонам и, не заметив никого вокруг, удивился. «Кому же я это все рассказываю! — подумал он. — Вот дурак! Сам себя убеждаю...» Но он ошибался. Все, что в последний месяц он говорил вслух, что думал про себя, — все было обращено к Ольге Сафроновой, его сменщице, золотоволосой русской девушке. Встречаясь с ней, он бормотал скучные, обыкновенные слова, какие мог сказать всякий. Зато стоило ей скрыться с глаз, и множество светлых мыслей, множество звучных слов, раньше никогда не приходивших в голову, овладевали им. Его распирало это новое богатство, он часами теперь рассуждал сам с собой в тайной надежде, что придет время, и он все сразу выскажет Ольге.

Курносый «газик» упрямо прохлопал брезентом и скрылся в желтом волнующемся тумане.

— Дуй, ветер, дуй, беснуйся... — прошептал Нурджан.

Это было похоже на стихи, только вторая строчка не получалась. Но она должна была появиться. Ведь пришла же откуда-то первая. И Нурджан упрямо повторял:

— Дуй, ветер, дуй, беснуйся...

## Глава четвертая

### Шутливый разговор с начальством

— Товарищ Атабаев, с кем это ты споришь? — Нурджан резко обернулся и увидел Айгюль Човдурову, начальника своего участка. В синем кителе, в синих штанах, заправленных в ботинки, в защитных очках, она показалась ему очень красивой: настоящая женщина нового мира, мира атомной энергии и коммунизма. Зато стоявший рядом с ней парень-великан, подпоясанный зеленым кушаком поверх желтой рубахи, выглядел просто увальнем. Пораженный его мощным сложением, Нурджан даже забыл, о чем его спросила Айгюль, и молча погрузился в созерцание Огромные ноги, словно столбы, широченная, открытая всем ветрам грудь, на каждом плече можно усадить по человеку, шея похожа на ступу... И эту невиданную фигуру увенчивало ничем не примечательное, а главное, совсем юное лицо со лбом, заросшим жесткими черными волосами, с маленькими, глубоко сидящими глазками, плоским, будто придавленным носом. Он стоял в шапке-ушанке, опустив плечи, и буря была ему нипочем, он ее будто и не замечал. Весь его вид говорил, что он только что прибыл из дальнего, заброшенного где-то в песках аула.

Нурджан не торопился с расспросами. Ясно было, что Айгюль водила этого великана с собой не для прогулки.

— С кем ты споришь? — повторила Айгюль, когда они уселись в затишье под асфальтовым котлом, не убранном с дороги после ремонта.

Нурджан улыбнулся.

— Да вот с бурей не ладила...

— Скажите пожалуйста! Значит, и с ветром умеешь разговаривать?

— Убеждать еще не научился, но протест свой заявил: пусть беснуется, я грудью встану против него и выйду победителем. Пусть знает.

— Похвальные намерения.

— Ветер не страшнее газа. Верно я говорю? Подземный газ веками копил силы и приносил страшные беды людям, а теперь служит нам. То же будет и с ветром.

— Молодец! Ты, оказывается, умеешь фантазировать. Ну, а что ты сделаешь с песками?

— Думаю, что их удастся закрепить кустарником. Тогда и барханы превратятся в зеленые холмы. А долго ли еще Аму-Дарье катить свои воды к Аралу? Мы обуздаем ее и повернем вспять. Не подоспеет ли нам на помощь Каракумский канал? Обязательно подоспеет! Не забудем и про искусственные дожди! И тогда мы прикроем густым лесом Балханские горные ворота и будем ездить туда охотиться на фазанов.

Нурджан заметил насмешливую улыбку Човдуровой и спросил:

— Над чем смеешься, Айгюль? Не веришь?

Когда он обижался, то называл начальницу просто по имени. Айгюль снова улыбнулась: совсем как по книге читает мальчик. Но сказала другое:

— Если закроешь источник ветров, откуда возьмешь энергию?

А у Нурджана как раз защекотало в носу от пыли, он чихнул и воскликнул:

— Будь проклят ветер и его источник! Я использую энергию атома. Понятно, товарищ начальник?

В тон ему Човдунова по-военному ответила:



— Понятно, товарищ Атабаев! У вас прекрасные намерения.

Поглядев на своего спутника, Човдурова заметила, что тот совсем растерялся, не успевая следить за шутливым разговором, и обратилась к Нурджану:

— Товарищ оператор, здесь, как говорится, и прогулка и покупка. Поболтали, а теперь потолкуем о новом ученике. У него справка об окончании семи классов сельской школы. Когда познакомишь его с работой, зачислим к тебе в помощники.

Оператор подозрительно посмотрел на Човдурову и спросил.

— А прежнего переведешь на другое место?

— Нет, он ведь на днях уходит в армию.

Недоверчиво глядя на ученика, Нурджан сказал:

— Значит, парень один из тех, кто горит желанием освоить Каракумы, использовать атомную энергию?

Застеснявшись, парень улыбнулся, и его синеватые зубы заблестели, как кукурузные хлопья в котле. Айгюль заметила его смущение и сказала, как бы за него:

— Да, еще и не позабудет поохотиться в лесу у Балханских ворот.

— Ну что ж. Кто не умеет мечтать, тот не сумеет и крылья расправить.

— Бывает, что птица взлетит, а где сесть — не знает!

— Это с глупыми птицами, вроде лысухи, бывает, а беркут никогда не даст вам в руки свое крыло.

— Считаешь себя беркутом?

— До сих пор вор?ной не считался, думаю, и дальше не окажусь.

— Ну, тогда научи своего ученика взлетать и садиться, может, приучишь ловить фазанов над балханским лесом.

Нурджан не нашелся что ответить и решил переменить тему.

— Товарищ начальник, ты привела парня, я беру его. Но ты мой характер знаешь: полное подчинение и никаких пререканий.

Човдурова, с трудом сдерживая улыбку, поглядела на оператора. «Ведь ребенком кажется против этого великана, а какая самоуверенность! Впрочем, без веры в себя работать невозможно...» — подумала она и пояснила ученику слова Нурджана.

— Если сказать по-другому, он хочет, чтобы ты считал его учителем.

— А еще лучше — директором.

Заметив, как опешил ученик, Нурджан смягчился.

— Не подумай, я не требую, чтобы мне угождали. Просто хочется, чтоб ты полюбил работу всем сердцем, как свою подругу...

Нурджан осекся и густо покраснел, испугавшись, что Айгюль, может быть, давно

догадывается о его чувствах к Ольге и сейчас наверняка съязвит. Но Човдурова задумчиво смотрела вдаль, и даже через очки было заметно, что взгляд ее сделался мечтательным и мягким. Нурджан перешел в наступление.

— Верно ли, что бригада твоего отца кончает скважину?

— Ну, допустим. А что? — насторожилась Айгюль.

— Ничего, — Нурджан невинно потупился. — Я подумал: вот бы куда направить нового ученика. Разведочное бурение — это тебе не промысловая служба. Каждый день события, новости, жизнь... А какие учителя! Твой почтенный отец Таган Човдуров и такой бурильщик, как Тойджан Атаджанов.

Айгюль молчала, плотно сжав губы. Нурджан тихо спросил:

— А это правда, что говорят о Тойджане?

— А что говорят?

— Ничего... Будто бы попросил по окончании скважины отправить его в новый район, к моему отцу... Ты очень огорчишься, если Тойджан окажется вдали от тебя?

Ой, как сверкнули глаза Айгюль! Она готова была накричать на оператора, но вовремя сдержалась. Мальчишка сумел попасть в цель, и это надо было скрыть.

Кивнув головой в сторону ученика, как бы показывая, что не хочет слишком резко говорить при нем, Човдурова шутливо заметила:

— Товарищ оператор, не лучше ли заняться собственными делами, чем вмешиваться в чужие?

— Но ведь мы же нефтяники, — продолжал издеваться Нурджан. — У нас же общие интересы! Дела Тойджана — мои дела, а мои дела — дела моего начальника. Огорчен начальник — огорчусь и я. Хотя и не знаю, чему тут огорчаться, если такой смелый, такой энергичный бурильщик, как Тойджан Атаджанов, просится в новый район, в далекую командировку... Пусть далеко, пусть разлука, но ведь надо уметь становиться выше личного...

— Есть такая пословица: «Коль сладок разговор, силы в нем меньше, чем в соломе». Сейчас рабочее время, бери своего ученика и отправляйся на участок, — сухо сказала Айгюль.

Нурджан хотел было заикнуться, что с Тойджаном она иной раз ведет сладкие разговоры и в рабочее время, но Айгюль не дала ему рта раскрыть.

— Ну, до разнарядки! Всего хорошего!

И удалилась, махнув на прощанье рукой.

## Глава пятая

### Первый урок Пилмахмуда

К полудню буря почти утихла, пыль стала понемногу оседать, лишь изредка вздыбленный легким порывом ветра песок вскипал, подобно гребню морской волны, и снова опадал. Мутно

обозначилось солнце в небе, и немного раздвинулся горизонт.

После обеденного перерыва Нурджан подвел ученика к скважине. Качалка работала бесперебойно. Но ученику пришло в голову, что ей трудно двигаться: так обсыпало ее песком. Заметив озабоченность на туповатом лице ученика, Нурджан спросил:

— Что скажешь?

Ученик ответил не сразу.

— Если поглядеть, как она кланяется, — сказал он, помолчав, — можно подумать, что говорит: «Обернись ко мне! Помоги!» Ей трудно, а мы стоим и смотрим...

Оператор, заметив, что один болт на станке ослабел, выключил ток. И тут произошло удивительное: не ожидая приказа, ученик развязал зеленый платок, которым был подпоясан, и стал обтирать качалку и ее механизмы. Станок заблестел на солнце, отливая синевой. Нурджан закрепил болт и включил ток. Теперь ученику казалось, что качалка работает веселее. Он принялся отгребать ногой наметенную около качалки горку песка. Это понравилось Нурджану. «Неплохо начал стажировку... — подумал он. — Сложное существо человек. Как говорится, не хвали и не брани того, кого видишь впервые. С виду тупица, но без слов понимает, что нужно машине».

— Как тебя зовут? — спросил Нурджан.

— Чекер Туваков, — добродушно отозвался великан.

— Не подходит. Тебя бы надо назвать Пилмахмудом. Что-то в тебе есть слоновье.

— Можно и Пилмахмудом, дядя.

— Дядя? — удивленно переспросил Нурджан и поглядел на Чекера.

Понурые плечи, сонные глаза, неуклюжие движения и особенно огромные, плоские, словно крышки котла, ступни — все говорило о том, что он вырос среди песков и привык ложиться и вставать с овцами. Трудно было заподозрить такого парня в подхалимстве, но Нурджану все-таки показалось подозрительным его льстивое обращение. «Может быть, он прилетел сюда за длинным рублем, думает, что нефтяникам деньги сами текут в руки? Может, и качалку бросился обтирать кушаком, чтобы втереться в доверие, показать себя?..» — подумал оператор и спросил:

— Какого года рождения?

— Тридцать восьмого...

— И я того же года.

— Верю, дядя.

— Какой же я тогда тебе дядя? — грозно повысил голос Нурджан.

Но ученик несколько не испугался окрика, а может, и не заметил его и с улыбкой ответил:

— Ты велел, чтобы я считал тебя директором, а у нас в колхозе председателя всегда звали дядей.

Этот простодушный ответ сбил с толку Нурджана. Он подумал, что трудно будет с этим Пилмахмудом, но решил терпеливо нести свой крест: усадил ученика на песок и стал толковать с ним по душам.

— Есть такая пословица: «Учи дитя смолоду». Ты не таращи глаза на меня, я не старого уклада человек. Старые люди понимали эту пословицу в смысле порки, а я имею в виду настоящее воспитание. Ты, конечно, не дитя, но еще новичок в нефтяном деле, для тебя все ново: и станки, и отношения между рабочими. Тут ты, в сущности, недалеко ушел от ребенка. И мой долг познакомить тебя не только с производством, но и с людьми, с их характерами... Ты слушаешь меня? — спросил Нурджан, поймав мутный взгляд ученика, устремленный вдаль.

— Слушаю, дядя, — вздохнул Чекер.

— Тогда пойми, — продолжал оператор, — нефтяник во время работы может быть грязен, одежда засалена, но совесть его чиста как зеркало. У всех нефтяников одна цель, одна душа. «Если ударишь корову по рогам, ей будет больно до самых копыт», говорит пословица. Где страдает один нефтяник, страдают и все остальные. Ты видел Айгюль Човдурову? Красавица. А разве она думает об этом? В первую очередь она нефтяник. Запомни. А разве она одна? Поглядел бы ты на оператора Ольгу Сафронову! Волосы золотые, щеки розовые, походка как у пери в балете — земли не касается. А что она делает? В эту бурю, в песчаный дождь, так же как и мы с тобой, обошла все скважины. В пыли, в масле, никакой работой не брезгует. Когда я вижу ее на участке, кажется, что солнце... — Нурджан остановился, заметив, что ход его рассуждений привел к слишком откровенным признаниям, и быстро, невпопад закончил: — Так что я хочу сказать: никогда не забывай главного — совесть нефтяника должна быть чиста.

Пока оператор говорил, Чекер, не слишком надеясь, что поймет его рассуждения, разглядывал юношу. Мысли Чекера, как всегда, текли неторопливо и бессвязно. Он привык себя считать безобразным уродом, поэтому находил очень красивым запыленное, смуглое, с широким лбом лицо Нурджана. Ему нравились его большие черные глаза, широкие брови взлет, а когда он заметил темную родинку на щеке, то подумал:

«Почему же его не назвали Менгли-джан? [1] Хотя это девичье имя. Да он и похож на девчонку. Только руки у него большие, сильные... Да и разве может девчонка говорить так прямо, резко и хорошо, просто на удивление! А рассказывает он скучно...»

И вдруг неожиданно для себя спросил:

— Дядя, а для чего нужен ток?

Нурджан обрадовался такому повороту беседы.

— Чекер, что бывает, когда в лампе кончается керосин?

Ответ последовал не сразу. Чекер, которому с огромным трудом давалось ученье в аульской школе, привык во всяком вопросе искать подвох. Запинаясь, он спросил:

— Лампа потухнет, дядя?

— Если душа лампы — керосин, то душа качалки — ток. Не будет тока, остановится качалка.

Нурджан притронулся пальцем к блестящей от смазки полированной штанге, которая то погружалась в скважину, то поднималась над ней.

— Вот от этой штанги передается движение насосу, который находится глубоко под землей.

— А колодец глубокий?

— Две тысячи триста метров.

— Разве такие бывают?

— Не удивляйся, есть и в четыре тысячи метров. Если положить на землю трубы из нескольких скважин, они протянутся до твоего колхоза, а может быть, и дальше.

— Для чего же так много труб?

— Вон видишь, громоздятся большие чаны? — Нурджан показал рукой на резервуары — Нефть из скважин течет туда. А оттуда по трубам прямо на завод.

— Завод пожирает столько нефти?

— Заводы нефть не едят и не пьют. Они ее перерабатывают, делают бензин, керосин... Всего не перечислишь. Нефть творит чудеса. Приводит в движение автомашины, перевозит грузы через моря, поднимает их в воздух, освещает города и села, горит в примусах. И колеса смазывает, и станки вращает... А твои резиновые калоши, а баллоны для грузовиков, а краски, мыло или асфальт... В общем, нефть на каждом шагу облегчает жизнь. Недаром государство тратит сотни тысяч рублей на каждую скважину.

— Сотни тысяч?..

— Некоторые скважины разведочного бурения обходятся в миллионы рублей и даже более.

— Когда у нас в колхозе рыли колодец, истратили двадцать пять тысяч, так целый год только об этом и говорили.

— Зато хорошая скважина с лихвой покрывает все, что на нее истрачено. В пустыне, где даже мухи не водились, благодаря нефти за несколько лет выросли такие города, как Небит-Даг, Кум-Даг, Челекен, да и наш поселок Вышка...

Нурджану показалось, что он утомил ученика своей лекцией.

Действительно, Чекер отвернулся, всем своим видом показывая, что не желает больше слушать.

— Ты что? Заболел, что ли? — спросил Нурджан.

Ученик молчал.

— Знаешь, ты совсем не похож на барышню, да и я не кавалер, чтобы за тобой ухаживать и терпеть все твои капризы, — прикрикнул Нурджан. — Отвечай, что с тобой?

Чекер молчал.

— Ты на работе! Понял? — рассердился юноша. — Не хочешь учиться, можешь убираться туда, откуда приехал!

Скулы Чекера дрогнули.

— Я хочу учиться, — медленно сказал он. — Я буду делать все, что скажешь, хоть качалки носить. Я сильный... Но зачем издеваться? Разве колхозник — глина, приставшая к подошве? Как можно прочищать что-нибудь на глубине двух тысяч метров? Это же пуп земли!

Нурджан долго хохотал. Ему понадобилось пообещать ученику, что сам главный инженер подтвердит его слова. А про себя подумал, что ему не удастся справиться с этим Пилмахмудом. Чтобы его отшлифовать, в самом деле нужен опытный мастер, вроде Тагана Човдурова.

Устав от разговоров больше, чем от работы, он распрямил плечи, потянулся, поглядел вокруг.

Ветер совсем затих, стройные вышки виднелись тут и там, машины мчались по шоссе. А сердце Нурджана летело быстрее машин. Качалки неустомимо кивали, подтверждая, что мир прекрасен. И в небе заливался жаворонок.

В песне его Нурджану чудилось: «Мир принадлежит тебе. Жизнь прекрасна, и день прекрасен, и час прекрасен...»

Время было отправляться на разнарядку, где он увидит Ольгу.

## Глава шестая

Пойдешь — не вернешься...

Если не считать упражнений с лопатой и граблями в воскресное утро в своем саду, лучше всего отдыхал душой Андрей Николаевич Сафронов в часы закрытых собеседований, которые до недавнего времени Аннатувак Човдуров каждый день устраивал в своем кабинете. Секретаря в приемной просили считать дверь запертой на ключ, усаживались поудобнее, закуривали и начинали деловой разговор по всему фронту буровых работ — разговор без повестки. Их всегда было трое: начальник конторы Човдуров, главный геолог конторы Сулейманов и главный инженер Сафронов.

Човдуров усаживался в кресло за своим столом. Аннатуваку Тагановичу еще нет сорока — он намного моложе своих сотоварищей по руководству. Позади него на стене — текинский ковер, подарок ЦК профсоюза нефтяников. На ковре висит портрет Ленина в бронзовой раме. Аннатувак любит почетное место и располагается на нем по-председательски непринужденно в своем полурасстегнутом кителе с орденскими ленточками на груди. Даже когда он сидит за столом, чувствует себя, какой он высокий и стройный. А до недавнего времени он к тому же умел внимательно слушать собеседников, смеялся, услышав что-нибудь веселое, и, когда смеялся, красиво откидывая рукой со лба черные как смоль волосы. Таким он бывал в хорошем настроении.

У главного геолога — свое привычное место: кожаное кресло недалеко от сейфа. Маленький, тщательно одетый, почти изысканный в манерах азербайджанец Султан Рустамович проходил в угол и погружался в глубокое кресло, как в ванну, так что оставалась видна лишь голова. Когда он шутил, то поглаживал указательным пальцем седые усики под чуть горбатым носом.

Богатырь Сафронов не любил сидеть на месте. Густогривый, уже сидящий инженер со здоровым, красно-коричневым загаром расхаживал по обе стороны длинного стола заседаний. Высказываясь, он часто стоял у окна, глядя на площадь Свободы, по которой вечно бегут машины, идут пешеходы. Он всех знает — более четверти века проработал в Небит-Даге.

Так, прежде чем начать самостоятельные занятия и разъезды по буровым, руководители конторы легко и дружно, без потери времени, без ненужного утомления вырабатывали свое согласованное мнение по всем текущим вопросам. Аннатувак Човдуров принимал решение только после такого совета. И умный, опытный инженер Андрей Николаевич любил этот порядок руководства, как любил порядок и в своем саду, где он сам по канавкам в свой срок пускал воду, чтобы она растекалась назначенной долей к каждому деревцу, к каждому

кустику, к каждому виноградному корню...

Так было до недавнего времени.

А с год назад чаще стали спорить, не соглашаться друг с другом в часы закрытых собеседований. Появился оттенок недоброжелательства, особенно между Човдуровым и Сулеймановым. Уже не раз Андрей Николаевич с трудом разводил по своим местам товарищей, когда обидчивый нрав молодого начальника конторы вдруг сталкивался с неожиданной строптивостью геолога, более старшего и по возрасту и по стажу. Не раз он своей богатырской грудью полушутливо-полусерьезно заслонял маленького Султана Рустамовича от наскоков Човдунова. И все чаще в приемной секретарь на вопрос какого-нибудь забежавшего техника: «Можно ли пройти к Човдурову?» — отвечал с кислой улыбкой:

— Нельзя, дорогой, идет лирический разговор...

И в самом деле, из-за плотно притворенной двери кабинета глухо доносился знакомый всем бурильщикам трехголосый гомон.

Мир был нарушен всерьез, конфликт разрастался, причин, как всегда, нашлось множество. Сафронов считал, что главная из них — нетерпимость Човдунова. Сулейманов намекал на какие-то интриги некоторых лиц из филиала научно-исследовательского института. Човдунов не искал причин: он с грубой прямоотой раз и навсегда объявил, что считает врагом конторы бурения и, следовательно, своим личным врагом всякого, кто будет настаивать на продолжении неудачной разведки нефти в дальнем районе Сазаклы.

На беду, таким человеком оказался маленький, изящный, но упорный, как саксаул, Султан Рустамович.

Тщетно было бы искать на самой подробной карте Западно-Туркменской пустыни населенный пункт под названием Сазаклы. Между тем уже несколько лет в Сазаклы ездили из Небит-Дага в длительные командировки, самолеты везли из Небит-Дага в Сазаклы почту и газеты, в небит-дагских квартирах спорили, скоро ли разрешат жить в Сазаклы семьям и будет ли там школа.

История поисков нефти в Сазаклы началась не сегодня.

Уже восемь лет назад геофизики установили благоприятную для скопления нефти структуру в труднодоступной местности, в ста километрах от сравнительно обжитых районов Небит-Дага. Геологические партии устремились в пустыню. Затем начали бурить.

Так поработали год, два. И бросили как раз тогда, когда уже почти дошли до предполагаемой залежи нефти. Никто из руководителей Объединения и тем более из министерства не отважился решить, что пришло время делать серьезные капиталовложения в новый район — тянуть дорогу в пустыню, строить в зыбучих песках жилье, механические мастерские, склады, домик передвижной электростанции, наконец, искать в песках источники водоснабжения, потому что без питьевой и технической воды что же там делать?

А через год работы все-таки возобновились.

Дважды побывал Сулейманов за это время со своей документацией в Москве и совершил несчетное множество поездок в Ашхабад. Со всей страстью одержимого человека он сумел обосновать необходимость заложения глубоких скважин. Временный «четырехдюймовый» водопровод кое-как потянули от челекенской магистрали прямо по барханам. Перевозка буровых на тракторах оказалась равносильна подвигу, о котором не пишут в газетах лишь потому, что ни трактористы, ни газетчики еще не догадались, что это подвиг. Никогда

бурильщикам не приходилось так солоно в буквальном смысле слова. Воду везли вслед за людьми в цистернах. Увязая в песках, гусеничные тракторы потащили все тяжелое оборудование буровых. Летом раскаленные барханы были труднопроходимы в дневные часы. Осенью в распутицу раскисали такыры, вспухали солончаки. Водители, измучась, бросали машины и прибредали чуть живые. Геологи и бурильщики ютились в черных кибитках, в палатках или камышитовых лачугах, питались консервами и сухарями, хлеб иногда приходил с оказией из Небит-Дага, но был он черствый, пропахший керосином. Больных отправляли на самолетах...

Ко всему этому надо добавить зной, отсутствие тени и пыльные ветры.

Бурильщики всматривались в даль — над горизонтом появлялась белесая полоса, пыльная поземка — признак надвигающегося урагана. В полчаса она поднималась все выше и выше... Люди надевали защитные очки и брались за лопаты, поспешно расставляли щиты, оберегая оборудование и кибитки от заноса... Эоловые пески созданы тысячелетней работой ветров и послушны одному ветру. Барханы передвигаются медленно, за год на двести-триста метров, не больше. Но в бурю иногда за одни сутки бархан перемещается на десятки метров...

Ветер стихал, и бурильщики, вернувшись на буровую, не узнавали знакомых обжитых мест. Приходилось откапывать насосный блок, растворный узел, будку мастера.

И уже было два страшных случая, когда изнемогших людей — шофера и бурильщика — ветер похоронил в песках. Только через полгода или год бархан выносил из своих толщ похороненного бурей.

У туркмен-бурильщиков район дальней разведки получил мрачное прозвище «Барса-гелмез», что значит «Пойдешь — не вернешься...» И это сказочное название запомнили и русские, и армяне, и азербайджанцы, даже лезгины, приезжавшие сюда из-за Каспия работать на сезон.

Трудно сейчас сказать, когда именно начался между Човдуровым и Сулеймановым конфликт из-за Сазаклы. Во всяком случае, не в первые месяцы работы. Со всей осторожностью начальник конторы поддерживал своего геолога и в Москве и в Ашхабаде. Вдохновение первооткрывателя всегда увлекает за собой, так, видимо, увлек и Сулейманов своего молодого начальника. Човдуров, как он говорил, пробил свою колею в пустыню: не раз на вездеходе с бесшабашным и верным шофером Махтумом он обгонял тракторы и тягачи на той летучей автомобильной тропе среди песков, где каждый обрывок троса в колее — знак шоферских мучений, где каждый брошенный рваный баллон или пустая бутылка служат вехой, где, словно штурман в море, водитель выбирает сам себе колею. И как в ту пору по-детски радовался начальник конторы, когда вдруг из-за громадного бархана возникали перед ним в пустыне две сорокаметровые буровые вышки и поодаль «дикий поселок» бурильщиков!

Аннатувак был щедр — в Сазаклы доставили сборный щитовой домик-столовую и великолепный холодильник «ЗИЛ».

Но однажды Човдурову, Сулейманову и Сафронову пришлось лететь в Сазаклы на самолете по срочному вызову. С этого, может быть, все и началось. Первая скважина внезапно дала газовый фонтан. Летчик сделал посадку вдали от места грозной аварии. Все трое бежали к буровой, увязая по колено в песке и задыхаясь, — там вдалеке голые по пояс люди спасали вышку. Газ бил со страшной силой, и раздавался такой свист, что уже за триста метров от скважины трудно было слышать и понимать друг друга...

Прошло два месяца — новая авария, уже на второй вышке.

За это время щедрый Аннатувак Човдуров построил в Сазаклы баки для воды и солярки,



подбросил бурильщикам душевую. На помощь гусеничным тракторам пришла танкетка с брезентовым верхом.

И снова по срочному вызову летели на самолете. Човдуров был мрачен и зол. Сафронов помнит, как он несколько раз в пути отрывисто и резко бросал Сулейманову: «Плохо... Плохо... Плохо...»

— В пустыне всегда нехорошо, — попробовал возразить Сулейманов.

Но Човдуров оборвал его грубо:

— Когда говорим «плохо» или «хорошо» мы, нефтяники, то мы имеем в виду характер недр, а не то, что вокруг нас на поверхности.

И еще помнит Сафронов, как, подлетая к новому месторождению и уже видя в иллюминатор выбросы грязи из скважины № 2, Аннатувак подвел черту под своими размышлениями, громко сказав:

— Ничего не выйдет, бросать надо... Барса-гелмез!..

На посадочной площадке их встретил один из первых поселенцев барханного поселка Атабай, буровой мастер, не знающий уныния и усталости. Может быть, потому, что смолоду не знал он хорошей жизни в кочевом ауле, но именно Атабай, уже пожилой человек с раздвоенной седенькой бородкой, не теряя юмора даже в трудные часы аварий, внушал своим примером бодрость всему коллективу, затерянному в песках.

Словно услышав слова приговора «барса-гелмез», сказанные Човдутовым еще в полете, он встретил начальников жаркой речью:

— Барса-гелмез, ни черта подобного!.. — говорил он. — Я еще здесь руки вымою нефтью! И город здесь будем строить, школы заведем! Детишек сюда натащим, а они нам целый лес посадят!..

Полгода восстанавливали буровую № 2. Човдурова нельзя было узнать: он ни разу больше не побывал в Сазаклы. Каждую старую лебедку нужно было выпрашивать в конторе. Не было больше ни труб, ни транспорта... Дальняя разведка стала пасынком. Човдуров формально не отменял — он и не мог самовольно отменить — работы. Но он не хотел больше делить деньги и средства между тем, во что верил, и тем, во что потерял веру. Он потерял веру в Сазаклы...

По-своему он был прав: оказалось, что скважины по пути к нефти проходят сквозь высоконапорные газоносные горизонты. Каждую вахту бурильщиков подстерегали неожиданности. Вдруг катастрофически возрастало давление, неведомые пласты грозили выбросом газа и пожаром. А когда надо было срочно подвезти по бездорожью барит, чтобы, подмешав его к глинистому раствору, усилить противодействие сверху, — шоферы возвращались ни с чем: после дождя развезло такыры, по ним не проехать...

— Барса-гелмез!..

Глава седьмая

Разбитая тарелка

Андрей Николаевич с тревогой наблюдал за тем, как нарастает конфликт между Човдуровым и Сулеймановым. Опытный инженер, ведающий всем техническим хозяйством, он соглашался с доводами Аннатувака Тагановича: участок дальней разведки тянул всю контору бурения назад — от успехов к авариям. Жить было бы легче без этой дальней разведки, которую черт, видно, за грехи подсунул им не в добрый час. Но по совести он был целиком на стороне Сулейманова. И он в горячие минуты закрытых собеседований, превращавшихся теперь в открытые перебранки, высказывал этот свой взгляд. Сафронов считал так: три года назад выход в пустыню за нефтью был бы не под силу конторе — не хватало станков, транспорт был «впритирку», не было настоящей механической базы. Сейчас совсем другие времена наступают. Пришли могучие двадцатипятитонные краны, отряды бульдозеров и скреперов, гражданская авиация свободно сдает в аренду самолеты. Улучшилась и технология бурения.

— А мы будем ждать, когда нас туда потащат за шиворот?... — миролюбиво уговаривал Човдурова Андрей Николаевич. — «Барса-гелмез» — это ведь присказка, а сказка вся впереди... Сейчас уже, пожалуй, можно и пойти и вернуться.

Човдуров вскипал от таких слов, и спор разгорался. Аннатувак, видимо, готов был примириться с корректным нейтралитетом Андрея Николаевича, но больше всего боялся, как бы инженер открыто не поддержал геолога.

И все же в это утро, когда песчаная буря налетела на нефтяные промыслы, совсем по-особому, как еще никогда не бывало, ожесточились голоса за дверью кабинета Човдурова. Андрей Николаевич просто не узнавал товарищей — они стали как враги. Никогда Сафронов не слышал, чтобы они с такой яростью бросали друг другу в лицо оскорбления. И не при закрытых дверях — нет, на людях, среди посторонних! Они не уgomонились, даже когда совсем чужой человек, председатель подшефного колхоза, протиснулся в кабинет и слушал их. Это был мрачный день. Какой там лирический разговор!..

А началось с события хоть и серьезного, но не столь уж значительного, не предвещавшего бури.

В семь часов утра, как обычно, Андрей Николаевич связался по радио с участком дальней разведки.

— Алло! Алло! — бубнил он в микротелефонную трубку маленькой рации, которую нефтяники ласково называли «Урожайкой». — Алло! Вы меня слышите?.. «Саксаул», отвечайте! Говорит «Акация», говорит «Акация», я уже в полном цвету, черт вас возьми!..

И вдруг с первых же слов рапорта начальника участка Очеретько выяснилось, что шутки в сторону, ночь была тревожная. На второй скважине у мастера Атабая пластовое давление газа поднялось до 600 атмосфер, а затем произошел выброс. Очеретько был вызван по телефону на буровую. Когда он в ночном мраке добрался до места происшествия, бригада уже сумела закрыть скважину...

— Как сработал превентор? — нетерпеливо спросил Сафронов.

— Опасности никакой нет. Однако бурение прервано...

Через несколько минут Андрей Николаевич выяснил, летная ли погода, и отправил самолет в район разведки. Затем он позвонил на квартиры Човдурову и Сулейманову. Решили встретиться, как только прилетят вызванные Сафроновым Очеретько и Атабай. Третье дело — распорядился об отправке на аварийную буровую запасного превентора на тот случай, если сумасшедший газ, потревоженный в недрах, станет перепиливать стальной замок, на который заперли загулявшую скважину.

К началу служебного дня весть о событии уже просочилась в город и на промыслы. В кабинет звонили из отделов нефтеобъединения, из горкома партии. Кто-то слышал о происшедшем выбросе, даже будто бы о пожаре, спрашивали, нет ли человеческих жертв. Андрей Николаевич отшучивался и обещал, что скоро все разъяснится: люди летят из пустыни, расскажут, что было, прибавят, чего и не было...

Что касается Аннатувака Човдукова, — Сафронов увидел его из окна в ту минуту, когда в порывах ветра «газик» подкатил к подъезду, — Аннатувак был хмур до чрезвычайности. Густые взлохмаченные брови почти закрывали глаза. Гневное движение, каким он захлопнул дверку машины, казалось сродни сегодняшней буре... Зная Човдукова, Андрей Николаевич не придавал значения тому, что увидел в окно. Конечно, неприятное происшествие. Однако вольно ж ему все принимать близко к сердцу...

Но когда Сафронов вошел в кабинет начальника конторы, он понял, что не зря барометр с вечера показывал «великую бурю». Човдуков черной тучей сидел за столом, как будто не замечая Сулейманова. Маленький надменный геолог топорщился у окна, заложив руки за спину. Кровавопролитие еще не началось, но Андрей Николаевич научился предугадывать события.

Аннатувак и Сафронова встретил хмуро, отмолчался на его попытки пошутить насчет паникеров и «длинного уха» — «в городе все знают раньше нас». Човдуков даже зевал под добродушный монолог главного инженера, и на фоне текинского ковра такое демонстративное зевание показалось Сафронову почему-то особенно непристойным.

А когда шумно вошли в кабинет люди из Сазаклы, Човдуков не встал, не вышел им навстречу. И Сулейманов, ошеломленный этой неучтивостью, встрепенул, подошел к мастеру Атабаю, пожал его жилистую руку своею тонкой маленькой рукой.

— Молодец, Атабай-ага! Скважину спасли, спасибо! — проговорил он и быстро отошел в свой привычный угол, погрузился в кресло.

Атабай, живой и подвижный, как будто не было позади бессонной ночи, наполнил кабинет своим немного крикливым голосом. Он отличный мастер и притом неистощим на прибаутки, любит преувеличить любую свою мысль, любое сравнение, иногда привирает, и все любят его за нрав, за веселость.

— Вчера одна авария — сегодня другая, что ты скажешь! — кричал неунывающий Атабай. — Видно, мало, чтобы я умер: надо еще, чтобы ворон расклевал мне глаза...

— Ну что ж, начнем, пожалуй, — прервав излияния старика, вялым голосом сказал Човдуков и, помолчав, угрожающе добавил: — Не вызвать ли Тихомирова, а заодно и стенографистку...

И по тому, как остро сверкнули глаза Сулейманова, Андрей Николаевич окончательно уразумел, что вызов Тихомирова и стенографистки означает бой, свирепый бой... Човдуков, видимо, решил использовать маленький повод для больших выводов: хочет — сначала у себя в конторе, а потом и выше, в Объединении, в совнархозе — начать подготовку к новой консервации дальней разведки.

Тихомиров не заставил себя ждать, наверно, он заранее был предупрежден Човдуковым. Он явился через несколько минут, изнемогая от тяжести портфеля.

— Ведь я же говорил! Предупреждал!..

Протирая очки и в то же время жестикулируя короткими ручками, он обращался к одному лишь Сулейманову. А тот недвижно таился в кресле, не достаивая своего вечного оппонента

даже движением брови. Перед ним снова маячила персона, на злостные интриги которой и жаловался Султан Рустамович в задушевных беседах с Андреем Николаевичем. И сейчас этот податливый ученый, горе-консультант из филиала, снова вызван, как на пожар, чтобы своими научными аргументами подкрепить шаткие позиции начальника конторы. Снова сияет его безмятежно-розовая лысина, от которой, как от люстры, светлее становится в сумерках хмурого дня, снова как будто сразу во всех углах комнаты мелькают его короткие ручки...

Андрей Николаевич, как и Сулейманов, давно знал Тихомирова, но, встречаясь с ним, не переставал удивляться. «Дураки так же разнообразны, как и умные люди», — и сейчас подумал Сафронов, глядя на потную лысину ученого геолога, на его съезжавшие с носа очки: Тихомиров носил их всю жизнь и никак не мог к ним приспособиться... И в самом деле, Тихомиров был недалекий человек, принадлежавший к редкой породе бескорыстных формалистов. Достигнув научных степеней и званий усердным компилированием чужих трудов, он твердо и искренне уверовал в незыблемость кабинетной теории. Весь свой незаурядный темперамент — качество, редкое в бездарном человеке и многих вводившее в заблуждение, — он тратил на борьбу с любым живым делом. Это был незаменимый человек в тех случаях, когда надо научно обосновать необходимость бездействия.

Он появился на горизонте конторы бурения в те дни, когда аварии в Сазаклы охладили интерес Човдунова к дальней разведке. Неизвестно каким образом, но Тихомиров тотчас узнал об этом. Настал его час! Это был на редкость осведомленный человек по части чужих мнений, привязанностей, предубеждений.

К Човдунову он пришел с пресловутой теорией «разбитой тарелки». Что ж, посылки у него были неоспоримые. Толщи земной коры здесь, на восток от Каспия, действительно много раз передвигались, взрывались, вздыхали, ворочались, как бы в тяжелом сне. Вздыхались горные хребты, а у их подножия с гор наносились обломочные породы. Каспийское море то проникало в глубь Каракумов, то уходило на запад дальше своих нынешних берегов. Блуждала Аму-Дарья — то устремлялась к Каспию, то на север, в сторону Арала и Сарыкамыш, а равнины превращались в песчаные пустыни. Что ж удивительного, справедливо утверждал Тихомиров, что бесконечные сбросы пластов, разрывы пород, прогибы исказили и обезобразили тектоническую структуру этих мест...

— Разбитая на мелкие куски тарелка!.. — кричал Тихомиров, убеждая Човдунова в его собственной правоте. — Поверьте мне, недра вашего Сазаклы — разбитая вдребезги тарелка! А этот сумасброд хочет есть из нее харчо!..

## Глава восьмая

### Конь бежит вокруг столба

Когда парторг конторы бурения Аман Агабаев вернулся с промыслов в город и вошел в кабинет Аннатувака, он застал сражение в полном разгаре; от выкуренных папирос было дымно, как на поле боя. Никто не заметил его появления. Никто не замечал, видимо, и председателя подшефного колхоза, хорошо знакомого Аману толстяка Ягшима, с окладистой бородой, в бараньей папахе, а тот благодушно развалился в кресле среди спорщиков.

Желая вникнуть в смысл происходящего, Аман тихонько уселся на стуле у окна, в стороне от спорщиков, и закурил, ловко управляясь единственной рукой. Издали кивнул он головой своему отцу — мастеру Атабаю, который сидел сейчас, несколько пригорюнившись. Аман уже слышал на промыслах об аварии и не был рад, что свиделся с отцом при таких обстоятельствах. Он догадывался, что судьба нового месторождения решается сейчас не

там, в далеких песках Сазаклы, а здесь. Аннатувак Човдуров и Аман Атабаев были в войну однополчане, и с тех пор друзья знали, что такое верность и уважение. Там, в боях, Аман Атабаев потерял глаз и руку. Там, в боях, Аннатувак был трижды ранен. Теперь они уже три года работали вместе. Аман не имел специальной подготовки, чтобы руководить коммунистами-бурильщиками, он был педагог по образованию. Много раз он убеждался, что его друг Човдуров был не только хорошим боевым офицером в войну, но и умелым и знающим начальником конторы бурения в мирные годы. И он поддерживал его почти всегда, охранял его авторитет в коллективе, вдвойне оберегал, когда вспыльчивый молодой начальник сгоряча обижал людей, пусть хоть и за дело, но не рассчитывая слов. И сейчас Аман слышал: ожесточенные слова скрипели на зубах Аннатувака, точно песок. А может быть, это и был песок на зубах? Буря была за окнами, буря бушевала и в кабинете. Парторг знал наперед, что сейчас скажет о «разбитой тарелке» Тихомиров, какие доводы приведет Сулейманов и даже как будет себя вести отец. Но, проверяя заново собственные позиции в затянувшемся конфликте, Аман не спешил подать голос — ведь он не специалист.

— Опять старые песни... — тихо сказал ему в шуме голосов Аннатувак, как бы прося поддержки. Его густые брови были насуплены, ноздри дрожали и губы тоже подрагивали.

Парторг промолчал, только кивнул.

Сейчас как раз речь держал Тихомиров.

— Даже если и была там когда-то нефть, она тысячи раз перемещалась в пластах!.. — кричал он и тянулся к тектонической карте, висевшей на стене. — Водоносные и нефтяные пласты пересекаются неоднократно! С одной стороны пласты загнуты вверх, с другой — опущены вниз...

Раскрыв наугад книгу, вынутую из портфеля, самодовольным тоном он стал читать длинный абзац. Все удивленно переглянулись: цитата не имела никакого отношения к теме спора.

— Пощадите нас, Евгений Евсеевич, — сказал, скучно улыбаясь, Сулейманов. — Зачем же нам слушать элементарный курс нефтяной геологии! И так страшно у вас получается: прямо-таки топнешь ногой — газ идет. Вот беда!

— Султан Рустамович, меня не перебивали, даже когда я защищал диссертацию! Надеюсь, что теперь хотя бы мои седины защитят меня... — и, наклонившись, Евгений Евсеевич показал всем свою розовую лысину.

Ни в какой мере не наделенный одержимостью настоящего ученого, Тихомиров с легкостью усвоил все внешние формы поведения, которые принято приписывать людям, погруженным в науку: был рассеян, чудаковат, резок, а порой и язвительно остроумен. Готовясь к решающей схватке с Сулеймановым, он немало ночей просидел над книгами, перелистал комплекты журнала «Нефтяное хозяйство» не менее чем за десятилетие, а этой ночью сам удивился количеству выписанных им цитат. Разделив свои записи на две части, он половину разорвал и выбросил в корзину, но тут же обнаружил, что уничтожил как раз те карточки, которые могли ему пригодиться, и тогда в сердцах разорвал и остальные заметки. Никто из присутствовавших не знал этих ночных мук Евгения Евсеевича. Но сейчас все видели его дневные муки, когда в поисках нужной цитаты он инстинктивно рылся в туго набитом портфеле и не находил...

Аннатувак Човдуров был недоволен сегодня Тихомировым. Аман заметил его сумрачный взгляд, брошенный на теоретика и как бы говоривший: «Не кичился бы ты своею ученостью...» Но вслух начальник конторы только заметил сквозь зубы:

— Нет необходимости тратить время на лекцию. Если возражаете — выкладывайте свои доводы.

«Недоволен: плохой союзник...» — печально отметил про себя Аман и вспомнил, какую кличку дали Тихомирову его собственные дети в многолюдной и шумной семье: «Вчерашний день».

Между тем «Вчерашний день» продолжал свой монолог у тектонической карты — сулил тысячу чертей каждому, кто посмеет сунуть свой нос в эти сумасшедшие недра.

В такт его словам шаркал подошвами по большому иомудскому ковру председатель колхоза. Он поглядывал себе под ноги, ему, видимо, нравилось наблюдать за тем, как выпрямляется примятый ворс и ковер снова становится гладким. «Я как верблюд на песке, — думал Ягшим, — тут, верно, и ходить зыбко. Такие ковры ткут специально для кабинетов. Постели его у нас дома, и пришлось бы каждый день выколачивать пыль...» Он нестеснительно разглядывал стоявшую на столе модель буровой вышки под стеклянным колпаком и потолок, украшенный позолоченным орнаментом, назвал про себя сейф железным ящиком и нашел неуместным его пребывание в таком богатом кабинете, полюбовался и белым чехлом на диване: «Чисто, как в больнице...»

Парторг, решив несколько разрядить враждебную атмосферу спора, а заодно и сократить лекцию Тихомирова, нашел для этого шутливую форму:

— Послушали бы, что наш подшефный товарищ Ягшим скажет по существу вопроса. Он тут битый час слушает...

Ягшим поднял голову, широкое лицо его заулыбалось.

— Я могу рассказать древнюю сказку... — заговорил он, сунув под мышку свою папаху с красным верхом. — Может быть, ученые люди знают ее — тогда простят. Некогда марыйский правитель Велнами выслушал жалобу одного человека и сказал ему: «Ты прав!» Тогда пришел тот, на кого была жалоба, Велнами выслушал его объяснения и тоже сказал ему: «Ты прав!» Вечером жена в постели спросила правителя: «Как же ты судишь? Разве могут быть оба правыми в споре?..» И ей тоже сказал Велнами: «И ты права, мать Шамурада!»

Видно, парторг достиг своей цели: все посмеялись, улыбнулся даже Аннатувак. Но зато теперь осмелел Ягшим, смекнувший, что наступил удобный час для его собственного дела.

— Если мы спорим на правлении колхоза из-за какого-нибудь ягненка или верблюжонка, — начал он непринужденно, — как же вам не спорить из-за ваших колодцев, которые стоят — любой! — дороже всего нашего стада. Большие деньги — большие споры. Мы спорим целый вечер, вам спорить целый месяц...

— Мы целый год спорим! — смеясь воскликнул Аман Атабаев.

— Вы наши шефы, и мы всегда благодарны вам, — продолжал председатель колхоза, ободренный первым успехом. — Из года в год вы приезжаете к нам в аул, проводите агитацию. Вы и женщин наших научили единогласно говорить при народе. Теперь и мы к вам могли бы прислать агитаторов, если у вас своего шума мало. Наша Кейкил-эдже только слово скажет — верблюды врассыпную бегут...

Все смеялись, радуясь минуте отдыха, но Човдуров постучал карандашом по столу и попросил гостя держаться ближе к делу.

— Может быть, я не к месту сказал насчет агитаторов, — поправился Ягшим, — но только не думайте, что я преувеличил: Кейкил-эдже кого хочешь припугнет. Но не буду долго отвлекать вас домашними неприятностями, скажу прямо, зачем приехал. Весь колхоз единогласно просит помочь нам построить электростанцию. Покажите свою силу не только под землей, но и на земле. Агитируете вы, конечно, хорошо, но говорят в народе: «Из одних слов не

сделаешь плов...»

На этот раз засмеялся и молодой Човдуров и даже откинул рукой прядь со лба.

— Что ж, — сказал он, — предложение правильное! Электростанция — лучший агитатор. И мы ее построим.

— Ай, спасибо! Другого и не ждал от вас... Но вот я слышал, партия советует нам: надо концентрацию средств производить. Что, если добавить к электростанции и артезианский колодец?

Аман Атабаев с удовольствием хлопнул себя единственной рукой по коленке. Все смеялись, дивясь напористости председателя колхоза. Недаром, видно, у него все — и речь на собрании, и тост за столом, и даже письмо — начинается со слова «единогласно».

— Все будет, дорогой человек, — встав за столом, говорил Човдуров, пытаюсь унять общее оживление. — Только придется повременить: не сразу все делается. Начнем весной.

— Не сразу, говоришь? — толстый Ягшим почесал затылок и надел папаху. — А почему не сразу?

— Много срочных дел, сам видишь...

— Ну, не беда! Обещанного три года ждут, подождем и мы до весны... Тогда есть еще один вопрос. Колхозники единогласно приглашают вас, нефтяников, на праздник, — Ягшим хитро улыбнулся. — Не весной, а прямо сейчас, осенью! Дорогие товарищи, приезжайте к нам на той! Всем сердцем единогласно встретим вас!

— Это вот наш парторг Аман Атабаев примет к сведению. Спасибо, — сказал Човдуров, пожимая руку гостю из аула.

Кончив свое дело, Ягшим, казалось, готов был покинуть кабинет, но вдруг, словно суслик, потерявший нору, потоптался на месте и сел на диван. Видно, природное любопытство взяло верх.

А когда веселье, вызванное его внезапным вторжением в спор, утихло, парторг показал рукой на окно:

— Буря-то бьет отбой!

Все обернулись.

Был как раз час, когда шквальный ветер сразу стих, вдруг посветлело в маревом облаке пыли, обложившем город, и площадь за окнами преобразилась как бы в предчувствии солнца.

— Султан Рустамович, хотите высказаться? — помолчав, спросил Човдуров.

— Я не любитель произносить речи на похоронах... — лениво ответил Сулейманов и все-таки поднялся. — Мы тут хороним сейчас миллионы тонн нефти. А Евгению Евсеевичу не впервой выступать в роли факельщика...

— Стенографируем? — засуетился Тихомиров. — Товарищи, я прошу оградить меня от сулеймановской дубинки!

Маленький изящный Сулейманов стоял, заложив кончики пальцев в карманы, и так мало походил на человека, размахивающего дубинкой, что Аман Атабаев улыбнулся.

— Я старался не прерывать вас, Евгений Евсеевич, — невозмутимо сказал Сулейманов. — Напрасно вы воспринимаете все, что здесь происходит, только как теоретический спор с вами... Никто не спорит с вашей «разбитой тарелкой». Бурить трудно, нас ожидают аварии. Но бурить нужно, и мы будем бурить! Нам пора идти в пустыню за нефтью — в этом вся перспектива на будущее, на десять лет вперед! Партия зовет нас предельно расширять фронт нефтяных промыслов. Пусть там, в песках, трудно, пусть там, в недрах, «разбитая тарелка» — разведчики должны идти туда, где нефть! Там ее много, и мы пойдем туда... — Сулейманов помолчал, как бы кончив свой разговор с Тихомировым, и теперь всем корпусом резко повернулся в сторону Човдунова. — Есть и другая позиция, близорукая, деляческая: зачем идти на это сомнительное дело, еще не освоены полностью старые нефтяные пласты в давно обжитых районах. Еще и тут рядом, на Вышке, в Кум-Даге, можно бурить с успехом, и даже, если говорить о показателях будущего года, то можно больше набурить, чем где-то в чертовом пекле, в песках... Ну, а если придется туда идти, так по крайней мере с января будущего года, удачно выполнив на легких скважинах программу этого года... Год-то идет к концу? О трудностях, как о подлинной причине консервации дальней разведки, открыто не скажешь. О хитростях, связанных с выполнением программы по валу, по метражу проходки, тоже говорить вслух не принято: неудобно! Тогда привлекается на помощь услужливая наука! — и с этими словами Султан Рустамович необыкновенно изящно протянул маленькую руку в сторону Тихомирова. — Такая наука неоценима, потому что доказывает, что бурить в песках вообще не надо: там, дескать, нефть не та... Зелен виноград!

— Демагогия... — коротко бросил Човдунов.

— Тот, кто занимает такую позицию, — словно не слыша реплики, продолжал Сулейманов, — разумеется, считает себя человеком, думающим по-государственному, а других считает...

— Авантюристами, — решительно подсказал Човдунов.

— Это он считает государственную копейку, — показывая пальцем на Аннатувака Тагановича, продолжал геолог, — это он умеет считать деньги, это он не хочет бросать на ветер миллионы и растрачивать напрасно силы людей и средства...

Човдунов слушал речь Сулейманова, уже стоя от нетерпения. Сейчас этот стройный человек в полувоенном кителе и галифе казался гораздо старше своих тридцати восьми лет — так искажает гнев черты еще молодого лица.

— Я выслушал вас, — жестко и властно остановил он движением руки Сулейманова. — Что вы предлагаете?

— А вы что предлагаете?

— Я предлагаю просить Объединение и совнархоз республики разрешить временно прекратить бурение в Сазаклы... — убежденно произнес Човдунов. — Одна вышка едва не сгорела, вторая фонтанирует водой, сегодня ночью стала играть третья. И это все у опытных мастеров, таких, как уважаемый Атабай! Я предлагаю свернуть работы, прекратить рисковать жизнью людей — мы вдалеке от них, нас разделяет бездорожье, нам трудно им помогать в критическую минуту. А прежде чем бросать в это дело капиталовложения, прежде чем осваивать новый район — строить шоссейные дороги, водопровод, автотракторные стоянки, мастерские, медпункты, бани, магазины, нам надо оконтурить месторождение, сказать «да»... Слышите? Сказать «да»...

— И тогда вы будете делать капиталовложения? — с внезапной пылкостью воскликнул молчавший до сих пор Сафронов. — Но ведь это же и есть заколдованный круг! В том-то и дело, что наше бурение в Сазаклы — это вроде символики, не больше! Вы умный человек, Аннатувак Таганович, и знаете, что там надо искать нефть, но там искать приходится за счет выполнения общей программы... И вот для символики у нас там бурит мастер Атабай. Я-то



инженер, я хорошо понимаю, что эти одинокие скважины вдали от материально-технической базы обречены на прозябание, от них не скоро получим результаты...

Начальник участка Очеретько, бритоголовый, мешковатый с виду дядька с отвислыми запорожскими усами, поддержал Сафронова.

— Мысль Андрея Николаевича высказывается за эти сутки второй раз, — сказал он. — Сегодня ночью в бригаде Атабая мне то же самое говорили. Бурильщики ведь не хуже нас с вами понимают, какие там трудности и опасности, но видят государственный смысл и не бегут оттуда, рвутся в дело... Им лично невыгодно там работать — в Кум-Даге и легче, и семья близко, и больше заработаешь, премии идут за метраж... Но они рассуждают так: если идти — так широким фронтом! На вышке Атабая авария — другая идет к нефти, у тех затор — Атабай работает. Кто-то живой, как говорится, дойдет!..

«Хорошие слова, горячие слова, от сердца говорит... — так думал парторг Атабаев, слушая Очеретько. — А все-таки прав, наверно, Аннатувак!» — и он вспоминал дни отступления под Лозовой: как трудно было тогда отдавать приказ об отходе, легче — в бой очертя голову... А надо отступать и надо принимать на себя самую тяжелую ответственность — покидать города и села, покидать во имя конечной победы.

— ...что вы его слушаете! — доносился до ушей Амана резкий голос друга. — Что он понимает! Он в бурении как сазан плавает!..

«Зачем он так! — с досадой думал парторг. — Не умеет с людьми разговаривать, своей правоты доказать не умеет...»

— Слушайте, наши волосы не солнце побелило, — тихо, но жарко заговорил Сулейманов, и Аман понял: вот когда он перешел в настоящее наступление. — Мы, коммунисты, знаем, как одолевать стихию. Грифоны и пожары страшны, но кому страшны? Тому, кто им помогает плохой работой... И бездорожье — помеха для слабых. У нас есть тракторы С-80, есть и буксирные тележки «Восток» — бросим их в пески... Арендуем самолеты... Ищите, упрямо ищите способы преодоления стихии. Страна дала нам совершенную технику, наука идет на помощь: институты, академия! А люди, какие сильные люди вокруг! Ищите!

Тут встрепенулся и Атабай и поддержал геолога пословицей:

— Верно говоришь! Когда усердно поплачешь, даже в слепых глазах покажутся слезы!

— Пусть там работает Атабай, — сквозь зубы процедил Човдуров. — Чего вы еще от меня хотите?..

— Новую скважину закладывать! — торжествующе крикнул Сулейманов. — Новые станки посылать!

— Что вы, как... привязанный конь, бегаеете вокруг столба! — с ненавистью сказал Човдуров геологу.

Их взгляды скрестились, они, казалось, обожгли друг друга горячим дыханием. Човдуров уперся руками в край стола, чтобы сдержать дрожь, и прикусил губу, чтобы не скрипели зубы. Наконец сказалось умение Сулейманова не терять голову. Он отошел от стола и проговорил:

— Людей не слышите, дорогой Човдуров.

— Людей? — переспросил Аннатувак. — Найдите людей, чтобы ехали в Сазаклы! Говорят так: «Отца, мать, семью надо зарезать и тогда ехать на каторгу. Вот какое это место...»

— Ваш родной отец поедет, — спокойно проговорил Сулейманов. — Хотите, сейчас вызовем

— спросим?

— Нет, не надо, — махнул рукой Аннатувак Човдуров.

— Вы людей не найдете — мы найдем!

С этими словами геолог неторопливо направился к двери и распахнул ее. Словно ожидая этой минуты, даже с некоторой, конечно неосознанной, театральностью, в кабинет вошел рослый мужчина в шапке-ушанке, нахлобученной по самые брови, в рабочей спецовке и кирзовых сапогах. Его суровое лицо здесь было всем хорошо знакомо — редкие, но глубокие морщины, грубо очерченный рот, хрящеватый нос, острые кончики седых усов... Даже тот, кто не знал этого человека, с первого взгляда догадался бы, что это отец молодого Човдунова, уважаемый в Небит-Даге буровой мастер Таган.

— Отец, зачем ты пришел сюда? — спросил Аннатувак и свирепо проводил взглядом Сулейманова, который, призвав мастера, молча направился к своему креслу.

Таган Човдуров в эту минуту пожимал руку своему другу мастеру Атабаю. Немного удивившись вопросу, он ответил шуткой:

— Испытать счастье...

— Что это значит?..

Чем больше металла слышалось в раздраженном голосе сына, тем неторопливее отвечал отец.

— Если готовите поход за нефтью в пустыню, я одобряю, — с улыбкой протянул ему через стол свою широкую ладонь.

— Жить надоело? — едко спросил Аннатувак.

— А я не верю, что говорят «барса-гелмез», — весело, даже легкомысленно ответил мастер.

— Я знаю, что пойдем и вернемся — с победой, с нефтью...

— Жить надоело, — повторил, как бы подтверждая свою мысль, молодой Човдуров.

Как ни горько было слушать такие грубые слова от сына, мастер постарался ответить хладнокровно, с шутливой торжественностью:

— Нет, парень, жить не надоело. Я хочу поработать в пустыне на пользу родине и, как учил академик Павлов, укрепить там свое старое тело, продлить себе жизнь.

Аннатувак не сводил тяжелого, неподвижного взгляда с отца. Если бы не посторонние люди, какие бы слова сказал он этому старику, предавшему сына ради сомнительных почестей и тщеславия. С той минуты, как отец показался на пороге кабинета, Аннатувак Човдуров знал, что это Сулейманов заранее подготовил, и поэтому все, что говорил сейчас Аннатувак отцу, предназначалось геологу, все ядовитые стрелы летели в его сердце.

— Начальник конторы — я, а не товарищ Сулейманов, — тихо произнес Аннатувак. — Ты забыл об этом, Човдуров! Такое дело, если бы оно и состоялось, я не мог бы доверить тебе. Тут требуется человек теоретически грамотный, надежный...

— Ай, парень, что это значит... — с трудом проговорил Таган, и кончики его усов задрожали, — до сих пор, кажется двадцать пять лет, я считался одним из надежных людей в Небит-Даге. В чем провинился?

— Тебе дурь в голову лезет. Шагаешь как слепой, не зная пути...

Поняв, что от сына не дожидаться ничего, кроме оскорблений, мастер повернулся ко всем, кто слушал их скандальный разговор:

— Товарищи начальники, как же это так получается?

И тут парторг Аман Атабаев, терпеливо молчавший все время, не выдержал, переполнилась чаша его терпения.

— Таган-ага, — сказал он, — мой друг и ваш сын своей нетерпимостью ставит крест не на вашем авторитете, а на своем собственном. Может быть, он и прав в своих предложениях — это другой вопрос, я его не касаюсь. Жизнь покажет, кто тут прав. Но с вами он разговаривает не по-туркменски. Нехорошо! Все находящиеся тут, в том числе и я, не только буровую вышку в Сазаклы, но и жизнь свою готовы вам доверить.

И он пожал руку мастеру.

Ласковое слово парторга взволновало старика еще больше, чем оскорбительная выходка сына. Таган Човдуров дрожал от гнева, но, стесняясь людей, старался себя сдерживать, давал себе время успокоиться. Все же голос его изменился.

— Ай, парень, как же это так?.. — повторял он. — Чужие люди доверяют, а ты сомневаешься в своем отце? Так ли я воспитывал тебя? Как же это получается?..

Все видели, как менялось смуглое лицо Аннатувака. Буря за окнами затихла, а здесь разгоралась все сильнее. Темным румянцем гнева залилось лицо Аннатувака, краска достигла самых ушей. Вдруг он поднял голову и щелкнул пальцем о стол.

— Бросьте демагогию! — крикнул он, снова обернувшись к Сулейманову. — Кому нужна ваша нефть с глубины четырех тысяч метров и за сто километров бездорожья! Сколько будет стоить государству тонна такой нефти!..

— Согласен!.. — не дал ему говорить Сулейманов и даже подскочил в кресле. — Тут экономисты будут считать. Согласен! Но вы-то, еще не считая, тянете туда, где легче, вот в чем корень!

— А вы хотите повторить историю с Боядагом! — раздался пронзительный возглас Тихомирова. — Ухлопаете без пользы десятки миллионов, тогда заодно и за старые затеи с вас спросят! Что тогда скажете?..

— Скажу, что «беда между глазом и бровью сидит», — со злой усмешкой возразил геолог. — Для сомнений всегда найдется тысяча аргументов, придет на помощь и логика... Однако двигает жизнь не сомнение, а воля. Нам пора расширять фронт нефтедобычи, и мы пойдем в Сазаклы, еще и дальше в пустыню пойдем. В самую глубину Каракумов! Каркайте больше: «Трудности! Трудности!» Что же, сложить руки? Умыть руки? Бояться?

— Кто здесь боится? — угрожающе спросил Човдуров.

— Вы боитесь!

Впоследствии Аман Атабаев справедливо заметил Сулейманову, что этих слов не надо было говорить. И не только потому, что Аннатувак — человек честный и мужественный. Начальник конторы вскочил и, точно лезвием бритвы, резанул ребром ладони вдоль шеи, где с левой стороны — все это знали — бугрился у него кривой рубец от раны.

— Кто трус?.. Я трус? Что, эта дырка у меня от ослиного копыта? Что, я ради красивых глаз

получил свои ленточки? Кто дошел до Берлина? Кто на стене рейхстага на месте фашистской свастики написал: «Аннатувак Човдуров, сын Каракумов»?..

Бледный, с искаженным лицом, ни на кого больше не глядя, Аннатувак прошагал по комнате, кулаком растворил дверь, вышел в приемную и захлопнул дверь за собой.

Все молчали.

— Ай, парень, как же это так... — проговорил совсем расстроенный Таган.

А председатель колхоза Ягшим, пристально смотревший на Човдурова, пока он шел мимо, подумал: «Ай, какой злой человек! Как бы вода в колодце, который он выроет, не оказалась горькой...»

## Глава девятая

Ольга

— Что же ты задумалась — делай ход!

— Я не знаю, проводить ли эту шашку в «дамки»... Видишь, это так просто! Ты можешь обидеться.

— Если я проиграю одну из трех, не обижусь...

— А подряд две партии?

— Ну ходи же, Ольга!

Она провела в «дамки» свою шашку и тотчас отметила с улыбкой:

— В техникуме ты играл лучше.

— А ты была красивее в техникуме!

Она засмеялась. Его угрюмый вид ясно говорил, что это неправда, что в глазах Нурджана она никогда не была так хороша, как сейчас, в красном уголке, где они играли в шашки на подоконнике в ожидании начала разнарядки.

— Теперь я играю в шахматы, — хмуро сказал Нурджан. — Меня научил мой старший брат Аман. Это куда интереснее.

— А меня научишь?

— Это не для женщин. Ну, делай же ход!

В открытое окно была видна в облаках пыли промысловая земля. Тонкие побеги молоденького лоха заглядывали в окно и иногда цеплялись за золотистые волосы Ольги. В комнате слышались веселые голоса, смех, стук бильярдных шаров. Вдоль наружной стены за окном, усевшись поудобнее, курили в ожидании разнарядки мастера и операторы, дым от их папирос скользил в окно. Ольга отмахивалась от него защитными очками, с которыми сегодня не расставалась. С привычной добросовестностью она углубилась в игру, а Нурджан, совсем забыв о шашках, любовался пшеничными косами, венцом уложенными на маленькой головке.

Нет, она и вполтину не была так хороша в техникуме! На мгновение ему представились все четыре корпуса общежитий и дворик с выставленной для лекций фонтанной арматурой, похожей на памятник во славу науки, и распахнутые решетчатые ворота, открытые на улицу, — там, у ворот, он когда-то впервые заговорил с этой русской девушкой.

— Ты помнишь Людмилу? — вдруг спросил он. — Говорят, она учится в Баку, в нефтяном институте...

— Давно не была в техникуме, — откликнулась Ольга. — Давай как-нибудь на этой неделе забежим, проведем Тиграна Аршаковича.

Нурджан улыбнулся.

— Хочешь кишмишу? — он вытащил из кармана комбинезона полную горсть изюма и сунул ей в свободную левую руку. Ему нравилось, как она, точно ребенок, ест из ладошки.

Вдруг она рассмеялась.

— А помнишь укроп? Ох, какой ты был смешной!

Это было воспоминание о том дне, когда, забежав к вечеру на рынок, Нурджан не нашел для Ольги цветов, ни инжиру, ни даже яблок и купил ей пучок укропу. «Зачем мне это?..» — залилась звонким смехом и зарделась Ольга, распушив на ладони зеленые пахучие стебельки. «А что же мне было купить, если нет ничего?..» — угрюмо вопрошал Нурджан. «Купил бы сухую воблу! Я очень люблю!» И она хохотала над его смущением сердечно и беззаботно.

У них было уже много воспоминаний, но никогда не было так хорошо Нурджану, как сегодня. Вот час, о котором пел жаворонок там, на «сто семнадцатой»...

— Делай же ход, Ольга! — нетерпеливо поторапливал Нурджан, а сам проигрывал партию за партией — не мог сосредоточиться. Когда, сделав ход, она подымала спокойные темно-синие глаза, ожидая одобрения, ему чудилось в них совсем другое выражение: высокомерное и ждущее. Он не догадывался похвалить ее игру, и девушка обиженно отворачивалась.

— В такую бурю, — говорила она, глядя в окно на промысел, — наши места мне почему-то кажутся похожими на далекий Техас или Оклахому... Пыль какая! Джебел совсем скрылся из глаз.

— А что такое Джебел, по-твоему? Ведь не знаешь, — насмешничал юноша.

— Ну, Джебел, как же не знать, так гора называется.

— Чудачка, «джебел» — это всякая гора по-арабски! Гибралтар — это ведь арабское слово. Джебелтар...

Удивив девушку ученостью, он несколько смягчился и сделал плохой ход. А Ольга задумчиво глядела вдаль, за тонкий ажурный переплет ветвей молоденьких акаций и лохов, окружавших контору участка, за частокол из бракованных труб. Там, на промысловой земле, совсем близко от конторы, точно молот над наковальней, поднимался и опускался балансир качалки, приводя в действие скрытый в скважине насос.

— Ну, делай ход, Ольга. Опять задумалась!

За ее плечом стоял бильярдный стол. Два мастера, вооружившись киями, гоняли шары. И ревнивый Нурджан старался понять, на кого оглядывается Ольга. Один, с лошадиным лицом и длинными зубами, вдруг подошел и угостил Ольгу «гусиными лапками» — очень твердыми

конфетами. Другой, совсем молодой, в кепке назад козырьком, все время хохотал. Конечно, они не могут оставаться равнодушными к такой девушке, выкрикивают какие-то ухарские непонятные фразы, красуются со своими киями. Нурджан разозлился и, не подумав, двинул шашку.

Теперь Ольга в свою очередь засмотрелась на него. Он был в промасленной спецовке, загорелый, с нежной родинкой на щеке, похожий иногда на девушку, — только руки большие, рабочие. Он все-таки превосходный парень — уже получил пятый разряд, никто не видел его пьяным, даже не курит. Ну, если б не был еще такой обидчивый, ревнивый и мнительный...

— Ну ходи же, — сказала она.

Он поднял печальные глаза, заметил:

— Я давно пошел... Ты что, спишь, девочка?

Она погрузилась в размышление над доской. Глядя на ее персиково-розовую щеку, на покатые круглые плечи — круглые даже под синей рабочей курткой, он горделиво подумал: «Породистого коня и под холщовой попоной узнаешь».

— Ну вот, пожалуйста, — сказала Ольга, подвинув шашку.

Нурджан с трудом заставил себя посмотреть на доску. Оттого ли, что его мысли все время отвлекались от игры, или потому, что он хотел проиграть нарочно, но его черных шашек оставалось мало, а белые, Ольгины, дружно наступали по всей доске.

— Ольга Николаевна, ты, кажется, снова обыгрываешь меня?

Наедине он всегда называл ее по имени, а при людях уважительно прибавлял отчество.

— Если дальше будешь так играть — партия моя! — засмеялась Ольга, и брови ее взлетели вверх, как крылья.

«Что партия! Я сам давно уж твой...» — вздохнул Нурджан, но ответил довольно грубо:

— Раз в жизни можно и проиграть! Раньше-то не проигрывал...

— Мало ли что было раньше! Раньше мы с тобой стипендии получали — триста девяносто рублей. Помнишь нашу седенькую кассиршу? — Она рассмеялась и этому неожиданному воспоминанию. — Все, все идет вперед, и я иду вперед...

Ольга потряхивала головой, отгоняя золотистый завиток, падающий на глаза.

— А я? — вырвалось у Нурджана.

— А ты... А у тебя сегодня какая-то... томная пелена на глазах, — быстро сказала Ольга и смутилась.

С Нурджаном она встречалась часто, особенно теперь, когда стали работать на одном промысле и на одном участке. Верно, товарищи в техникуме рассказывали Ольге — он парень серьезный и развитой. Знает много удивительных вещей: например, что говорил в прошлом столетии Менделеев о Челекене, как применяется озокерит в промышленности, может вслепую собрать и разобрать автоматический шланговый ключ. Он и музыку любит, достает долгоиграющие пластинки Шопена, Чайковского. И, кажется, только по застенчивости не решился вступить в духовой оркестр Дома культуры.

Приятно, что из всех девушек он предпочитает ее. Нетрудно было догадаться, что Нурджан

по-мальчишески увлечен, но сегодня во время игры она почувствовала, что ошибки быть не может, что он захвачен настоящим большим чувством. Это и смущало, и радовало девушку. Ольга еще никого не любила, и, хотя была хороша собой, как-то так получилось, что и за ней никто не ухаживал по-настоящему. Сказав про «томную пелену», она почувствовала неловкость, будто прикоснулась к тайне, будто сама вымогает признание. «Это мне все кажется, — успокаивала она себя, — он же ничего не сказал, даже не намекнул...» Но холодные рассуждения не помогали. Ольга твердо знала, что не ошиблась. «Почему так вздрагивает родинка на его щеке? Она всегда вздрагивает, когда он взволнован или смущен... А когда я успела это заметить?» И Ольга ловила себя на том, что давно присматривалась к Нурджану, и смущалась все сильнее.

— Твой ход, Ольга, — сказал оператор. Увидев, что Ольга в рассеянности берет черную пешку, он коснулся ее руки. Их взгляды встретились. Мгновение он держал ее руку в своей и почувствовал ласковое ответное пожатие...

В дверях появилась Айгюль Човдурова, и Нурджан испугался. Кто-кто, а уж она-то обязательно догадается, что сейчас произошло. Догадается и посмеется в отместку за утренний разговор. Он стал складывать игральную доску с шашками и постарался сделать непроницаемое лицо.

Смех и шум в красном уголке затихли, игроки оставили кии и шашки, те, кто не должен был присутствовать на разнарядке, покинули помещение, и в комнате воцарилась тишина. Ольга и Нурджан хотя и были простыми операторами, но сегодня заменяли мастеров, которые ушли в отпуск.

Айгюль Човдурова молча оглядела собравшихся, и Нурджан, почему-то почувствовав себя виноватым, подумал: «Как пристально посмотрела на меня... Зря я остался на подоконнике рядом с Ольгой. Надо было пересесть, но я ни за что не пересяду. Пусть думают что угодно...»

Меж тем Айгюль, попросив закрыть окна и уgomониться, начала разнарядку.

Молодая девушка, недавно получившая диплом инженера, она быстро завоевала авторитет и уважение. Рабочие ее любили, прислушивались к ее советам. Голос у Айгюль был тоненький и гибкий.

Около часу ночи один из операторов участка принял вахту, начал обход и тотчас заметил на дальней насосной скважине непорядок. Подошел ближе — все стало ясно: оборвались канатные подвески. Беда была замечена вовремя, и скважина бездействовала недолго. Айгюль Човдурова поставила всем в пример умелую и добросовестную работу оператора. Нурджан искоса поглядел на Ольгу, он уже приревновал ее к этому расхваленному юноше. Но Ольга даже не повернула головы. Он вздохнул и прислушался к словам Айгюль. Теперь она говорила о пустяках, имеющих, однако, значение: о бесконечной — по каплям — утечке нефти, о потерях нефти. С этим надо бороться!

— Считайте капли! — крикнула она.

И мастера и операторы заулыбались этому призыву.

Ведь нефть добываем сотнями тонн — не слишком ли мелочный вопрос?

Но Айгюль настойчиво требовала, чтобы не было течи в сальниках на скважине, в вентилях на выкидных линиях, в краниках на замерных установках. И самые опытные и умные люди постепенно начинали догадываться, что молодой специалист озабочен не пустяками: в этих каплях потерь отражается все — низкая культура производства, неряшество, разгильдяйство... Выходит, права Айгюль.

— Кончается третий квартал, — продолжала окрепшим голосом Човдурова. — Чем меньше остается дней в сентябре, тем больше повышается наша ответственность за программу. Товарищи мастера, ремонтники, операторы, прошу быть внимательнее во время вахт!

Порадовавшись, что Айгюль не собирается его преследовать своей язвительностью, Нурджан осмелел и поднял руку. Но она продолжала:

— Я знаю, ты хочешь сказать, что дело не только в выполнении плана, но и в том, чтобы выполнить обязательства — дать эшелон нефти сверх плана. Мы не забываем и об этом. Я не могу сказать, что недовольна кем-нибудь. Все работают, не жалея себя, стараясь не допустить потерь. Мне только хочется обратить внимание некоторых молодых работников, что не следует в рабочее время заниматься болтовней...

Заметив, что Айгюль посмотрела на него, Нурджан возмутился. «Что это за намек? Я еще ничего не сказал Ольге, ни разу не гулял с ней под руку... И кто дал право Айгюль вмешиваться в мою личную жизнь?» Ему уже казалось, что все мастера смотрят на него. Как говорится, узел вора слаб, и Нурджан, не выдержав, спросил:

— Товарищ начальник, можно узнать, кого ты имеешь в виду?

— Можешь не сомневаться, — ответила Айгюль, — что я не постеснялась бы назвать имена, если б это было нужно. Сейчас я просто хотела напомнить нашей молодежи, что личные дела не должны мешать работе. После работы, пожалуйста, гуляйте, веселитесь, шутите, влюбляйтесь...

Ответ Айгюль понравился оператору. Все-таки она настоящий человек, не сухарь. Сама еще довольно молодая... С высоты своих девятнадцати лет Нурджан считал двадцатитрехлетнюю Айгюль женщиной не первой молодости.

Човдурова, сверяясь со списком, начала опрашивать мастеров по очереди о всех скважинах, какие из них нуждаются в ремонте. Ей отвечали кратко и точно. Когда дошло до хозяйства Ольги, Нурджан размялся, слушая ее голос, и не заметил, что Айгюль уже перешла к его скважинам. Не называя его по фамилии, Човдурова еще раз повторила:

— Сто семнадцатая?

На этот раз Нурджан, хотя и не расслышал как следует номер, все же догадался, что обращаются к нему, и быстро откликнулся:

— Пробка!

— Что такое? — удивленно переспросила Айгюль.

— Пробка, — повторил Нурджан. — Надо очистить скважину.

— На сто семнадцатой пробка?

— Нет, товарищ начальник... — растерянно сказал Нурджан.

— А на какой?

— Я хотел сказать — на сто двенадцатой.

Човдурова покачала головой.

— Что за странная рассеянность, Атабаев? Может, нужен насос?

— Нет, товарищ начальник, насос работает исправно, только вот пробка...



— Ох, кажется, насос все-таки нужен... Чтобы прочистить твои уши... Теперь тебе понятно, кого я имела в виду, говоря о нашей молодежи?

— Понятно, товарищ начальник, — понурясь, как школьник, ответил Нурджан.

Айгюль была довольна Нурджаном, но, в назидание остальным, придралась к случаю.

— Скважины мы очистим, а уши постарайся продуть себе сам. А то, если возьмутся ремонтники, будет больно. И еще товарищеский совет: если ветер мешает — затыкай уши ватой. Ну, а если что-нибудь посерьезнее, давай посоветуемся, бывают такие случаи, что одному и не разобраться.

Ольга чувствовала себя не лучше Нурджана. Намек Айгюль, конечно, относился и к ней. Она пробовала рассердиться на юношу за то, что сам напросился на этот неловкий разговор, и не могла. Чем же он виноват, если любит?

Мрачный и обиженный уходил Нурджан с разнарядки. Из открытого окна красного уголка неслись «Подмосковные вечера», но веселее от хорошей песни не становилось. Он чувствовал себя жалким, попавшим впросак мальчишкой. Теперь все — и, конечно, Ольга громче всех — будут смеяться над ним. А самое обидное, что некого винить, сам дал повод этой язве Човдуровой для острот.

Асфальтовая дорога серым ковром расстилалась перед юношей, но Нурджан шел медленно и трудно, тяжелее, чем утром по песку.

— Эй, Нурджан, шаг бодрее! Поторапливайся! — раздался чей-то приветливый голос. — Отец прилетел из Сазаклы!.. Разве не слышал?..

Соседский мальчишка звонко выкрикнул приятную новость и замахал руками, точно мельница крыльями.

Нурджан прибавил шаг. Он любил дни, когда возвращался домой веселый, неугомонный отец.

## Глава десятая

Кто, собственно, воспарил!

Андрей Николаевич заглянул в кабинет Сулейманова в шестом часу, рабочий день был на исходе.

Маленький человек стоял у открытого сейфа и что-то капал из пузырька на кусочек сахара.

— Пошаливает, — сказал он, сунув сахар в рот, захлопнул дверку сейфа, устало опустился в кресло.

Только сейчас, войдя в комнату, Сафронов разглядел измученное бледное лицо Султана Рустамовича. Видно, нелегко ему даются боевые схватки вроде сегодняшней.

— Э, вижу, вы все еще бегаєте вокруг столба? — жизнерадостно заметил Андрей Николаевич.

— Я не могу! — слабым голосом воскликнул геолог. — Он меня считает авантюристом. Ну что, похож я на искателя приключений?

Богатырь Сафронов смеялся. Комизм ситуации, по его мнению, и состоял в крайнем несходстве изящного маленького человека, настоящего рафинированного интеллигента, каких редко встретишь в промышленности, с той ролью, какую ему приписывал неистовый Аннатувак.

— Пора обедать! Бросьте вы это томление духа! Идемте к нам, Валентина Сергеевна будет рада.

Сулейманов жил в Небит-Даге по-холостяцки. Семья — в Баку, там жена, старики, сын учится в нефтяном институте. После работы одинокий человек отправлялся в ресторан «Восток», подолгу сидел за столиком, спокойно дожидаясь своей порции шурпы, харчо или пока шеф-повар на досуге приготовит ему предмет своей гордости «французское блюдо — битки по-гречески». Из ресторана Султан Рустамович шел в городскую читальню или заглядывал на огонек в многолюдный шумный дом Андрея Николаевича.

Но сегодня геологу ничего не хотелось, сердце стеснило, и боль не отпускала ни на минуту.

— Этот жалкий человечиска неуязвим... — безнадежно махнул рукой Сулейманов.

Андрей Николаевич без труда понял — это он о Тихомирове.

— Он неуязвим, — повторил Сулейманов. — Ему доставляет наслаждение его искусство качаться на волнах, как поплавок, — геолог в первый раз улыбнулся в свои седые усики: что-то вспомнил забавное. — Вы знаете, Андрей Николаевич, он мне под Новый год, изрядно наклюкавшись, исповедовался: «Я, говорит, не крючок, но тоже необходим при ловле щук и карасей — я поплавок! Я качаюсь на воде даже при самом легком дуновении... А когда клюет — вокруг меня круги...»

— А вы хотите с ним бороться! — смеясь сказал Сафронов. — Он-то неуязвим, непотопляем, а ваша борьба с его перестраховочными концепциями именно вас и ставит под риск ударов!

— Я это знаю, — вяло отозвался Сулейманов.

Сделав вид, что не замечает уныния Сулейманова, Андрей Николаевич подошел к столу и развернул каротажную диаграмму.

— Помните, сколько бед принесла нам буровая «737», сколько раз мы ее вытаскивали из аварий? Вот снова, трех метров не дошли до проектной глубины — сломалось долото и осталось в забое!

— Знаю, Андрей Николаевич. Был там вчера, все видел.

— Нелегко будет источить до конца крепкую сталь... А если подорвать динамитом — скважина выйдет из строя. — Сафронов помолчал. — Что, если приостановить проходку и долото залить цементом? Как вы думаете, Султан Рустамович?

— Верное решение. Я тоже толковал об этом с геологами из Объединения.

— Тогда я дам указание.

Сафронов стал скатывать диаграмму, собираясь уйти. Но, видно, Сулейманов не хотел остаться один, мысли его все время возвращались к недавнему спору, и все там не нравилось — и наигранное воодушевление перестраховщика, и некрасивая ссора между отцом и сыном; было неловко перед стариком, которого он же вызвал на совещание.

— У вас срочные дела? — спросил он инженера.

— Нет, со срочными уже разделался.

— Тогда посидите...

— Только позвоню от вас.

Сафронов связался по телефону с начальником участка, сообщил о принятом решении и приказал приступить к работе, затем, вытянув могучие ноги, удобно расположился в кресле напротив Сулейманова. «Эк тебя раскачало!» — мысленно сказал он, оглядывая маленького геолога — его широкий, переходящий в лысину лоб, усталые умные глаза, окруженные сеткой морщинок, седые усики под чуть горбатым носом. Это знакомое ему лицо всегда дышало спокойствием и выдержкой, но сейчас Сулейманов устал от борьбы и, видно, не хотел или даже не мог скрывать этой усталости: совсем ссутулился.

— Сложный вопрос... — рассеянно заметил геолог.

— Семьсот тридцать седьмая?

— Нет... Сазаклы.

— Нелегкое дело.

— Думаю, пока мы всерьез освоим месторождение, пройдет еще год.

— Да? — удивился Сафронов.

— А вы считаете, меньше?

— Нет, я считаю, пройдет два года.

Сулейманов усмехнулся.

— Ну, это вы слишком! Да и я, наверно, ошибаюсь. С января все пойдет веселее... «Итак, завертим кару сель, как нам сказал Жан-Жак Руссель...»

«Жан-Жак Руссель?.. Жан-Жак Руссо! Тогда завертим колесо!...» — с удовольствием подхватил Андрей Николаевич.

Эта давно знакомая им шутка немного расшевелила Сулейманова. Теперь он заговорил без нотки безнадежности, тонкая усмешка привычно оттопырила щетинку усов.

— Что же, будем бороться! Знаете, Андрей Николаевич, беда этого молодого и энергичного деятеля состоит в том, что контора бурения только бурит, ее продукция — метр скважины, годовая программа — столько-то метров проходки. Разве я неправду говорю? Значит, к концу года дать как можно больше метров, программа выполнена, и все чувствуют себя честными людьми, награды и премии, текинский ковер на стену... А нефти нет.

— Вы упрощаете, — возразил Андрей Николаевич.

— Если ошибаюсь, тогда, как женщина, прикрою платком рот — в знак молчания! Нет, Андрей Николаевич, я еще не все сказал. За всеми этими фиоритурами — простая, как этот мой палец, правда: какой начальник буровых работ к концу года не хочет перевыполнить план? Он должен, если он не ребенок, обеспечивать легкие скважины за счет трудных... Все средства, все оборудование — туда. А там сочтемся! В это время года один буровой мастер зашибает деньгу на удобном участке где-нибудь в Кум-Даге, а другой, к примеру мастер Атабай, терпит беду со своими бурильщиками в Сазаклы... Что, это я все выдумал? Я убежден, что и своего отца Човдуров придерживает по той же причине... Тот честный

работяга, а сын командует им неприлично и даже, пожалуй, не замечает этого...

— Вы упрощаете, Султан Рустамович, — настойчиво возразил Сафронов. — Чтобы понять такого человека, как наш Аннатувак, надо проследить за его ростом, взять в соображение, где, на каких промыслах, в каких технических условиях формировался этот характер. Ведь все его успехи, его стремительное движение — а он еще молодой! — связаны со старыми промыслами. Десятилетиями мы сидели на «пяточке» — на Вышке и в Кум-Даге, потому что не могли, не имели сил пойти в пустыню... Надо понять, во что не верит Аннатувак. Вы думаете, что он не верит в вашу геологию и зовет себе на помощь Тихомирова? Это ему самому только кажется! А не верит он в свои возможности, в свои силы! Тут-то и ошибается. Вчера было невозможно — сегодня только трудно. Вчера было дело просто несбыточное: вести водопровод в пустыню, идти с тяжелым бурением в движущиеся зыбучие пески... Искали — и бросили... А сегодня можно. Можно — значит нужно...

В кабинете смеркалось. Сидели, не замечая этого, не зажигая лампы. Сулейманов молчал, но как-то деятельно молчал: в полутьме Сафронов слышал его дыхание, геолог внимательно слушал. Видно, ему было важно найти свое собственное точное отношение к начальнику конторы, с которым еще предстояла трудная борьба.

— Я знаю Човдурова с детства, — продолжал Сафронов. — Никогда не скажу, что он равнодушен к существу дела, заботится только о программе, о цифре, о лице конторы. Он не меньше нас с вами болеет за будущее туркменской нефтяной индустрии, мучается, если что не ладится. Беда его характера в другом: в незыблемой вере в собственную непогрешимость. Самое страшное, когда он принимает поспешное решение. Тогда конец! С места не сдвинешь. Вот почему — я это давно заметил — опасно не то, что он еще в голове держит, а то, что он уже высказал. И сегодняшний ход его мыслей страшен не сам по себе, а потому, что мы с вами будем биться, как я сказал, года два и ничего не добьемся до тех пор, пока...

— До каких пор? — живо переспросил Сулейманов.

— До тех, пока он со своим упрямством не свернет себе шею и его не снимут с работы, — не колеблясь, закончил Сафронов.

— Вы думаете, это ему поможет?

— Наверняка.

— Сомневаюсь! Вам когда-нибудь приходилось иметь дело с упрямым быком? Нет? А я пахал на таком быке в ранней молодости и сумел так поладить с ним, что он слушался и трудился не за страх, а за совесть. Но однажды мой отец не сдержался, ударил его, и погубил навеки. Что потом ни делали: и подлаживались и колотили, бык только выкатывал глаза и лежал как дохлый, будто и не чувствовал ударов. Когда я смотрю на Аннатувака, я часто вспоминаю этого быка...

Сафронов развел руками.

— Значит, по-вашему, не противиться злу?..

Позвонил телефон, и разговор надолго прервался. Сулейманов, засветив лампу на столе, диктовал сводку, рылся в папках. Лениво оглядывая давно знакомый кабинет, Сафронов залюбовался игрой света на стеклах книжного шкафа. В этом шкафу — вся документация на сотни пройденных скважин. Она накапливалась годами и росла на его глазах.

Двадцать два года назад еще совсем молодым инженером Сафронов приехал в Небит-Даг. Незадолго перед тем он кончил Московский нефтяной институт, проработал четыре года на Апшеронском полуострове и смело отправился за Каспий осваивать новые месторождения. В

то время не было еще ни города, ни поселка на промыслах, ничего не было, кроме двух буровых вышек. Строился барак и стояли четыре палатки. Воду привозили в бочках. По ночам выли волки. Голые холмы днем казались печальными, по ночам — страшными. В сумерки из-под камней, из кустов выползали кобры. В палатках перед сном ловили скорпионов и фаланг — на свет, на фонарь...

Закладывались новые буровые, но они считались экспериментальными, и техническое оснащение было никудышное, верблюды волокли со станции длинные трубы. Груз был неудобный — верблюды жалобно ревели. Кочевники, привыкшие лопатами рыть колодцы в поисках воды, впервые увидели, как бурильные трубы входят в глубокие недра земли, и удивлялись:

— Ай, что за чудо!

Не только инженера или мастера, но даже простого чернорабочего трудно было найти в те годы среди местного населения. Таган Човдуров был одним из первых туркмен, пришедших работать на промысел. Его сын Аннатувак учился тогда в передвижной школе кочевников, а летом пас овец в только что возникшем колхозе. Иногда мальчик приходил на промысел к отцу. Полуграмотный Таган и сам в то время усердно посещал вечернюю школу. Гордясь и собой и сыном, он клал руку на плечо подростку и говорил: «Учись, сынок, учись...

Вырастешь, будешь таким же инженером, как дядя Андрей». Аннатувак только головой мотал: «Я инженером не буду. Если останусь в ауле, стану председателем колхоза, если в город переедем — милиционером». И, глядя на мальчишку, Андрей Николаевич думал: «Ишь какой важный, обязательно администрировать ему нужно! Интересно, что из него выйдет, когда вырастет?»

А теперь Аннатувак Човдуров — начальник конторы, и буровым — нет числа. На промыслах больше половины работников туркмены. Каждый год только из Небит-дагского нефтяного техникума приходит около ста молодых специалистов.

Положив трубку, Сулейманов вернулся к прерванному разговору.

— Я знаю Човдурова меньше вашего, хотя четыре года тоже немалый срок. Конечно, вы правы: если не брать в расчет тяжелый характер, он хороший работник и даже человек неплохой...

— Ах, Султан Рустамович! — нетерпеливо воскликнул Сафронов. — Что мы все об Аннатуваке толкуем! Что с ним было, что с ним будет... Как вспомнишь, каким был отец этого самого Аннатувака еще совсем недавно, сразу все обретает другой масштаб.

— Вы правы, — миролюбиво заметил Сулейманов, — и спора у нас нет...

— Какой там спор! — отмахнулся Сафронов. — Пока вы говорили по телефону, я тут предавался воспоминаниям. Я ведь дневник веду... Двадцать лет назад, когда я посадил деревцо около своего дома, жена сказала: «Зачем? Неужели ты веришь, что мы увидим, как оно вырастет?» Сегодня мой дом окружен густым садом: лох, акация, гледичия, тутовник, карагач — солеустойчивые породы... Астры цветут замечательно! Виноград лезет на крышу... Когда я приехал в Туркмению, геологи повсюду находили признаки нефти: отложения твердых битумов, породы, пропитанные нефтью, в июльский зной, когда раскалялась пустыня, нас просто преследовал запах нефти, только... нефти не было. А в год, когда родился мой старший сын, в Небит-Даге забил грандиозный фонтан. Знаменитая скважина номер тринадцать — о ней писали во всех газетах, с нее-то все и началось! Нынче летом сын приехал на каникулы, я подвел его к тому месту, где когда-то была тринадцатая, та самая...

Сулейманов с интересом слушал Андрея Николаевича. Его озадачил не ход мыслей

Сафронова, а то, с каким воодушевлением высказывал их этот трезвый, как ему всегда казалось, сугубо практический человек, совсем не склонный к пафосу.

— Современники всегда удивляются юности гения, — продолжал Сафронов, — ничто не может постигнуть, как это — вчера был мальчишка, под стол бегал — и вот уже он великий поэт, мировой ученый, деятель человечества... А на моих глазах нечто подобное произошло с целым народом. Кочевники, погонщики верблюдов, дети пустыни создали передовую индустрию, построили город, который мы зовем с гордостью туркменским Ленинградом, вырастили сады, сами пошли в институты за знаниями, основали свою Академию наук... Давайте чаще удивляться, Султан Рустамович! Ведь наш сегодняшний конфликт с Аннатуваком — не сомневаюсь, что он еще испортит много крови нам обоим, — это только так, ведро воды на корни яблони. Мы спорим: надо ли полить часом раньше, часом позже... Но ведь яблоня вырастет, непременно вырастет!

Выйдя из-за стола, Сулейманов подошел к Андрею Николаевичу, уже давно расхаживавшему по комнате.

Когда я попросил вас остаться, — сказал геолог, — мне просто хотелось поплакать в чью-нибудь жилетку. А вышло так, что я и пожаловаться не успел, а настроение переменялось. Это замечательно, Андрей Николаевич, что вы так думаете, вернее, способны так думать, я от всей души благодарен вам.

Сафронов улыбался. Ему давно нравился этот человек, с первых дней совместной работы они подружились. Годами геолог был старше инженера, но в Туркмении появился недавно. Сафронов знал, что четыре года назад, когда министерство направило Сулейманова в Небит-Даг, ему предлагали пост управляющего трестом, но он отказался, говоря, что слишком любит свою специальность и надеется больше пользы принести в поле.

Так и стояли они посреди кабинета, два расчувствовавшихся немолодых человека: Сулейманов — легкий, маленький, лысоватый, с воздушными вихрами круто вьющихся волос на висках, Сафронов — громадный, тяжеловесный, с густой, зачесанной назад полуседой гривой. Рукопожатия показалось недостаточно Сафронову — он обнял геолога и, приподняв его, сказал:

— Вас называют прекраснодушным человеком. Есть какой-то иронический оттенок в этом слове. Прекраснодушный — оторванный от земли, парящий над землей... А по-моему, это хорошо. В трудовом коллективе обязательно кто-нибудь должен воспарять. Особенно здесь у нас, на краю света.

И быстро вышел из комнаты, оставив Сулейманова смеяться в одиночестве над тем, как ловко Андрей Николаевич все переложил с больной головы на здоровую: кто же, собственно, из них воспарил?..

## Глава одиннадцатая

### Старая хочет внуков

— Отец прилетел! Вот радость нежданная...

— Знаю. Мне уже на промысле сказали. Дома он?

— Как же!.. Прямо с самолета — в кабинет начальника. Только позвонил по телефону: жди. Я жду. Три часа жду, тридцать дней, три года буду ждать. Обед простыл...

Не слушая мать, возбужденную долгим ожиданием мужа, Нурджан пошел в комнаты. За окнами багровое, как всегда после песчаной бури, дымное солнце уже склонялось над крышами. Когда Нурджан глянул на улицу, последние лучи освещали белые стены двухэтажных домов, желто-зеленую, уже по-осеннему изреженную листву молодых акаций. На минуту все приобрело тревожный красноватый оттенок — и листья деревьев, и лица прохожих, и даже асфальт мостовой. Хлопотливые воробьи стайками перелетали с места на место, и в их переполохе Нурджану чудилось печальное смятение. Он равнодушно смотрел вниз и по сторонам, все подмечая бессознательно и ничего не видя. По пути домой он размышлял о многом и совсем не так воодушевленно, как утром, и теперь мысли спутались настолько, что он не знал, на кого обижаться и кого упрекать. Уж не себя ли самого?

Как ни была Мамыш поглощена приготовлением праздничного обеда по случаю приезда мужа, она сразу почувствовала, что сын расстроен. Он и в квартиру вошел, словно должник, не знающий, как расплатиться. Она терялась в догадках, но, несмотря на свой стремительный и бесцеремонный характер, удерживалась от расспросов — все равно сейчас ничего не расскажет, лучше отвлечь мальчика от тяжелых мыслей.

— Нурджан, сынок, иди умойся, ванна готова. У тебя все лицо в пыли... Ну и буря же была! Двойные рамы на окнах, а в комнатах песок, постель в пыли, будто терся об нее чесоточный верблюд. Целый день подметаю, выколачиваю... Это же не квартира — целый город! Пока обойдешь — обед сварится. Трудно, ох как трудно одной хозяйничать, но отец не понимает этого, да и никто не понимает.

Нурджан, однако, прекрасно понимал, что последние слова относятся к нему, но ничего не ответил и молча направился в ванную.

— Да, сынок, ты пока помойся, а я чаю заварю, — заключила Мамыш.

Но и в ванной Нурджан слышал, как, переходя из комнаты в комнату, она разговаривала сама с собой:

— До чего же хорошая вещь этот газ! Повернул кран, чиркнул спичкой — и делай что хочешь! Хочешь — купайся, стирай, хочешь — обед вари. Ни золы, ни дыма. Дров не подкладывай. В ноги бы поклониться тем ученым людям, что нашли газ! А давно ли в ауле Гарагель на Челекене разжигала сырые дрова, от дыма задыхалась, от копоти отмыться не могла, под рваным одеялом дрогла на ветхой кошме. Теперь вот живу, как во дворце Игдир-хана.

Каждый раз, как возвращался на два-три дня из пустыни Атабай, старуха становилась вдвое говорливее — это в жаркой болтовне источалась ее радость. Весь год она была одинока и, значит, несчастна. Всем было понятно, что эта женщина создана для большой семьи.

Надев полосатую пижаму, Нурджан вышел из ванной и улегся на ковре, облокотившись на подушку. Мать поставила перед ним чайник с зеленым чаем.

— Помылся в теплой воде — и словно с плеч тяжелый груз сбросил! Не так ли, сынок? — спросила Мамыш, не теряя надежды допытаться, что случилось с сыном на работе.

Нурджан вспомнил, с каким азартом мать пугала утром непогодой, и с улыбкой спросил:

— Ну как, миновала нас беда?

Не слушая, мать продолжала свое:

— По усталым глазам твоим вижу, что день сегодня был тяжелым...

Мамыш сказала правду. Нурджан оставил в ванной вместе с пылью и грязью и свою тоскливую досаду и теперь был вполне способен отшутиться:

— Значит, ты по глазам видишь, что у меня на душе?

У старой совсем развязался язык. Устроившись поудобнее на ковре против сына, она принялась объяснять:

— Я же мать! Аман-джан и ты, оба вы забыли, сколько трудов стоило вырастить вас. Когда ты был маленьким, я всегда знала, почему ты плачешь или смеешься. И сейчас ты для меня такой же ребенок. Не только твое горе — каждый твой вздох мне понятен. Думаешь, я не догадалась, что расстроен ты не из-за ветра, а совсем из-за другого? А зачем скрываешь от меня свои горести и радости? Пока что нет у тебя человека ближе матери. Я даже удивляюсь, как ты не замечаешь, сколько вокруг девушек, подобных цветам, ходишь, как слепец... Ты не стыдись меня, скажи, что с тобой случилось? Работа не ладится? Или получил выговор? Или не посчитались с твоим мнением? Или плохо идет нефть?..

Она тихо задавала свои вопросы, покачиваясь перед сыном, и лоб ее морщился под седыми прядями, глаза щурились в редких ресницах, во рту тускло мерцал белый металл вставных зубов.

Чувствуя, что вопросам не будет конца, Нурджан поморщился.

— Мама, я и так устал, а ты все что-то хочешь выпытать... К чему это?

Нурджан забыл, что остановить мать, если она решила чего-нибудь добиться, невозможно.

— Я знаю, — неумолимо продолжала она, — ты все скрываешь... Не то что сам — даже если выпытывать стану, ты разве скажешь? Но могу ли молчать, сердце-то не камень. Чего ты боишься, что я буду радоваться твоим печалям и печалиться твоим радостям? Или разнесу по свету твои слова?

Нурджан совсем растерялся под таким натиском и жалобно попросил:

— Дай хоть чаю попить спокойно.

— Пей чай, кушай на здоровье! Отец неизвестно когда придет... Неужели ты не можешь понять, что с тех пор, как Аман-джан стал на войне калекой, я все время живу с горем... А ты не хочешь знать ничего. Или думаешь, тебе легче будет, если мать помучается? Так-то ты жалеешь свою мать?

Нурджан понял, что ему не отмолчаться, и сказал:

— Понимаешь, какая беда: на одной из скважин образовалась пробка.

— Пирокга? Это что значит?

— Ну — пробка, пробка... Как тебе объяснить?

— Прокга, пирокга!.. Будто с персами разговариваешь! Ты мне объясни понятным языком, тем, какому я тебя учила! Что значит — пирокга? Развалилось что-нибудь? В колодец упало? Или стена рухнула?

Уткнувшись в подушку, Нурджан хохотал. Мамыш укоризненно поглядела на него:

— Я хочу узнать, какое у него горе, а он смеется надо мной!

— Ай, мама, разве смеется человек, когда у него горе?

— А где был твой смех, когда ты пришел с работы? Остался где-нибудь привязанный, что ли?



— Конечно.

— Где?

— На дне колодца.

Мать, казалось, вот-вот расплчется.

— Ну, что мне делать? Я готова под крыло взять его, а он ранит мне сердце!

Устыдившись, Нурджан принялся объяснять:

— Ты, наверно, знаешь, что в колодце бывает исток, — сказал он.

— Ну и что?

— Вот этот исток и залепило глиной.

— Значит, колодец заглох, так бы и сказал... Теперь придется его бросить?

— Нет, это нетрудно исправить.

— И из-за такого пустяка ты заставил мучиться мать?

— Да ведь я вовремя не заметил эту пробку...

— Теперь все понятно, — она покачала головой. — Значит, тебя хорошенько отругали? Не беда, мальчик, это тебе на пользу пойдет... Ну, где будешь обедать? За столом или сюда принести?

Между двумя окнами в комнате стоял круглый стол, покрытый узорной скатертью. Когда отец уезжал в пустыню и Нурджан обедал один или с товарищами, мать подавала им еду на стол. Но в присутствии отца приходилось покоряться привычке, усвоенной стариком с детства: есть на скатерти, разостланной на кошке или на ковре. Нурджан уже хотел позвонить в контору бурения, чтобы узнать, скоро ли ждать отца, как появился Атабай.

Увидев мужа, снимавшего в прихожей шапку и синий плащ, Мамыш обрадовалась.

— Вот и отец! Теперь уж ты не усядешься за столом! — И обратилась к мужу: — И тебе не мешало бы выкупаться до обеда, а то весь ковер пропылишь, придется снова выколачивать.

— Если не будешь трясти и выколачивать ковры, что же тебе останется делать? — поддразнил жену Атабай, с удовольствием оглядывая квартиру после долгой отлучки.

Заметив пыльные сапоги мужа, Мамыш схватила его за плечи.

— Сейчас же искупайся и переодейся!

— А то непустишь?

— Разве можно такого подпустить к скатерти? Что отец, что сын — один хуже другого. Легче пешком сходить на Челекен, чем договориться с вами! Последний раз повторяю: не умоешься — не пройдешь в комнату...

Атабай хохотал, его седая борода, разделенная на три клока, тряслась.

— Ай, Нурджан, есть ли хоть на грош ума у твоей матери?

Мамыш завопила раньше, чем Нурджан успел ответить:

— Вот нашелся мудрец на мое несчастье! Если бы в твоей тыкве были мозги, а не солома, разве бы ты рвался в таком виде в комнату?

— Ну и глупая баба! Да пока я не отмоюсь за все три недели, ты и насильно не усадишь меня обедать.

— Так что же лезешь, как слепой?

— Чтобы тебя испытать.

— Мало ты испытывал меня до сих пор? Седой уж, а ума...

Атабай зажал ей рот рукой.

— Ах, Мамыш, человек с головой должен с каждым годом уметь, а не глупеть. И настоящую цену воде знаю я, а не ты. Это не ты, а я тащился в летнюю жару по пустыне... Не Мамыш, а я на ишаке вез по пескам воду за десятки километров. Мне вот под шестьдесят, а не боюсь никакой пыли. Почему? Потому что воду люблю. Теперь я не джейран в пустыне, а лебедь в озере. Лебедь!

Мамыш невольно улыбнулась.

— У тебя только борода лебедина — белая, а сам ты...

— Какой сам?

— Какой был — козел черный!

— Ну и скажет же! — Атабай рассмеялся и пошел в ванную, а Мамыш заторопилась в кухню.

«Старик разыграется — буря поднимается, — подумал Нурджан. — Эта пословица, видно, не про моих родителей сложена. Сколько ни спорят, ни дразнят друг друга, никогда по-настоящему не бранятся. Мать хоть кого может из терпения вывести, а отец только смеется. Характеры у них разные, а на жизнь оба смотрят одинаково. Встретятся — спорят, расстанутся — скучают. Помню, в детстве, бывало, в доме нет и горсти муки, но мать и словом не попрекнет отца. Он придет домой усталый, голодный, а дома есть нечего — промолчит, не рассердится... Как-то сложится когда-нибудь моя семейная жизнь?... Ах, Ольга, Ольга, почему ты так сердито посмотрела? Хорошо, положим, не любишь, но ведь и не по-товарищески так...»

Отец вышел из ванной и прервал эти грустные размышления. Хотя Атабай был человеком старого уклада, но, вернувшись домой, так же как и Нурджан, облачался в пижаму. Вначале Мамыш дивилась и посмеивалась над ним: «Отец наш похож сейчас на того пестрого барса, которого поймал Марет Мерген». Потом привыкла и даже находила, что пижама очень к лицу ему.

Когда Мамыш принесла куртку, Атабай воскликнул:

— Что же ты наделала! Думаешь, я не буду чай пить?

Поставив тарелку, Мамыш спокойно ответила:

— Нурджан, наверно, проголодался, да и ты не сыт. Попьешь чаю после обеда, лучше будет.

— Да разве можно так!

— Пока будешь молоть языком, обед остынет. Наполнишь пустой желудок — узнаешь, можно или нет.

— Эй, Мамыш, тебя не хватает в пустыне! Всего у нас вдоволь: и песка и ветра. Уже и детишек развелось на целые ясли. Люди семьями едут. Сосед с ребяташками вечерами в мячик играет, об мою стенку стучит... Вот только тишина надоедает — трещотки нет! Хочешь, отвезу тебя, всех обрадуешь?

— Кроме тебя, старый болтун!

Дома мастер не любил рассказывать о своих производственных делах, тем более — о неприятностях. Тот, кто послушал бы сейчас, как Атабай веселится, поддразнивая жену, сочиняя каких-то ребяташек, которых в Сазаклы не было и нет, тот никогда бы не догадался, какую трудную ночь пережил мастер и как волновался днем, пока начальники ссорились в его присутствии.

Он продолжал препираться со старухой и за обедом. Нурджану надоела перебранка, он спросил отца:

— Что делается в Сазаклы?

Атабай, который усердно насыщался бараниной, помрачнел и отрывисто сказал:

— Там дурная кобыла хвостом машет... Авария за аварией. А Човдуров добивается, чтоб мы, бурильщики, и дорогу туда забыли.

— Может, он и прав. Говорят, там сложная тектоническая структура, бурить опасно.

— Ай, сынок, у бурильщиков всегда опасно. Отвернуть водопроводный кран может и мать. И ты умеешь качать нефть из скважин, подготовленных твоим отцом...

Сын понимал, что отец шутит, и промолчал, но Мамыш никогда не оставалась в долгу.

— Да и Атабай может без особого труда уплести готовый обед.

Вытирая руки полотенцем, Атабай насмешливо посмотрел на жену.

— Ты мне напоминаешь одну женщину, которая говорила: «Пахать землю — ходи себе туда-сюда, жать — серпом играть, молотить — кататься по кругу... Просеивать муку — вот это труд!»

Мамыш унесла посуду, Атабай задумчиво сказал:

— Говорят, Аннатувак Човдуров не хочет рисковать, считает, что слишком сложно все на новом месте. Мне это непонятно. Несложное дело — неинтересное дело. Настоящая работа — не в спокойной добыче, а в сложном бурении. Не думай, что я ни во что не ставлю твою работу, промысловую работу. И вы, наверно, получаете удовольствие. Но если я днем не слышал гула ротора, если не знал, как вгрызается в породу долото, я и ночью уснуть не могу спокойно. Когда долото проходит из слоя в слой, не то что каждый час, а каждую минуту подстерегают тебя неожиданности. Волнуешься, как на скачках, когда твою лошадь обгоняет соперник и дело решают десятые доли секунды. Такое волнение придает тебе силы, бодрость... — Атабай рассмеялся и закончил коротко: — Конечно, лучше, если нет аварий.

Слушая отца, Нурджан даже позавидовал: «Почему я не стал бурильщиком?»

— Папа, с кем ты собираешься соревноваться? — спросил он. — С Таганом Човдуровым?

— Нет.

— А с кем же?

— Сдается мне, наш директор думает, что я и его отец — рухлядь, немощные старикашки. Вот я и хочу доказать ему, какой я старец, и вызвать на соревнование молодого мастера.

Услышав последние слова Атабая, Мамыш решила отомстить за прежние колкости.

— Аю-ю, Атабай, по твоим ли это силам? Лягушка тоже хотела стать с вола, дулась, дулась и лопнула!

— Уж ты-то, кажется, могла бы не спрашивать у людей о моей силе!

Предчувствуя, что старики снова затеют шутиливую перепалку, Нурджан ушел в свою комнату одеваться. Ольга сказала, что сегодня пойдет в театр, и Нурджан надеялся, что успеет купить билет и еще раз увидеть ее сегодня.

Мамыш вовсе не собиралась препираться с мужем. Сейчас ее волновало другое: мрачность сына она истолковала по-своему — мальчик тоскует в одиночестве. Она и прежде заговаривала о женитьбе то с Аманом, то с Нурджаном, но оба сына, и старший — вдовец, и младший — подросток, каждый раз уклонялись от прямого ответа. Теперь мать решила действовать с помощью Атабая.

— Ах, Атабай, сколько раз я тебе говорила, но ты никогда не слушаешь меня.

Атабай удивленно поднял брови.

— Не пойму, куда ты гнешь?

— Я ведь одна...

— А меня не считаешь? И Нурджан, кажется, еще с квартиры не съехал.

— Ты не показываешься дома. Свою вышку больше меня любишь. Нурджан утром уходит, вечером приходит. Аман в Небит-Даге живет. Я целый день одна-одинешенька... в этом дворце.

— Хочешь, чтоб я бросил работу?

— Не прикидывайся бестолковым.

— Мамыш, ты загадки загадываешь. Объясни, пожалуйста, яснее.

— Я хочу невестку в дом привести. Невестку! Теперь понятно?

— Так бы и сказала. Очень хорошо сделаешь.

— Если хорошо, не стоит откладывать. Завтра же иду сватать.

— Что за женщина! Ты, словно капкан, готова сразу щелкнуть.

— А что же мне — раньше чем слово сказать, шлепать губами, как ты?

— Надо же подумать, посоветоваться, узнать... Кстати, кого ты женить собралась? Амана или Нурджана?

— И тот и другой — мои сыновья! И наперекор матери не пойдут.

— Почему же тогда их фамилии Атабаевы, а не Мамышевы?

— Потому что ты на женщину смотришь, как бай.

— О, глупая! Меня с баем спутала. Да был ли у меня за всю жизнь хоть один верблюд?

— Ну хорошо, хорошо, хватит болтать, лучше подумай о невестке. Кого выбрать?

Атабай с улыбкой посмотрел на жену, но в глазах его появились колющие искорки.

— Ты себя считаешь мудрейшей из мудрых, а многого не понимаешь.

— Что же это я не понимаю?

— Не понимаешь, что времена изменились.

— Если бы не изменились времена, кем бы мы сейчас были? По-твоему выходит, если изменились времена, сыновья должны быть одиночками?

— Аман — взрослый человек, коммунист, на фронтах воевал, овдовел. Он смотрит на жизнь немножко иначе, чем ты. Да в этом вопросе, думаю, и не нуждается в опекунах. То, что нравится нам, может совсем не понравиться ему. Я верю, что он сам сделает все как надо.

Тут старуха завопила так, что ее услышал и Нурджан в своей комнате.

— Не твоя ли вера мешает нам до сих пор сделать доброе дело? Ты, как маятник, качаешься туда-сюда, туда-сюда... Думай как хочешь, а я исполню свой материнский долг и завтра же иду сватать девушку.

— К кому?

— Мало ли хороших семей? Я имею в виду Човдуровых.

— Айгюль, конечно, хорошая девушка, но нравится ли она Нурджану?

— Понравится...

— Нурджан же у нее под началом, да и моложе он. — Атабай вдруг повернулся к дверям. — Нурджан, иди сюда!

— Да подожди ты, — зашептала Мамыш, но Нурджан, завязывая галстук, уже вышел из своей комнаты.

— Что скажешь? — спросил он отца.

— Мать хочет женить тебя, ты не знал об этом?

Не придавая большого значения этим словам, Нурджан шутливо возразил:

— Ай, отец, у мамы много выдумок: наверно, хочет испытать тебя. Она же хорошо знает, что я не ребенок.

Мамыш поняла слова Нурджана по-своему и радостно залепетала:

— Знаю, сынок, знаю: это и не дает мне покоя. Невесту я тебе нашла. Как хороша Айгюль, дочь Човдуровых! Какая стройная, красивая, а характер — лучше не найдешь! Я уже заводила речь о свадьбе, Тыллагюзель, кажется, не против. По-моему, и Айгюль стремится

замуж. — Заметив, что Нурджан улыбается, Мамыш еще больше воодушевилась: — Знаешь, отец, от него только и слышишь: Айгюль да Айгюль. Работа у них одна, интересы одни, может, и характерами сойдутся.

Уверенная, что сын слушает с полным сочувствием, Мамыш стала всесторонне обсуждать вопрос.

— Конечно, Айгюль — начальник, привыкла, видно, не советоваться, а приказывать. Попробует и Нурджана прибрать к рукам, но он не из тех, кто сделается рабом своей жены... Придет к нам Айгюль и наполнит светом наши комнаты, а Нурджан сам станет начальником над начальником. А главное, подумайте только, как давно я не баюкала ребенка! Пеленать малютку, нянчить его — какое это счастье! Слышишь отец, тебя он назовет дедушкой, заберется на руки, а меня — бабушкой и повиснет у меня на шее. Смотри, Нурджан, не говори потом, что не слышал: первого внучонка я возьму себе в сыновья и назову его Нуннаджаном. Так и знай.

Может быть, потому, что Айгюль была старше Нурджана и по возрасту и по должности, никогда ему не приходилось думать о ней с волнением. Айгюль и Ольга... Да разве их можно сравнивать! И Нурджан резко перебил мать:

— Ты все это обдумала, мама, или говоришь просто так, от нечего делать?

Увлеченная своими планами, Мамыш не почувствовала недовольства в его словах.

— Сынок, ты же меня знаешь, я сто раз отмерю — раз отрежу. Кажется, в мыслях своих перебрала не меньше ста девушек, но лучше Човдуровой не нашла! Я бы почувствовала себя на седьмом небе, если бы вы с Айгюль по утрам просыпались в одном доме.

Нурджан спокойно сказал:

— Мы и дальше с Айгюль будем вместе работать, будем поддерживать друг друга...

— Правильно, сынок!

— Но только... в одном доме просыпаться не будем.

Мамыш ахнула, словно оборвалась веревка и ведро полетело в колодец.

— Почему? — глухо спросила она.

— Потому что я не ребенок. Давно прошли те времена, когда родители решали за детей, с кем им жить. Ты пойми, мама, я всегда буду благодарен за все, что ты сделала для меня, и сам сделаю все, чтобы ты была счастливой. Но свою семейную жизнь я уж сам как-нибудь устрою.

— Почему? — с дрожью в голосе повторила Мамыш.

— Твои желания с моими не сходятся.

— Но где же ты найдешь девушку лучше Айгюль?

— Не беспокойся об этом! Не нужно тебе об этом заботиться.

Старуху бросило в жар, а тут еще Атабай подлил масла в огонь.

— Я же говорил тебе: времена другие!

Всплеснув руками, Мамыш напустилась на мужа:

— Это ты всегда настраиваешь против меня сыновей! Если бы не ты, я давно нянчила бы внучонка! Аману тоже ничего не втолкуешь из-за тебя! Оба в отца пошли. Разве Нурджану не пора жениться? Слава богу, мы не беднее других. На что мы нужны, если не будет потомка у сына твоего? Что же мне, так и умереть, не увидев внука?

Атабай, привыкший за долгую жизнь к причитаниям жены, спокойно улыбался, но Нурджан не выдержал:

— Ну зачем ты кричишь? Чем виноват отец?

Теперь Мамыш обрушилась на сына:

— Если бы твой отец был человеком, ты бы не подмешал отравы в мою пищу! Почему ты не хочешь понять, что мать не желает тебе плохого? Не потому ли поворачиваешься к нам спиной, что выучил букварь, что зарабатываешь какие-то там гроши? Подумаешь, какая важная птица!

— Мама, перестань ворошить старую солому!

— Ну вот, начинается: «У тебя старые мысли, у тебя старые понятия...» Разве я говорю, чтоб ты взял старую деву шестидесяти лет или заставляю взять вторую жену? Уговариваю тебя идти на молебен в мечеть или на поклонение к святому? Или сказала — возьми талисман у ишана? Это ты на каждом шагу хвалишься, что комсомолец, что вступаешь в партию. Разве комсомол велит не разговаривать со старшими? Разве партия советует сторониться отца и матери? Хоть и не такие грамотные, как ты, но читаем газеты. Везде пишут, что нужно уважать старших, чтобы не вышло по пословице: «Не послушаешься старшего — расквасишься». Если не хочешь слушать слов, которые идут из моего сердца, если я тебе кажусь лишней, — старуха всхлипнула, — тогда скажи: «Живи сама по себе, как знаешь!» И я как-нибудь проживу, государство меня не бросит...

Нурджану стало жаль мать.

— Ну что ты говоришь? Разве я чем-нибудь обидел тебя?

Вытирая глаза, Мамыш снова всхлипнула:

— Если вправду жалеешь — готовься к свадьбе.

Атабая привела в раздражение вся эта сцена.

— Если ты так одинока, Мамыш, что не можешь прожить без невестки, жени меня. Меня жени!

Мамыш показала мужу сразу оба кулака.

— На тебе, возьми жену! Видно, с жиру бесишься, не знаешь, что несешь... Дня два подержать тебя без чаю и хлеба, иначе бы заговорил.

Атабай не унимался.

— Я бы показал тебе, кто бесится с жиру, да жаль, у нас в доме плетки нет.

— Если бы ты умел держать в руке плетку, и Мамыш умела бы держать язык за зубами.

— Золотые слова.

— Ты покажи себя мужчиной: образумь хоть сына.

Нурджан опередил отца.

— Знаешь что, мама, рано или поздно и Аман и я приведем невесток в твой дом. Но только не тех, которых ты хочешь, а тех, кого мы полюбим.

— Кто знает, кого вы приведете? Может, вертихвостку, может, такую, что и меня выживет из дома? Может, какую-нибудь гордячку, которая не захочет знаться с соседями, или болтушку, которая будет трещать целый день?

Атабай быстро подхватил:

— Да что там говорить! Не каждому достается умная жена, вроде Мамыш, которая подумает над каждым словом раньше, чем скажет.

— Ты бы хоть помолчал! — крикнула Мамыш и снова принялась перечислять все беды, угрожающие ее дому. — Может, приведете бесстыдницу, которая оседлает и отца и мать? Может, русскую или армянку, которая не будет понимать, что ей говоришь...

У Атабая сверкнули глаза. На этот раз он заговорил серьезно.

— Ты сама-то понимаешь, что мелет твой язык? Плюешь в бороду тому, кто накормил тебя! Если бы не русский народ, ты бы давно истлела, как червивое дерево! Если ты этого не понимаешь, так пойми, что дети будут жить не для тебя, а для себя. Правильно Нурджан упрекает тебя за отсталость. Ты так гордишься своим бестолковым языком, что не отдаешь себе отчета, куда он тебя заводит... А ты, Нурджан, не слушай эти глупости. Бери ту, какая полюбится. Полюбишь русскую — бери русскую.

Подавленная этой речью, Мамыш сказала слабым голосом:

— Что же я буду делать, если не пойму ее языка?

— Не поймешь — научишься.

Немного подумав, Мамыш сказала:

— Я тоже, конечно, ни один народ не считаю хуже другого, но ведь у каждого свои обычаи, свои привычки. Уживется ли девушка в нашем доме? И к тому же я уже говорила с Човдуровой! — Она вскочила с места и закричала: — Нет! Ни за что не возьму свое слово назад!

— Это правильно, Мамыш. Если все слова, которые ты сказала, взять назад, ни в каком амбаре они не уместятся!

— А все-таки я выбираю Айгюль в невестки!

— Ты выберешь ту, которую полюбит ее муж.

— Увидим!

Нурджан, торопясь в театр, не стал больше вмешиваться в спор и, кивнув отцу с порога, захлопнул за собой дверь, но даже на лестнице слышал пронзительный охрипший голос матери.

## Глава двенадцатая

В разных домах одна песня



Сдав после разнарядки свой участок ночной смене, Айгюль Човдурова побежала в поселок к конторе, там у подъезда уже нетерпеливо гудел «газик»-вездеход, сзывая инженеров и техников, чтобы везти по домам.

Човдуковы жили в городе. Уже много лет рабочий поезд трижды в сутки развозил из Небит-Дага на промыслы и обратно по вахтам толпы нефтяников. В вагонах болтали по-соседски, спорили дизелисты, вулканизаторы, газокомпрессорщики, слышалась разноплеменная речь, пели песни, готовились, уткнувшись в книги, к экзаменам. По шоссе, вровень с поездом, бежали большие дизельные автобусы. Люди из окна в окно перебрасывались шутками, уславливались о встречах. Обгоняя автобусы, мчались легковые машины.

Сегодня Айгюль условилась с Тойджаном пойти в Дом культуры на балет и очень торопилась, сердито поглядывая на шофера, хотя он и обогнал уже несколько машин, но не решался почему-то обойти «победу» председателя горисполкома. Досадуя на осторожного паренька, Айгюль жалела, что не села сама за руль.

А тут еще песчаные заносы. Буря поработала на просторе! В двух-трех местах зыбкие подвижные орды песков переметнулись за день через шоссе. Теперь бульдозер теснил вылезшие на асфальт барханы, точно конная милиция толпу у стадиона в час футбольного матча. Снизив скорость, машина обошла и скрепер, который на прицепе у трактора тоже воевал с заносом, расчесывал бархан, чтобы он потерял свою слитную силу и превратился в то, из чего возник, — в бессильный песок. Под белой палаткой на скрепере сидел дорожный рабочий. Несносный шофер еще вздумал о чем-то поболтать с ним, тихо его объезжая, но Айгюль нетерпеливо буркнула: «Этого еще не хватало!..» — и парень, пожав плечами, газанул.

Когда подъехали к городу, солнце стало садиться в желтые облака, висевшие над Балханом.

Айгюль любила Небит-Даг, необыкновенно чистый зеленый город с прямыми, как стрелы, улицами, любила и свой район вблизи стадиона и парка, и свой красивый дом из благородного серого камня, и свою квартиру с закругленными арочными окнами, откуда не наглядишься на улицу Свободы с ее полдневным сверкающим накатанным асфальтом и вечерним светом высоких электрических фонарей. Возвращаясь домой, она не уставала любоваться всем этим, родным и уютным. Еще недавно их дом в сто тридцать восьмом квартале глядел окнами в солончаковую степь, а теперь улицы потянулись дальше, выросли новые жилые массивы, и дом, где жили Човдуковы, оказался в центре города. Квартира помещалась на втором этаже. На открытой лестнице с каменной балюстрадой Айгюль кормила голубей. Широкая веранда с грубо оштукатуренной белой стеной, отделанной по карнизу голубым туркменским орнаментом, выходила на запад. Там — городской парк с молодыми деревьями, за ним Дом культуры нефтяников, пожалуй, самое красивое здание в городе.

Айгюль остановилась на пороге веранды. За железными решетками ограды осенний парк — море золотой листвы — краснел в лучах заката, и Айгюль показалось, что мутное солнце лижет деревья длинным красным языком.

До начала спектакля оставалось не много времени, надо было спешить и — не хотелось торопиться. Так бы и стоять на веранде и думать об утренней буре, о терпеливых деревьях, о миле Тойджане...

С трудом преодолев мечтательное настроение, Айгюль отправилась одеваться. Сначала накинула шелковое, отливавшее травянистой зеленью платье, повертелась перед зеркалом — не понравилась себе и сменила зеленое на красное из кетени. Ее мать, Тыллагюзель,

наблюдавшая за сборами из соседней комнаты, про себя одобрила выбор дочери и спросила:

— А кыз Айгюль, куда это ты собралась, не пообедав, не отдохнув как следует?

Сделав вид, что не замечает подозрительности в этом вопросе, Айгюль спокойно ответила:

— В театр.

Тыллагюзель знала, что в театре третий день дают спектакли для нефтяников, сама уже успела послушать оперу «Зохре и Тахир» и, конечно, радовалась, что дочь развлечется после работы, но все-таки, испытывая поглядев, снова спросила:

— С кем?

Айгюль удивленно обернулась: лицо матери, обрамленное белоснежными волосами, показалось ей, как всегда, ласковым и спокойным, но в глазах Тыллагюзель была заметна тревога. Девушка, будто желая покончить с подозрениями, резко ответила:

— Не все ли равно, с кем?

Мать и дочь поняли друг друга, не говоря лишних слов, Тыллагюзель уже пришлось страдать из-за несчастливой любви дочери, ей не хотелось, чтобы неудача повторилась. К тому же она с интересом прислушалась однажды к деликатным намекам Мамыш Атабаевой. Айгюль была резка, потому что догадывалась о планах матери и желала ей показать свое недовольство. Тыллагюзель это сразу поняла.

— Конечно, дело твое. Но ведь, ласточка моя, отец и мать тебе плохого не желают...

— Я уже взрослая и знаю, что делаю.

— Я ведь, газель моя, и не говорю, что ты делаешь то, чего не знаешь.

— Что же мы воду в ступе толчем?

Мать помедлила с ответом. Рассеянно поправляя без всякой нужды платье на Айгюль, она сказала:

— Я хочу, чтоб ты знала, куда ступаешь...

— Я ведь не с бельмом на глазу, чтобы не видеть, куда ступаю...

— Газель моя, говорят, конь обходит место, где оступился, человек — где испугался, — робко, но настойчиво продолжала Тыллагюзель.

Лицо Айгюль омрачилось.

— Если раз споткнулась, так и ходить перестать?

— Нет, газель моя, но почему бы не посоветоваться?

— Ты хочешь надеть на меня пуренджик?

— Нет, я понимаю: прошло то время.

— О чем же тогда говорить?

— Я хочу защитить тебя от обманщиков.

— Талисманами?

Наконец Тыллагюзель решила высказаться без обиняков.

— Я хочу, чтобы ты встретилась с достойным юношей.

— Об этом я советоваться не собираюсь!

— Многого ли ты добилась своей самостоятельностью?

Айгюль молча опустила на стул и закрыла лицо руками.

Нелегко было и матери. Она чувствовала, что подрезает крылья Айгюль, но не знала, как иначе удержать ее от ложного шага. Не сказав больше ни слова, Тыллагюзель вышла из комнаты. Горькие воспоминания нахлынули на нее.

Два года назад Айгюль познакомилась с Керимом Мамедовым, молодым инженером, приехавшим из Баку. Веселый красивый азербайджанец легко и быстро подружился с девушкой, провожал домой с работы, приглашал в кино, несколько раз заходил к Човдуровым. Молодые люди еще не заговаривали о женитьбе, но всем было ясно, что они любят друг друга. Хотя Керим нравился и Тыллагюзель, мысль о браке дочери с азербайджанцем тревожила ее. Смущали и разговоры соседок-кумушек, которым такой союз казался ненадежным: «Будто нет достойных юношей в своем краю...» Зная крутой нрав Тагана, Тыллагюзель не решалась посоветоваться с ним. Заранее была уверена, что муж скажет: «Не суйся в чужие дела. Не нам учить нынешнюю молодежь...» Попробовала Тыллагюзель высказать свои сомнения сыну, но Аннатувак без размышлений стал на сторону сестры: «Ай, мама, давно прошли те времена, когда смотрели, какой, мол, кости, какой, мол, масти жених. Если бы я стал советоваться с тобой, ты бы и мне не разрешила жениться на Тамаре. А теперь только похваливаешь невестку. Айгюль родила ты, но не одна ты ее воспитала. Не стоит волноваться, она не маленькая». Постепенно Тыллагюзель примирилась с увлечением дочери, иногда ей даже казалось, что Айгюль и Керим судьбой созданы друг для друга. Но слабо завязанный узел быстро развязался. Керим был упрямым парнем, он повздорил с главным инженером, сгоряча подал заявление об уходе с работы, а в это же время тяжело заболела в Баку его мать. Инженер уехал домой и там устроился на работу. Он часто писал любимой девушке, звал к себе. Как ни привязалась Айгюль к Кериму, но бросить работу, с которой сроднилась, семью, родной город она не рискнула. Шли месяцы, переписка не прекращалась, Айгюль с каждым днем убеждалась, что любит Керима, любит, любит. Наконец, не в силах больше переносить разлуку, решила ехать в Баку.

В тот день, когда она добилась наконец отпуска, пришла телеграмма от Керима, он коротко извещал, что женится на другой и просит прощения у Айгюль.

Удар оказался тяжелым.

Но время шло, и молодость брала свое. Тыллагюзель заметила, что за последнее время дочь оживилась, повеселела: Айгюль стала встречаться с бурильщиком Тойджаном. Мать и радовалась этому и боялась новой неудачи. Юноша работал в бригаде Тагана, и, хотя был без семьи, воспитанник детдома, ничего плохого о нем не говорили — честный, добросовестный парень. Старик в выходные дни, кажется, даже скучал без него. И все же, думала Тыллагюзель, куда спокойнее было бы породниться с почтенной, издавна знакомой семьей Атабаевых. Если в сватовстве принимают участие родители, можно быть уверенной, что брак будет прочным.

Айгюль после ухода матери так и не шевельнулась, погруженная в тяжелые мысли. Но думала она не о прошлом, как Тыллагюзель, а о будущем. Знает ли она Тойджана? Если признаться чистосердечно, так, как можно признаваться только самой себе, — конечно, не

знает! Но она любит его, любит, может быть, сильнее, во всяком случае иначе, серьезнее, чем любила в первый раз... Кто смеет мешать этой любви! Почти все подружки по школе и по институту вышли замуж. Выходили по-разному: кто, не кончив школу, не зная жениха, из-за хорошего калыма, кто по сватовству, по выбору родителей, за солидных ответственных работников, а многие и по любви. Кто же из них счастлив теперь? И этого Айгюль не знала. Когда ее покинул Керим, она перестала встречаться с подругами, боясь, что кто-нибудь заденет неосторожным словом. Это было бы нестерпимо... Теперь мать боится, что, полюбив Тойджана, Айгюль снова совершит ошибку. А что скажут отец, старший брат?.. Может быть, они и не захотят дать согласие на этот брак? Они считают себя передовыми советскими людьми, но нрав у обоих упрямый, и оба — в глубине души Айгюль не сомневалась в этом — уверены, что вправе распоряжаться судьбой дочери и сестры. Страшно подумать, какую придется выдержать борьбу, если им не понравится ее выбор!

Айгюль взглянула на часы: большая стрелка стояла на семи, а спектакль начинался в половине восьмого. Она накинула светлое пальто, не глядя в зеркало, надела шляпу. Подумала, что надо бы поговорить с матерью, успокоить старуху, и тут же остановила себя. Коротко поговорить не удастся, а если разговор затянется, опоздаешь к началу. Тихонько проскользнув мимо двери в спальню, она выбежала на лестницу.

## Глава тринадцатая

### Нефтяники смотрят балет

Смеркалось.

За деревьями городского парка догорала желто-багровая, в пыльном нимбе, заря.

Вся горечь раздумий, навеванных разговором с матерью, рассеялась, как только Айгюль, вспугнув голубей, сбежала по каменной лестнице на улицу. Все-таки впереди встреча... Выше голову! Волнуемая смутным предчувствием счастья, девушка быстро шагала пустынными дорожками парка, вглядываясь в дальние огоньки между деревьями.

На полукруглой площадке перед входом в Дом культуры и на парадной лестнице под тонкими и стройными колоннами толпился народ. Юноши с бронзовыми лицами и сине-черными вьющимися волосами в модных курточках и пестрых пиджаках. Девушки, выглядевшие несколько скромнее, в легких светлых пальто и туфельках на высоких каблукках... Худощавый старик с длинной шеей и маленьким, как усохший грецкий орех, личиком под огромной грязно-бурой папахой... Женщины в ярких халатах, в оранжевых, синих или черных — с розами — платках на плечах... Временами, как волна, набегал запах сильных духов. Смешавшись с толпой, Айгюль поддавалась праздничному настроению и, неторопливо прогуливаясь, оглядывалась по сторонам.

Тойджана еще не было видно. Айгюль раскланивалась поминутно — в своем городе всех знаешь и все тебя примечают. Рукой помахал знакомый дизелист, — когда-то вместе отдыхали в Кисловодске. На минуту задержалась, рассказывая о своих семейных горестях, худенькая женщина с глубоко запавшими глазками, в заграничном вязаном голубом костюме; она работала электрообмотчицей, звали ее Огультач. Муж хочет, чтобы она оставила работу, это его, конечно, подбивает свекровь... Прошел начальник каротажной партии — корректный седой ленинградец, о котором идет молва как о страстном любителе покера и танцев; за долгие годы работы в Небит-Даге он посмуглел и стал похож на южанина. Он любезно раскланялся с Айгюль... Прошествовал, размахивая ручками, смешной Тихомиров из Туркменского филиала НИИ со своей всегда улыбающейся редкозубой супругой и целым

выводком малышей.

Где же Тойджан? Девушке становилось не по себе. В толпе много знакомых, и, должно быть, все замечают ее одиночество, шепчутся за спиной: «Кого это Айгюль Човдурова ждет так долго?»

Все-таки очень странно, что Тойджан не пришел раньше. А она торопилась... С завистью поглядывая на прогуливающиеся пары, она заметила и Нурджана с Ольгой. В зеленом платье, резко оттенявшем ее золотые волосы, Оля Сафронова была очень хороша, весело болтала со своим спутником, размахивая зеленой сумочкой. А оператор — мечтательный нежный мальчик с родинкой — был просто неузнаваем в синем костюме, светлом галстуке и в начищенных до зеркального блеска туфлях. Айгюль вспомнила, как они сегодня сидели на подоконнике в красном уголке во время разнарядки и глядели друг на друга влюбленными глазами... «Вот она — нефть, — немного торжественно, под стать этой минуте общего возбуждения, подумала Айгюль. — Говорят, она пачкает. Ничего подобного — она очищает! И душу и мысли очищает, делает чистыми как алмаз! Они любят друг друга и, конечно, не решаются говорить о любви. И долго еще не решатся, чтобы не спугнуть свое чувство...»

Мысли перекликаются на расстоянии — Нурджан с Ольгой тоже говорили о том, что, глядя сейчас на Айгюль, нельзя подумать, что эта девушка весь день в своем кителе и брюках бродит между качалками и вышками, не боясь ни ржавого железа, ни мазута. Но Айгюль вдруг испугалась, что операторы подтрунивают над ней, и быстро повернула в сторону.

Площадь заметно опустела, а Тойджан не показывался. Айгюль начала всерьез беспокоиться. Что, если со своей бешеной ездой на мотоцикле он налетел на кого-нибудь или лежит в кювете с разбитой головой? Или на буровой случилась беда? Вспомнились мамины предостережения, и мысли пошли, побежали совсем в другом направлении. Может, Тойджан просто не уважает ее?.. Услышал какие-нибудь небылицы про ее отношения с Керимом и решил, что можно не стесняться...

— Вот кого давно не видел! — раздался неприятно знакомый голос.

Айгюль подняла голову. Перед ней стоял Ханык Дурдыев, работник отдела технического снабжения треста бурения. Вертлявый, с дергающимся личиком и вечно плаксивой улыбкой, которая казалась ему неотразимой, он был щегольски одет, специально для театра — в охотничьей куртке со множеством больших и маленьких карманов и в голубых брюках «дудочкой». «Думает, что похож на актера, а на самом деле годится только в официанты», — сурово оценила Айгюль и вдруг с необыкновенной ясностью поняла, почему этот приволакивающийся за ней человек так ей несимпатичен: он всегда старается казаться не тем, кем был на самом деле.

— Что вы тут делаете в одиночестве? — продолжал Дурдыев, готовясь взять ее под руку.

Вот наконец она услышала то, что так боялась услышать! Но, несмотря на полную непринужденность Дурдыева, этот вопрос прозвучал так глупо, что девушке стало смешно, а не стыдно, и она, отвернувшись, ответила:

— Как ни странно, собираюсь смотреть балет. А вы поторапливайтесь — опоздаете.

Прозвенел второй звонок. Заметно прибавляли шагу подходившие к театру. Айгюль видела, как, озираясь по сторонам, поднимался по лестнице ее вертлявый поклонник.

Выждав еще минуту, она решительно направилась в зал.

Как на беду, Тойджан взял билеты первого ряда. Слева от Айгюль сидел преподаватель из Москвы, у которого Тойджан на прошлой неделе консультировался по курсу насосной добычи.

Справа — пустое кресло. В эти несколько минут, пока не погас свет в переполненном зале, Айгюль испытала еще более мучительную неловкость, чем на площади, она боялась поднять глаза, чтобы не встретить чей-нибудь любопытный взгляд. А тут еще шумно заняла весь второй ряд, позади Айгюль, семья директора банка Халлы-курбана Гельдыева. Чинно уселись дочери — Тувакбиби, Оразбиби, Аннабиби и сыновья Мамед и Оразмамед. И мать семейства, наклонясь к Айгюль, спросила: «А где же ваши?..»

И оттого, что их было так много, а она сидела одна рядом с пустым креслом, ей совсем стало грустно, сиротливо.

— А вот и программка!.. Разрешите поухаживать за вами? — к ней снова придвинулось чисто выбритое и сильно напудренное личико Ханыка Дурдыева. Он бесцеремонно уселся в кресло Тойджана.

— Это место занято, — тихо сказала Айгюль.

— Опоздавших не пускают, — громко возразил Дурдыев.

В эту минуту в зале наконец погас свет и кончились страдания Айгюль. Раскрылся занавес. На сцену выехал, погоняя ногой ослика, Алдар Косе с редкой всклокоченной бородой, в шапке, вывернутой наизнанку. Все в зале засмеялись. Заливался смехом, будто от щекотки, и Ханык Дурдыев, он даже и не подумал удалиться на свое место. В зале сидели туркмены, азербайджанцы, русские, армяне, но язык балета, юмор и мудрость Алдара Косе были понятны всем. Только молоденькая Оразбиби с косами, переброшенными на грудь, сидевшая за спиной Айгюль, громко зашептала:

— А кыз, что же они молчат? Почему не разговаривают?

Ее сестра Тувакбиби зашипела:

— Если сколько-нибудь способна соображать, пойми мимику! И помолчи! Незачем всему залу знать, что ты первый раз в балете...

— А разве это стыдно?

Сестры долго бы еще препирались, если бы Дурдыев не остановил их укоризненным взглядом.

Спектакль переносил в далекие времена, когда баи, ханы угнетали народ, когда влюбленным приходилось преодолевать тысячи препятствий, чтобы встретиться друг с другом, когда обесчестить женщину считалось за доблесть... И, несмотря на наивность сюжета, условные страсти, преувеличенную жестикуляцию актеров, Айгюль невольно сравнивала судьбу героини со своей. Что бы с ней было, если бы не изменились времена... Кто позволил бы ей взять в руки книгу и тетрадь? Довелось ли бы свободно встречаться с любимым? Ждать на глазах у всех Тойджана? Ах, Тойджан... Айгюль смотрела на сцену, но мысли ее унеслись далеко. Нет, она еще не знает своего любимого. Несколько встреч наедине, несколько ласковых разговоров. Правда, отец всегда хвалит бурильщика, но ведь он ценит только его любовь к делу, напористость и дисциплину. Неизвестно, что еще он скажет, если спросить, достоин ли Тойджан его дочери...

Действие окончилось, народ выходил из зала. Айгюль увидела, как Тойджан, широко улыбаясь, пробивается к ней в толпе. На минуту он помрачнел, когда заметил, что рядом с Айгюль сидит Дурдыев. Но техснабовца это несколько не смутило, а вернее всего, он и не заметил недовольства Тойджана. Он только нехотя уступил место.

— Поздно, поздно появляетесь, — сказал Дурдыев, — пропустили самый лучший акт. Мы с

Айгюль чуть не умерли со смеху...

Хотя все это было неправдой и Айгюль, погруженная в свои мысли, даже не улыбнулась, она была благодарна Дурдыеву за бессмысленную ложь. Пусть Тойджан не думает, что она скучала.

— Твой отец задержал, прости, пожалуйста, — возбужденно заговорил Тойджан, не выпуская ее руки. — Он вернулся из конторы туча тучей. Мы даже подумали, не заболел ли старик.

— Что случилось? — испугалась Айгюль.

— Крепко поругался с сыном! Тот оскорбил его при людях, разве так можно...

— Из-за чего, Тойджан?

Ей вдруг пришло в голову, что они поссорились из-за нее и Тойджана.

— В бригаде мы все хотим ехать бурить в Сазаклы. Отец высказался об этом в конторе, а Човдуров лезет на стену — ему бы вообще закрыть разведку в пустыне. Трус!

Айгюль, счастливая оттого, что Тойджан наконец появился, не хотела спорить и обижаться.

— Уже пробовали, Тойджан. Ведь бурили, и не было удачи, — примирительно заметила она.

— Так и твой брат говорит.

— Ну и что же...

— Он там бывал только верхом на самолете.

— Это неправда.

— Не любит он Сазаклы.

— А это другой вопрос.

Ханык Дурдыев, не отходивший от Айгюль, с важностью ее поддержал:

— Я слышал сегодня в тресте, как сам Тихомиров говорил: искать нефть в барханных песках все равно что иголку в возе с сеном.

— Что вы понимаете в бурении? О чем мы будем с вами толковать? — оборвал Тойджан. — А тебе скажу, — обратился он к Айгюль, — что и Сулейманов, и Сафронов, и даже начальство в Объединении — все считают, что Човдуров неправ.

— И у всех у них, вместе взятых, меньше ответственности за дело, чем у моего брата, — сказала Айгюль, задетая резким тоном Тойджана.

— Кто отвечает, тот и решает, — снова вмешался Дурдыев и, довольный своим афоризмом, победоносно поглядел на Айгюль.

— Не хотите ли покурить? — спросил Тойджан.

— Что ж, пойдете...

— Я некурящий.

Наконец Дурдыев понял, что Тойджан тяготится его неотвязным присутствием.

— Я не тороплюсь, — сказал он, удобно облокотясь на рампу.

— Тогда найдите себе еще какое-нибудь занятие.

Дурдыев надулся как индюк.

— Я не знал, что у вас с Човдуровой секретные разговоры. Так бы и сказали... — и неторопливо пошел прочь.

Айгюль покраснела.

— Как же можно так грубо... — сказала она.

Ты же видишь, что мягче с ним бесполезно разговаривать.

Молча вышли в фойе. Айгюль все еще не могла опомниться. «В чем виноват Дурдыев? — думала она. — Он глуп и самодоволен, но ведь поздно его перевоспитывать. Нет, я в самом деле еще не знаю Тойджана. Это взведенный курок. Чуть что не понравилось, и он уже готов поджечь порох. Хоть он и ругает Аннатувака, но характер у него точно такой же...»

И, будто угадав, Тойджан ревниво спросил:

— Значит, ты всегда и во всем соглашаешься с Аннатуваком?

— Когда он прав, всегда соглашаюсь. Там ищут уже много лет и все без толку.

— Что ты говоришь, Айгюль! На Урале искали пятнадцать, а то и двадцать лет, в Татарии — десять лет без существенных результатов. Зато потом!.. Сама знаешь...

— Я тебе твердо говорю: нефтеносность сазаклыньских пластов полностью доказана!

Вдруг он улыбнулся, заглянул в глаза Айгюль и сказал:

— Ну что мы спорим!.. Ты просто сердишься на меня за то, что я опоздал?

Айгюль молча кивнула головой и подумала: «Не могу же я признаться, что благодарна брату за его упрямство, что не хочу разлуки с любимым, хочу видеть Тойджана каждый день, всегда... Как он умеет меняться в одну минуту! Чуть ли не кричал на меня, а теперь кроткий как ягненок...»

Началось второе действие. Они сидели рядом. Сильный, большой, он ворочался все время, ему было тесно в кресле, тесно в костюме, и он боялся неосторожно задеть Айгюль. А она все время плечом чувствовала его плечо, руку и была так счастлива, что не видела ничего на сцене, она была вознаграждена за все неприятности этого вечера.

Вдруг, в самом неподходящем месте, он жарко зашептал:

— Ты знаешь, что рассказывал Сулейманов, главный геолог: возмутительные факты! Разве с этим можно мириться! Говорит, что за четыре года наша разведка сделала четыреста тридцать тысяч метров проходки, а на долю новых площадей приходится всего сорок четыре тысячи!.. Подумай, одиннадцать процентов!

— Тише, дай людям слушать, — смеялась Айгюль.

Но он долго не мог успокоиться. Она часто ловила на себе его влюбленный взгляд, смущалась, краснела, как девочка, тихонько шептала:

— Смотри на сцену.



Когда он провожал ее домой, мутная луна повисла над городом, как кинутый в небо мяч.

## Глава четырнадцатая

### По чьей вине остыли пельмени

Было совсем темно, когда Тамара Даниловна Довженко, жена Аннатувака Човдунова, вернулась домой с работы. Навстречу матери выбежал Байрам. Светловолосый и черноглазый, смуглый и курносый, приветливый и упрямый четырехлетний мальчик удивительно соединял в себе черты отца и матери. Тамара Даниловна высоко подняла сына, прижала к себе, расцеловала загорелые щеки. Упершись руками в грудь матери, Байрам отстранился и строго спросил:

— А где папа?

— Разве он не приехал?

— Всегда вы меня обманываете.

— Неправда, Байрам-джан! Тебя никогда не обманывают.

— Сказали, что вместе приедете, и обманули. Я ждал, ждал... Даже не обедал.

— Вот мы с тобой и пообедаем вместе.

— А папа?

— А у него, малыш, срочная работа.

— Как же он будет работать голодный?

— Байрам-джан, он поест на работе.

— Я хочу его видеть! Всегда я один...

— А Марья Петровна?

— Петровна со своими кастрюлями. Даже сказку мне не рассказала.

— А игрушки?

— Они же не говорят! Я спрашиваю, спрашиваю, а они ничего не отвечают. Я их целую, а они не целуются, сколько ни прошу...

— Ах ты мой бедный... А в детсад пойдешь?

— Папа тоже там будет?

Тамару Даниловну всегда удивляла эта страстная привязанность мальчика к отцу, которого он так мало видел. Иногда ей казалось, что сын любит Аннатувака, потому что чувствует, что этот высокий, мрачноватый с виду человек такой же мальчишка, как и он сам, а может, и потому, что отец баловал Байрама, не желая омрачать короткие встречи замечаниями и наставлениями. Видя, что мальчик сейчас очень огорчен, мать попыталась отвлечь его от печальных мыслей.

— Не грусти, Байрам-джан, придет весна, и мы с папой возьмем отпуск. Вместе будем обедать, вместе гулять, покажем тебе разные игры, качели устроим...

Мальчик развеселился, закружился, запрыгал, побежал к своим игрушкам поделиться радостной вестью, что весной вся семья, все трое возьмут отпуск.

Сидя за обедом, Тамара Даниловна весело болтала с сыном, а сама с нарастающей тревогой прислушивалась, не подъехала ли машина.

Все в Небит-Даге считали, что у Човдунова тяжелый характер, и, несмотря на это, многие любили его. Сотрудники боялись вспыльчивости Аннатувака, осуждали его внезапные решения, но знали, что человек он прямой и честный, никогда не станет сводить личных счетов. Когда-то, в первый год жизни в Небит-Даге, Тамара Даниловна догадалась, что она умеет лучше самого Аннатувака объяснять людям мотивы его поведения, не раз ей удавалось предупредить конфликты, рассеять недоразумения, хотя сама она, конечно, больше всех страдала от строптивости мужа.

Аннатувак любил ее, как никого на свете. В его отношении не было ничего рассудочного или хотя бы обдуманного, это было мужское обожание, и молодая женщина чувствовала это, как чувствует растение солнечное тепло. Но когда он приходил домой ожесточенный событиями служебного дня, она боялась этих минут: нельзя ничего предугадать. Расслабляющая душу радость оттого, что Тамара рядом, и гнев, отвердевший за день, делали его душевное состояние ломким, готовым мгновенно измениться от какого-нибудь пустяка. И часто туча, собиравшаяся над морем, проливалась в садах. Иногда, пересказывая в лицах какое-нибудь служебное столкновение и вдруг почувствовав ее несогласие, он поднимал ее на руки и нес из одной комнаты в другую. И в эти минуты она не знала, что его толкает, любовь или ярость, слепой гнев. Может, сейчас он бросит ее и будет топтать ногами? Ей становилось стыдно и за себя и за него, в такие минуты она даже лишалась речи от страха, именно от страха за себя...

Как легко все казалось в юности, когда они учились в Москве, на Большой Калужской, в нефтяном институте, ездили после зачетов купаться в Химки, а зимой прямо с лекций убегали на каток в Парк культуры и отдыха. Все нравилось ей в Аннатуваке: и блестящие черные глаза, и курчавые черные волосы, и крепко сжатые губы, говорящие о сильном характере, и шрам на шее — след фронтовой раны. Аннатувак был в ту пору беззаботен и весел, приветлив и внимателен ко всем. Редкие вспышки раздражительности и гнева казались ей такими же отметинками фронтовых лет, как и шрам на шее. Они должны были сгладиться со временем.

Молодые люди кончили институт, приехали в Небит-Даг и уже пять лет жили вместе, жили счастливо и дружно. Только приступы неукротимого гнева Аннатувака иногда тревожили Тамару Даниловну. В эти часы ее охватывала безотчетная тревога, какая бывает у нервных людей в ожидании грозы.

Уложив в постель закапризничавшего Байрам-джана, она долго не могла убаюкать его. В свои четыре года мальчик очень хорошо знал, что если он уснет, то проснется только утром, а по утрам отец и мать покидают дом. И снова потянется длинный, скучный день... Байраму очень хотелось спать, но еще больше — продлить вечер и дожидаться прихода отца.

— А почему не возвращается папа? — упрямо тянул малыш.

— Потому что он работает, — терпеливо отвечала Тамара Даниловна, укутывая платком лампу-ночник.

— Разве нельзя оставить работу на завтра?

— А кто сегодня будет добывать нефть?

— А зачем добывать нефть? — упрямо боролся со сном Байрам.

— Без нефти не смогут работать заводы, фабрики, не будут бегать автомашины.

— Пусть папина машина постоит один день в саду.

— Если на нефтяных промыслах перестанут работать — все остановится. Самолеты не будут летать, тракторы станут в поле, лампочки потухнут в домах...

— И будет совсем темно?

— Совсем темно.

— Ну, тогда пусть работает... — со вздохом сказал Байрам, решив, что теперь может со спокойной совестью уснуть. Он молча повернулся лицом к стенке и затих.

И сразу Тамара Даниловна потянулась к телефону. Сулейманов был дома, его негромкий голос всегда успокаивал. И сейчас, хотя он не знал, куда мог поехать Аннатувак Таганович, он убедительно просил не беспокоиться. Ничего дурного случиться не могло.

— Он не мог поехать в Сазаклы? — спросила Тамара Даниловна.

— Нет, вряд ли...

И Сулейманов рассказал, что утром прилетели Атабай и Очеретько, скважина закрыта ввиду грифона и было совещание...

— ...Довольно шумное, — добавил Султан Рустамович и тотчас поспешил уточнить: — Однако кинжалы остались в ножнах.

Они еще шутливо поговорили, и Сулейманов пожелал доброй ночи.

Немного успокоенная, Тамара Даниловна позвонила на квартиру отца Аннатувака. Вряд ли муж мог быть там и не позвонить, но ей не хотелось сидеть в бездействии. Сейчас она была уверена, что Аннатувак повздорил с кем-нибудь в конторе, не хочет ехать домой в раздраженном состоянии и вот выдумал себе какое-нибудь дело в Кум-Даге или на Вышке или просто гоняет в машине со своим Махтумом по солончакам.

К телефону подошла Тыллагюзель. Айгюль нету дома — в театре, там нынче балет «Алдар Косе». Таган-ага уже отдыхает, лежит в постели.

— Он хочет что-то сказать тебе... — заметила Тыллагюзель и, послушав, что говорит муж из другой комнаты, смеясь перевела на русский язык: — Он просит сказать, чтобы ты не спускала Аннатуваку никакой обиды, держала его в руках, не опускала вожжи... Отец просит сказать тебе, что спокойной бывает лишь сытая ослица, а осел начинает беситься с жиру.

— Что это значит?

— Разбирайся сама, Тумар-джан, — тихо сказала Тыллагюзель и осторожно положила трубку.

Теперь уже не владея собой от нетерпения и тревоги, Тамара Даниловна позвонила в гараж, может быть, нечаянно подойдет к телефону Махтум, и все объяснится. Гараж молчал. Вдруг она подумала, что ведет себя, как маленький Байрам, который спрашивал, где папа, и не хотел заснуть. «Он любит отца, потому что чувствует, что тот тоже мальчишка, маленький, как и он сам... А я за что люблю его? За то же самое?.. Не знаю, но мне сейчас очень горько,

очень... страшно. Почему он не догадывается?»

Аннатувак явился в полночь, привез сухие веточки черкеза, положил их на столик у телефона, как любила жена. Не расспрашивая ни о чем, Тамара разогрела чайник, подала пельмени на стол, постелила постель, стараясь делать вид, что все так и должно быть, что самое время — приезжать с работы среди ночи. Когда все дела были кончены, она устроилась в кресле напротив Аннатувака. Муж пристально поглядел на нее. Выпуклый лоб Тамары, осененный русыми завитками, был ясен, длинные прямые брови не хмурились, но в далеко расставленных карих глазах чувствовалась затаенная тревога. Она сидела удобно, но почему-то покачивалась, пальцы выбивали быструю дробь на ручке кресла. Аннатувак слишком хорошо знал жену, чтобы не понять, что ее беспокоило его долгое отсутствие и теперь она ждет объяснений. Но как рассказать о том, что взбудоражило сегодня?

— Ездил на Джебелский водный узел, там землекопы во главе с нашим Хаджинепесовым нашли отличный бутовый камень — захотелось взглянуть... В песках тишина, воздух прозрачный, не подумаешь, что утром была буря...

— Да, ночь лунная, тихо... — поддержала разговор Тамара Даниловна.

— Трудный был день у меня, Тумар-джан, — продолжал Аннатувак. — Устал. Зато теперь все ясно. С Сулеймановым работать нельзя.

— Как ты в этом разобрался? — неторопливо спросила Тамара Даниловна.

Она знала, что, если Аннатувак начал, рано или поздно все выскажет.

— Объяснились до конца. Так лучше, правда? — Он взял ее за руку, глаза улыбнулись. — Знаешь поговорку: «Сели криво, а поговорили прямо»... Очень уж напористый деятель твой Сулейманов.

— Ну, не такой уж он мой и не такой уж напористый. По-моему, главное достоинство Султана Рустамовича вовсе не в организационных талантах, а в умении взять правильный прицел, видеть перспективу...

— Вот, вот, — усмехнувшись, подхватил Аннатувак. — Ты совершенно права — «умение видеть перспективу». Им всем кажется, что только они видят перспективу, а сами слепы как кроты!

«Ну, так, — подумала Тамара Даниловна, — похоже, что переругался и с Сулеймановым и с Сафроновым».

— Может, ты верно говоришь, — сказала она вслух, — я ведь не знаю, из-за чего вы спорили.

— Какой может быть спор! О чем тут спорить? Опять в Сазаклы беда...

Он, видно, хорошо себя утомил ездой по джебелским солончакам, потому что рассказывал весело. Прошел в соседнюю комнату, вернулся оттуда, гремя доской с костяшками для игры в нарды. Молча предложил сыграть — она покачала головой, не захотела, устроилась поудобнее. И снова он сел рядом, взял ее руки, поцеловал.

— Меня удивляет: такой спокойный и трезвый человек, как Андрей Николаевич, поддерживает Сулейманова. — Он рассмеялся. — Откуда такая близорукость?

— А тебя кто поддержал?

— Тихомиров! — отрывисто буркнул Аннатувак.

— Незавидный союзник...

— Ну, знаешь, я свою точку зрения утверждаю независимо от того, кто с ней согласен! — и он выпустил руки жены из своих рук. — Так можно далеко зайти! Может, ты посоветуешь мне сперва звонить в Ашхабад, а потом уже высказываться? У меня своя голова на плечах!

Хотя упрек был несправедливым, Тамара Даниловна не стала спорить и только спросила:

— А чем дело кончилось?

— В том-то и беда, что ничем.

— Так чего же ты сердишься?

Она ждала ответа, а он молчал. Не рассказывать же, как хлопнул дверью в собственном кабинете!

— Ты не представляешь себе, как может раздражать прекрасодушие безответственных людей, — помолчав, тихо сказал Аннатувак. — Они умеют так повернуть твои мысли, что ты выглядишь каким-то чиновником, карьеристом...

Ну, ну, это уж ты преувеличиваешь. Никто тебя таким не считает.

— Ты думаешь? А я своими ушами слышал, как Очеретько сказал Сулейманову: «Бойтся, что контора сползет с первого места на последнее...»

— А на самом деле? Чего ты боишься?

— На самом деле тащат меня в авантюру! За сорок лет ничему не научились и меньше всего — считать государственную копейку. В вузах надо преподавать экономику, вот что! — Разгорячась, он не замечал, что говорит почти теми же словами, которые днем приписал ему Сулейманов. — Им бы поучиться хотя бы у старых челекенских хозяев — у Нобеля и Гаджинского, даже у их приказчиков! Те на верблюдах везли нефть в Персию, но каждое ведро должно было принести прибыль, чистоган. Без этого у них ни одно колесо не вертелось!

Тамара Даниловна понимала мужа с полуслова. Она знала, как он предан своему делу, как любит Небит-Даг. Спросить ее, как выглядит патриот, — она бы показала на Аннатувака. И сейчас, докопавшись наконец до настоящей причины его огорчений, она была полна сочувствия: нет, на этот раз дело не в характере.

— Так что ж ты прямо им не сказал! — воскликнула она.

— Не могу же я перекричать Сулейманова! — Он рассмеялся и обнял жену, взгляд его был светел, и какой он молодой был в эту минуту. — Кстати, Сулейманов, конечно, не твой, а мой, и я его когда-нибудь разорву на части.

— Не надо, милый!

Теперь, когда им стало так хорошо и весело вдвоем, она не хотела больше «держат вожжи», как советовал почтенный тесть... Она уже разобралась без посторонних. Конечно, муж прав! Ей только хотелось найти выход: не может быть, чтобы не нашлось единомышленников среди достойных людей.

— Разве ты не можешь поговорить с Атабаевым? Что сказал бы Аман? — Она спросила и поняла, что напрасно, — Човдуров помрачнел.

— Аман помалкивал на совещании, а после сказал мне, что я напрасно обидел отца... А это самая подлая демагогия, — тихо произнес Аннатувак.

— Ты лучше меня знаешь, что Аман никогда не занимается демагогией. — Тамара Даниловна задумалась и неожиданно спросила: — А ты действительно обидел отца? Он был на совещании?

— А что Байрам-джан? — уклонился Аннатувак.

— Как всегда, скучает без тебя. Еле укачала, все надеялся, что дождется...

— А я без толку гонял... Пойдем-ка посмотрим на малыша.

Обнявшись, они вошли в детскую комнату, там было темно и прохладно. Ветер, врываясь в открытую форточку, шевелил легкую занавеску. Байрам-джан спал, закинув одну руку за голову и крепко сжав в кулак другую.

— Как он похож на тебя... — сказал Аннатувак. — Видишь, брови во сне поднимает совсем как ты.

— А губы? В нашей семье так сжимают губы только ты да он.

Это был привычный спор любви. Тамаре казалось, что сын больше похож на отца, а мужу, что мальчик — вылитая мать.

Помолчав, Аннатувак задумчиво сказал:

— Не понимаю, какая муха укусила отца... Что ему не сидится дома, на обжитых промыслах? Он бурит здесь, в двух шагах от квартиры...

— И хочет ехать в Сазаклы?

— Да. Понимаешь?

— Понимаю...

— Пойди поговори с ним завтра.

— Нет, не пойду, Аннатувак.

Она знала, что Таган выслушает и не рассердится за вмешательство, но чувствовала, что должна отказать мужу. Из разговора с Тыллагюзель она поняла, что мастер убежден в своей правоте, и ей не хотелось склонять Тагана на сторону сына. И чтобы Аннатувак не настаивал больше, Тамара Даниловна решила даже на хитрость.

— Неужели надо тебе напоминать, что я женщина, — ласково сказала она, положив голову на плечо мужу. — Не мне становиться посредницей в спорах между тобой и отцом. Думал ли ты, почему меня уважают в доме стариков? И ты хочешь, чтобы я потеряла уважение? Нет, сам иди и говори с отцом, как там у вас полагается...

Они на цыпочках вышли из детской.

— А знаешь, ты подала хорошую мысль, — сказал Аннатувак. — Я навещу отца. Давно не был у стариков... Что тут плохого — навестить отца?

«Что тут унижительного для моего самолюбия?» — перевела для себя эти слова Тамара Даниловна.

Вслух она весело сказала:

— Ну, вот и чудно!

## Часть 2

### Выход в пустыню

#### Глава пятнадцатая

##### В доме Човдуровых

И в самый знойный край когда-то приходит осень, переменчивая, капризная осень, канун южной зимы. Погоду уже нельзя было угадать. То вдруг белесым туманом заволакивало весь горизонт, то влажный ветер раздергивал туман, на час небо прояснялось, и снова приходил караван облаков, в их пламенеющих разрывах еще блистали солнечные копы, потом тучи сбивались, точно мокрая шерсть, и начинал моросить дождь.

Никто больше не тянулся из Небит-Дага в отпуск в Россию, на Кавказ. Дважды в год — ранней весной и поздней осенью — небитдагцы не нахвалятся родными небесами, а многие убеждены, что в эти дни нигде и не может быть лучше. Хорошо, что перестал дышать днем и ночью во все щели сухой и жаркий, изнуряющий ветер!.. А изобилие фруктов на базаре, а воздух, а все тона и оттенки неба, а мягкая лиловая теплота Большого Балхана над крышами города! Теперь по ночам люди отсыпались в блаженной прохладе, а поутру шли на работу не с красными, воспаленными глазами, а бодрые, оживленные. Повеселели машинистки в конторах и трестах, шоферы на дорогах, повеселели даже птицы в садах, их стало больше. Звонкий гай раздавался в пестрой листве деревьев и кустов. Похорошели женщины. И расторопный работник УРСа, ведающий всеми ледниками и холодильниками города, теперь по вечерам в гостинице играл с приезжими в преферанс.

Аннатувак Човдуков деятельно жил и ожесточенно работал. Разъезжая с ним по буровым, шофер Махтум не расставался с машиной. В ожидании начальника, разговарившего с рабочими, шофер бросал вышитую женой подушку в тень возле машины, садился, скрестив ноги, и слушал музыку — из открытой дверки машины разносилось над промыслом щемящее теноровое пение.

Дважды вылетал Аннатувак Човдуков в далекое Сазаклы, где копошились в барханных песках измученные, не вылезавшие из аварий бригады бурильщиков. Мастер Атабай встречал хмуро, без обычного балагурства. Как и многие бурильщики, он не мог понять, что начальник прилетает впопыхах на самолете вовсе не потому, что боится трудностей многочасового передвижения через барханы, а потому, что рабочего времени жаль. Ведь и нервной экземой обзаводятся не от спокойной жизни, а посмотрели бы они на воспаленные, вечно расчесанные пальцы левой руки Аннатувака, на красные зудящие пятна в сгибе локтя...

Аннатувак Човдуков не давал себе отдыха. Неутомимый и напористый, он поспевал всюду, всех подталкивал, иногда обижал, что поделаешь! В конце месяца всюду авралят, и на буровых вышках тоже. Однажды начальник конторы наткнулся на отдыхающих землекопов, они полулежали кружком в неурочный час и попивали кок-чай из закоптелых самодельных

чайников, перед каждым, как принято, свой собственный. Благодушествовали в рабочее время! Аннатувак носком сапога опрокинул один чайник, хотел разметать и все остальные. Махтум выскочил из машины и удержал... Что поделать — иной раз и обидишь. Зато контора бурения выполняла с гаком месячную программу, пожалуй, и второй дарственный ковер повесим на стене в кабинете: отгрохаем план на двести процентов — за премией дело не станет.

За недосугом, среди забот можно про многое позабыть, но в тайниках памяти Аннатувака все же застряла, не изгладилась одна зарубочка.

В ту лунную ночь после песчаной бури, две недели назад, перед кроватью спящего сына он решил навестить обиженного отца, зайти к старикам. «Что тут плохого, повидать отца?»

Однажды они на ходу повстречались на промысле, среди людей. Аннатувак даже успел извиниться перед стариком за вздор, который сгоряча наговорил ему в кабинете. Встретились и разбежались. А для назначенного разговора не было времени, не хватало, да и только!

Аннатувак Човдуров был в той деятельной и счастливой поре жизни, когда не приходит в голову быть кому-нибудь в особенности нужным: всем надо быть нужным! Он так высоко ставил свой неутомимый труд и результаты, обозначенные мелом на доске в коридоре конторы, даже и эту нервную экзему на пальцах, что не понимал, как можно сердиться на него за недостаток внимания. Нужно лекарство какое-то особенное для беременной жены участкового геолога — он находил время позвонить в Москву, и лекарство присылали на самолете. Нужно закрепить молодежь за конторой, чтобы не утекали по весне в другие, легкие для жизни края, — он лично приезжал на комсомольские свадьбы, садился за стол рядом с матерью жениха или в крайнем случае, если уж позарез нет времени, просил секретаря «организовать» поздравительное письмо от имени дирекции. Верховный Совет утвердил замечательный закон о пенсиях, — и он лично, Аннатувак Човдуров, молодой и в тот день по-особенному жизнерадостный, разбросав на столе списки старых рабочих, вместе с парторгом и главным инженером отмечал галочкой ветеранов труда, кого предстоит с почетом проводить на заслуженный отдых.

Наконец Аннатувак навестил и отца.

Войдя в залитую солнцем столовую, где, склонившись над ярко-зеленой пиалой, черноволосая Айгюль читала газету, он ощутил душевный покой и ясность, то чувство, какое всегда испытывал, посещая своих стариков.

Вот неожиданный гость!

Айгюль обрадовалась брату, принесла пиалу с чаем, усадила Аннатувака за стол, начала расспрашивать о Тамаре и сыне. Рабочий день давно кончился, и Аннатувак удивился, что отца еще нет дома.

— Ушел в поликлинику, — сказала Айгюль, — должен скоро вернуться.

— Что с ним? Болен?

— Видал ты его больного, — усмехнулась Айгюль. — Придумал обзавестись справками о состоянии здоровья. Пошел кровь отдавать на анализ.



Аннатувак покачал головой. Упорный старик: все-таки готовится отбыть в пустыню.

Из кухни выплыла Тыллагюзель с чайником, увидев сына, наклонилась над ним, крепко поцеловала в лоб.

— Хорошо, что как раз сегодня зашел к нам. Дядя Кадыр прислал из Кызыл-су красную рыбу, и на обед будет рыбный плов. Ты всегда любил рыбный плов, я рада, что обед придется тебе по вкусу.

Айгюль пошла к телефону вызвать отца из поликлиники. Мать удалилась на кухню. Пересев в низкое кресло у окна, Аннатувак впервые за много дней порадовался солнцу, багряному убору городского парка за окном, собственной неторопливости и, как ему показалось, даже бесцельности своего прихода.

Хорошо в стремительном темпе жизни, в круговороте дел, захлестывающих с головой, когда не хватает дня и ночи, чтобы совершить все, что задумал, вот так уединиться, исчезнуть ото всех на минуту и по-детски следить за солнечным зайчиком, скользящим по руке. В своем доме Аннатувак чувствовал себя в едином потоке работы и отдыха. Тамара, оберегая его, десять раз обдумывала каждое слово, прежде чем произнести вслух, отдыхала вместе с мужем, когда он уставал, и развлекалась, если ему хотелось веселиться, — совсем как шофер Махтум в машине. Маленький Байрам с откровенным обожанием смотрел на отца и слушался беспрекословно. Казалось, вся жизнь устроена так, как нравится Аннатуваку, он ее центр, все стремится к нему, все от него зависит. Но это сознание ответственности одновременно волновало и отягощало.

Иначе было у стариков: и мягкая неторопливая мать, непримиримо твердый отец, и своенравная, резкая Айгюль ничего не хотели от него и нисколько не заботились о его душевном комфорте. Отношения были простыми и легкими.

Собственно, никаких отношений давно уже не было...

Где-то в сутолоке лет Аннатувак потерял отца, и не было времени, чтобы однажды остановиться и подумать об этом. Когда-то в детстве он любил отца, был счастлив, когда забирался в фанерную будку мастера и прятался там под дощатый стол, а отец делал вид, что не замечает, и эта игра с добрым и могущественным великаном наполняла восторгом сердце маленького Аннатувака. Потом, в студенческие годы, в Москве, Аннатувак стал гордиться отцом: в комнате общежития приятно было читать товарищам, еще не нюхавшим нефти, письма с далеких промыслов, от отца, знатного бурового мастера. Позже — в Небит-Даге — стали жить рядом, в соседних кварталах, работали в одной конторе, а духовные связи с отцом ослабли. В сущности, отец остался все тем же, как в детстве Аннатувака, большим и добрым богатырем, рабочим человеком, вкоренившимся в жизнь нефтяных промыслов, полным здоровья и сил, несмотря на седину и морщины, молодым от вечного труда на буровых, от дружного коллектива, в котором и нехотя помолодеешь. Но молодой Човдуров не замечал этого, он сам был у всех на виду, быстро поднимался по должностной лестнице, все больше ощущая с каждым годом свое неоспоримое превосходство над отцом, и теперь старый Таган-ага — орденоносец, депутат городского Совета, признанный староста небит-дагских буровых мастеров — сохранился в жизни сына главным образом в анкетной графе да изредка служил счастливой декорацией: хорошо было заседать с ним в президиумах или фотографироваться в дружеской беседе — отец и сын! — для газетной страницы.

В последние две недели, после скандала в кабинете, когда, взбешенный неуместным вмешательством отца в спор о бурении в Сазаклы, Аннатувак выбежал, оставив людей и хлопнув дверью, до слуха молодого Човдура все время доходили вести о том, что отцовская бригада упрямо готовится к выходу в пустыню. То главный инженер по просьбе

Тагана вычеркнул из списка отпускников бурильщика Тойджана Атаджанова; то где-то в степи на Джебелской дороге сам Аннатувак повстречал шофера, тот вез в Сазаклы топчаны, и на вопрос «кому?» ответил: «А это мастер Таган-ага просил подбросить».

Но и это не остановило внимания начальника конторы. До сердца не дошло, а если головой начать соображать — что ж, надо найти время и повстречаться со стариком. Пора ему на пенсию, вполне заслужил.

В передней щелкнул замок, и в дверях появился Таган в щегольском коричневом пальто, в светлом шелковом кашне, только шапка-ушанка не соответствовала праздничному виду — старик любил кутать голову.

— Что я вижу, — сказал Таган, — вся семья в сборе. Редкий случай в нашем доме.

— Так жизнь бежит, что оглянуться некогда. Не поверишь, Байрама по три дня не вижу.

— Догадываюсь, — говорил Таган, раздеваясь, — догадываюсь, что занят...

В тоне чувствовался холодок, но Аннатувак и не ждал более сердечной встречи.

— А не позвать ли Тумар-джан? — говорил между тем отец. — Рядом живем, а давно не видел невестку.

— Я к тебе на часок.

— Ну и на том спасибо...

Мастер тяжело опустился на стул, склонил голову и забарабанил пальцами по столу. Вся семья знала, что это означает вызов на прямой разговор и ничего хорошего не сулит тому, кто не заметит этого выжидательного постукивания.

Таган и обрадовался приходу сына и огорчился. Он давно устал ждать решения о выходе бригады на новое месторождение. Скважина, которую бурили на старом промысле, вот-вот достигнет проектной отметки, а впереди ничего не прояснилось. Руководители конторы разошлись во мнениях. Вышкомонтажники так и не получили приказа монтировать новую буровую в песках. Сколько может такое продолжаться? Поэтому мастер обрадовался приходу сына: наверно, принес решение. Иначе зачем он тут? А огорчился он потому, что еще помнил обиду и не хотел видеть обидчика. Правда, обдумав все происшедшее, Таган и себя упрекнул: зачем пришел на совещание? Он-то ведь знал сына лучше, чем Сулейманов. Аннатувак был распален, как буйный верблюд, а он явился и давай еще дразнить. И это по справедливости мучило Тагана, хотя он ни слова не сказал сыну в оправдание, когда тот на промысле что-то пробормотал на ходу, прося прощения.

Айгюль вошла и, заметив неловкое молчание, сказала:

— Наверно, хочешь чаю, отец? — и подала пиалу.

Таган молча осушил ее до дна, пододвинул к себе чайник и снова осторожно наполнил пиалу. Глубокие морщины на лбу разгладились. Он миролюбиво спросил сына:

— Поговорить пришел?

— И поговорить, и послушать. А зачем еще встречаются люди?

Таган широко улыбнулся. Его грубое угловатое лицо сделалось неотразимо добродушным, в

глазах затеплились насмешливые огоньки, как будто сын нечаянно сказал что-то очень смешное.

— Ну рассказывай. По правде сказать, давно тебя дожидался, да и ждать устал.

— Позвал бы, если хотел видеть, или сам пришел бы. Что же мы с тобой будем считаться посещениями... — хитрил Аннатувак, не понимая, куда гнет старик, и желая выиграть время.

— Все думал, что ты придешь, — настаивал Таган.

— Ну, вот я здесь. Но ты, кажется, не очень рад меня видеть?

Айгюль понимала, что отец и брат не договаривают, ей было тягостно слушать такой разговор, и она придумала предлог, чтобы уйти, — надо помочь матери на кухне.

— Всегда рад тебя видеть, — сказал Таган, перестав улыбаться, — но не радуется то, что приходится слышать о тебе.

— Интересно. Что же обо мне говорят?

— Говорят, что ты считаешь себя не начальником буровых бригад, а кем-то вроде старых хозяев челекенских промыслов. И я рад, что могу напомнить тебе, пока еще не поздно, что под твоими ногами не хозяйский участок, взятый на откуп, а наша советская земля. Подумай, мальчик, если так пойдет дальше, неизбежно поскользнешься, оступишься, и ветер унесет твою шляпу, и песок засыплет тебя, и в грязи будет твоя одежда, и ты не сможешь вспомнить имени матери своей...

Только отец — один во всем мире — умел, рассердясь, говорить такими словами.

— Постой, постой! — перебил в смущении Аннатувак. — Кто обо мне так говорит?

— Народ... — развел руками мастер.

Аннатувак пошел и закрыл дверь на кухню. Потом сложил руки за спиной и сказал:

— Если ты считаешь за народ Сулейманова, если веришь тому, что он наговаривает на меня в отместку за то, что не хочу плясать под его дудку...

Отец поднял руку.

— Неужели думаешь, что твои товарищи придут ко мне наговаривать на сына? Совесть им не позволит, да и я не стану слушать. Пусть сами спорят с тобой.

— Так кто же говорит?

— Народ, — упрямо повторил мастер.

— В чем же я виноват?

— Виноват — не виноват. Тебя еще никто не судит.

Таган говорил мягко и спокойно, но кончики усов дрожали от волнения, брови хмурились. Аннатувак не замечал этого, он и сам, изо всех сил стараясь сдержаться, смял твердую папиросную коробку и уронил на ковер.

— Не обижайся на меня, отец, но прошу тебя раз и навсегда запомнить, что я не чучело, охраняющее буровую контору, а инженер, администратор, коммунист.

— Я тоже коммунист.

— Почему ты уверен, что мое мнение стоит меньше, чем мнение моих противников?

Таган усмехнулся.

— Слушай, может быть, позовем Тумар-джан и маленького Човдурова? Сегодня красная рыба к обеду...

Мастер хитрил. Он знал, что Тамара Даниловна всегда его поддержит, а маленький внучонок развеселит и отвлечет людей, когда разговор зайдет о главном. Он не был уверен в поддержке Тыллагузель и Айгюль. Старуха, конечно, обиделась на сына за его выходку, но это, так сказать, по форме, а по существу и ей не хотелось, чтобы бригаду Тагана ушли в пустыню, тут она была заодно с сыном. Айгюль тоже не сочувствует дальней разведке, хотя Таган справедливо подозревает, что ее-то больше огорчит отъезд Тойджана, а не старого отца.

— Сегодня не стоит устраивать званый обед, устал я, отец, — примирительно сказал Аннатувак.

— Дела?

— Заботы и дела.

— Хорошие дела?

— От хороших тоже устаешь. Сегодня мы вспомнили в конторе всех твоих сверстников, всю нашу рабочую гвардию... Много замечательных людей!

— Что это вы нас стали вспоминать? — насторожился мастер.

— Что, разве закона не читал? — спросил Аннатувак. — Советская власть широко шагает. Кто поработал на совесть — тем пора отдохнуть. Сколько ты, отец, пробурил километров? Наверное, уже миллионер.

— А я не считал, времени не было...

Таган, точно встряхнувшись от тяжелой думы, шумно встал и прошелся по комнате.

— И сейчас времени нет! Скважина идет к концу... — Он помолчал, потом напрямик спросил:

— Что же, и меня, выходит, вспомнили?

— И тебя, отец.

— Значит, ты ради этого и пришел?

Думая о своем, Таган так пристально смотрел на бравую фигуру сына, что она поплыла перед ним, как в тумане, и на какую-то секунду показалось, что фигура эта вдруг укоротилась, потом снова приняла свои размеры.

— Мы тебя как ветерана труда, — торжественно и весело говорил Аннатувак, — с почетом проводим на заслуженный отдых. Той устроим — от Балхан до Каспия! Все будут знать: знатный мастер Туркмении, отец Аннатувака Човдурова уходит на покой.

Какую цель преследовал начальник конторы, решив отчислить на пенсию своего отца? Он ясно видел декоративную сторону дела — многолюдный пир с делегатами от всех промыслов, что-то вроде комсомольской свадьбы, на которой он побывал позавчера, в кум-дагском Доме культуры. Если быть до конца откровенным, он хотел бы, конечно, при этом

утереть нос Сулейманову, заодно, пожалуй, и старому другу Аману. Пусть не думают, что он забыл сыновний долг. Нельзя сказать, что не было заботы и о самом почетном пенсионере, нет, было, конечно, желание организовать по-хорошему отцовский отдых на старости лет. Но есть, видимо, вещи на земле, которые нельзя обдумать умом, а надо пережить сердцем, как есть пути, которые нельзя проехать, — их нужно пройти пешком.

Таган сперва даже не поверил своим ушам, так чуждо было то, что он услышал.

— Ни черта не понимаешь, молодой человек, — коротко сказал он, помолчав.

Потом что-то вспомнил и повеселел.

— Знаешь, есть у меня Тойджан, бурильщик, он тоже на меня сердится: старый стал. Вчера сорвал шапку с меня, негодяй, бросился бежать. Разве я его догоню...

— Этот Тойджан тебя и соблазняет ехать в пески, — жестко произнес Аннатувак.

В том, что сказал Таган о молодом бурильщике, он почувствовал и осуждение своей сыновней заботы и нежность к этому беспечному ловкачу, который, пока он работает день и ночь, исподтишка отнимает у него любовь отца.

— Тойджан — хороший парень. У меня все хорошие в бригаде. Все молодые, — возразил отец. — Все ждут твоего приказа, начальник.

«Тойджан — хороший парень...» Я, когда на фронте был, слышал русскую частушку, — с нескрываемой враждебностью продолжал Аннатувак. Он так был увлечен своей злой мыслью, что даже позволил себе тихим голосом спеть:

Все меня в деревне знают,

Я ничем не дорожу.

Если голову сломают,

Я полено привяжу...

Приоткрыв дверь, Айгюль с удивлением слушала, как поет брат.

— Так вот, отец, знай, что хороший Тойджан может привязать полено, а я, плохой, нет. Мне за всех думать надо.

— Как ты можешь говорить про человека, которого не знаешь, — «полено»! — притворно возмутился Таган; теперь он дразнил ревнивого сына, нащупал его слабость и дразнил. — Тойджан — умный парень, грамотный бурильщик, смелый, веселый, я его люблю как сына, с ним не постареешь: шапку с головы сорвет и убежит!

— Я с тобой согласна, папа! — крикнула Айгюль, глаза ее сияли. — Тойджан очень хороший. Только ты не понял Аннатувака, он не дубиной назвал твоего бурильщика, а говорил об ответственности.

— Я говорил о ловкачах — они хитро прячутся за спиной у старых людей, пользуются их доверчивостью, их слепотой! — Аннатувак больше не сдерживался, и высокий голос его наполнял всю квартиру. — Как назвать тебя, отец, если ты, развесив уши, слушаешь такого, как будто его устами говорит сам пророк!

Тыллагюзель прибежала из кухни на крик; обняв за плечи дочь, говорила из-за ее спины плачущим голосом:

— Ай, Тувак-джан, как можно кричать на отца! Разве этому я тебя учила?

— Мало мы его учили! — в негодовании говорил Таган. — Слышишь: лает на отца, как куцый кобель!

— Прошу тебя помнить, что прошли времена, когда ты называл меня щенком и ослом! — Аннатувак был вне себя от ярости. — Я такой же зрелый человек, как и ты, а многое понимаю лучше тебя.

Теперь вмешалась и Айгюль.

— Как не стыдно... Я горю от стыда за тебя! Кто нас вырастил, помог стать людьми? И так благодарить отца и мать? В их доме грубишь...

— А меня позорить можно? — огрызнулся Аннатувак.

Сейчас, когда женщины бросились на обидчика, Таган растерялся, размяк. Он приник к плечу дочери, как будто она и в самом деле превратилась в надежного покровителя, и глухо сказал:

— Вы мои дети, я одинаково люблю вас... Ваша добрая слава — моя гордость. Если палец себе уколете — мое сердце болит, как ваша рана. Я сержусь на Аннатувака не из ненависти, а по любви, хочу исполнить отцовский долг. Но что делать!! Он не слышит голоса моего! Не понимает, что, когда уткнется носом в землю, я первый поспешу на помощь. Не понимает, что не нужно ждать конца, а лучше исправить вначале.

Аннатувак порывисто подошел к отцу, склонил голову.

— Ты меня прости за крик, — тихо сказал он, — я снова забылся. Но ведь сердце разрывается от незаслуженных оскорблений!

— Настоящее сердце не разорвется, когда услышит правду.

— Да ведь я свое сердце не на базаре купил! Оно ко мне от тебя перешло!

Отец вдруг рассмеялся, и у всех отлегло от сердца.

— Вот это верно сказал!

Он, видно, вспомнил, что сам в молодости был вспыльчив и драчлив, часто и кулаки в ход пускал, и подумал: «Конечно, бешеный нрав ему от меня достался — не на базар же ему идти сердце менять». И, хохоча, повторил:

— Вот это ты верно сказал!

А Тыллагюзель, смахнув слезу со щеки, пошла из комнаты, грустно приговаривая:

— Плов подан... Довольно. Усаживайтесь-ка за стол.

Глава шестнадцатая

Как же так получается...

После полудня розовато-серая туча, приплывшая со стороны моря, быстро разрослась и захватила все небо. Дождя не было, но чуть моросило, и одежда людей казалась покрытой инеем. Как все инвалиды, Аман был очень чувствителен к переменам погоды. Сидя у окна в своем кабинете, он зябко поеживался и рассеянно смотрел на улицу. По комнате еще плавали голубоватые клубы табачного дыма: только что удалился последний посетитель; наступила редкая для парткома минута затишья. Сегодня у Амана был тяжелый день: с утра ездил на буровые, с обеда заседал партком, потом набежали люди. Энтузиасты и жалобщики, сутяги и изобретатели — все тянулись в партком, кто посоветоваться, кто поругаться, а кто и просто услышать сочувственное слово.

Рабочий день шел к концу. В эти часы около двухэтажного здания конторы бывало особенно оживленно. Взад и вперед сновали рабочие в спецовках и стеганках, возвращались с дальних участков геологи в прорезиненных плащах и брезентовых сапогах. Из старенького «газика» выскочил всегда спешащий Аннатувак, в ушанке и высоких сапогах, перекинулся словом с каким-то рабочим, стоявшим у крыльца, исчез в дверях. А Аман все сидел неподвижно у окна, хотя, погрузившись в воспоминания, уже давно не замечал, что происходит на улице.

...Да, в те дни, до войны, постоянно, кажется, светило солнце и никогда не бывало усталости... Вот он, Аман, совсем юный, широколицый, стоит в тесном кругу односельчан, заткнув руки за пояс. В селе свадьба, устроили гореш, и Аман первый среди пальванов. Он с виду-то не похож на пальвана, просто крепко сколоченный парень среднего роста, и только быстрота его да ловкость заставляют всех противников лететь на землю. И неугомонные глашатаи вопят: «Аман Атабаев, твоему имени слава! Поздравляем! Хе-ов!»

Где эти дни? Разве молодость прошла? Что за возраст для мужчины — тридцать шесть лет? И, нервно передернув плечами, Аман снова замечает серое небо, и вышки вдали, и случайного прохожего в шинели без погон. Болят старые раны, по-осеннему ноет сердце...

В дверь постучали. Вошла Марджана Зорян, секретарь комсомольской организации конторы, молоденькая девушка с густыми косами, уложенными корзиночкой на затылке, живыми зеленоватыми глазами, тонкими губами, готовыми улыбнуться. Увидев Амана, откинувшегося на спинку кресла, непривычно бездеятельного, она было рванулась к нему, но смутилась.

— Ну, рассказывай, Маро, что там у тебя? — устало спросил Аман.

— Надо посоветоваться, Аман Атабаевич, дело какое-то непривычное. И речь-то идет не о нашей конторе... На участке эксплуатации у Човдуровой есть ученик Чекер Туваков, молодой совсем, а огромный, как слон, и, должно быть, неразвитой очень. Туваков говорит, что ему на эксплуатации трудно работать, плохо понимает, чего от него хочет Нурджан, а ваш брат его в помощники себе готовит... Так вот этот Чекер — его Нурджан прозвал Пилмахмудом — просится к нам, в разведку. Брат ваш говорит, что его надо направить к опытному буровому мастеру, вроде Тагана, а Човдурова возражает. Насколько я понимаю, Нурджан сам посоветовал ему обратиться в нашу комсомольскую организацию. Они хоть с Нурджаном и не сработались, а дружат.

— Почему Айгюль возражает? — спросил Аман.

— Говорит, что у нее нет людей. Один помощник оператора в армию ушел.

— Если человек хочет найти работу по своим способностям, комсомол должен поддержать. Решать этот вопрос вы не можете, а поддержать надо.

Марджана чувствовала, что Аман хоть и смотрит на нее, а будто и не замечает. «Что-то с ним случилось сегодня, — подумала она, — никогда без улыбки слова не скажет, всегда

чем-нибудь рассмешит, а сегодня и смотреть не хочет. Может, болен? Но как спросить о здоровье человека, у которого нет глаза и руки? Невольно напомнишь... А может, все-таки спросить?»

— Еще какие вопросы?

Этот суховатый деловой тон совсем опечалил Марджану.

— Второй вопрос, — начала она официально, — насчет посылки нашей делегации на праздник в подшефный колхоз. Помните, приезжал председатель колхоза? Так вот с промыслов решили послать Ольгу Сафронову. Комсомолка она хорошая, на участке работает с туркменами, а, кроме Ашхабада да Небит-Дага, в Туркмении ничего не видала. Пусть поглядит, откуда приходят к ней кадры.

— Вот это правильно решили! — оживился Аман. — Тут ведь что важно: Ольге будет интересно посмотреть то, чего она не видела. А раз ей интересно, то с ней и всем хорошо! И колхозники с удовольствием будут показывать, и сама свежим глазом скорее заметит, чем можем мы быть полезны колхозу. Хорошо придумали комсомольцы...

Марджана скромно опустила глаза и прошептала:

— Так бы когда-нибудь меня похвалили...

Аман как будто не расслышал и принялся разыскивать на столе протокол заседания, который Марджана должна была переписать. Стараясь не глядеть, как ловко орудует парторг одной рукой, раскладывая папки, девушка подумала о том, что он от всех удивительно отличается, во всякое, самое пустячное, чисто техническое дело вкладывает душу. Хочет, чтобы в комсомольской и партийной работе не было ничего механического, сделанного по привычке, по шаблону. Подумаешь, большое дело, послать человека на день в подшефный колхоз! А он и из этого умеет извлечь важную мысль. Как верно сказал: «Если человеку интересно, то с ним и всем хорошо». Марджана вспомнила: однажды Аннатувак Човдуров накричал на нее, да к тому же при посторонних людях. Она вспыхнула от обиды и сама раскричалась: «Вы не смеете повышать голос! Я не позволю оскорблять себя! Я такой же работник, как и вы! Если я виновата — выгоняйте, а так...» — и расплакалась и убежала из комнаты. Вечером ее вызвал к себе Аман. Встретил, как обычно, пошутил, посмеялся, будто и не слышал ничего о происшествии, и, когда увидел, что она совсем успокоилась, сказал: «Аннатувак — порошок. В стороне закурили папиросу, а он уже взорвался. И ты это знаешь, Марджана, и я знаю, и вся контора знает. Хорошо это? Плохо, конечно. Но если я буду кричать на руководителя, ты будешь кричать, все перестанем дорожить его авторитетом, то получится не контора, а базар. Я уверен, что он был неправ сегодня, знаю, что нет ничего обиднее несправедливости. Но если бы ты ответила спокойно и прекратила разговор, в этом было бы больше достоинства. Это что касается твоего самолюбия. А что касается перевоспитания Аннатувака, то перевоспитывать человека никогда не поздно. Только нельзя это делать на ходу, между прочим. Тогда человеку обидно. Ну, а первоочередных задач у нас всегда хватает, все откладываем, но когда-нибудь доберемся и до Аннатувака». И Марджана помнила, как ей стало легко тогда, и обида сразу прошла. Сумел же человек найти такую форму для выговора.

Когда Аман передал ей протокол, Марджана спросила:

— А мы, бурильщики, кого пошлем в колхоз?

— Что, если Тойджана Атаджанова? Он ведь текинец, тоже в здешних аулах не бывал... Да и дел у него сейчас немного.

— Их бригада кончает скважину?



— Да. А где будут дальше бурить, неизвестно. Мастер да и вся бригада просятся в Сазаклы. Човдуров еще не решил этого вопроса. А ты, Маро, как думаешь? Нужно ли идти в пустыню? Или, может быть, на наш век и в Небит-Даге нефти хватит?

Марджану, по совести говоря, не так уж интересовала судьба нового месторождения. Просто не хотелось уходить из кабинета. Она заметила, что Аман оживился к концу разговора, как будто отдохнул. Да и самой ей всегда было приятно разговаривать с парторгом, и каждая беседа казалась слишком короткой. «Может быть, я люблю его? — спрашивала себя девушка и тут же отгоняла слишком откровенную мысль. — Глупости! Как можно полюбить человека, равнодушного к тебе? Ведь он со всеми разговаривает точно так же...»

— А можно ли туда идти? — спросила Марджана. — Говорят, очень трудное это дело...

— Трудное, даже, говорят, невозможное, — подтвердил Аман. — Да ведь как на это взглянуть. Так ли уж редко нам приходилось делать то, что на первый взгляд кажется невозможным? Невозможное... Нет такого слова, комсомолка! — засмеялся он, заглянув в глаза Марджане.

— Нету, — твердо ответила девушка, выдержав его взгляд без улыбки.

Аман долго еще смотрел вслед ушедшей Марджане, не то улыбаясь, не то грустя. Потом опомнился, вытащил из ящика чистый лист бумаги и, ловко закрепив его сверху пресс-папье, а снизу чернильницей, налег на стол плечом с пустым рукавом и принялся писать.

Долго работать не пришлось. Дверь распахнулась, в комнату, не постучав, вошел буровой мастер Човдуров.

— Не помешал?

— Присаживайся, — сказал Аман. — Мимоходом забрел?

— Прямо к тебе, товарищ парторг.

Нетрудно было заметить, что мастер Таган смущен — бросил свою шапку-ушанку на подоконник и тотчас потянулся за ней, положил на колени. Огромные руки его зашарили по карманам. Аман ткнул пальцем в папиросную коробку, лежавшую на столе. Таган покачал головой.

— Пришел бумажки тебе показать.

— Зачем бумажки, когда ты сам передо мной, — засмеялся Атабаев.

Мастер извлек из бокового кармана пачку каких-то листков и справок, стал раскладывать на столе, разглаживая каждую заскорузлыми ладонями.

— Вот бумажки — читай! Видишь: холестерин в норме... Вот, солей нет... Гемоглобин, вот читай... Кардиограмма...

Аман с удивлением взгляделся в листочки — это были всевозможные анализы и заключения из поликлиники.

— Ты что, повестку из военкомата получил, что ли?

Таган торопливо собрал свои бумажки и спрятал туда, откуда извлек. Казалось, он стыдился своего здоровья. Да и в самом деле было стыдно: могучий, обдутый всеми ветрами, мастер, конечно, не хвастать пришел и чувствовал бы себя куда веселее, если б перед ним сидел не Аман, инвалид войны, больной человек с пустым рукавом и стеклянным глазом, а

какой-нибудь здоровяк, тогда бы он и кулаком стукнул по столу! Он любил Амана. Не повезло этому славному человеку в жизни — с войны вернулся калекой, но хоть была семья; надо ж было, чтобы во время ашхабадского землетрясения погибли у него и жена и ребенок. Как говорится, кого ударит бог, того и пророк заденет посохом...

Не было более честного, более чуткого парторга в конторе за многие годы. И Таган испытывал отцовскую нежность к Аману, но была еще в его отношении застенчивая заботливость здорового и сильного человека о недужном и слабом. Вот почему Таган, показав, спрятал подальше справки о здоровье. Только тогда и успокоился, когда положил свои тяжелые руки на колени, с доверием поглядел в лицо парторгу.

— Зачем ты это? — спросил Аман.

— Не догадался? Как же вы меня захотели на отдых?

— Кто это — мы?

— Начальник конторы, главный инженер, парторг...

Атабаев нахмурился, вынул папироску.

— Мы этого не обсуждали.

Таган внимательно проследил, как парторг чиркнул спичкой, закурил.

— Кто-то из вас двоих меня не уважает — неправду говорит, — как будто заключил он свои наблюдения.

— Я всегда говорю правду: я себя уважаю, — твердо возразил Аман.

Разговор прерывался паузами, молчание говорило больше слов. Таган не сводил глаз с парторга, и тот чувствовал на себе этот пристальный взгляд.

— Значит, еще не хочешь на пенсию?

— А ты? — тихо возразил мастер.

Атабаев улыбнулся, вопрос не удивил, он к нему всегда был готов.

— Я партийный работник...

И снова наступило молчание. Таган оперся двумя руками на стол, задумался, потом спросил:

— Как же получается... Объясни мне, парторг.

— О чем ты, Таган-ага?

— О сыне.

Мастер беспомощно улыбнулся и пожал плечами. Как объяснить другому мысли, которые не оставляют ни на час после ссоры с сыном? Как рассказать о том, чего и сам как следует понять не можешь... До сих пор Таган считал себя главой семьи, теперь его власть стала как мягкий воск. Сын посмел кричать на него, заставил при людях опустить голову... Сын уже не друг, не опора в семье. Пришел и о чем он заговорил? О пенсии, об отдыхе... Как будто капкан поставил под ногами. Чуть зазеваешься — щелкнет! Больно думать об этом, но и это не самое горькое...

— Ты его фронтовой друг, любишь по-братски. Я тоже люблю. Объясни, как это получается?

Молодой образованный человек, советский парень, в Москве учился, на фронте воевал... А я в нем узнаю повадку своих дедов, смотрю на его дом — вижу кибитку, гляжу на его машину — вижу верблюда под выюками... И ветер с песком пополам слепит мои старые глаза, мешает еще лучше увидеть... Объясни.

— Ты не всю правду говоришь о сыне, — ответил Аман. — Вспомни: он женат на русской женщине и, кажется, по любви. Он советский человек. Ты подумай, он не заточил в стенах дома жену, она работает на промысле. Он советский человек. А когда сестренка Айгюль влюбилась в азербайджанца, разве Аннатувак был против, мешал ей?.. Что-то я этого не заметил. В нем много хорошего... И все же ты прав. Только подумай, не виноват ли и ты кое в чем? Когда мы болеем душой за Аннатувака и здесь, в парткоме, думаем о его недостатках, — нет ли тут и твоей вины?

Таган опешил. Скомкав старую ушанку, вытер ею вспотевший лоб.

— Выходит, что именно тот, кто не хочет мириться с таким человеком, он-то и виноват?

— Выходит, что отчасти и так.

— Значит, я пришел лицемерить? Значит, не считаешь меня сознательным рабочим, всей душой преданным делу партии?

— Никогда не сомневался в тебе.

— Так как же это у тебя получается? — повторил Таган свою любимую поговорку.

— На Айгюль не обижаешься? — помолчав, спросил парторг.

— Так вот что ты хочешь сказать! Одна овца может родить и черного и белого ягненка...

— Э, да ты хитришь! Я не то хотел сказать. Ты, видно, на бога хочешь свалить всю вину. А я думал о другом — о воспитании. Вместе с человеком мы воспитываем и его слабость. Растим человека — растим и его родимые пятна. Вспомни, как нас, маленьких, воспитывали вы, отцы. Ты и Атабай... Ведь было время, когда и тебе, как самому темному пастуху, в глаза не выдавшему газеты, дочь казалась гостьей в доме, а сын был гордостью семьи — наследник. Ему все позволено, он первое лицо среди сестер. Мужчина! Как трудно тут не стать самодуром, непогрешимым, заносчивым, нетерпимым.

— Пережитки... — с наивным простодушием нашел слово мастер.

От истины не укроешься. В чем-то Аман был прав. Много жестокого и дикого видел Таган в молодые годы. Девушке отрезали ухо за то, что она поговорила с парнем. Младенцы в колыбели становились жертвой кровной мести. На глазах у него, когда он еще был подростком, девушку, убежавшую с любимым, родичи изрубили в куски... Еще тридцать лет назад эти нравы не казались чудовищными — вековой закон жизни... А сам Таган? Он привык повторять, что дети ему одинаково дороги — и сын, и дочка. Но, если по правде сказать, он, конечно, крепче любил Аннатувака. И когда дети были маленькими, за одну и ту же провинность Аннатувака слегка бранили, Айгюль таскали за косы. Когда она родилась, и он и Тыллагюзель мечтали выдать ее замуж за того, кто богаче, у кого стадо тучнее, чтобы за калым лучше устроить жизнь Аннатувака... Было, все это было...

Улыбка шевельнула усы Тагана.

— Ты прав, Аман. Плохо воспитывали детей. Тебя Атабай еще сумел, видно, на коня посадить. Он человек веселый, это помогает при воспитании. А я — плохо, плохо... Только ответь еще на последний вопрос. Почему же мне, малограмотному человеку, партия прояснила голову, а у грамотея-инженера осталась такая путаница в мозгах?

— Вот именно потому, что ты рабочий!

— Не понимаю.

— И вообще — зря плохо о сыне думаешь. Ты других не видал! Аннатувак честный, вот что главное. Он бескорыстный труженик, во что верит — за то и стоит.

Видно, Аман уже сердился на мастера, живой глаз посверкивал, и оттого заметнее стала неподвижная тусклость стеклянного. Не хотелось Аману вести дальше этот разговор, похожий на предательство друга. А надо было сказать правду по обязанности парторга.

— Не хитри, Аман, — поторапливал мастер. — Не к лицу тебе. Отвечай прямо на вопрос.

— Ты, Таган-ага, никогда не уходил от буровой, вся жизнь твоя среди рабочих людей, — волнуясь, заговорил Аман. — И это большое твое счастье! Народ не ошибается, он всегда идет к главной цели и видит ее. Нам всем нужно держаться поближе к рабочему человеку — и мне и Аннатуваку...

— Приходи завтра к нам в бригаду, — может быть, не совсем последовательно, но искренне предложил Човдуров.

— Приду...

Уже прощаясь, глядя друг другу в глаза, они продолжали молча этот важный для обоих разговор.

## Глава семнадцатая

### Сватовство Эшебиби

Мамыш, постоянно занятая своими домашними делами, редко выбиралась из поселка в Небит-Даг, но после спора с мужем и Нурджаном упрямая женщина твердо решила повидаться с Тыллагюзель и окончательно договориться о свадьбе Нурджана и Айгюль. Покинуть дом было нетрудно. Обед приготовлен с вечера. Нурджан мог и сам взять приготовленную пищу. Проводив сына на работу, Мамыш принарядилась и отправилась в путь.

Асфальтированная дорога из Вышки в Небит-Даг шла по степи. Дизельный автобус катился мягко и плавно, не тревожа пассажиров. Усевшись у окна, старуха даже не поглядела на широкую степь, расстилавшуюся без конца и без края, на бездонную синеву неба. Слишком была озабочена думами и сложными расчетами. Мамыш прекрасно понимала, что поставила себе не простую задачу и в равной мере может рассчитывать и на успех и на провал затеи. Но ее кипучая энергия не позволяла бездействовать, толкала на преодоление всех препятствий. И теперь, сидя в автобусе, она ни на минуту не отвлекалась от хитроумных выкладок. «Тыллагюзель согласна со мной, в этом нельзя сомневаться. Но что думает Таган? Может, и он упрется, как Атабай? Нет, Таган-ага, разумный, обходительный человек, должен понимать выгоду. К тому же вожжи Тагана в руках Тыллагюзель, она сумеет повернуть куда надо. Всей семье была неприятна история с Керимом Мамедовым. Аннатувак так занят, что с ним и не станут советоваться. Неизвестно только, как Айгюль? Если голова на месте, спрашивается, чего ей еще желать? Жена умницы Нурджана, невестка уважаемой Мамыш... Но разве можно доверять нынешней молодежи! Айгюль выросла не в четырех стенах, она начальник, сама решает свою судьбу... Может, Нурджан совсем не нравится ей, может, отдала свое сердце другому и в самый разгар дела так и отрежет: «Я не товар, что вы

торгуете мною!..» Не будет ничего удивительного, если соберет свой чемодан, да и укатит в Москву или Ленинград продолжать учебу. Кто знает ее характер? Вдруг такой же, как у Аннатувака?»

Мамыш тяжело вздохнула. Ее соседка, давно хотевшая завязать разговор, обрадовалась поводу, кстати и автобус качнуло на бугорке.

— А кыз, ты, наверно, подумала, что перевернется большая комната?

Мамыш очнулась от своих мыслей и уставилась на женщину, только сейчас заметив, что рядом кто-то сидит. Внешность соседки нельзя было назвать привлекательной: приплюснутый нос, круглые маленькие глазки, смуглая до черноты... Несмотря на жару и преклонный возраст, надела поверх зеленого бархатного платья шелковый халат с украшениями, накинула шаль с красными цветами и длинной бахромой, на шею повесила дагдан с теньгой по краям и пестрыми бусинками. Мамыш подумала: «Или едет на той, или у нее в голове не все в порядке...» И не без иронии решила поддержать разговор в том же духе.

— А кыз, разве можно доверять надутым воздухом копытам? Вдруг гвоздь проколет колесо, оно осядет, как разорвавшаяся кишка, и чего же удивляться, что с разбегу машина перевернется?

Женщина ответила:

— Не воображай, что я из тех, над кем можно насмехаться. Мы тоже свою душу нашли не в поле.

Мамыш никогда не лезла за словом в карман.

— А я всегда думала, что женщины свою храбрость показывают только в очереди к тандыру.

У соседки, как видно, давно чесался язык.

— Не помню, чтоб и у тандыра я отдала кому-нибудь свою очередь.

— Хорошо, что не такая добрая, как я: не даешь скиснуть своему тесту, не оставляешь мужа голодным.

— Мой муж еще не искал хлеба на вашем дворе. Если буду здорова, думаю, что и никогда искать не станет.

Заметив, как сузились глазки у соседки, Мамыш поняла, что та готова затеять ссору, и попробовала сгладить эту неизвестно от чего возникшую враждебность.

— А кыз, о чем мы спорим?

— О воробыиных сердцах, которые боятся, что опрокинется небо, и хотят его удержать лапками.

Мамыш подумала: «Если ты опора неба, пусть оно падет», но постеснялась людей, которые с интересом прислушивались к препирательству, и только сказала:

— Я ведь с самого начала призналась в своей робости. Давай-ка не будем обижать друг друга из-за пустяков, а лучше познакомимся, раз пришлось ехать вместе.

— Не очень-то интересно знакомиться с кем попало, — буркнула соседка.

Как ни противна была ей эта женщина, Мамыш решила не обращать внимания на ее

грубость.

— Ты ведь не знаешь, кто я такая, — продолжала она. — Меня зовут Мамыш Атабаева.

Женщина не раз слышала от мужа имя известного мастера Атабая. Самодовольно улыбаясь, она сказала:

— Хорошо, если так, а меня зовут Эшебиби Сатлыкклычева.

«Вот оно что!» — подумала Мамыш, которая тоже слышала про Эшебиби, известную в поселке сплетницу и крикунью. Не желая связываться со вздорной бабой, она кротко ответила:

— Очень хорошо, Эшебиби.

Вытянув ноги, поглаживая спутанные волосы, Эшебиби завела длинную речь.

— Мы живем в новом каменном доме на самом высоком месте поселка. Когда я выхожу на веранду, смотрю на древнее русло Узбоя, веришь, кружится голова. Будто забралась на вершину Балхана. А муж говорит: «Эшебиби, видишь, как высоко я поднял тебя, словно в самолете живешь!» А я отвечаю: «Если бы я не сделала тебя человеком, ты был бы сейчас не начальником базы, а простым чернорабочим». Дочь моя учится в Ашхабаде на доктора и, как придет, всегда мне говорит: «Мама, теперь ты не возишься с дровами, воды сколько угодно, будь поопрятней...» А я отвечаю: «Будь ты хоть доктором, будь хоть профессором, а когда родишь девятерых, тогда и поговорю с тобой...»

Мамыш думала: кончит ли она свою сказку до Небит-Дага? А Эшебиби продолжала, считая, что весь автобус слушает ее с интересом.

— Мой старший сын давно уже эбсэр [2] и постоянно переезжает из города в город, бывает, что и по два года не вижу его, а сейчас пишет с Гапказа: [3] «Мама, не было времени и возможности получить твое благословение. Я женился на девушке-армянке».

Мамыш, вдруг вспомнив, как сказал Атабай: «Может, Нурджан женится на русской или армянке», — тревожно переспросила:

— На девушке-армянке?

— Да, Мамыш-эдже, на армянке. Ах, смогу ли я понять ее язык, будет ли наша каша вариться в одном котле, кто это знает? Конечно, я не из тех, кто свой рот называет носом, — если не понравится, не стану потакать ей. Скажу сыну: «Мог жениться без меня, можешь и жить на своем Гапказе без меня». Но все-таки сын, повернется ли язык сказать так... Дай бог, чтобы невестка попала не из тех, кто захочет из моих кос сделать себе качели... А младший мой приходит с работы, вешает замасленную спецовку в коридоре и говорит: «Мама, ты не смотри, что я чумазый. Я ведь ремонтирую самый пуп земли. Помоюсь под душем и буду чист, как младенец в люльке». Но пока он не столкнулся с какой-нибудь чужезычной, я хочу его сама пристроить. Еду сейчас сватать одну из лучших девушек в наших краях. Самостоятельная девушка, нефтяник, как и он.

У старой Мамыш вдруг сжалось сердце.

— Очень хорошие намерения, Эшебиби, пусть удача будет! — приветливо сказала она.

— Омин алла! Дай бог!

— Эшебиби, девушка эта в Кум-Даге?

— Нет, в Небит-Даге.

— В Небит-Даге?! — мрачное предчувствие охватило Мамыш.

— Ну конечно, кто ж ее не знает! Хочу сосватать дочь Тагана Човдурова — Айгюль.

— Айгюль?!

— Ты тоже ее знаешь?

— Таган и Атабай одни из первых вступили на эту землю. Мы давно знакомы... — глухо сказала Мамыш.

— Значит, ты хорошо знаешь Айгюль?

Увлеченная своим рассказом, Эшебиби не заметила, что Мамыш изменилась в лице, голос ее дрожал, пальцы судорожно теребили платок.

— Сама я как следует не знаю Айгюль, но мой сын Нурджан часто хвалит: «Наш начальник Айгюль Човдурова умная девушка».

— Ах, Мамыш, видела бы ты, как хорош мой сын!

— Я твоего сына не знаю, но лучше невестки, чем Айгюль, сама себе не могу пожелать...

— Ты тоже собираешься сватать ее? — спросила Эшебиби, вдруг сообразившая, что неспроста попутчица так расхваливает Айгюль.

Захваченная врасплох, Мамыш чуть было не призналась, но вовремя спохватилась.

— Нет, я говорю просто о своей мечте. Где теперь послушные дети... Наш сын, наверно, поступит так же, как и твой офицер.

— Да что и толковать об этом. И младший мой, ремонтник, тоже говорит: «Можешь не беспокоиться обо мне, мама». Но я вешаю крепкий замок на его уста. «Нашелся тут еще самостоятельный! Ты пока вытри нос, а я исполню свой материнский долг. Женю, а там живи как вздумается», — говорю. А как думаешь, Мамыш, что скажут Човдуковы?

— Чужая душа потемки, но я думаю, что нет смысла, имея дочь на выданье, отказывать всем сватам.

Про себя Мамыш думала, что лучше оставить дочь в старых девах, чем породниться с Эшебиби, но, желая подзадорить глупую бабу, чтобы она еще шире распустила павлиний хвост и вызвала полное отвращение к себе у Човдуковых, польстила собеседнице:

— Эшебиби, не думай, что говорю только в глаза, хоть и мало тебя знаю, но я, не задумываясь, отдала бы в вашу семью дочь, если бы она у меня была.

— Вот это мне по сердцу, подружка! — воскликнула Эшебиби. — По правде сказать, если бы я не собралась, так сами Човдуковы все равно приехали бы ко мне. Муж говорил с Таганом, тот ответил, что «воля дочери в руках матери». Приедем сейчас, ударим по струнам матери... Как-то зазвучат они? А если чуть не по-моему будет, плюну и поеду назад!

«Может, тебя и слушать не станут», — подумала Мамыш.

Эшебиби пришлось прекратить болтовню, автобус остановился в Небит-Даге.

Хотя старой Мамыш и не хотелось появляться у Човдуковых вместе с Эшебиби, она решила

не отставать от спутницы, слишком уже разбирало ее желание поскорее узнать, что ответит Тыллагюзель на сватовство Сатлыкклычевых. Удрученная этой помехой на пути так хорошо задуманного предприятия, она совсем пала духом. Ей казалось, что из ее рук вытащили уже пойманную добычу, и всю дорогу она шла молча, не слушая Эшебиби, почти не отвечая на вопросы.

Тыллагюзель радостно встретила Атабаеву, но, увидев Эшебиби, о которой слышала много дурного, невольно поморщилась. Она укоризненно поглядела на Мамыш, и та поняла упрек и молча опустила голову. Как могла она при Эшебиби объяснить, что не была виновата, что эта заноза, пройдя через одежду, колола и ее тело.

Эшебиби, совершенно уверенная, что украшает любое место, куда ступит ее нога, что свет наполняет тот дом, где она появилась, не заметила неудовольствия хозяйки и загудела хриплым голосом на весь дом:

— А кыз Тыллагюзель, если скажу, что во всем народе, может, ошибусь, но в районе Небит-Дага, без спора, на первом месте — я, на втором — ты! — Вспомнив, что рядом стоит Мамыш, она нисколько не смутилась, но решила немного похвалить и ее, надеясь на поддержку. — Моя новая подруга Мамыш тоже мне нравится. Правда, она немного трусиха: если взлетит воробей, вздрогнет, уронит ведро из рук и прольет молоко. Но теперь ее уж не отправят воевать, так что это небольшой грех.

Как ни чесался язык Мамыш, закаленный в спорах с Атабаем, она все-таки посчитала ниже своего достоинства препираться с Эшебиби и, едко улыбнувшись, промолчала. А Тыллагюзель подумала: «Откуда такая напасть на мою голову? Во сне, что ли, я села на корову?»

Не дожидаясь приглашения хозяйки, Эшебиби принялась обстоятельно рассматривать квартиру, точно председатель жилищной комиссии, принимающий новый дом. Заглянув в ванную и кухню, она заявила:

— У вас точно такая же квартира, как у нас!

Квартиры, вероятно, были построены одинаково, но порядок в них был разный. Ванная у Тыллагюзель сверкала чистотой, на кухне посуда всегда в порядке, на полках — ни пылинки. В доме у Эшебиби в ванной висела заношенная одежда, всюду разбросаны грязные тряпки, на кухне тучей вились мухи, немытая посуда валялась на полу. Эшебиби промолчала и о том, что долго отказывалась переехать в новую квартиру. Когда муж объяснил, что теперь не придется возиться с печкой, таскать воду, она повторяла одно: «А где я буду держать козу? Козленок тут задохнется! Ни за что не перееду!» Понадобились усилия всей семьи, чтобы перетащить ее из старой лачуги.

Открыв дверь в комнату, Эшебиби внимательно осмотрела большой ковер, разостланный перед кроватями, пощупала покрывала на них и спросила:

— Это комната Айгюль?

Тыллагюзель, которой больше всего хотелось вытолкать за дверь бесцеремонную гостью, вежливо ответила:

— Здесь живем мы с Таганом...

— Хорошо, пусть будет ваша, — милостиво согласилась Эшебиби.

Потом она зашла в столовую, полюбовалась огромным иомудским ковром, подвигала стулья вокруг стола и перешла в смежную комнату. Тут ее восхитила никелированная кровать,



покрытая шелковым одеялом, но не понравились подушки в наволочках с кружевами, хорош был ковер на полу, но уродливым показался туалетный стол с флаконами духов и одеколона, разноцветными расческами, коробочками с кремом. Она не могла понять, зачем нужно такое множество книг на этажерке, поморщившись, поглядела на шляпку, лежавшую на тумбочке. Не спрашивая разрешения хозяйки, Эшебиби раскрыла платяной шкаф и стала рассматривать висевшую там одежду. С удовольствием вдохнув хорошо знакомый запах кетени, шедший от платья из красного домотканого шелка, она принялась искать вышитые женские штаны, но не нашла. Быстро перебирала шелковые и шерстяные платья, добралась до юбок, блузок и отдернула руку, словно схватив что-то грязное. «Эта армянка, жена моего старшего сына, наверно, тоже носит такие мешки, еле прикрывающие колени. Ах, как нехорошо выставлять всем напоказ свои икры», — с отвращением подумала Эшебиби.

— Это комната Айгюль-джан! — уверенно заявила она.

Мамыш, ходившая за ней как тень, не могла наудивляться: бывают же такие бесстыжие люди! «Я не считаю себя стеснительной, но не решусь сделать и сотой доли того, что делает она!» Как только Эшебиби стала рыться в одежде Айгюль, Тыллагюзель вышла на кухню поставить чайник на плиту. Эшебиби, не ожидая приглашения, прошла в столовую и расположилась на почетном месте на ковре. Ее любопытный взгляд не задержался на двустолке, висевшей вместе с патронташем над диваном, на большом радиоприемнике, возвышавшемся в глубине комнаты, а остановился на широкой полке, где стояли два ковровых мешка. Такие мешки были и в квартире Эшебиби, она хранила в них всякую всячину: старый полушубок, верблюжью шерсть, рваные сапоги. Ей и в голову не приходило, что такое старье Тыллагюзель держит в кладовочке, а в мешках сложены лишние одеяла и подушки, веревка от кибитки с красивыми узорами, занавески с бахромой, разные торбы и прочие редкие вещи. Все это хранилось для Айгюль.

Не спросив Тыллагюзель о здоровье, не обращая внимания на ее беседу с Атабаевой, уверенная, что весь мир занимает только ее особа, Эшебиби вдруг, точно кто ее толкнул, провозгласила:

— А кыз Тыллагюзель, я с вестью!

С первой минуты догадавшаяся, с какой вестью она появилась, Тыллагюзель сдержанно ответила:

— Ой, Эшебиби, вести, кажется, сообщают, когда спрашивают о них.

Эшебиби, вытянув свою почерневшую от пыли ногу рядом с чайником, самодовольно начала:

— А кыз Тыллагюзель, разве ты не знаешь моего характера? Я не из сдержанных. Если не сумею выпалить разом то, что переполняет душу, меня будто кошки по сердцу царапают.

Мамыш не переставала удивляться на Эшебиби. Ее язык вилял без конца, как хвост у беспокойной собаки. Мамыш очень интересовало, что ответит Тыллагюзель на предложение породниться, но для Эшебиби были важны только собственные слова, и она продолжала гудеть на весь дом:

— Я родственника ищу, родственника!

Тыллагюзель прикинулась бестолковой.

— Туркмения велика, Эшебиби, поищешь — найдешь.

С жадностью отхлебнув из пиалы горячего чаю, Эшебиби уставилась на хозяйку.

— Я ищу родственника не вдалеке, а вблизи.

— И вблизи найдешь.

— Мне с тобой хочется породниться.

Скованная своими представлениями о вежливости, Тыллагюзель ответила:

— Хорошее намерение, Эшебиби.

— Ну, так когда проведем той?

Не зная, что ответить, Тыллагюзель переспросила:

— Той?!

— Да. И говори, какой возьмешь с нас калым, какие наряды, все выкладывай...

Мамыш, не ожидавшая такой слабости от Тыллагюзель, многозначительно кашлянула, напоминая о своих прежних переговорах. Тыллагюзель не нуждалась в напоминаниях и только не могла сообразить, как выйти из затруднительного положения, не обидев гостью.

— Видишь ли, Эшебиби, — начала она, — если по мне, так лучше тебя родственницы не найти. Я бы не заставила тебя дважды повторять одно и то же...

Эшебиби не дала ей закончить.

— Я и готовлюсь к свадьбе, потому что уверена в тебе.

— Но...

— Оставим всякие но... Не будем отвлекаться. Дочь твоя не будет в обиде на меня, а сын мой, солнце дня, луна ночи, средний из пальцев... Ты не гляди, что он измазан нефтью. И твой и мой дом, как говорит Сатлыкклыч, освещает нефть. И луна, и солнце часто трутся о тучи, но от этого не меркнет их свет, не так ли, Мамыш?

Сильно сомневавшаяся, что от черного может родиться белое, Мамыш уже хорошо знала Эшебиби и потому неуверенно пробормотала:

— Да, конечно...

Пока Эшебиби усаживалась поудобнее, Тыллагюзель успела закончить:

— Нынешняя молодежь непослушна нам, Эшебиби. Сколько я ни старалась женить Аннатувака на Энеджан, а не на Тамаре, ничего не вышло. И теперь я понимаю, что была права. Айгюль тоже будет скорее против нас, чем с нами.

— Почему?

— Она ведь сестра Аннатувака.

Эшебиби раздраженно откинула спадавшую на глаза бахромку своего черного платка.

— Ну, Тыллагюзель, не притворяйся. Воля дочери в руках матери.

— Прошло время, Эшебиби, когда мы слепо покорялись родителям.

— Значит, нужно говорить не с тобой и не с Таганом, а с Айгюль?

— Мне кажется, что это дело не касается ни тебя, ни Сатлыкклыча...

— А кого же касается?

— Это дело самих молодых.

— Выходит, я к твоей дочери должна послать сына?

И, не дожидаясь ответа, Эшебиби вскочила с места и воскликнула:

— Нет, с Айгюль я поговорю сама!

И Мамыш, и Тыллагюзель разом вздохнули: «Ну, раз встала, значит, уйдет». Но Эшебиби и не подумала выйти, а, как хозяйка дома, забралась на диван, облокотилась на подушку и еще раз повторила:

— Я с ней хорошенько поговорю.

— В эту минуту неожиданно появилась Айгюль. Раньше всех ответила на ее приветствие Эшебиби, она спустила ноги вниз и, сгорбившись, уставилась на девушку.

— Хелик-салам! Вот и сама Айгюль!

Удивившись, что дочь пришла с работы раньше времени, Тыллагюзель спросила:

— А кыз, почему сегодня так рано?

— Сегодня к двум часам вызывают в Объединение, — сказала Айгюль, взглянув на свои часики, — а сейчас уже половина первого. Будет много хлопот, я решила забежать домой попить чаю и закусить.

Усевшись на стул возле Эшебиби, Айгюль справилась о ее здоровье. Позабыв ответить, Эшебиби рассматривала девушку. Ее полные, в светлых чулках ноги, открытые ниже колен, возмутили старуху. «Если не считать туркменского имени, чем Айгюль отличается от жены моего старшего сына?» — рассудила она. Но когда поглядела на красивую, открытую шею Айгюль, нежную кожу, румяные щеки, она осталась довольна, морщинистое ее лицо прояснилось. Мамыш, догадавшись, что Эшебиби своей бесцеремонностью обязательно огорчит Айгюль, решила вмешаться в разговор.

— Милая моя, не устала ли ты?

— Саг бол, тетушка.

— Много ли добываете нефти?

— Порядочно, — рассмеялась Айгюль. — Ежемесячно сверх плана отправляем почти эшелон.

— Молодцы, хорошо! Как там работает наш Нурджан?

— Соревнуется с Ольгой Сафроновой, которая его сменяет на вахте.

— Кто же из них побеждает?

— Оба на «Доске почета».

— Ну и как? Не-чел-лик [4] доволен нашим сыном? — многозначительно спросила Мамыш и вдруг даже покраснела.

Эшебиби, раздосадованная вмешательством старухи в разговор, не дала Айгюль ответить.

— Айгюль-джан, а что ты скажешь о моем сыне? — спросила она.

Девушка растерялась: что это обе старухи сразу забеспокоились о своих сыновьях, может быть, получили повестки из военкомата? Заметив нетерпение Эшебиби, она невольно ей первой и ответила:

— Эшебиби, я хоть и знаю твоего сына, но ничего не могу сказать о его работе. Он ведь не на нашем участке.

Опершись руками на диван, вся подавшись вперед, Эшебиби с жаром воскликнула:

— Мне и дела нет до его работы! Ты скажи, какой он парень!

Айгюль, поняв, чего добивается Эшебиби, решила немного ее поддразнить.

— Какой характер у твоего сына, не знаю, но внешность просто бросается в глаза...

Эшебиби вскочила с места:

— Правду сказать, Айгюль-джан, мой сын — золотое кольцо. Девушке, которая сумеет надеть его на палец, мечтать больше не о чем.

Не желая слушать глупые речи, Тыллагюзель молча вышла из комнаты, а Айгюль захотела еще немного подурочить хвастливую бабу.

— Но, Эшебиби, такое счастье достается не каждой девушке.

Эшебиби, брызгая слюной, хвалилась:

— Жертвой твоей мне быть, Айгюль-джан! Не стану говорить — русские или туркменки, но все девушки Вышки осаждают его. Ты знаешь характер моего сына: даже внимания на них не обращает, просит: «Мамочка, эти девушки ловят меня, как охотники сокола. Пока они не вскружили мне голову, позаботься, найди хорошую подругу, и я навсегда преклоню колени перед ней».

— Ах, Эшебиби, есть ли на свете мать, которая родила дочь, достойную такого сына!

— Нет, Айгюль-джан, не так! — закачала головой Эшебиби. — Среди народа и имя божье есть, и девушки есть, созданные на счастье мне. Я, видать, родилась под счастливой звездой, радость моя.

— Как угадать, Эшебиби! Иной раз ждешь, что придет Хидыр, а явится обезьяна.

— Знаю я одну такую девушку, кажется мне, что она с моим сыном две половинки одного яблока. Если эта девушка даст согласие, — а я не сомневаюсь, что так и будет, — тогда на этом свете у меня не останется неисполненного желания. Айгюль-джан, как ты думаешь, где эта девушка?

— Мир широк, может, в Ашхабаде, может, еще где...

— Нет, эта девушка в Небит-Даге, как раз тут, где мы сидим.

— Удивительно! Разве у Мамыш есть на выданье дочь?

Эшебиби, поглаживая свои волосы, наклонилась вперед.

Айгюль, застыдившись, опустила голову. Опершись обеими руками на спинку стула, Эшебиби завопила:

— Радость моя, ты не думай, что Эшебиби ничего не чувствует. Я хоть и не из потомков святых, но рождение мое, видать, было особенным. Мне все ясно, словно я побывала в твоём сердце. Думаешь, я не чувствую, как твоё пылкое сердечко летит к моему сыну? Радость моя, ты не смущайся, если стесняешься Мамыш, скажи мне на ушко.

— О чем бы мне осталось мечтать, если бы я была твоей невесткой, Эшебиби!

— Ой, сердечко мое! — Эшебиби захлопала в ладоши.

— Но только... — не успела Айгюль начать, как почувствовала, что словно кто-то подрезал Эшебиби её крылья: глаза её испуганно округлились.

— Что это значит, кыз?

Айгюль встrepенулась, словно птица, готовая взлететь, и резко ответила:

— Я дала слово другому.

Тут уж вздрогнула не только Эшебиби, но и Мамыш. Обе старухи растерянно глядели друг на друга. Однако Эшебиби быстро опомнилась. Самоуверенности её не было предела.

— Если слово не скреплено венчанием, оно вроде легкого ветерка. Дунешь — и пропало без следа.

Айгюль возмутилась, её лицо потемнело.

— За кого ты меня принимаешь? Разве не плюют в лицо человеку, растоптавшему своё слово, нарушившему клятву? Кто будет сидеть за одним столом с человеком, считающим честное слово легким перышком? Кто будет уважать парня, который держится за материнский подол, собирается устраивать свою жизнь по указке матери? Я лучше сквозь землю провалюсь, чем нарушу своё слово! И тебе я прощаю твою ошибку только из-за твоего возраста. Но с условием, что ты больше не заикнешься об этом.

Эшебиби сгорбилась, как от удара, но вдруг вскочила, сжав кулаки.

— А хочешь знать, милая, как я ценю твоих родителей...

Айгюль зажала уши, чтобы не слышать грязной брани, которой разразилась Эшебиби, Мамыш было вмешалась: «Ай, как стыдно, Эшебиби!», — но свирепая женщина оттолкнула её обеими руками. Её крик донёсся и до Тыллагюзель на кухне.

— Разве ты не плюнула в лица своих земляков-парней, разве не нарушила своего обещания Кериму Мамедову? — вопила разъяренная старуха. — Думаешь, я не знаю, что испорчены не только твои одежды, но и твои мысли!

— Вон из дому! — закричала Айгюль.

— Я-то уйду, но и тебя ослаблю на весь город! — шипела Эшебиби, уходя и путаясь в длинной бахrome шали.

Айгюль схватила её сверток, лежавший на диване, и с размаху швырнула вслед. Поймав его на лету, старуха с треском хлопнула дверью. Подоспевшая из кухни Тыллагюзель обняла свою дочь, а та дрожала в её руках, словно птица, попавшая в сети.

К югу от старых промыслов, поодаль от скопления вышек, которыми, как зимним лесом, поросли пологие холмы Небит-Дага, стояла одиноко, словно башня Куня-Ургенча, буровая вышка бригады Тагана Човдурова. Тракторы и машины пробili к ней по полю глубокие борозды, но стоило сделать шаг в сторону от временной дороги, как нога ступала в вязкую, темную, а местами будто мукой присыпанную солончаковую почву. Издали глянешь на вышку, кажется, она шатром цепляет за облака, а косые лучи закатного солнца бьют прямо в ее середину, золотыми гвоздями приколачивают к синему небу.

Вот уже две недели работавшие на этой вышке глухо волновались в ожидании отъезда в Сазаклы. Ехать никто не отказывался — бригада была дружная. Но всех выбивала из колеи непонятная заминка с приказом. Как всегда бывает в подобных обстоятельствах, то и дело возникали самые нелепые слухи. Кто-то рассказывал, что не только их никуда не пошлют, но и бригаду старого Атабая после аварии возвращают в Небит-Даг. Другие поговаривали, что в Сазаклы создадут особые молодежные бригады, а стариков и близко не подпустят к барханным пескам отдаленного района. А некоторые громко сомневались в том, что вообще есть нефть в Сазаклы. Слухи тянулись, разумеется, из конторы, где кто-то краем уха услышал о ссоре Аннатувака Човдурова с отцом. До бригады, работавшей в глухом углу промысла, все эти противоречивые предположения доходили, как по испорченному телефону, в искаженном виде. И, пожалуй, единственным человеком, остававшимся в неведении, был сам Таган. Все в бригаде знали, что мастер рвется в пустыню, и оберегали его от преждевременного разочарования.

В ясный зимний день, когда солнце уже клонилось к закату, Таган, заложив руки за спину, неторопливо расхаживал, осматривая свое хозяйство. Работы шли хорошо, на будущей неделе предстояло простреливать скважину. Окинув заботливым оком большие чаны с глинистым раствором, Таган остановился около насосов. Механик возился с моторами. Среднего роста, средних лет, с круглым, ничем не примечательным лицом и маленькими голубыми глазами, механик Иван Иванович Кузьмин был старым товарищем мастера. Немногословный и с виду вялый, он двигался неторопливо, будто вытаскивал ноги из болота. Но внимательный взгляд его, не пропускавший ни одного винтика, говорил о большом опыте, а привычка все ощупывать пальцами, будто не доверяя глазам своим, — о чувстве ответственности. И несмотря на то, что характер у механика был не мягче, чем у мастера, они много лет дружно работали вместе.

— Иван, как по-твоему, на что все это похоже? — спросил Таган, показывая на необозримую равнину, до горизонта застроенную вышками.

— На промысла, — не поднимая головы, а лишь чуть покосившись, ответил Кузьмин.

Таган расхохотался.

— Насмешить тебя не трудно, — заметил Кузьмин.

— Смеюсь, потому что ты мои мысли повторяешь, — сказал мастер. — Правильно говоришь. Недавно приезжал большой начальник из совнархоза. Пожилой человек, моряком был еще в гражданскую войну. Посмотрел вокруг и говорит: «Это похоже на старинный порт с парусными кораблями». Вечером первый раз пришла практикантка из нефтяного техникума. Увидела освещенную вышку и даже закричала: «Ой, как будто елку зажгли!» Бывший молла, тот, что пристроился сторожем во вторую контору, тот руки к небу поднял: «Сколько понастроили минаретов!» А я смотрю и думаю: на что это похоже? На промысла!

— Стареешь. Много говорить стал, — сказал Кузьмин.

— А почему так думаю, — будто не слыша, продолжал Таган, — потому что, когда я сюда пришел, тут ни на что не было похоже. Но вышки росли, и эта пустыня стала промышленным районом, а я старым мастером, хотя и пришел сюда тридцати лет. Так что врешь, механик! Я не старею. Я расту.

— Что за молодец мастер! Совсем великан, скоро вышку перерастет! — слышалось в ответ.

Таган удивился: механик, проверявший насос, даже рта не раскрыл, откуда же этот голос? Оглянувшись, он заметил палатчика Губайдуллина, очищавшего лопатой барит от разных примесей. Мастер погрозил ему пальцем.

— Э, рыжий, знай свое дело, помалкивай!

— Я не рыжий!

— Может, черный?

— Я Джапар.

— Ну, если Джапар, так я до тебя доберусь! — И, прикрывая рукой улыбку, будто поглаживая усы, Таган направился к Джапару.

Палатчик закричал:

— Мастер-ага, не подходи, баритом обсыплю! — и, помахивая лопатой, спрятался за кучу песка.

Таган вдруг остановился и грозно затопал ногами, а робкий Джапар бросился наутек. Но, оглядываясь на Тагана, он все еще кричал:

— Не подходи, мастер-ага, обсыплю баритом!

Таган, очень довольный, что Губайдуллин улепетывает от него, как теленок, хохотал.

— Ах ты, рыжий, рыжий! С кем сравнить тебя? Ты не влажное облако и не дождь, а глупый ветер, поднимающий пыль!

Губайдуллин, вернувшись на прежнее место, сделал вид, что обиделся.

— Ветер рассеивает все, а я собираю. Когда начинается буря и раскачивает, как камышинку, буровые свечи, кто защищает их своей грудью? А кто кладет мне руку на плечо и говорит: «Молодец, Джапар! Спасибо, палатчик!»

Таган с нежностью посмотрел на рыжего.

— Шутки не понимаешь, Джапар. Разве не сжимается мое сердце, когда дикий ветер раскачивает тебя вместе со свечой. Помню, как мы собирали останки палатчика Амантя-джана... И когда думаю, как мы будем работать в пустыне, я о тебе думаю, дорогой, раньше всех.

Сирота с раннего детства, не знавший отцовской ласки, Джапар был очень чувствителен к доброму слову. Он разволновался, слушая Тагана. Этот старик, такой грозный с виду, временами вспыльчивый и беспощадный, временами по-детски веселый, был близок его сердцу, как родной. Джапар готов был исполнить любое его желание: превратиться в волка, если прикажет напасть, сделаться обезьяной, если велит играть. Сейчас, когда мастер стоял, низко опустив голову, а потом, подняв глаза, не моргая, уставился на вышку, Губайдуллина

показалось, будто старик готовится защитить его от беды. Палатчику от всей души захотелось обнять его, расцеловать в седые усы, но он только сказал:

— Отец!..

Тагану и не надо было больше слов, чтобы понять Джапара.

— Что, сынок? — спросил он, улыбаясь.

Джапар не сразу ответил. Сказать вслух то, что его переполняло, он не мог и, подумав, спросил:

— А это верно, что нас посылают в Сазаклы?

— Жду не дождусь. А когда пошлют, не знаю.

— Обязаны послать, — твердо сказал Кузьмин, который закончил осмотр насоса и теперь вытирал руки замасленной тряпкой.

— А тебе хочется поскорее? — спросил палатчик.

— А чем плохо?

— А что хорошего? — вдруг сказал Таган, захотевший испытать механика.

— Во-первых, — начал Кузьмин, загибая пальцы, — я люблю перемены. Во-вторых, в бригаде Атабая мой земляк Суровцев. В-третьих, если мы найдем нефть в Сазаклы, там построят новый город. Вырастет новый город — меньше останется пустыни. Я не люблю пустыню. В-четвертых, ко мне приехала погостить теща из Тамбова...

Бурильщики рассмеялись.

— Теща — это нормально, — сказал Джапар, — но если человек хочет бежать от жены...

— От жены? — удивился Таган.

— От нее, — вздохнул Губайдуллин. — Ты ведь знаешь мою жену...

— Конечно, знаю. Умная, скромная женщина...

— Я тоже так думал, когда женился.

— Постой-ка, Джапар, я что-то не пойму...

— Если опытный пастух заранее скажет тебе, какой ягненок родится у овцы, какой он будет масти, — верь! Но если кто-нибудь похвалится, что хорошо знает женщину, скажи, что он лжец! Эта умная и скромная, как говоришь, женщина оказалась не цветком, а колючкой. После женитьбы не прошло и дня, как она вонзилась мне в бок, уколола плечо, села на голову и теперь своим ядовитым языком отравляет мне жизнь.

— Как же это получилось?

— Чем больше я покорялся, тем хуже получалось...

— Ты, брат, сказки рассказываешь...

— Если бы сказки... Короче, она меня не пускает в Сазаклы.

— Тут-то и смотаться, — сказал Кузьмин.



— Я не глупее тебя, друг. Так и решил. Но теперь она говорит, что, если не послушаюсь, она поедет вместе со мной!

— Вот уж нечего бояться! — засмеялся механик. — Как поедет, так и уедет. Баба там долго не засидится. Не те места!

— Ты ее не знаешь, — снова вздохнул Джапар. — Но я еще соберусь с силами. Ведь сказано: «И трус может стать храбрецом, если его палкой гнать».

— Прямая палка или кривая, — невпопад вмешался подошедший помощник бурильщика Халапаев, — все равно попадет или в меня, или в тебя. А кто держит палку, тот из воды выйдет сухим, как гусь...

— Что это за беспутный петух запел не вовремя? — спросил Таган.

— Почему петух? Я голубь, белый голубь...

Таган посмотрел на смуглого курного плотного Халапаева и сказал:

— Ах ты, шалопай!

— Не шалопай, а Халапаев!

— Ну ладно, Халапаев, кто тебя позвал сюда?

Халапаев сделал странное движение, будто кость застряла у него в горле.

— Что ж молчишь?

— Я... я кончил...

— Что кончил?

— ...говорить.

— Ах, шалопай! Ты же не ответил, кто тебя звал?

— Атаджанов.

— Как же получилось, что Тойджан звал тебя ко мне, а не к себе?

— Тут есть свой смысл, — важно сказал Халапаев.

— Что за смысл?

— Атаджанов позвал меня к тебе...

— Зачем?

— Чтобы позвать тебя к нему.

— Замечательный смысл! А зачем я ему понадобился?

Халапаев надменно задрал нос.

— У меня нет прав, мастер-ага, лезть в чужие тайны и тем более разглашать их.

— Говорят, терпи, если с поручением послал мальчика, — серьезно сказал Таган, — но ты хоть и шалопай, но не мальчик. Нельзя, братец, так задерживаться, когда послан по делу. Ты,

как поскользнувшийся человек, уронил сразу две дыни. Во-первых, забыл о своем деле, во-вторых, увлек меня пустым разговором и отнял столько времени.

Халапаев с интересом посмотрел на мастера.

— Таган-ага, когда выпадут твои зубы и не сможешь жевать даже вареное мясо, хотел бы я знать, кого ты тогда будешь ругать?

Таган рассмеялся и, положив руку на плечо Халапаева, отправился вместе с ним на буровую.

## Глава девятнадцатая

Все повторить сначала...

Сердце Тагана сжимала тревога. Никогда нельзя знать, что там творится, под землей! Что случилось на буровой у Тойджана? Халапаев болтал без отдыха, но мастер даже и не вслушивался. Он молча шагал рядом, размышляя о том, что недаром шайтаны нашли себе жилье в преисподней. Именно оттуда, с далекой глубины, и приходится ждать всяких бедствий. Однако, подойдя к скважине, мастер убедился, что ничего страшного не произошло. Руки Тойджана лежали на рычаге, ноги спокойно нажимали на педали, только лицо его, орлиный взгляд были мрачнее тучи.

Благодушное расположение духа сразу вернулось к мастеру. Он взглянул на безоблачное небо, потом на сырую землю, от которой поднимался пар, и негромко, будто с самим собой разговаривая, сказал:

— Взглянешь на солнышко — глаз веселится... К земле прислушаешься — так тихо, что душа радуется. А все-таки нет мне покоя! Что творится со мной? — и мастер посмотрел на Тойджана, надеясь, что он поймет намек.

Бурильщик продолжал работать молча, даже не улыбнулся.

Таган заглянул ему в глаза и спросил:

— Тойджан, как думаешь, что меня беспокоит?

По-прежнему делая вид, что не понимает, Тойджан ответил:

— Может, ты потерял что-нибудь?

— Что мне терять? Разве из кармана этого бушлата высыплется золото?

— Сокровище можно хранить не только в кармане.

— Думаешь, у меня есть амбар для золота?

— По-моему, есть.

— Где же?

— А твоя голова?

— Какое же сокровище спрятано в этой тыкке?

— Есть одно такое сокровище.

— Не могу догадаться!

— Может, моя прямота покажется грубостью, но я все-таки скажу прямо: память — твоё сокровище!

— Ничего не понимаю!

Вместо ответа Тойджан кивком показал на трубу, находившуюся в центре буровой. Она уже наполовину ушла в землю и продолжала потихоньку опускаться. Мастер стукнул себя по лбу.

— О, пустоголовый! О, птичьи мозги! Где твоя память! С этакой тыквой на пенсию пора идти, а не мешаться под ногами у людей!

Бурно выразив негодование, старик спокойно уселся на обломок железного чана.

Два часа назад Тойджан предупредил мастера, что у него осталась только одна труба. Узнав об этом, Таган должен был обзвонить снабженцев, поставить всех на ноги и добиться, чтобы трубы были немедленно доставлены на буровую. Как видно, он забыл об этом. Но удивительно, что сейчас вместо того, чтобы бежать в будку, он устроился тут и собирается благодушествовать.

— Придется прекратить бурение, — резко сказал Тойджан.

Не проявляя беспокойства, Таган кивнул.

— Плохо работают хозяйственники. Ничего не скажешь, плохо.

Тойджан не узнавал мастера: сам же признался, что забыл о трубах, призывал проклятья на свою голову, а теперь, оказывается, виноваты другие.

— Мастер-ага, знаешь поговорку: «Не потревожишь туркмена — не почувствует», — сказал Тойджан.

— Наш Кузьмин тоже говорит: «Гром не грянет — мужик не перекрестится». Только...

— Что только?

— Только неужели ты поверил, что я забыл про трубы?

Тойджан молча опустил голову.

— Неделю назад мой сын Аннатувак сказал: «Мы с почетом проводим тебя на заслуженный отдых»! Я хлопнул дверью у него перед носом. Но где же мне искать опоры, если даже ты можешь поверить, что я забыл про буровую?

Покраснев чуть не до слез, Тойджан попытался оправдаться.

— Мастер-ага, это правда. Я думал, что ты забыл про трубы. Но при чем же тут старость? И Халапаев, и я, и любой мальчишка может забыть самую важную вещь. Разве дело в годах? Спроси: чего я в свои годы сам себе желаю, и я скажу — работать, как ты, жить, как ты, сердиться, как ты, смеяться, как умеешь только ты...

— Не все так думают, сынок, знаешь, как рассуждают? Что нужно старику? Почет? Есть у него почет. Покой? Есть у него покой. Работать у нас на Вышке — риск не велик. А пришел домой, помылся в ванной и воды не пожалел. Вышел в сад — своя редиска растет. А виноград! Вся беседка увита виноградом!

Мастер с таким негодованием рассказывал о своей благополучной жизни, что Тойджан засмеялся.

— Разве это плохо, мастер-ага?

Таган с сожалением посмотрел на Атаджанова.

— Я не безумный, чтобы хорошее называть плохим, а плохое — хорошим.

— Зачем приписываете мне такие мысли... Кто посмеет назвать вас безумным? Кого мы уважаем больше всех?

Таган долго молчал, задумчиво глядя вдаль, потом перевел взгляд на Тойджана.

— Уважаете... — повторил он. — Но кто поймет меня? Нет, должно быть, я и вправду безумный старик! Как объяснить тебе, Тойджан?.. Четверть века назад на этом месте ничего не было. Песок. Станция Небит-Даг называлась «тринадцатый разъезд», а вокруг в черных кибитках ютились нефтяники. Было это? Было. Мы не знали, что такое электрический свет, а вода выдавалась по норме. Брали ее на железной дороге из цистерн. Было? Было. И я работал, не жаловался, не боялся за свое будущее... Я верил, что доживу до лучших дней. Теперь я знаю, как может жить рабочий-туркмен в Советской стране. Сам вместе с ней создавал эту жизнь. И я хочу снова все повторить... Опять сначала! У меня есть силы. Ты веришь мне, Тойджан?

До сих пор Атаджанов смотрел на мастера снизу вверх, уважал, как учителя, доверял, как отцу. Мастер делал для него много хорошего, бывало, что и советовался с Тойджаном, но никогда еще не был так откровенен. В эту минуту Тойджан увидел его во всей силе рабочего-творца, который хочет создавать новое, и во всей слабости одинокого человека, ищущего опоры среди единомышленников. И впервые бурильщик почувствовал в мастере не только учителя, но и друга.

— Мастер-ага, — сказал Тойджан, — я думаю, что, когда лет через пять — десять мы построим в Сазаклы новый город, и в пустыне вырастут деревья, и будем рассказывать молодым о тех временах, когда здесь не было ни нефти, ни воды, вы будете искать черное золото уже в новом месте, может быть в Каракумах...

Халапаев, который давно расхаживал вокруг буровой, но не решался подойти поближе, чувствуя, что разговор идет серьезный, сейчас не выдержал и вмешался:

— А вдруг в Сазаклы и в самом деле нефти не найдем?

— Вот уж в это я не верю, — сказал Тойджан. — Помните, как в Татарии дело было? Десять лет впустую дырявили землю. А теперь?

— Десять лет? — переспросил Халапаев. — Десять лет искать, и состаришься — не заметишь!

Таган, который сидел, разглядывая свои большие руки с узловатыми пальцами, вдруг с интересом посмотрел на Халапаева.

— Ты молодой, — сказал он, — но еще не знаешь, что такое молодость. Молодость — это бесстрашие и щедрость. Не найдем, пойдем в другое место. А силы... чем больше отдаешь, тем больше возвращается.

Таган рассмеялся и вдруг оборвал смех, будто пораженный электрическим током. Его взгляд упал на трубу, которая за время душевного разговора заметно укоротилась. Мастер вскочил с места, словно увидел ребенка на краю пропасти.

— Бессовестные люди! — крикнул он. — Никому нельзя верить! Слушай, Тойджан, если я поеду сейчас в контору, пользы все равно не будет. Мы не допустим, чтобы бурение остановилось! Надо с ребятами пойти на буровую Шалли и принести оттуда трубу на плечах, как покойников носят. Халапаев, беги! Зови Джапара!

Мастер и сам стал спускаться с буровой и тут столкнулся с Ханыком Дурдыевым, подъехавшим на своем мотоцикле. Таган уставился на него, словно увидел чудовище. Ханык не смутился. Его маленькие глазки, как всегда, помаргивали, губы дрожали, щеки дергались, даже уши шевелились, но он развязно протянул мастеру свою запыленную руку, как человек, пришедший с поздравлениями.

— Мастер-ага, салам!

— Салам, Ханык, братец, салам!

В торопливом рукопожатии старика Дурдыев почувствовал какую-то угрозу. Однако Таган улыбался приветливо, только в глазах поблескивали опасные огоньки. Ханык, всегда побаивавшийся мастера, угодливо поклонился еще раз и хотел было начать оправдательную речь, но мастер не дал ему и рта раскрыть.

— Ханык, смотри-ка! Хоть ты и не работаешь на буровой, а где-то испачкался глиной! Как нехорошо...

Он поскреб снабженцу плечо и вдруг схватил за горло, продолжая приветливо улыбаться. Дурдыев подумал было, что мастер шутит, но пальцы что-то слишком сильно впивались в горло.

— Так где же трубы? — лениво спросил Таган.

— Тру... тру... — пытался объяснить Дурдыев, но железные пальцы сжимали шею все сильнее, и невозможно было выговорить ни слова.

Мастер весело переспросил:

— Где трубы, я говорю?

Тойджан, наблюдавший сверху, увидел, что глаза Ханыка выкатились, как у задушенной овцы, а слабые грязные руки тщетно пытались разжать пальцы Тагана. Бурильщик даже пожалел Дурдыева, но не вступился. Он считал Тагана прекрасным воспитателем.

Ханык по-прежнему не мог вымолвить ни слова, круглое лицо покрылось мелкими капельками пота. Неизвестно чем бы кончилась эта сцена, если бы на дороге не показались два тягача, груженные трубами.

Пальцы Тагана разжались, и он как ни в чем не бывало принялся снова соскребать глину с плеча Ханыка. Снабженец не мог отдышаться и с испугом смотрел на старика. Таган сказал:

— Может быть, моя шутка показалась тебе грубой, но ведь и ты заставил нас поволноваться. Еще полчаса, и пришлось бы прекратить бурение!

Ханык невпопад ответил осевшим хриплым голосом:

— Знаю, знаю, большое спасибо, мастер-ага...

Трусливые повадки снабженца, его хвастовство и подхалимство не раз вызывали чувство брезгливости у Тагана.

— Что-то мне не нравится твой голос. Может, простудился?

Ханык судорожно закивал.

— Верно, мастер-ага! Сам чувствую, горло болит, что-то вроде ангины...

— Должно быть, выбежал потный на улицу, когда торопился с нашими трубами?

— Нет, мастер-ага, я, когда выехал сюда, был совсем здоров.

— Удивительно! Значит, по дороге продуло. Следи, брат, за своим здоровьем, особенно береги горло. От случайной простуды можно загнуться...

— Поверьте, мастер-ага, я ни в чем не виноват! — Он вынул из кармана пачку бумаг. — Вот требование на машину, вот путевка, вот счет с базы... Это все они... Они задержали меня на полдня, заставили выслушать твой упрек! Но я для тебя все сделаю! Прикажешь привезти одну трубу — привезу тысячу!

С отвращением наблюдая, как дергается круглое лицо Ханыка при этих заверениях в преданности, Таган хмуро пробурчал:

— Не нужно мне тысячи вместо одной, не нужно и одной вместо тысячи. Но привези десять, когда прошу десять, сто, когда прошу сто. И привези вовремя!

— Будь покоен! Я вижу, как ты болеешь за дело. Я тебе навезу труб на месяц вперед! Хочешь, и барит, и цемент, и трубы завезу на целую пятилетку вперед?

— Вот это здорово!

— Я не шучу! Все, что прикажешь, сделаю!

— Кажется, Ханык, мы зря так долго толкуем о трубах.

Дурдыев не понял мастера и лицемерно вздохнул:

— Ничего не поделаешь, мастер-ага. Нефть нужна!

— Ее ведь так просто добыть!

— Это как же?

— Стоит Ханыку слегка притопнуть ногой, и нефть забьет фонтаном.

— Ай, мастер-ага, ты умеешь придумывать и сказки!

— Я, конечно, не могу так далеко залетать, как Ханык. Говорят: «Прикрой глаза, если товарищ слепой», — вот и я стараюсь, подпрыгиваю...

И, повернувшись спиной, Таган Човдуров неторопливо пошел на буровую к Тойджану.

## Глава двадцатая

### Гости в ауле

Как обычно бывает, готовились долго, а собрались в один час. Уже две недели Тойджан знал,

что в подшефном колхозе будет большой праздник и он назначен ехать в аул с делегацией. А вечером срочно вызвали в партком — выезжаем на рассвете.

— На мотоцикле можно? — спросил Тойджан.

— Ольга Сафронова, пожалуй, будет скучать с нами, со стариками, — ответил Аман.

— А я могу и ее взять! — вдруг решил бурильщик. — Можно отсюда к ней позвонить?

И на рассвете вездесущий «газик», управляемый Махтумом, двинулся из Небит-Дага в колхоз. А на почтительном расстоянии за ним следовал мотоцикл Тойджана; в коляске боролась с ветром растрепанная и веселая Ольга, одетая по-дорожному. У обоих на глазах — защитные очки.

Как только выехали из города, Тойджан поделился с попутчицей своим огорчением: парторг вечером так торопил с отъездом, что он даже не успел попрощаться с Айгюль. Наверно, рассердится...

— Она очень сердитая? — выпытывал Тойджан. — Достается от нее подчиненным?

— Недавно на разнарядке одному оператору влетело! — смеясь, выкрикнула в ответ Ольга. — Он не знал, куда деваться от смущения... Ты его знаешь: такой умный, деловитый, с родинкой на щеке... Это Нурджан, брат вашего парторга.

Так они мчались против ветра и болтали о разных людях, он — об Айгюль, она — о Нурджане. Ольга вела себя, как настоящая подруга Айгюль: не из таких, которые торопятся исподтишка предать, а из тех, кто больше собственной чести дорожит достоинством другой девушки. Они проскочили по-воскресному сонный Джебел и уже разговаривали словно закадычные друзья. Тойджан был доволен: хорошо, что догадался предложить девушке коляску своего мотоцикла. Там, впереди, в машине большие начальники ведут, наверно, скучнейшие разговоры, какими умеют отравить каждый час своей жизни.

Время приближалось к полудню, когда шефы-нефтяники подъехали к колхозным владениям. Приятно было после пустыни, голой и каменистой, увидеть поля. Широкая поляна перед аулом словно засеяна маком — это собрались на скачки колхозники... Женщины и дети в ярко-красных и зеленых, из местного шелка, нарядах, по-праздничному одетые парни. Шумно и весело встретил аул своих гостей! Даже старики, взбудораженные праздником, в предвкушении скачек и тоя, казалось, помолодели. Повсюду раздавались автомобильные гудки, не сосчитать было грузовиков и легковых машин, съехавшихся сегодня на эту поляну из Красноводска, Джебела, Билека, из окрестных колхозов. Махтум лихо вкатил свой «газик» на отведенную для машин полосу. Аннатувак и Аман вышли, их встретил председатель колхоза Ягшим в бараньей папахе, в халате из домотканого полушелка, подпоясанном пуховым кушаком.

— Пусть через месяц придет, но пусть благополучно придет! — осклабясь любезно, твердил он старинную поговорку, которой встречали когда-то запоздавший верблюжий караван.

— Выходит, опоздали? — спросил Аннатувак, оглядывая праздничное поле.

Тойджана и Ольгу тотчас окружили мальчишки, показывали площадку, приготовленную для борьбы, для состязаний пальванов, лучших скакунов и знаменитых всадников, стоявших поодаль.

— Смотри, неплохие кони, — скрывая восторг, заметил Тойджан и показал Ольге двух скакунов, которые, чуя приближение часа борьбы, косились жаркими глазами и поводили маленькими ушами. Конюхи, сдерживавшие их, волновались, конечно, не меньше. Но и они

успели дружески помахать руками гостям-нефтяникам.

У Ольги глаза разбежались. Хотелось и на коней поглядеть, и с детворой поиграть, и оценить сельские наряды женщин. Женским взглядом она сразу отметила, как непохоже причесаны девушки: приезжие, из текинских селений, и местные, иомудские. Текинские красотки заплетали волосы в две косы, а иомудки перебрасывали на грудь множество тонких, туго заплетенных косичек. Ольге хотелось поделиться этим наблюдением, — но с кем? Не с Махтумом же и не с Тойджаном! И она пожалела, что рядом нет Айгюль.

Какие-то женщины, окружив русскую девушку из Небит-Дага, напоили ее хорошо заквашенным чалом, дали в руки ложку и большую чашу со сметаной из верблюжьего молока.

— Спасибо! — по-туркменски сказала Ольга и рассмеялась.

И женщины тоже рассмеялись.

Между тем председатель колхоза Ягшим, не зная, как уважить шефов, где усадить их, тянул за руки то начальника конторы бурения, то парторга. Иногда он выпускал обоих и начинал кружиться вокруг и даже очень проворно, несмотря на свою толщину. То он кричал: «Эй, несите ковры, несите кошмы!..» — то вдруг отменял приказ: «Нет, не надо! Пусть они единогласно будут судьями на скачках!» — и тянул их к столу, уставленному призами. Потом снова входил в раж гостеприимства: «Стелите ковры! Пусть они единогласно попьют чаю и подкрепятся с дороги!..» Впрочем, и этого ему казалось недостаточно, он хватал гостей за локти: «Единогласно ко мне домой, а скачки начнем через час...»

Конечно, не к чему было задерживать ход праздника, и Аман пытался втолковать это хозяину. Но у того было немало забот, и, не дослушав гостя, он вдруг куда-то убегал, пронзительный голос его слышался где-то в толпе, потом Ягшим снова возвращался и хватал нефтяников за руки. И колхозные активисты, глядя на своего председателя, суеились не меньше его самого. Махтума, следившего за Ягшимом, умиляло его гостеприимство.

Гостей повели к коням.

Невысокий и стройный белый скакун, капризно воротя морду от свежей охапки клевера, которую подносили наездник и конюх, ревниво косился на соседа — гнедого коня, а тот, дробно переступая тонкими ногами, ходил вокруг своего хозяина. Махтум, поглядывая из-за спины Аннатувака, прекрасно чувствовал состояние этого гнедого красавца: «Не держите меня, отпустите! Я за час обегу все четыре стороны света...» И действительно, конь был такой, что стоило лишь тронуть плетью... Махтум поглядывал и на белого коня и тоже все за него понимал: «Вот как начнем считать копытами скаковую дорожку, видно будет, чьи ноги резвее, кто из нас выносливее...» По тому, как белый отворачивался от душистого клевера, Махтум понимал, что и тот волнуется. У гнедого была густая пепельная грива — ох, как хотелось Махтуму потрогать ее рукой. Но рядом стоял строгий с виду и гордый колхозный конюх в накинутах на плечи сером чекмене и отчужденно поглядывал на толпу. Видел ли он в эту минуту небит-дагского шофера? А возле белого коня суеился невзрачный человек с реденькой сивой бороденкой, он ни минуты не оставался спокойным, подносил к черным губам коня то травку, то воду, то приказывал подросткам-уборщикам снять попону и постукивал пальцами по спине скакуна, то сам набрасывал на него попону и что-то наказывал жокею, потом бежал куда-то...

Иные наездники водили коней, держа за поводья. Иные рысью пускали их по дорожке. Кричали глашатаи:

— Седлай коней, выходи на круг, э-эй!



— Призы хорошие! Не обижайтесь потом, будто не слышали, э-эй!

— Для жеребцов, пускаемых на один круг, приз — двухгодовалый баран, ха-а!

Колхозный ипподром представлял собой неогороженное четырехугольное поле, где на каждом углу по столбу, на столбах — красные флаги. Вдоль воображаемой дорожки всюду выстроилась толпа, и мужчины сами брали на себя обязанность держать линию. Мальчишки уселись, конечно, впереди взрослых. Живая изгородь из человеческих голов и плеч повсюду, от столба к столбу, вздрагивала и дышала.

Коней выпускали на дорожку не только парами, но и группами. Когда шесть первых жеребцов вышли на старт, Аннатувак обратил внимание Амана на то, что четыре скакуна без седел и наездники некрасиво свесили ноги, не упиравшиеся в стремя. Между тем толпа подалась вперед, следя, как кони выравнивались на старте. Взмах флажка, и вся кавалькада двинулась, поднимая пыль...

Аннатувак тронул за плечо рядом стоявшего старичка.

— Может быть, объясните, почему некоторые поскакали на неоседланных лошадях?

Бровастый старичок обернулся к городскому начальнику и, поблескивая живыми глазками, рассказал побасенку:

— Слушай, братец, и понимай... Один купец ушел с караваном в дальний край торговать, а дома оставил молодую жену. Через четыре года вернулся и нашел дома трех маленьких карапузов. Купец взял на руки старшенького и спрашивает: «Чей это прелестный ребенок?» — «Ай, купец, забыл разве? — пристыдила жена. — Когда ты уезжал, он должен был вот-вот родиться». Купец протянул руку к другому малютке. «А это что за славный ребенок?» — «Ай, купец, когда ты уезжал, я как раз зачала его!» Тогда купец показал на третьего, совсем махонького, и спрашивает: «Ну, а это что тогда?» Жена не нашлась и только застенчиво сказала: «Купец, ты этому дивишься, и я удивлена...» — Старичок, положив свою волосатую руку на плечо Аннатувака, беззубо рассмеялся: — Вот так же, братец, ты удивляешься, что скачут без седел, и я удивлен!

Пока окружающие вместе с Аннатуваком смеялись над басенкой, кони обскакали круг и, тяжело дыша, приблизились к финишной ленте. Прокатились аплодисменты: народ приветствовал победителя. А вот проскакали на кобылах и хозяева быстрого скакуна — работники колхозной конюшни. У одного из них в руке развевался приз — десятиметровый отрез шелка.

И снова закричали глашатаи. Снова вышли на старт неоседланные кони. И старичок, довольный, что нашел слушателя, опять приник к плечу Аннатувака.

— Видишь, некоторые поверх потников протянули подпруги, а у других и того нету. Неудобно и для всадника и для коня.

— Может быть, седел не хватает? — догадался Аман.

— Коня теперь не в чести, — посетовал старик. — И мастера-седельщика днем с огнем не найти... Но для скачек, пожалуй бы, седел хватило. Это они нарочно так делают.

— Не без причины, конечно? — спросил Аннатувак.

— Братец, а знаешь ли ты, кто сосед у нашего колхоза? Впрочем, ты нефтяник, откуда тебе знать. Здесь неподалеку казахское село. Вот у казахов и переняли наши эту привычку скакать на неоседланных лошадях...

Он, видно, не прочь был бы рассказать и о том, почему казахи испокон веков любят такую степную скачку, но снова возопили глашатаи:

— Кто идет на четыре круга, выводи коней, ха-а!

— На четыре круга приз назначен — годовалый верблюд, э-эй!

Толпа дрогнула по всему полю — всех волновал исход борьбы на главной, восьмикилометровой, дистанции. Махтум первый заметил, что стали поспешно седлать и тех двух красавцев скакунов — белого и гнедого.

— Товарищ начальник, — почтительно обратился он к Аннатуваку. — Который из тех коней, по-вашему, придет первым?

Аннатувак, уже вдоволь налюбовавшийся мощным крупом гнедого, его широкой грудью, стройной шеей, красивой головой, не задумываясь, ответил:

— Конечно, гнедой!

— А я считаю, — вкрадчиво заметил шофер, — что белый перегонит.

— Если так разбираешься в конях... — Аннатувак удержался от грубого словечка и закончил шуткой: — Махтум, что с тобой? Глаза плохо видят или пораправляться горячим?

— Сейчас не об этом речь, товарищ начальник, хотя в желудке слышу перебои.

— О чем же речь?

— Я так предполагаю, что, ежели скакать на короткую дистанцию, гнедой обскочет. Но восьми километров его холеные ноги не выдержат. В этом убежден, и никто меня не отговорит.

— А я другого коня и не вижу, — пытаюсь быть хладнокровным, возразил Човдуков.

— Можно поспорить с тобой? — ласково приступил Махтум к главной своей задаче.

— На что хочешь спорить?

— Если белый обгонит гнедого, дашь мне двухмесячный отпуск?

Аннатувак усмехнулся.

Махтум, не болтай что попало. Не я издаю законы, не я устанавливаю продолжительность отпусков.

— Ладно... Тогда премируешь чем-нибудь из директорского фонда.

— Глупости говоришь. Разве не знаешь, для чего предназначен директорский фонд?

— Тогда... Тогда сто рублей из своего кармана!

— Это другое дело, — согласился Аннатувак. — А что ты мне дашь, если придет гнедой?

— Я... — Махтум толкнул локтем Амана. — Я готов доверить тебе на обратном пути баранку... Жизнью рискую, как видишь.

Этот сговор мог тянуться долго, если бы кони не изготовились на старте и не раздался выстрел.

Толпа ахнула — гнедой сразу вырвался вперед, оставив за собой четырех коней, бежавших

кучно. Аннатувак толкнул в плечо шофера.

— Гляди, Махтум! Гляди, Махтум!.. Еще наездник сдерживает, а то он все четыре круга обежит, пока остальные сделают первый...

И в самом деле, если б дугой пригнувшийся к шее коня гибкий мальчик-наездник показал плетть и сделал сильный посыл, гнедой далеко оторвался бы от остальных. Махтум это чувствовал, но понимал, что такого темпа нервный скакун долго не выдержит, и потому хладнокровно ответил:

— Не торопись, товарищ начальник, дело еще впереди. Будем рассчитывать на финише...

Но и на втором и на третьем кругах гнедой скакал далеко впереди других, и Човдуров, увлекшийся не меньше Махтума, то и дело выкрикивал:

— Ну как, Махтум?.. Эге! Ну как теперь?..

Но на половине четвертого круга белый конь вдруг отделился от остальных и быстро стал настигать гнедого. Теперь уже Махтум, приплясывая от возбуждения, кричал:

— Товарищ начальник, гляди, гляди!.. Ай, что делает белый!

Когда прошли третий столб четвертого круга, оба коня шли голова в голову. Зрители проталкивались вперед, раздвигая плечами стоящих ближе, подбадривая фаворитов:

— Гнедой, красавец мой, жми!

— Жертвой буду ради тебя, белый мой, покажи себя!

Иные шутники прыгали на спины своих соседей, а те и не замечали. Аннатувак тоже в азарте выскакивал из рядов, бормоча про себя: «Жаль, что его пустили на большую дистанцию... Эх, гнедой, не подведи меня, постарайся!..» Даже не чувствовал, как шофер что есть силы колотит его по плечам, крича:

— Гляди! Гляди!..

Часто мелькали ноги белого, приближался издали глухой топот копыт, сияла мокрая от пота спина гнедого... Распластываясь в воздухе, кони летели мимо ухающей толпы... Только в последнюю секунду стало заметно, как на финише белый уже на целый корпус опередил гнедого под рев зрителей... Казалось, громче всех орал Махтум:

— Что?.. А?.. Белый победил гнедого!

Кончились скачки — начался гореш, излюбленная в туркменских селах борьба пальванов.

Тойджан и Ольга протиснулись в круг, где схватывалась в единоборстве то одна пара, то другая... Ольга ничего не понимала в тонкостях гореша, но Тойджан, надеявшийся показать русской девушке туркменский праздник во всей его красоте, только презрительно кривил губы. Зарясь на приз, то и дело выходили на круг обыкновенные, не отличающиеся ни ростом, ни телосложением шоферы, пастухи, конюхи. Не те были пальваны, что прежде, не та была борьба, какую Тойджан видывал в родном селении...

— Детская забава, — сказал он и даже плюнул.

— А мне нравится! — говорила Ольга и тянулась на цыпочках, чтобы лучше видеть.

— Видела бы ты, какие прежде на тоях выступали пальваны... — недовольно гудел бурильщик. — Затылки были как пудовые сахарные головы, а ноги точно кувшины для воды...

А эти, ах!

— Да что ты брюзжишь?

— Не нравится.

Тойджан был уверен, что, выйди он на круг, всех бы раскидал. Но он был застенчив и потому сердился и отворачивался, когда кто-нибудь из толпы выбегал на круг и повязывал на себе кушак... А когда победителю вручали сторублевку, он даже начинал что-то напевать себе под нос, и Ольга удивленно приподнимала брови, с интересом поглядывая на придирчивого спутника. Впрочем, и она рассмеялась, увидев шофера Махтума, который успел с кем-то схватиться и сейчас, азартно прикладывая ко лбу сторублевую бумажку, точно пьяный, шел из круга. Его, видно, интересовала не сама борьба, а приз, и он нес его над толпой, как флаг. И уже, кажется, готов был снова ринуться в схватку.

Когда Тойджан и Ольга разыскивали в толпе своих, был уже третий час дня. Махтум, изрядно проголодавшийся после борьбы, нетерпеливо поглядывал на Аннатувака — тот спорил о чем-то с Ягшимом.

— Сказать по совести, товарищ председатель, — говорил Аннатувак, и трудно было сразу понять, всерьез ли он или разыгрывает толстяка, — ваш той не превзошел моих ожиданий...

— Дорогой товарищ Човдуров, потерпите, угощение вас единогласно удовлетворит, — перебил Ягшим.

— Нет, Ягшим, вы меня не поняли.

— А что?

— Почему на конях скачете без седел?

— Мы этого даже не замечаем.

— И гореш у вас словно детская забава, — вставил слово Тойджан.

— Ай, как же это так? — изумленно оглядел Ягшим своих колхозников. — Товарищи активисты, неужели не удался наш праздник?

Льстивые голоса тотчас откликнулись:

— Как будто неплохо, товарищ председатель.

— Люди повеселились, товарищ председатель.

— И призы щедро раздавались...

Аман, слушая этот хор подхалимов, рассмеялся.

— Где прежние пальваны? — спросил он. — Где Балхан-пальван? Где Пеленг? Где Непес Чака?

Ягшим решил обратить в шутку неприятный разговор.

— Не тревожь мои раны, товарищ Аман, женщины теперь единогласно рожают карапузов!

— Разве товарищ Ягшим — карапуз? — наседал Аннатувак, почувствовав поддержку

товарищей-нефтяников. — Вот этот друг — разве карапуз? — он показал на рослого кладовщика. — И тот, что в праздничный день стоит с папкой под мышкой, разве карапуз?

— Ай, ведь мы же актив!

— А разве актив... — Аннатувак чуть было не сказал «должен гордиться своим пузом?», но поправился: — Разве актив не должен заниматься физкультурой? Забыли, видно, пословицу: «Старший начнет — младший работает!» Почему сами не вышли бороться?

Ягшим уныло ответил за всех:

— Товарищ нефтяник, разве не слышишь, какая у меня одышка, даже когда с места встаю?

— Дальше так пойдет, и встать не сможешь.

Ягшим хитро подмигнул своим и рассмеялся.

— А ведь это единогласно золотые слова, а?! Пойдемте покушаем, дорогие гости.

Пир был на славу. Ягшим угощал шефов чем только мог. Махтум неумоимо уплетал кюrtleк. Шашлык из грудинки пришелся по вкусу Аннатуваку. А когда разрезали поджаренного на углях козленка, фаршированного черным перцем и луком, тут уж перестали стесняться и Тойджан с Ольгой. Помня о золотых словах, только что сказанных в назидание толстяку Ягшиму, один только Аман не слишком налегал на жирную еду, а больше тянулся к мискам с кислым молоком и крепким чалом.

Ягшим произносил тосты — один за другим и все «единогласно».

С трудом Тойджан втиснул словечко в этот фейерверк красноречия. Ему захотелось опять поддразнить тщеславного толстяка.

— Товарищ председатель, в вашем колхозе на досуге, особенно на тоях, молодежь не играет в кольцо?

— Ай, играют иногда в карты, в дурачки...

Ответ показался обидным Тойджану. В его родном Сакыр-Чаге любили играть в кольцо: садились в кружок на сыпучем песке и пускали колечко по рукам, а тот, кто сидел в середине круга, должен был угадать — у кого. Нелегко было, держа в кулаке колечко, не выдать себя ни улыбкой, ни движением ресниц.

— Товарищ председатель! — воскликнул Тойджан. — Пренебрегая тонким искусством наблюдательности и сметливости, вы, по-моему, проявляете халатное отношение к своим обязанностям. Была бы моя воля, я бы крепко наказал вас за беззаботность, а эту игру ввел бы как урок в сельских школах...

С блуждающей улыбкой Ягшим вслушивался в слова бурильщика, пытаясь разгадать, серьезно он говорит или шутит.

Все засмеялись, и у председателя отлегло от сердца, он сделал вид, что очень занят едой, и промолчал.

Теперь к нему приступил Аннатувак:

— Может быть, я не заметил, но, кажется, на тое не упражнялись в благородном искусстве стрельбы?

Ягшим поглядел на гостей страдающим взглядом. Он не мог представить, что и Човдуров

подшучивает над ним. Это было бы слишком легкомысленно для такого большого начальника. Но раз критикуют, надо обороняться.

— Стрельба? — насмешливо переспросил он. — Чтобы стрелять, где найдешь древние хирлы?

— В Красноводске можно купить малокалиберные ружья.

— Ай, товарищ Човдуров, зачем по всему селу греметь выстрелами? Собак пугать, что ли?

— Не то, Ягшим, не то, — миролюбиво заметил Аман. — Стране нужны меткие стрелки, снайперы. Ты ведь сам воевал на фронте, знаешь... А забыл.

— Эта твоя критика верна, товарищ секретарь, — согласился Ягшим и снова взялся за жаркое.

— В одном признался — и то польза, — проворчал Аннатувак.

Ягшим живо присел на корточки и, размахивая сальными пальцами, перешел в наступление.

— Дорогой товарищ Човдуров, когда я стрелял на берегах Днепра, я думал, что, кроме военного дела, ничего не нужно знать человеку. А теперь все позабыл на свете, кроме заботы об увеличении поголовья скота... Это верно! Только, товарищ начальник, товарищ секретарь, я тоже хочу немного вас задеть, не сердитесь. Если не каждый месяц, то хотя бы каждый квартал приезжали к нам, указывали на недостатки, разве Ягшим учился бы у верблюдов? В крайнем случае, если сами не можете оторваться от кресла, прислали бы агитаторов...

Аннатувак весело прищурил глаз и спросил:

— А не помнишь ли, товарищ Ягшим, как ты участвовал в одном бурном нашем совещании, даже выступил там?

— В совещании? Я выступил? — Ягшим закивал головой. — Об электростанции шла речь? Да?

— Хорошенько припоминай.

— А, просил вырыть колодцы...

— Ты нам говорил: «По горло сыты вашими агитаторами, наша Кейкил-эдже не уступит вашим профессорам насчет агитации, даже верблюдов научит разговаривать...»

Эти слова развеселили всех сидевших на ковре. Под дружный смех колхозников Ягшим долго чесал затылок.

— Память у тебя цепкая, товарищ начальник... Эй, товарищи активисты, зовите сюда Кейкил-эдже, пусть она с ним поспорит, я не могу...

Махтум, которому — грех не сказать — понравилось колхозное угощение, хохотал вместе со всеми, слушая застольный поединок начальника конторы с председателем колхоза. Про себя он давно решил, что хорошо бы задержаться тут дней на пять. Он не смотрел на часы. Но Аннатувак, боясь, как бы Махтум не «разучился» водить машину, не раз уже подумывал, что пора ехать домой.

Солнце начало клониться к закату, участники тоя понемногу расходились по домам. Ягшим напомнил гостям, что вечером будет концерт самодеятельности. Но тут Аннатувак и Аман решительно поднялись — пора ехать, спасибо за веселый, полный удовольствия день...

— А как же концерт? — засуетился Ягшим. — Оставляйте тогда молодежь. Их не отпустим! И думать не о чем! — И стал кружить вокруг Ольги и Тойджана с такой же легкостью, с какой встречал высоких гостей на скаковом поле.

— Что ж, надо уважить хозяев, — сказал Човдуров и вопросительно взглянул на Тойджана.

— На мотоцикле догоните, — улыбаясь, поддержал Аман.

— Нет, утром, утром уедут! У нас и комнаты приготовлены в гостинице! — кричал Ягшим.

— Останемся? — кисло спросил Тойджан Ольгу.

Она почувствовала в его голосе сожаление. И в самом деле, ему хотелось к вечеру вернуться в город, чтобы еще сегодня увидеть Айгюль, извиниться за внезапный отъезд.

— Ты так гостеприимен, как будто принимаешь меня в своем родовом имении, — ответила Ольга. — Что ж, останемся.

И вскоре Махтум дал сигнал отправления... «Газик» покатил восвояси. Ольга и Тойджан помахали вслед.

## Глава двадцать первая

После тоя

— До концерта еще три часа. Идем погуляем.

— Ты мне покажешь кибитку?

— Я покажу тебе детский сад и ясли, новые дома, телефон на столе председателя...

Ольга рассмеялась.

— Нет, новую жизнь я хорошо знаю. Я хочу видеть старую кибитку.

Они стояли у ветхого колодца, заделанного плетнем. Ольга, точно строгий инспектор, заглядывала в глубину. Она была полна решимости осмотреть все на свете за эти три часа, ознакомиться с каждым закоулочком туркменского аула. Тойджан с любезной улыбкой смотрел на нее, она казалась ему сейчас младшей сестренкой Айгюль, и ради Айгюль он готов был исполнять все ее приказания. Смеркалось. Народ разошелся по домам.

— Ну что ж, идем, — сказал Тойджан.

Не успели пройти и двух шагов, как их остановили.

— Вас ищет одна женщина.

— Что ей надо? — удивился Тойджан.

— Не знаем. Она пошла в колхозную гостиницу...

Тойджан и Ольга переглянулись, пожав плечами. Они не придали этому никакого значения.

Аул был сравнительно чистым, как всегда бывает, когда населенный пункт расположен в широкой степи на песчаном грунте. Колодцы на улицах приподняты над дорогой. Нигде, даже

на задворках, не видно навоза и мусора. Зато в переулках справа и слева лежали аккуратно сложенные доски и штабеля кирпича. На многих домах возводились новые кровли из черепицы. Из черных рупоров на всю улицу разносился внятный голос диктора.

Тойджан, никогда не бывавший в этом ауле, уверенно шел впереди Ольги и шутиливо показывал:

— Вот, видишь, строится дом о восьми окнах.

— Вот идет Герой Социалистического Труда... судя по звездочке на бешмете.

— Вот это школа и даже дорожный знак возле нее для таких лихачей, как наш Махтум.

— А вот играют и резвятся молодые верблюжата...

— Где же черная кибитка? Не то показываешь!

Возле чалых верблюжат она все-таки задержалась.

Они неуклюже гонялись друг за дружкой, взбрыкивая мохнатыми ногами, а самый маленький стоял в сторонке и жалобно кричал, подзывая мать, которая неизвестно откуда, но должна же явиться на его повелительно-жалобный зов.

— А вот это видишь? — заметил Тойджан.

Он показал на пестрые тесемочки, повязанные на шеях верблюжат.

— А что это?

— Это свидетельство плохой работы партийной организации. Тут люди еще придерживаются старых поверий. Я видел и детишек с талисманами на груди... Значит, должны быть тут и кибитки.

И верно, вскоре увидели рядом с хорошими новыми домами несколько ветхих кибиток. Ольга осторожно заглянула под полог — внутри горел маленький саксаульный костер, дым легко убегал в щель между кошмами, прикрывавшими купол кибитки. Навстречу гостям вышел пожилой мужчина в тюбетейке и в пиджаке, по-городскому накинута на плечи. К удивлению Ольги, он заговорил на чистом русском языке. Он пригласил нефтяников зайти отведать кислого молока и очень толково разъяснил девушке, почему еще сохранились старые кибитки.

— Мы скотоводы, нам труднее отказаться от вековых привычек, — говорил хозяин кибитки. — К тому же иногда, особенно весной, приходится кочевать с места на место. Войлок готовим в колхозе, дров много вокруг, и наши кибитки не требуют от колхозников никаких дополнительных затрат...

— А этот дом ваш? — спросила Ольга, показав на аккуратный четырехконный дом с высоким крыльцом.

— Этот дом наш, — с улыбкой подтвердил колхозник.

Когда отошли от гостеприимного обитателя кибитки, Тойджан с непримиримостью человека нового времени процедил сквозь зубы:

— Зайцу родной бугор дороже всего...

— Что ты такой сердитый?



— Нет, ничего... Народ здесь хороший, — примирительно сказал Тойджан. — Трудолюбивый, по всему видно. И веселиться умеют, и работать... Ничего.

— Я и то скажу тебе, — согласилась Ольга, — женщины и девушки здесь не закрывают платками лиц, как некоторые у нас в Кум-Даге, а идут открыто, держатся с достоинством.

Как раз в это время проходила мимо стайка сельских девчат, и одна из них смело крикнула Тойджану:

— Вас женщина ищет!

— Где она?

— У гостиницы!

И снова Тойджан и Ольга с недоумением поглядели друг на друга.

Возле одноэтажного здания колхозной гостиницы их встретила рослая комендантша в цветастом платке и сиреневом шелковом платье. Она дожидалась гостей-нефтяников; председатель Ягшим распорядился отвести им по комнате, дать умыться, отдохнуть до начала концерта. Здесь, у дувала, стоял уже и мотоцикл Тойджана, доставленный сюда по его просьбе одним из колхозных любителей мотоциклетного спорта.

— Тут кто-то нас искал? — спросил Тойджан.

— Это Зулейха, она ушла покормить ребят и сейчас вернется, заходите, не стесняйтесь, — радушно объяснила комендантша.

Тойджан остался на улице, Ольга вошла в дом. Она стряхнула с плаща пыль и умылась. В ее комнате стояли четыре кровати с шелковыми одеялами и свежими чистыми пододеяльниками. На столе ожидала душистая дыня. За окнами совсем стемнело, вдали кто-то наигрывал на койдюке, журчала унылая песенка без слов, во дворе блеяли овцы, рослая комендантша бесшумно двигалась по комнате.

— Это твой жених? — вдруг по-туркменски спросила она.

Ольга всплеснула руками от изумления.

— Ой, что вы!..

За целый день она ни разу не подумала, что ее могут посчитать за невесту Тойджана. Придет же в дурную голову такая мысль!

Но комендантша, взбивая подушки, нисколько не смутилась.

— А что тут такого? — ласково приговаривала она. — Долго ли маслу смешаться с медом?..

— Не говорите глупостей! — оборвала Ольга, поправила косы и вышла на крыльцо.

Поодаль грузили на автомашины палатку, вещевые мешки, походные кровати, теодолиты. Это с рассветом собиралась уйти в пески какая-то экспедиция, не то геологов, не то геодезистов. Тойджан, задумавшись, сидел на ступеньках и не заметил Ольги. Где-то вдалеке послышалось урчание движка, и электрический свет разом вспыхнул в десятках домов и на фонарях, окаймлявших площадь перед гостиницей.

— О чем задумался? — спросила Ольга.

Тойджан поднял голову, взглянул на девушку тоскующим взглядом и коротко ответил:

— Сама знаешь...

— Сердишься, что не она сейчас рядом, а я?.. — насмешливо спросила Ольга.

Тойджан промолчал.

— Когда злишься, укуси нос.

— Зубы не достают до носа, может быть, ты прикусишь свой язычок?

Ольга не успела ответить, как перед ними возникла женская фигура. Чувствовалось по всему, что женщина очень волнуется.

Тойджан встал с порога.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, входите, — пригласил он и сам вошел в дом.

В комнате, отведенной для Ольги, был уже полумрак. Пахло дыней. Свет шел только от окна, за которым горели фонари на площади. Ольга присела в уголке на кровать. Тойджан поместился у тумбочки с графином. Женщина просунулась было в дверь вслед за ними, потом отступила, наконец неслышно вошла в комнату, тихо поздоровалась и уселась на стуле возле двери. Голову ее покрывал платок, и хотя кончик его она не держала во рту, как полагается в знак покорности и молчания, но по опущенным плечам, по стесненности движений и взгляда видно было, что она дичится незнакомых городских людей. Что же привело ее сюда? Думая об этом, Тойджан вглядывался в обветренное и все же нежное лицо с коротким носом и слегка приоткрытым от волнения милым детским ртом.

— Не стесняйся, пожалуйста, — решил он ободрить женщину, — считай нас своими людьми. А то ни ты не сумеешь рассказать, ни мы понять тебя. Не так ли?

— Это верно, так... — промолвила женщина костенеющим от смущения языком.

— Если верно, нам для начала нужно узнать друг друга. Ты, может быть, слышала уже — это мой товарищ по работе, оператор на нефтяных промыслах, комсомолка Ольга Сафронова. Я бурильщик, и зовут меня Тойджан Атаджанов, я родом из Марыйской области, из Сакыр-Чага. А тебя как зовут?

— Зулейха, — коротко ответила женщина.

— Колхозница?

— Да... Только неудобно мне говорить о своей работе.

— Почему? Мы же уговорились не стесняться...

— Да, это так... Но... видите ли, я работаю подпаском.

Видно, нелегко далось ей это признание. Зулейха вся съежилась на стуле, руку поднесла ко рту. Ольга не поняла, что тут стыдного, но Тойджан тоже смутился на мгновение: он впервые слышал о женщинах-пастухах. Впрочем, тут же подумал, что если крестьяне становятся в наше время мастерами, даже инженерами, то почему бы и женщине не стать пастухом.

— Очень хорошо! — сказал он бодрым голосом. — Твоя судьба будет и для других женщин примером.

— Верно, я могла бы и в селе прокормить двух детей, но по предложению партийной организации решила взяться за это дело... Я и не жалею теперь.

«У нее, верно, нет мужа, — подумал Тойджан, — что сказала она о двух детях?» Но промолчал, язык не повернулся спросить.

Поняв, почему запнулся Тойджан, Зулейха начала рассказывать, мучительно, с болью, как бы срывая присохшую повязку со старой раны.

— Если услышите что-нибудь постыдное, простите... По закону я замужем, у меня есть муж, у моих детей — отец. Только он... не муж мне и не отец для детей своих.

«Но мы же не следователи, — подумал Тойджан, — а дело твое касается суда...» Но он и сейчас промолчал — волнение женщины тронуло его, и Ольга из глубины комнаты под села поближе к Зулейхе, вглядываясь в полумраке в чистые, нежные черты ее лица.

— Он ни в колхозе не ужился, ни в ауле... — рассказывала Зулейха. — Вся его работа — доносы на всех писать, раздоры повсюду сеять... Пакостник такой... Комсомольцы исключили его из своих рядов... А ему хоть бы что... Наконец колхоз выгнал его взащей. Я слышала не раз от людей, что он находится в Небит-Даге, среди вас, нефтяников...

— Кто он? — жестко перебил Тойджан.

— Зовут его... — Она еще помедлила и робко выговорила: — Зовут его... Ханыком Дурдыевым.

— Ханык Дурдыев?

— Да.

— Может быть, Зулейха, ты несправедлива к нему?

— Может быть... — грустно согласилась Зулейха. — Соль пропитывает все, что в нее попадет. Не знаю, наверно, и нефтяники умеют превращать плохих людей в хороших...

— Он способный работник, живой человек, — говорил Тойджан, с горячностью убеждая не только покинутую женщину, но и самого себя, потому что всегда испытывал к Ханыку только безотчетную неприязнь...

— Не знаю... Вряд ли... — грустно повторяла Зулейха.

— Кто он такой? — быстро спросила Тойджана Ольга, оцепеневшая от всего услышанного.

— Он не бурильщик, он работает агентом в отделе снабжения... Я не раз встречался с ним и не думал...

Зулейха повернулась к Ольге и жарко заговорила, размахивая руками:

— Если скажут, что мы у берега моря живем, я могу поверить, но если скажут, что Ханык стал человеком, — нет, никогда не поверю!

— Погоди, Зулейха...

Но тихий до сих пор голос Зулейхи теперь заполнил комнату.

— Если ваше воспитание сделало его человеком, почему же он за два года ни разу не справился о своих детях? Я труженица, не нуждаюсь в его помощи, мне ни копейки от него не нужно!.. Но дети... Бедные малыши не знают еще, что он негодяй. Без конца приступают ко мне: «Мама, где наш отец? Мама, когда же приедет отец? Когда же возьмет нас на руки, как отец Мурада или отец Дурды? Мама, напиши ему поскорее, пусть приедет...» Знаете, как горько слышать жалобные голоса безвинных малюток, успокаивать их? — Зулейха плакала,

голос прерывался от слез. — Какое вам еще нужно доказательство?..

Несчастливая как вошла неслышно, так и выскользнула в дверь. Ольга сидела, сжав по-мужски кулаки в коленях. Тойджан встал и прошелся по комнате.

— Это гуляби, хороший сорт, — сказал он равнодушным голосом, потрогав рукой дыню, лежавшую на столе.

Но вдруг стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Встречу негодяя, отправлю ему в горло все зубы!.. — И, устыдившись своего крика, спокойно закончил: — Да, Ольга Николаевна, каждый в этом селе убьет гюрзу, потому что слышал о ее смертельном яде. Но почему же не убивают таких вот двуногих гадов?

Ольга даже в темноте видела, как он вздрагивает, словно тот гнедой конь перед скачками.

— А может быть, мы ошибаемся?

— Ольга, я знаю, что не ошибаюсь! Он только с виду похож на нас, на людей, но в зубах его — змеиный яд... Поверь мне! Вчера ужалил Зулейху, завтра — меня, послезавтра — тебя. Вот мой совет: берегись таких людей! Увидишь, я буду не я, если в скором времени с него не спадет шкура и все не увидят, что это за гадина! Такие мерзавцы не могут жить долго в нашем обществе...

В прихожей звонил телефон. Комендантша приоткрыла дверь и, не решаясь зажечь свет, в темноте объявила, что председатель Ягшим зовет гостей в Дом культуры, скоро начнется концерт.

— Хорошо, — сказала Ольга.

Когда любопытная женщина нехотя притворила за собой дверь, Ольга зажгла свет и хмуро сказала Тойджану:

— Не хочется мне на концерт... Можно, я останусь? А ты — иди... Она замаялась. — И потом, знаешь что, Тойджан, я прошу тебя, найди себе где-нибудь ночлег...

— Мне здесь комнату оставили, — смущенно сказал Тойджан и вдруг все понял. — Хорошо, Ольга, — поспешно согласился он, — я переночую у самого Ягшима, а на рассвете слушай мой мотоцикл под окном. Я разбужу весь аул!

Но, видно, болтливый Ягшим ночью заговорил насмерть бедного Тойджана, потому что он проспал утреннюю зарю. Ольгу разбудил радиоузел. Дожидаясь обещанного гудка мотоцикла, она проголодалась и съела полдыни — очень сладкая была дыня.

Только в восьмом часу утра мотоцикл Тойджана прострекотал по улицам села и выкатил в степь.

Глава двадцать вторая

Вынужденная уступка

Давно это было...

Долговязый паренек в дырявом чекмене и круглой шапчонке гонял овечий гурт по

привольным пастбищам за Большим Балханом, дружил с умными псами, ночами беседовал у костров с пастухом, мудрейшим на свете человеком, и смотрел немигающими глазами в огонь. Ему всего шестнадцать лет, а он так высок, что свободно мог положить длинные руки на спину лошади и так, облокотясь удобно, разговаривать с пастухом. О чем он тогда рассуждал, что думал, глядя в костер, теперь уж Таган-ага Човдуров, буровой мастер, всего не вспомнит. А ведь костлявый подпасок-чолук это он сам! Но как давно это было — за семью хребтами времени!

Байский чолук.

Бай, помнится, был тучный и грязный. Злой человек — хуже зверя. Ременная плеть туго намотана на покрасневшую кисть пухлой руки. Хорошо, хоть редко заглядывал на дальние пастбища.

А подпасок месяцами не знал пути в аул: стадо не отпускало.

И все же они встретились однажды — бай и чолук.

Была самая ранняя весна. Проклюнулись тонкими иглами травы, овцы жадными губами старались защипнуть их и не могли, бродили голодные и день ото дня тощали. А в песках должен был уже зеленеть черкез, и опытный пастух, оставив стадо на попечение подпаса, в полночь сел на осла и поехал в аул посоветоваться с баем, не отогнать ли гурт в пески, а заодно и запастись едой для дальнего перегона.

И только он уехал — поднялась песчаная буря. Овцы стали разбредаться. А скоро приблизились и волки, словно ждали этого часа. Псы, перекликаясь, повизгивали и, насторожив уши, кружили, сгоняя овец в гурт поплотнее. И Таган, хорошо понимая собак и сам чуя недоброе, во весь дух бежал взад и вперед; всюду слышался его голос:

— Алабай! Гляди, Алабай!..

Огромный пес-вожак, угрожая невидимому врагу и ободряя подпаса, гулко отзывался то с одного конца стада, то с другого:

— Вовх!.. Вовх!..

И человек, и псы знали, что в ночную непогоду волки их не боятся, наглеют. Вот где-то слева овцы шарахнулись, хлынули в сторону. Собаки — туда!

— Дави, Алабай!.. — слышится хриплый голос чолука.

А в это же время где-то справа шараханье, блеяние, панический топот копыт.

— Сюда, сюда, Алабай! — кричал растерявшийся подпасок.

Умный старый пес, конечно, знал все волчьи хитрости, но тут он немного увлекся и после того, как отбил овцу, еще разъяренно преследовал волка, пока не загнал его в кустарники за холмом.

Так до самого рассвета, высунув языки, бегали псы вокруг стада. И подпасок тоже измучился, он все чаще останавливался передохнуть, бессильно опершись на длинную палку.

А утром ветер сник, пыль в воздухе поредела, и в мартовском блеске встало солнце из-за холмов. Тагану не было нужды пересчитывать овец, он только пробежал взглядом по головам сгрудившейся отары и, чувствуя, как холодеет загривок, понял, что не хватает двухгодовалого барана с залысинкой на лбу и меткой на левом ухе. Все стало вдруг понятно: это когда Алабай увлекся погоней за серым, другой волк подкрался к стаду, впился зубами в шею

барана и утащил его в кусты. Уже растерзал давно...

А тут и еще одна овечка с окровавленным курдюком едва держится на ногах. Таган постоял над ней, поглядел, как она мелко дрожит. Злой от горя, голода и бессонной ночи, он то вытаскивал из-за пояса острый нож, чтобы прирезать, ведь все равно подохнет, то снова совал нож за пояс. Он не решался, потому что хорошо знал нрав хозяина и был готов хоть сейчас бросить стадо и уйти куда глаза глядят от расправы, но понимал, что все равно догонят, не спасешься...

К полудню пастух вернулся, да, на беду, не один: с ним приехал бай. Хозяин с трудом слез с коня, расправил грязную бороду, недреманным оком проследил, как чолук отвел коня в сторону и примотал поводьями к кустику. Искоса поглядывая, Таган видел, как бай прохаживался, разминал кривые ноги... «Ну, будет сейчас великий той!..» И верно, не успел так подумать подпасок, как раздался визгливый крик аульского богатея:

— Эй, чолук! Что с овцой сделал?

Израченная волком овца уже не стояла на ногах, не поднимала головы, — все и без слов было понятно, а парень не любил оправдываться. Он только подбросил еще сучьев в костер; рассказал заодно и про лысого барана. Пастух оцепенел в ожидании расправы. А подпасок стоял, опершись на палку, слушал байский визг и смотрел прямо в лицо баю, а тот, задохнувшись от злости, позеленел.

— Матерью не вылизанный! С жиру тебя ко сну клонит! Если б не дрыхнул под кустом, разве б отдали такие собаки барана! Не знаешь ты еще у меня, что каждый ягненок в стаде дороже десятка таких, как ты, голодранцев!.. Я тебя в землю закопаю живьем!..

— Бай-ага, — хмуро попробовал возразить подпасок, — о том, что я был голодный, я и не стану говорить, но как же я мог спать, если этой проклятой ночью буря и волки, как два копыта, воткнулись в мои глаза?..

— Так вот же тебе и третье копыто, затхлая падалы!

Жгуче свистнула плеть, удар пришелся по плечу парня. В первый, да и в последний раз его в жизни били... И зарубка осталась навсегда — не на плече, а в памяти человека. Удары плети сыпались, что называется, от души. И дырявый батрацкий чекмень не мог защитить... Это потом Таган исподволь рассматривал на своих плечах и груди синие змеи, исполосовавшие вкривь и вкось худое тело. А в ту минуту стоял недвижно, не вздрагивал под ударами, в глазах — ни слезинки. Вдруг какая-то мысль озарила лицо, он отбросил свой посох, но не схватился за нож, а просто протянул руки к байской бороде. Да, это движение не было инстинктивным порывом, оно последовало за мыслью! И таким грозным было это движение, что бай, ослепший было в самоупоении ярости, тут прозрел — прозрел, то есть струсил! Подпасок шел на него безоружный, с вытянутыми руками, а бай пятился, пятился, упрятав плеть за спину.

Когда бай скрылся на коне за холмом, к подпаску медленно приблизился пастух и сказал:

— Так и поступай с обидчиками, мальчик. Их надо хватать не за плети, которыми они бьют, а прямо за бороды. Так вернее. Так всегда поступай, мальчик.

Все обошлось как нельзя лучше: бай по пути в аул сообразил, что стадо может остаться и без

подпaska и без пастуха, и подобрел, высал даже еды повкуснее. В тот вечер Таган сидел с пастухом у костра и, засунув руку в густую шерсть Алабая, снова пытливо слушал немногословные рассказы умного человека о жизни богатых и бедных, злых и добрых, сильных и слабых... Мудрый закон батрацкой самообороны — хватать бая не за плеть, а за бороду! — запомнился ему на всю долгую жизнь.

Этот-то мудрый закон и развеселил управляющего Нефтяным объединением. Таган Човдуров, войдя в кабинет, вспомнил давнюю историю совсем не для смеха, он пришел не ради жалобы на сына, он от имени мастера Атабая, работающего в песках, и своей бригады бурильщиков пришел настаивать на продолжении дальней разведки. А про плеть и бороду сказал к слову, лишь для того, чтобы управляющему стала ясна его решимость.

Управляющий, энергичный, широкобровый, с быстрым пронзительным взглядом, серьезно выслушал историю подпaska, а потом вдруг захохотал.

— Кого же за бороду, Таган-ага? Меня или вашего уважаемого сына? Ох, рассмешил! — кряхтел он, почти плача от смеха, и вытирал лицо платком. — Не за плеть, а прямо за бороду!..

Он позвонил, вызвал главного инженера, начальника производственного отдела, парторга Объединения, серьезным голосом попросил бурового мастера рассказать все сначала — и снова заразительно смеялся.

Таган до сих пор встречал главного начальника нечасто — в президиуме партийных конференций, на первомайских трибунах — и никогда не думал, что он такой смешливый человек. Таган, разумеется, не обиделся. Чутьем понял, что смеются не над ним, старым мастером, а над молодым и ретивым начальником, его сыном. Что ж, если получилось занятно и весело, тем лучше. Важно другое, то, что к голосу мастера прислушались всерьез, так раньше не всегда бывало. Таган-ага был доволен и приемом, какой ему оказали в «большом доме», и самим собой. Он пришел, как рабочий, выступить против сокращения фронта разведки и получил поддержку. О себе, о своих личных претензиях не сказал ни слова — к чему смешивать разные вопросы. И даже когда управляющий сам затронул эту сторону дела, ответил по-стариковски уклончиво.

— А вы со своей бригадой отправились бы туда? Говорят, «барса-гелмез»?

— Где нужно, мы там и работаем. Если надо будет — поедem, не откажемся.

И чтобы главный начальник не подумал, что Таган выдал себя этим согласием, добавил:

— Мы и на старом промысле неплохо зарабатываем, не жалуемся.

Разговор продолжался не меньше часу. Новые времена — новые песни. С Таганом — раз уж пришел — советовались по разным производственным вопросам. Мастер отвечал коротко, но веско. Он был определенно доволен собой. Его заверили, что вопрос решается, потерпеть немного надо. А парторг, провожая в приемной, даже так и сказал скороговоркой:

— Он, кажется, согласился, твой сын; согласился, уступил.

Так, покинув «большой дом», Таган Човдуров и не узнал, что вопрос уже решен — вчера решен положительно — и что сыну его было невесело. Видно, охраняя престиж молодого начальника конторы бурения, управляющий не пожелал сам, через его голову, оповещать об этом своенравного старика.

Если бы Таган пришел вчера, а не сегодня, он снова попал бы на шумное скандальное

совещание. Тихомиров трижды просил занести в протокол его особое мнение. Маленький корректный Сулейманов к концу выступления до того разбушевался, что стучал кулаком по столу, и звенели ложки в стаканах. Молодого Човдурова председательствующий несколько раз отправлял за дверь покурить и успокоиться. Прения закончились лишь после того, как управляющий прочитал только что принятую из Ашхабада телефонограмму: главный геолог Объединения, один из непререкаемых авторитетов в нефтяной геологии Западной Туркмении, поддерживал своего коллегу Сулейманова.

В протокол было записано кратко и жестко: «Обязать начальника конторы бурения тов. Човдурова до конца года отправить в Сазаклы к трем действующим там бурильным станкам еще четвертый».

Управляющий был сердит на Аннатувака: что за устарелые замашки — хлопать дверьми, срывать совещания, старика отца обижать! И он беспощадно одергивал Човдурова, что даже могло показаться несправедливым, так как при этом он не сдерживал ни истерических излияний Тихомирова, ни темперамента Сулейманова. Из той же ашхабадской телефонограммы он узнал, что по докладной записке Тихомирова в совнархозе собираются сформировать смешанную комиссию, которая вынесет окончательное суждение о разведке в Сазаклы. Он мог бы проявить медлительность и осторожность, но не хотел поддержать позиции малOVERов.

Тихомиров тоже что-то знал. Многие слышали, как, надевая пальто на лестнице, он бормотал:

— Решить-то решили, а поглядим, как будет выполняться.

Парторг конторы Аман Атабаев не был на совещании. Его тотчас информировал по телефону парторг Объединения, а часом позже, зайдя в кабинет, весело, в лицах, рассказал, как было дело, Андрей Николаевич. Вечером домой позвонил и Сулейманов. Только Аннатувак не зашел, не позвонил.

На следующее утро они повстречались не в конторе, а на промысле. Несколько дней шел дождь, а потом вдруг на рассвете перестал, похолодало, на мокрой земле яснее отпечатывались следы тракторов, разводья нефтяных пятен. Лес буровых вышек в дымке тумана рождал уютное ощущение — своя земля! Вышли из машин: вот и встретились. Надо было созвониться, ехали бы в одной машине. Андрей Николаевич помахал рукой в окно и поехал вперед на буровую мастера Жукова — там геодезисты нынче будут простреливать пласт.

Аман и Аннатувак пошли туда же без дороги, по тракторному следу. Шли молча.

— Закурим?

— Неплохая идея.

— Спички отсырели.

Аману вдруг вспомнилась Лозовая, там тоже шли когда-то по мокрой земле от штаба полка в землянки первого батальона, так же хотели закурить и были отсыревшие спички... И были тогда свои заботы. Может быть, и Аннатувак вспомнил?

— Прикурил и испугался, — с улыбкой сказал Аман.

— Что так?

— Ты же теперь пороховой погреб...



— Иди к черту.

Машина Андрея Николаевича уже подъезжала сбоку, со стороны дороги, к буровой мастера Жукова.

— Как там дела? — спросил Аман.

Човдуров ответил неохотно:

— Неплохо.

Аман помолчал, потом спросил напрямик:

— Когда посылаем бригаду в Сазаклы?

— Если тебя это интересует, поговори с Сафроновым.

— А разве нет решения управляющего?

— Ты же все знаешь без меня.

— Вот это и огорчает, что без тебя, — скучным голосом заметил Аман.

Човдуров нагнулся, подобрал с земли какую-то гайку, повертел в руке, бросил.

— Ты знаешь, это дело не по моей инициативе началось...

— Слушай, что за анархия?

— Поговори с Сулеймановым.

Парторг остановился. Пройдя два-три шага, из вежливости остановился и Човдуров.

— Если ты будешь тянуть в одну сторону, Сулейманов — в другую, Сафронов — в третью... Ты что — о коллективе не думаешь?

— Ты же парторг: твое дело соединять людей.

Они стояли на промысловой земле, ископанной, изрытой, заставленной механизмами, изъезженной вдоль и поперек. Здесь каждая гайка, поднятая с земли, была кем-то привезена, согрета рабочей рукой, служила общему делу. Здесь никогда для Амана и Аннатувака не было «твоего» и «моего». Аман понимал, что Човдуров до крайности раздражен позицией управляющего и ждет поддержки комиссии из совнархоза. Он и сам был бы рад решению о консервации, он был бы спокоен душой, если б оказался прав Човдуров. И все же он не ждал от Аннатувака такой издевательской интонации в разговоре наедине.

И, словно поняв этот ход мысли парторга, Човдуров смягчился.

— Ну ладно, будет нам ссориться. Еще успеем!

Как будто в воду глядел...

Не успели они с Сафроновым вернуться с промысла в контору, Аннатувак зашел в кабинет Амана с бумагой в руке. Вид у него был несколько сконфуженный.

— Хочу с тобой посоветоваться.

— Знаю о чем, — уверенно сказал Атабаев.

— И ничего ты не знаешь!

Аннатувак протянул вдвое сложенный листок.

— Очень хорошо знаю, жалкий бюрократ, — с усмешкой настаивал Аман. — Я знал даже, что будешь об этом советоваться. Хотя такие вопросы ты всегда решал самостоятельно... А если бы на этот раз не показал этого приказа, я бы сам нашел тебя, пока ты еще не подписал.

— Настырный ты человек, всегда был такой, — растерянно отшучивался Аннатувак. — Если все знаешь, погоди читать. Скажи, зачем пришел?

— Ты пришел сказать, что Тамара Даниловна приглашает меня в гости, — пробурчал Аман.

— Вот пригласительный билет, читай.

На листке бумаги рукой Аннатувака был набросан проект приказа о внеочередном отпуске бурового мастера Тагана Човдурова в связи с успешным окончанием скважины на Вышке. Атабаев покачал головой.

— Ты спросил отца?

— Я отпускаю бурового мастера.

— Но в отпуск уходят не для того, чтобы передвигать в пустыню многотонное оборудование, а для того, чтобы отдыхать.

— И я такого мнения...

— Иди к черту, дорогой! Когда ты покончишь со своим ребячеством?

Пока Аман читал листок, Човдуров вертел в руке крышку от чернильницы. Теперь он кинул ее, и она со звоном покатилась к дверям.

— Если не знаешь, запомни, — крикнул Аннатувак, — я не ребенок, я отец ребенка! Мои поступки не детский каприз, который пройдет, если шлепнуть слегка по мягкому месту!

Аман молча прошел к двери, поднял крышку, вернулся, положил на место.

— Я не согласен с твоим проектом, — наконец коротко сказал он, не глядя в лицо друга.

— Почему?

Потому что Таган-ага из тех людей, которые закладывали основы нашей нефтяной промышленности, потому что он проработал в Небит-Даге двадцать пять лет. Таких людей надо уважать. Это его беда, что он твой отец, а ты начальник конторы.

— Ты бы хотел семейственности, так, что ли? Выросли новые кадры, люди знают современную технику, обучены после войны, ездили и в Баку, и в Башкирию... Люди, как молодые чинары, растут... А я буду держаться за старых?

Аман улыбнулся этим словам, и снова вспыхнул Аннатувак:

— Ты что хихикаешь? Что я — смешное сказал?

— Ты только не бросай больше чернильниц в моем кабинете... Вот я думал о тебе, Аннатувак, и вспомнил, что слышал однажды в детстве. Рассказ один.

— Какой еще рассказ, полковой агитатор?..

Аман присел за стол и с улыбкой, всегда обезоруживавшей вспыльчивого друга, рассказал старую легенду.

— Когда-то в древности в одном княжестве был обычай: когда старели отцы, сыновья брали их на спину или на плечи, а другие просто на руках относили за гору, в пустыню, и оставляли там. Вот однажды сын нес своего отца и устал, присел на бугорке отдохнуть. Старик рассмеялся. Сын спросил: «Я несу тебя на смерть, а тебе весело?» — «Когда-то и я нес своего отца, — отвечал старик, — и отдыхал на этом же бугорке. Вспомнил об этом, почему-то стало смешно... А тебе не смешно, сынок?» Говорят, к вечеру сын принес своего отца домой, и люди с тех пор отказались от древнего обычая.

Човдуров не улыбнулся, только немного невпопад спросил:

— Ты что, считаешь моего отца и своего тоже академиками?

— Они, верно, не имеют высшего образования, не так уж глубоко разбираются в физике и математике, но в карманах у них партийные билеты и дипломы мастеров, в голове и в руках многолетний опыт. Таган-ага не слишком начитан по части геолого-технической литературы, но свойства и поведение пластов он знает, как характер своих детей. Сперва ты хотел уволить его на пенсию, списать с корабля, он рассердился на тебя. И поделом. Теперь хочешь, упрямый бык, отправить его в Кисловодск на двадцать шесть дней — пусть без него начнут сложное бурение в Сазаклы. Давай помиримся на том, что ты разрешишь ему и всей бригаде банный день... Скажут тебе спасибо!

Човдуров сидел молча, опустив голову, водя пальцем по столу. Аман положил руку ему на плечо.

— Аннатувак, ты помнишь...

— Нет! — не стал слушать Човдуров и дернул плечом, стараясь высвободиться из-под руки.

— Нет, товарищ полковой агитатор, не помню, и не напоминай!

Андрей Николаевич стоял в двери, как бы молча спрашивая, не помешал ли, можно ли войти. Аман широким жестом пригласил его, показал на стул.

— Подожди, потерпи немного... — продолжал он, обращаясь к Аннатуваку. — Ты помнишь, на днестровском плацдарме было плохо, автоматчики простреливали нашу ложбинку, с вечера не было связи со штабом, патроны кончались... Мы лежали под деревом, помнишь? Что ты тогда сказал?

— Ничего... Наверно, что-нибудь по-латыни...

— Если забыл, напомню. Ты сказал, что готов к смерти, только жалко отца — будет страдать с разбитым сердцем до самой могилы... Тогда жалел, что ж он тебе теперь — хуже кажется?

Андрей Николаевич рассмеялся.

— У нас так говорят в России: «Есть старик — убил бы, нет старика — купил бы».

Уже давно проект приказа был машинально свернут в трубочку в руках Човдурова. А сейчас полетели на пол кусочки бумаги.

— Идите вы к черту с вашим хоровым пением! — крикнул он, пытаясь улыбнуться. Потом встал и быстро вышел из комнаты.

Уже на лестнице Аман досказал Сафронову о сегодняшней схватке с Аннатуваком.

— Вот башка садовая! — смеялся Андрей Николаевич.

— Я считаю, мастер Човдуров должен бы мне магарыч поставить, — улыбаясь, говорил Аман. — Подвезти вас?

— Я пешком...

— Ну, тогда до завтра.

— Желаю здравствовать.

Парторг захлопнул дверку машины. Андрей Николаевич широко зашагал по улице. Погода была мягкая, воздух изумительно чист. Над синими скалами Балхана два облака строили в небе какой-то причудливый чертог. По улице мимо Сафронова мчались машины, их стекла отражали солнце, и на садовых дорожках за оградами коттеджей песок блестел крупными зернами, точно бисер.

Главный инженер предпочитал возвращаться домой из конторы пешком. Такие прогулки он совершал вовсе не из гигиенических соображений; он просто любил город и не хотел никуда торопиться. Минувшая неделя изрядно измотала — надо было подгонять программу к концу года, обычно Андрей Николаевич домой возвращался поздно. А сегодня с особенным удовольствием шел по чистым улицам, раскланиваясь со знакомыми, поглядывая по сторонам. Конечно, не найдешь в этом городе ни мраморных дворцов, ни гранитных набережных, ни столичной пышности, а все-таки туркмены не зря говорят о Небит-Даге «наш Ленинград». Андрей Николаевич был страстно привязан к этому чуду пустыни, от его внимательного взгляда не укрывалась ни одна, даже маленькая, перемена, происшедшая в городе за неделю, и в этих наблюдениях, пожалуй, и заключалась вся прелесть неторопливых прогулок.

Расковыряли асфальт, — значит, решили закладывать бульвар, не дожидаясь весны. На Первомайской, рядом с базаром, открыли новую парикмахерскую — напрасно только выкрасили павильон голубой масляной краской, можно бы и просто побелить в тон окружающих зданий. В палисадниках сто сорок второго квартала высадили цветы: ничего, что это жесткие, как солома, циннии, подведут воду к весне, посадят ирисы...

Не только прохожие, а и собаки знали Сафронова. По улицам этого игрушечного города, придавая ему особый уют и оживление, всегда бегали собаки, не одичалые псы, слоняющиеся в переулках Стамбула или Тегерана, а выхоленные овчарки, легавые, сеттеры. А сегодня мимо Сафронова важно прошествовал великолепный незнакомец — желтый боксер; подрагивая мускулистыми ляжками, он умно наострил уши и наморщил могучий выпуклый лоб.

Возле дома встретил Андрея Николаевича собственный Трезор, полутакса-полудворняга, и в знак восторга прошелся даже по-цирковому на передних лапах.

После обеда, проведенного в веселой болтовне с Валентиной Сергеевной и Ольгой, Андрей Николаевич взял с собой стакан чаю с лимоном, прошел в тихую спальню, где стоял его письменный стол, и вынул из ящика три толстые, переплетенные в ситец тетради. Еще со времен землянок и палаток, когда, по собственному выражению Андрея Николаевича, он не

понимал здесь ни бельмеса и с толмачом ходил на буровые, Сафронов вел дневник. Вел нерегулярно, то увлекаясь и записывая все подряд, то забрасывая чуть ли не на год. Последнее время, особенно после XX съезда партии, записи стали щедрее, полнее, перемены, вдохновившие всю страну, отразились и на дневнике небит-дагского инженера. Именно теперь вдруг прочертилась для самого Андрея Николаевича на этих пожелтевших страницах история его собственной жизни и, даже больше того, история его удивительного времени, записанная от случая к случаю, не для печати, и потому особенно живая. Тут были вперемежку цифровые записи, характеристики людей, поговорки, словечки, иногда просто перевод фразы с туркменского на русский. Андрей Николаевич всегда удивлялся, услышав в туркменском или татарско-тюркском разговоре слово, которое привык считать исконно русским, и он записывал эти слова — топчан, балык, епанча, диван, бирюза, амбар...

Раскрыв третью тетрадь, исписанную только наполовину, Андрей Николаевич аккуратно проставил дату и записал:

«Барса-гелмез. По-русски: пойдешь — не вернешься».

Он надолго задумался, откинувшись на гнутую спинку кресла. Снова склонился над тетрадью и приписал:

«Отправить колонну гусеничных тракторов С-80, отряд буксирных тележек «Восток» да в придачу три—четыре бульдозера... Всю пустыню исколесят. И вернутся, раньше срока вернутся... Не нынче-завтра на Луну полетим, а они — «барса-гелмез»... Позор какой!»

Не dokonчив мысли, отложил перо и раскрыл первую, мелко исписанную тетрадь.

«12 апреля 1930 года

Вот и кончилась землянка. Дали комнату в Джебеле. Валя радуется, а я даже растерялся. С водой будет легче, и это счастье. Но на дорогу от дома до Вышки придется тратить часа два-три. Из Джебела надо ехать в товарном вагоне или на открытых платформах, на которых перевозят соль из «Бабаходжи».

Когда кончается какой-то период жизни, пусть даже очень тяжелый, всегда немного грустно.

22 апреля 1930 года.

Сегодня ехал в теплушке с красноводским лесничим. Смешно: лесничий в пустыне. Он говорит, что на восточном склоне Большого Балхана пять с половиной тысяч корней арчи. А мы-то привыкли считать Балхан лысым.

Лесничий рассказывал, что в Небит-Даге еще в восьмидесятых годах довольно удачно подвизались нефтепромышленники Коншин и Симонов. Нобель ринулся было сюда же, но добыча показалась по сравнению с Челекеном ничтожной, и он прекратил бурение.

Лесничий поработал и на нефти. Был, как он выражается, приказчиком у Коншина. Бурили тогда ударно-канатным способом, порода долбилась долотом плотничьего типа. При такой технике скважина побольше ста метров бурилась два года. А сколько было несчастных случаев — и не сосчитать! Нефть добывали желонкой — удлиненной бадьей,

приспособленной к узким диаметрам скважины.

Хищническое бурение этих мелких скважин в девяностых годах привело к тому, что скважины истощились и были заброшены. И подумать только (старик был сам этому свидетель), что спустя тридцать лет белогвардейское ашхабадское временное правительство снова обратилось к этим заброшенным скважинам и колодцам.

Бурили упорно. Счет добытой нефти шел даже не на тонны, а на килограммы. Отрезанные красными войсками от Баку и Челекена, белогвардейцы не жалели средств на восстановление узкоколейки между Бела-Ишемом и Вышкой, чтобы иметь подъездные пути к источникам нефти и заправлять паровозы для своих отступающих эшелонов.

Уходя, белые забили скважины.

А в 1922–1923 годах управление Средне-Азиатской железной дороги попыталось возобновить бурение в Небит-Даге, но промышленной нефти не получили. Работы были прекращены.

Сколько же раз люди описывали виражи вокруг Небит-Дага! Неужели и сейчас, когда весь народ взялся выполнить пятилетку, наш поиск пойдет впустую?

Да нет, не верю я...

8 мая 1930 года.

Воскресенье. Валя утром плакала. Говорит, что каждую ночь видит во сне деревья. Беременной женщине, конечно, тут невыносимо. Пошел в пустыню, в сторону Молла-Кара, принес ей веточку черкеза. Сухонькая веточка, облепленная сухонькими белыми цветочками. Похожа на засушенную ветку японской вишни. И Валя опять плакала. Растрогалась или от тоски по родине? Не знаю.

Почему я здесь работаю? Почему мы живем в этой забытой богом пустыне? Почему Валя должна мучиться из-за меня и можно ли, когда родится ребенок, не купать его?

Все эти вопросы сто раз возникали. И сто раз их гнал от себя. Что ж, пора и подумать.

Геолог Ганецкий — поляк, бакинец, щеголь, эрудит, эгоист самой высшей марки, — когда приезжал в прошлом году и обедал в моей землянке, говорил: «Вы энтузиаст, Андрей Николаевич!» Смешно. Смешно представить себе, что я в своем собственном дневнике, наедине с самим собой, при свете коптилки так и запишу: «Работаю в туркменской пустыне, потому что я энтузиаст». Мне и слово-то это не нравится. Энтузиаст — это какой-то восторженный, какой-то многоречивый, возбужденный человек.

Я мог бы перевестись в Баку, и, конечно, Валя этого хочет, хотя и молчит. Но ведь промыслово-разведочный участок после моего ухода не прикроют! Так почему же мое дело должен делать кто-то другой? Сын вологодского мужика из деревни Вяземки в ста километрах от железной дороги, из деревни, где еще до сих пор, в тридцатом году, больше верят в ведьму, чем слушают попа, а в сельсовете крестятся на портрет Маркса, я кончил девятилетку в Вологде и институт в Москве. По заслугам? Нет, просто по праву. Хотел учиться и учился. Кончил институт — послали в Баку. Никогда не был безработным. Это тоже надо понять. Потом послали в Небит-Даг. Ищем, бурим, чуть продвигаемся, надеемся... Тяжело? Очень. Интересно? Необычайно! Потому что, если геологи не ошибаются, а они не ошибаются, за небит-дагской нефтью есть будущее; через десять — пятнадцать лет мы

обживем пустыню. И это будет чудо. Если бы не революция, я бы сейчас ковырял лопатой скудную вологодскую землю, не знал грамоты, как мой дед и отец, в воскресный день выходил на базар со связкой лаптей. Так почему же мне пятиться отсюда, куда послала власть, давшая мне все? Почему мою работу должен сделать кто-то другой?

Завидую ли я Ганецкому, который в Баку, на своем четвертом этаже с видом на море, в комнате, завешанной паласами, расположившись за просторным письменным столом, где осыпаются розы в хрустальной вазе, штудирует американские журналы? Нет, не завидую. Во-первых, потому что в любую минуту могу туда уехать, а во-вторых, через пять-десять лет я испытаю такое творческое счастье, такое исполнение всех желаний, какое и не приснится ему в комнате с видом на море... А может, он все-таки прав и я действительно энтузиаст?.. Что-то расписался больно длинно...

25 мая 1930 года.

Нет, так работать невыносимо! С утра поднялась песчаная буря. Железнодорожные пути на двенадцатом километре занесло песком. Все пассажиры вышли из теплушек на расчистку. Дорога от дома до промыслов заняла четыре часа. К восемнадцатой скважине подвозили трубы на ишаке. По одной штуке. Мало того, что нет своего автопарка, но и верблюды не наши — джебелские, с соляных промыслов! Работаем на оборудовании, оставшемся от Коншина и Симонова. Двигатели и долота изношены до крайности, балансиры выходят из строя, сегодня трижды рвались бурильные канаты.

Вчера отправил Валю к теще в Вологду. До события еще далеко. В декабре. Тогда и возьму отпуск.

25 октября 1930 года.

Наконец-то и у нас свой автопарк! В Красноводск пригнали для нас две полутонны. Правда, из-за бездорожья пока не могут перегнать сюда, но это уже пустяки. Было бы что перегонять!

1 июня 1931 года.

Неделю назад произошло важное событие, двадцать четвертая скважина, пробуренная глубже, чем соседние, на новый горизонт, фонтанировала три часа пятнадцать минут. Выброс нефти около пятисот тонн. Наши нытики и маловеры оглушены. С неслыханной быстротой (через две недели после фонтана) в Союзнефти приняли решение о расширении разведки и добычи нефти и увеличили средства, отпускаемые на трест «Небит-Даг». В состав треста входит теперь разведочный промысел Небит-Даг, Челекенский нефтеучасток и нефтеразведка Чикишляр.

12 октября 1931 года.

Вот и горькое похмелье... После фонтана все будто замерло. Скважины 14, 15 и 18-я оказались геологически неудачными, 9-я дала воду, 7-я — убогую суточную добычу в полтонны, 13-я — пять тонн, 19-я — двадцать тонн.

Начальник треста вернулся из Москвы. Там недовольны. «Мы не можем бросать миллионные средства на филантропическую затею — питать иллюзии небит-дагских фантазеров». Вот как пышно выражаются. А крыть нечем. Все доводы под землей.

18 декабря 1931 года.

Можно ли работать при таком уровне техники и технологии, как у нас? Бакинские промыслы с их оснащённостью будто на другой планете, а не за Каспием. А мы все еще бедны, все еще под вопросом, все еще не доказали право на существование, хотя нефтеносность недр очевидна.

Единственное, чем можно похвалиться в нашем затишье, — это людьми. Туркмены удивительный народ. Еще в Баку, перед отъездом в Небит-Даг, когда я рыскал по библиотекам в поисках литературы о Туркмении, в какой-то брошюре попалось высказывание английского капитана Вудруфа, который в середине восемнадцатого века побывал в здешних краях. Он писал: «Страна эта столь дика и пустынна, что только такой закаленный народ, как туркмены, может жить в ней». Это верно лишь наполовину. Нынче в этой дикой стране полно русских, азербайджанцев, армян, украинцев, казахов. А туркмены действительно народ закаленный. Но удивляешься вовсе не этому.

Есть у нас такой рабочий — Таган Човдуров. Мужик лет тридцати, здоровенный, сухощавый, крепкий, как саксаул, который не враз топором разрубишь. Год походил на курсы ликбеза в Джебеле, стал толково изъясняться по-русски, газеты понемножку читает. Так вот, такой сознательности, такого отношения к своему труду как к общему делу я, пожалуй, не видел у людей образованных и партийных. Видно, ему кажется, что он за все отвечает. Скажешь после работы: «Поехали домой, Таган?» Мотает головой. «Один час буду. У Сатлыкова скважин затупел». — «Постой! Как же час? Следующий поезд, дай бог, среди ночи пойдет. А Сатлыкову мастер поможет». — «Время пройдет — не вернется. Мастер поможет завтра, я помогу сегодня». — «А где спать будешь?» — «В будке мастера». Будка мастера — нужничок со щелями в стенах и колченогим столом. Да еще химический карандаш, привязанный к гвоздю, чтобы не сперли. Койки там в помине нет, матраса и подавно.

Другой раз один молодой парнишка, лодырь порядочный, не уследил за скважиной, подскочило давление. Таган схватил паренька за грудки, трясет и кричит: «Я тебя с работы уволю!» Еле оттащили. Я говорю: «Таган-ага, зачем так? Ты же ему не начальник, не имеешь права увольнять!» — «Я не имею? А кто хозяин промыслов?»

Вот так буквально, по простодушию своему, он и понял то, что писал в ликбезе, в тетрадке по трем линейкам: «Рабочие стали хозяевами заводов, фабрик, промыслов...» Но ведь не только понял, а принял как руководство к действию!

Его приятель Атабай тоже очень интересный, но совсем другой. Это туркменский Кола Брюньон — балагур и прекрасный бурильщик.

Люди растут, но нефти не прибавляется...



21 января 1932 года.

Создана комиссия по ликвидации небит-дагского треста. Нерентабельны мы и неперспективны. Сколько усилий впустую... А ведь нефть тут есть! Многократно доказано. Проклятая наша техническая отсталость, проклятая нищета, не позволяющая затрачивать средства, если они быстро не обернутся.

Вечное недоумение — кто прав: те ли, кто обещает, или мы, ковыряющие тут землю, не видящие ничего дальше пустынного горизонта? Подчиниться? Нет, надо писать, ехать в Москву, доказывать, бороться! Только активностью, знанием дела, верой в свои перспективы сильны и зрячи те, кто решает судьбу наших промыслов.

15 марта 1932 года.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пишу, а у самого руки дрожат от усталости. А записать надо по свежим следам.

Второго марта, перед тем как ликвидационная комиссия должна была подписать окончательный приговор Нефтяной горе, скважина № 12 дала сильный нефтяной фонтан.

Скважина, забуренная на 520 метров, фонтанировала восемь суток, выбрасывая ежедневно больше пяти тысяч тонн нефти. Фонтанная нефть переполнила все резервуары, вырытые наспех ямы и обваловку.

Область отнеслась к сообщению о фонтане недоверчиво, и только шестого марта из Красноводска прибыл товарный поезд с лесоматериалами, приехали 120 рабочих-добровольцев помочь ликвидировать пожар. Девятого марта из Баку приехал начальник Азнефти, инженеры, профессора, бакинская пожарная команда — две автомашины и сорок пожарников, саперная рота Туркменского военного округа.

Бессменно восемь дней и восемь ночей мы сражались с фонтаном. Как на грех, поднялись обычные весенние небит-дагские ветры. Ночью работали в потемках. Прожекторов у нас нету, а маломощная электростанция не могла осветить огромные площади, залитые нефтью. В этом аду крошечном, в растерянности нашей и бессилии очень запомнился Таган Човдуров. Когда бы я с ним ни столкнулся, он всегда был на переднем крае. Черный, с лицом, перепачканным мазутом, вдвое похудевший, еще никогда не бывавший в подобных переделках, он так толково и быстро выполнял все распоряжения, что, глядя на него, успокаивались и рабочие, да и мы сами начинали верить, что как-нибудь уйдем разгулявшуюся стихию.

Десятого марта скважина заглохла. Ее забили песком. В амбары удалось собрать 140 тысяч тонн нефти. Бесконечно обидно! То, что для нефтепромышленника, вроде Нобеля или Коншина, было бы неслыханным счастьем, нас сокрушает. Скважина истощилась, а если бы не фонтан, мы ее пользовали бы планомерно и добыли втрое или вчетверо больше нефти, чем сейчас.

Впрочем, что я! Интересно, как бы мы ее пользовали, если бы в марте был подписан приказ о ликвидации промыслов?

2 июня 1932 года.

Бывают же удачи на свете! В прошлую субботу доставили из Баку комплект бурового оборудования для вращательного бурения, а нынче пришли две платформы с трубами и два дизеля, импортированные из Дании.

А все фонтан на двенадцатой! Нас не только не ликвидировали, не только запретили прекращать бурение, но дали задание расширить площади.

Что ж, с новым оборудованием мы еще удивим мир. Эх, техника, техника... Как бессонными ночами мы мечтали о тебе, какой горькой завистью завидовали бакинцам, какими кровавыми слезами оплакивали каждое старенькое иступившееся долото...»

Сафронов снова откинулся на спинку кресла и задумался. Потом захлопнул старую тетрадь, вернулся к последней и, продолжая недописанную строчку, записал:

«Аннатувак — младенец. Его путь был усыпан розами. Хлебнет горя, станет думать медленнее и лучше».

## Глава двадцать четвертая

### Айгюль и Тойджан

Конец осени и начало зимы прошли для Айгюль, как лучшие весенние месяцы. Она встречалась с Тойджаном почти каждый день, и ничто не нарушало их душевного согласия. Иногда это были совсем короткие встречи — Тойджан провожал девушку от участка до конторы. Иногда гуляли подольше, под круглыми фонарями парка культуры, освещавшими ржавые кусты акации и ярко-белые гипсовые скульптуры, а раза два Тойджан возил ее на своем мотоцикле в сторону Джебела, на опустевший грязевый курорт Молла-Кара. Эти прогулки особенно запомнились. Санаторий был закрыт еще в октябре, и казалось, что они одни во всем мире.

Пустынные аллеи, заколоченные голубые домики, горбатые мостики через канавки, соединяющие пруды с блестящей и черной в сумерках водой, подстриженные круглые кустарники с жесткой бурой ошетилившейся листвой.

Все было важно в эти вечера, все оставалось в памяти. И мальчуган, сын сторожа, пробежавший по аллее с прижатой к груди бутылкой молока, недоверчиво покосившись на влюбленных; и большие листья тутовника на земле, наполовину зеленые, наполовину черные... и светло-рыжий кот, который, увидев людей, подумал, что снова начался сезон, и настойчиво звал их к столовой. Айгюль пожалела его, открыла заволгшую дверь, но в столовой было так же темно и пусто, как в парке.

Что-то странное творилось с Айгюль этой зимой. Ей казалось, что весь мир изменился. Самые привычные, будничные вещи стали необычайными, волнующими, полными таинственного значения. Ехала с Вышки в Кум-Даг — и пески, среди которых родилась и выросла, вдруг открывались ей по-новому, она замечала, что песчаные волны необыкновенно мягки и женственны, непрерывно меняют форму, двигаются без толчков и углов, тянутся навстречу, словно нежные руки, будто хотят завлечь в свои объятия. Шла по

городу, по площади Свободы — и ей чудилось, что тут вот, рядом, только перемахнуть через гребень Балхана, начнется новая, сказочная страна, вся в березах, кленах и ручьях. Да что там пески и город! У себя на промыслах, глядя на закатное небо, исчерченное сетью вышек, она чувствовала, что дух захватывает от небывалой, невиданной красоты и хочется петь.

И вдруг мир потускнел. Тойджан уехал на праздник в подшефный колхоз, не успев даже попрощаться, а вернувшись, позвонил по телефону, сказал, что вся бригада отправляется в Сазаклы и Таган-ага прикомандировал его к вышкомонтажникам и что придется совершить унылое путешествие на тягачах в пустыню, а может, и еще раз повторить этот путь вместе с оборудованием.

Потянулись длинные скучные дни разлуки. Айгюль ждала терпеливо, но крылья опустились, воображение погасло, сама себе она казалась несчастной, вторично покинутой неизвестно за какую вину. На работе было легче, а в городе она постоянно чувствовала свое одиночество. Она давно заметила, что Небит-Даг не только город нефти, но и город влюбленных геологов. Отсюда чуть ли не каждый день уходят в пустыню изыскательские партии, сюда возвращаются, покрытые чугунным загаром... А где же и влюбляться, как не в пустыне, наедине друг с другом и с природой? На улицах, на стадионе, в кино и на вокзале вечно бродят нежными парами геологи. Их отличишь и по загару и по одежде: столичные яркие свитера и шарфы, пропыленные выгоревшие комбинезоны.

Однажды на почте Айгюль увидела большелобую девочку лет восемнадцати, с пышными волосами, стоявшими ореолом вокруг головы. С нее не сводил глаз юный парнишка в зеленом лыжном костюме, с неожиданной черной бородкой на девически нежном лице. Мрачными замороженными глазами смотрел на девушку и высокий лысый человек с прямыми плечами, как видно, начальник экспедиции. А девочка сияла и искрилась от радости успеха: того и гляди через Балхан без крыльев перелетит! А на другой день, ожидая автобус, Айгюль снова встретила всех троих, шествующих к аэродрому. Девочка в малиновой курточке из китайского ватина, в узеньких брючках, размахивая круглой, похожей на ботанизиру, коробкой, бежала почти вприпрыжку, а сзади, по-прежнему не отрывая восторженного взгляда, шел юноша в лыжном костюме с тяжелым рюкзаком за плечами и шагал мрачный лысый геолог с большим чемоданом в руке. «Счастливые, они не расстаются...» — подумала Айгюль, и острая зависть защемила сердце. В этот день ее не узнавали на работе: вяло и раздражительно разговаривала с мастерами и операторами, медленно, как бы волоча ноги, обходила участок.

К концу рабочего дня мотоцикл, показавшийся на равнине к югу от Вышки, резко свернул к конторе и остановился. Тойджан Атаджанов спрыгнул и, не оглядываясь, будто за ним гнались собаки, помчался по коридору к кабинету Айгюль. Комната была пуста. Не переводя дыхания, Тойджан выбежал из конторы и, не разбирая дороги, ринулся на участок Айгюль. Бежать пришлось недолго: невдалеке, около одной из скважин, он увидел Айгюль, толковавшую о чем-то с Нурджаном. Оттого, что Айгюль была не одна, как почему-то рассчитывал Тойджан, он опешил и остановился. И тут только, впервые за две недели, почувствовал, как она ему необходима, как истосковался по ней.

Все эти дни Тойджан провел в хлопотах и разъездах.

Обычно после окончания одной скважины и перед началом бурения другой у бурильщиков получается вынужденный перерыв, так называемые «окна». Помогая вышкомонтажникам, они стараются по возможности сократить этот перерыв. В бригаде Тагана переход на новую скважину усложнился еще тем, что она монтировалась в Сазаклы, в ста с лишним километрах от Небит-Дага. Все подготовительные работы — установка ротора, соединение грязевого шланга с вертлюгом, перевозка долота и вспомогательного инструмента — были связаны с утомительными поездками на тягачах и вездеходах.

Тяжелее всех в этот подготовительный период приходилось механику Кузьмину, но и Тойджану было не намного легче, и, пожалуй, самым мучительным для его пылкой, нетерпеливой натуры были эти тоскливые поездки на тягачах по барханным пескам.

За эти дни монтажники отвезли разобранную вышку, ее сорокатонный металлический каркас, на многих тягачах к новому месту и там поставили на фундамент. А Тойджан с товарищами успел несколько раз съездить в пустыню и снова в город, каждый раз изнемогая от множества срочных дел и медлительности передвижения. Ему приходилось возиться с электриками, связистами, слесарями, тянувшими водопровод к месту бурения. Вместе с плотниками он сбивал сарай для редукторного устройства, помогал электрикам подвести линию к новой буровой, выбирал место для установки дизелей и снова мчался в Небит-Даг, торопил доставку цемента, камня, труб. Только однажды ему повезло: за два часа вернулся из города в Сазаклы — летел на самолете, а большей частью приходилось ползти, глядя, как тягач, роясь в песке гусеничными лентами и вздымая облака пыли, тащит за собой на платформе груз. В эти часы он думал об Айгюль. Все было так отчетливо теперь в их отношениях. Ни облачка, ни ветерка... Остается только получить квартиру в Небит-Даге (Тойджан жил в маленькой комнате на Вышке), и можно свадьбу играть. Квартира в Небит-Даге — дело не такое уж сложное; город непрерывно строится и почти не знает жилищного кризиса. То, что он будет теперь работать вдали от Айгюль, мало смущало Тойджана. Работавшим в пустыне полагалось четыре отгульных дня в месяц подряд, а четыре свободных дня, рассуждал Тойджан, это все равно что двадцать четыре рабочих. Размышления будущего главы семьи сменялись чувствительными воспоминаниями. Тойджан шумно вздыхал, представляя нежные пальчики Айгюль с розовыми ноготками, ее улыбку, такую неожиданную на суровом, открытом лице.

Вчера он приехал поздно вечером и не решился без предупреждения появиться в доме у Айгюль. Потушив свет, лежал на кровати, мечтая о встрече и проклиная про себя крикливый голос своей соседки Эшебиби, доносившийся в открытую форточку с балкона. Развешивая белье на балконе, старуха горланила на весь двор:

— Незамужняя женщина — конь без узды. Разве может неопытная девушка угадать, как себя вести? Говорят, моя дочь Энне-джан, которая учится на доктора, гуляет с парнем из Мары. Я убиваюсь, как подумаю об этом, но как не поверить людям? Ведь я передала поводыя ей самой! А вы забыли, что дочь Моллакурбана вышла замуж за русского? Или взять Айгюль... Вы скажете, это девушка из хорошей семьи? Но она так гордится, что может сама себя прокормить, и всегда вертится среди мужчин! А как воротит нос от материнской одежды! Променила юбку на штаны, и теперь ни один порядочный парень на нее не хочет смотреть. Девке двадцать с лишним лет, а она не находит себе пары. Конечно, ей теперь больше нечего делать, как только говорить: «Я не разбираюсь в национальностях! Кто протянет руку, тому я и достанусь!» А эта дура Мамыш, как замороженная, надеется присватать к ней Нурджана! Я бы умерла от стыда, приди ко мне в дом такая невестка!..

И вдруг сейчас, увидев Айгюль с Нурджаном, Тойджан вспомнил вчерашние рассуждения Эшебиби.

Пронзительные причитания Эшебиби так и стояли теперь в ушах. «Кто знает, что может случиться, — думал он, — оператор и Айгюль работают вместе, встречаются каждый день, часто разговаривают, неудивительно, если горячие сердца и обожгут друг друга, смешается мед с маслом...»

Он смотрел издали на Нурджана и Айгюль, и вдруг ему показалось, что Нурджан погладил ей руку. Искра ревности вспыхнула в сердце. Он быстро подошел и увидел, как побледнела Айгюль, как затрепетали ее пальцы, лежавшие на тросе. Нурджан, для которого увлечение Айгюль давно не было тайной, быстро нашел предлог, чтобы удалиться.

— Ты не ожидала меня, Айгюль? — спросил Тойджан, взяв ее за руку.

Айгюль молча покачала головой. Она была так испугана и обрадована этим неожиданным появлением, что боялась расплакаться, если заговорит.

— Ты не рада? — допытывался Тойджан.

— Я так привыкла ждать, — сказала Айгюль, — что, кажется, совсем разучилась радоваться...

Тойджан наклонился, заглянул в глаза.

— Значит, сердишься? А за что? Может, объяснишь?

— Я не сержусь, — угрюмо сказала Айгюль.

— Айгюль, ну скажи, почему ты не хочешь понять, что мы сейчас делаем большое дело? Пустыню завоевываем, нефть пойдет...

— Вот уж за это я не поручусь! — задорно сказала Айгюль. Она овладела собой и решила отомстить Тойджану и за недавнее смущение и за долгую разлуку.

— Стало быть, как и брат твой, считаешь, что бурение в Сазаклы — пустая затея, не хочешь, чтобы Таган-ага ехал в пустыню?

— Угадал. Совсем не хочу.

— Замечательные дети! И за что так не повезло бедному Тагану?!

— Ну, тебе еще рано судить о семье Тагана, — сверкнув глазами, сказала Айгюль.

— Самое время. Никто из вас не может понять, что значит для старика работа в Сазаклы. Если хочешь знать, мне стыдно за тебя! Стыдно, что твой отец откровенней со мной, чем с тобой! Для него уйти в пустыню — помолодеть на двадцать лет! Ты понимаешь, что такое вторая молодость?

Айгюль, не ожидавшая от Тойджана пылкой защиты отца, растерялась.

— Глупый, — сказала она нежно, — как же ты не понимаешь, что я не хочу, чтобы ты уходил в пустыню. Ты, а не отец!

Это признание далось нелегко, она смотрела на Тойджана глазами, полными слез, но бурильщик, увлеченный спором, не заметил ее волнения.

— Как тебе не стыдно, — горячо сказал Тойджан, — если в начале нашей жизни будем думать только о себе, во что мы превратимся к старости? Нет, ты больше похожа на брата, чем на отца! Знаешь, что Аннатувак предложил ему вместо Сазаклы? Уйти на пенсию! «Законный отдых», как он сказал. А старик засмеялся ему в лицо, ногой отбросил, будто камень на дороге, этот «законный отдых». Я бы гордился таким отцом!

— Как хорошо, что ты все мне рассказал! А то я дожила до двадцати трех лет и не знала, бедная, как мне быть: уважать или презирать его? — Айгюль говорила спокойно, хотя губы дергались. — Но ведь речь-то идет не о нем.

— А я всегда буду говорить о нем, — упрямо настаивал Тойджан. — И поступать буду, как он! Неужели думаешь, что я захочу сбежать из Сазаклы? Это же дезертирство! Это себя перестанешь уважать!

— А меня? — вдруг разъярилась Айгюль. — А меня уважать не надо? Все важнее меня: и Сазаклы, и буровая, и мой собственный отец! Все, все заслуживает времени и усилий, только не я!..

— Ну, если ты так поворачиваешь дело... — начал было Тойджан, но Айгюль не дала договорить.

— Ничего я не поворачиваю, — устало сказала она, — а просто говорю о том, что знаю. Я знаю, что такое разлука, и не верю...

— А если не веришь, так и разговаривать не о чем! — закричал взбешенный Тойджан, вскочил на мотоцикл и помчался в город.

## Глава двадцать пятая

### Поезд идет на восток

До самого отъезда в Ашхабад Аннатувак Човдуров не заглядывал в присланную ему, как делегату, типографски отпечатанную программу работ сессии Академии наук Туркмении, потому что считал приглашение на эти заседания формальностью и, значит, легализованной тратой времени. Он собирался в эти дни побывать в совнархозе, похлопотать о новом оборудовании и, таким образом, извлечь пользу для конторы из этой, вообще говоря, неделовой поездки.

Между тем в Ашхабаде готовилось нечто чрезвычайное, судя по тому, что от одной лишь конторы бурения были приглашены трое — Човдуров, Сулейманов и Атабаев. На перроне мелькало множество знакомых лиц — руководителей нефтяных промыслов. Наука собиралась широко дебатировать генеральные вопросы будущего развития нефтяной и газовой индустрии республики и приглашала практических работников — промысловых инженеров, геологов из экспедиций — принять участие в спорах.

Тамара Даниловна успела примчаться с промысла на вокзал. На перроне в пестрой толпе отъезжающих Аннатувак издали заметил жену и весело устремился к ней. Одинокó прогуливавшегося Сулейманова Тамара Даниловна подозвала движением руки. Он послушно приблизился. Поздоровались, начался обычный предотъездный разговор.

— Наверно, здесь и яблочные пироги и пожарские котлеты, — смеялся геолог, показывая на портфель Човду́рова, — а я бедный холостяк, у меня только бритвенный прибор да зубная щетка.

Аннатувак похлопал по руке Сулейманова:

— Ничего, в вагоне-ресторане подкрепимся...

Аннатувак Човдуров и Рустам Сулейманович не собирались задерживаться в Ашхабаде дольше двух дней, а для такой поездки нужны не чемоданы, а только хорошее настроение да приветливые попутчики. Этого и добивалась Тамара Даниловна. Ей хотелось на перроне соединить Аннатувака с Сулеймановым. Как хорошо бывало прежде: Човдуров, Сулейманов, Сафронов не раз ездили в Ашхабад по вызову министерства, на вокзале открывали шампанское, шутили, смеялись, разыгрывали друг друга. Теперь в корректном разговоре, даже в шутках сквозила отчужденность и, как ни старалась Тамара Даниловна поддержать настроение дружеской болтовней, трудно было что-либо поправить.

— Вот и наш друг Тихомиров! — показал Сулейманов в толпу.

— Он, конечно, с огромным чемоданом... — заметила Тамара Даниловна.

— С чемоданом, полным цитат и... «разбитых тарелок», — поддержал Сулейманов.

Аннатувак улыбнулся, но промолчал.

В последнюю минуту налегке подошел и Аман Атабаев.

— Страна готовится к новому прыжку и выпустила когти на небит-дагском вокзале!

— А ведь мы в одном купе!

— Ужасно... Ты храпишь.

— Я буду всю дорогу изучать английскую грамматику.

— Даже когда будем проезжать разъезд Двадцати шести комиссаров?

Два паровоза подтащили поезд из Красноводска к небит-дагскому вокзалу.

— Ну, ни пуха ни пера! — кричала с перрона в закрытое окно вагона Тамара Даниловна.

И все трое, не поняв ни слова, помахали ей руками.

Поезд шел на восток вдоль горных цепей Копет-Дага, по бесконечной степи, сливающейся вдалеке с Каракумской пустыней.

Трое расположились по-домашнему. Четвертое место было занято чемоданом. Евгений Евсеевич шнырял по другим вагонам в поисках нужных собеседников, часа два провел в купе управляющего Объединением, пока тот его не выдворил под каким-то вежливым предлогом, затем насмерть заговорил директора Красноводского нефтеперегонного завода. В Казанджике в вагон села смуглая черноволосая русская женщина в пыльных сапогах и в белоснежном шелковом платке, цеплявшемся бахромой за грубое черное пальто. Она подъехала к станции в потрепанном «газике» и казалась усталой, наверно, очень хотела отдохнуть в поезде. Это, вероятно, была офицерская жена из какого-нибудь затерянного в песках пограничного гарнизона. Так подумал Аман. Ему только показалось странным, что Тихомиров вцепился в нее с бесцеремонной жадностью, как будто и она имела какое-либо касательство к предстоящей сессии Академии наук.

В своем купе Тихомирову было нечего делать, с ним ехали скучные практики, ничего не ожидающие от ученых в Ашхабаде. Он же, Евгений Евсеевич, связывал с сессией многие надежды: из Москвы должны были приехать виднейшие геологи страны, члены коллегии союзного министерства, члены технического совета, влиятельные лица, он собирался выступить, блеснуть эрудицией, рассчитывал, что его выслушают с уважением, как человека, несколько лет прожившего на окраине страны, «у самого бурового станка». И, вслушиваясь в разных вагонах и в разное время в цветистые речи человека в золотых очках, посторонние лица дивились его учености — он так и сыпал непонятными словами, среди которых чаще всего мелькали отложения — мезозойские, кайнозойские, плиоценовые, палеогеновые, апшеронские...

А послушав мирную неторопливую болтовню наших друзей, попивавших в своем купе утренний чай, никто бы и не подумал, что люди едут на форум науки; разговор касался то предстоящих в Небит-Даге гастролей русского драматического театра, то долгожданного пересмотра тарифной сетки для бурильщиков, то пользы морской капусты для гипертоников.

Попив чайку, Аман Атабаев отодвинулся поглубже в угол и погрузился в учебник английской грамматики. Сулейманов, сняв пиджак, развернул свежий номер «Правды». Аннатувак вышел в коридор.

Было тепло и уютно в чистом вагоне, было, наверно, тепло и за окном. Он опустил стекло и, обвеваемый ветерком, залюбовался степью, убегавшей назад, в Небит-Даг. Ни леска, ни реки, ни кустарников, ни человеческого жилья — бесконечная серовато-розовая равнина, кое-где заплатанная озимыми полями. Но вот пробежали мимо окна густые сады Кизыл-Арвата... А вот и Бахарден... «Как сказочно щедра земля Туркмении, — думал Аннатувак. — Чуть больше дай воды, и вся она покрывается зеленью. А если бы воды было вдоволь... Не хватило бы ни амбаров для зерна, ни прилавков для тканей, сотканных из нашего туркменского хлопка... Но земля видит воду лишь во сне. Весенние дожди брызнут, как птичьи стайки, и снова сушь. Сколько трудов положено, чтобы вырыть каналы и арыки. Но ведь еще быстрее растут города, поселки, заводы, воды нужно все больше и больше... Когда вода встречается с землей, та исполняет все желания человека. Но если они в разлуке, земля, обожженная солнцем, засыпает тебя пылью и песком...»

Как бы подтверждая мысли Човдунова, вошедший в вагон Тихомиров пожаловался:

— Нельзя ли закрыть окно? Помилуйте, Аннатувак Таганович! Мы и так круглый год задыхаемся от пыли!

— А я эту пыль считаю сурьмой для глаз своих, так прекрасна земля наша... — с улыбкой ответил Аннатувак, еще погруженный в свои высокие мечтания.

— Товарищ Човдунов, я тоже патриот, — сварливо возразил Тихомиров и потянулся к ремням оконной рамы, — но я предпочел бы, чтобы наша республика дарила нам цветы, а не швыряла в глаза горстями пыль!

Он резко поднял раму окна, при этом очки, не удержавшись, упали и одно стеклышко разлетелось на куски.

Аннатувак молча наблюдал за этим непонятным взрывом негодования, потом мягко заметил:

— Евгений Евсеевич, я бы и сам закрыл окно. Зря вы очки разбили...

— Не жалко... — буркнул Тихомиров.

Но в очевидном противоречии со своими словами он собирал и прикладывал друг к другу осколки. Аннатувак сделал вид, что не замечает, как он расстроен, и мирно продолжил вслух свою мысль:

— Э, дорогой Евгений Евсеевич... Прежде, чем мы украсим нашу землю цветами, придется исходить много пыльных дорог.

Не разделяя мечтаний «практического работника», Тихомиров шумно удалился из вагона. Только его розовую лысину успел увидеть Сулейманов, выглянувший из купе. Несколько минут Човдунов и геолог стояли рядом у окна.

— Хороша земля? — коротко спросил Аннатувак.

— Как в сказке... — так же коротко согласился азербайджанец.

— Если бы дотянуть до этих мест Каракумский канал... Вы представляете, что тут будет в ближайшие годы?

— А вы?



— Конечно! Вот посчитайте: от Аму-Дарьи до Мары четыреста километров. Там вода уже бежит по новому руслу вслед за экскаваторами, за землесосными снарядами... От Мары до нефтяных районов семьсот — восемьсот... Нелегко, конечно, протянуть тысячекилометровую реку. Да нам ли унывать с новой техникой! Обводним!.. Всю степь озеленим, и будет она в зеленом шелковом халате красавица-пери!.. Я сейчас глядел и думал: а люди? Откуда взять людей, чтобы заселить пустыни? И все мои сомнения растаяли, как масло на солнце... Когда сходятся парень с девушкой, собирается праздничная свадебная толпа. Когда вода с землей сойдутся, соберутся миллионы людей!

Султан Рустамович слушал, глядя в окно. Может быть, перед его мысленным взором вставала родная республика, он все-таки тосковал по ней, хотя и не давал себе воли. Может быть, просто любовался степью, ее тысячелетней неизменностью, он любил ее просторы, чуть обогретые зимним солнцем.

— Когда вы говорите о Туркмении, сердце радуется, — тихо сказал наконец Сулейманов.

Он доверчиво глянул в глаза Човдурова и осторожно продолжил опасную мысль:

— Но есть в этом солнечном краю один забытый богом уголок... Как дойдете до него, милый Аннатувак, дорогой друг, вам изменяет чувство масштаба. А?..

— Какой уголок?

— Сазаклы...

— Старый спор, прямо хоть из вагона выпрыгивай! — отмахнулся Човдуров. — Может, хватит?

— Я люблю вас, Аннатувак Таганович, мне с вами было хорошо работать... Простите за такую откровенность, другой раз не услышите. Это ваша степь за окном подтолкнула на разговор по душам... Но если скучно слушать, скажу одно: буду в ЦК партии, в совнархозе — всюду буду ставить вопрос о дальней разведке.

— Очень рад! Я и сам был бы готов написать докладную записку в ЦК партии, если бы...

— Если бы что?

— Если бы нужно было жаловаться на вас. Но пока что я руководитель конторы и мое слово будет последним...

— Вы же знаете, что это не так! По крайней мере в наши дни, теперь, это не так. Раз в жизни объясните, почему вам кажется, что признать ошибку — значит потерять авторитет?

— Раньше, чем признать ошибку, надо ошибиться.

— Тяжелый человек!.. Вы даже мысли не допускаете, что можете ошибиться.

— Ну что вы от меня хотите, Султан Рустамович? Ваша чистая геология — это жар-птица, из нее куриного плова не сварить. Не беспокойтесь, Сазаклы дождетс своей очереди. Но сегодня тамошняя нефть нам не по карману. И партия учит нас концентрации разведки, не разбрасываться по всем площадям, идти планомерно, не забывать про себестоимость тонны, удешевлять проходку, ускорять ее. Ведь это азбука!

— Вот потому-то напрасно ее и твердите. Что ж, я не коммунист?

— Тогда поговорите в Ашхабаде. Вам разъяснят.

— Поговорю. И мне разъяснят, и я разъясню.

Резко повернувшись, изящный маленький человек вошел в купе.

Аннатувак в одиночестве направился в вагон-ресторан.

Там было накурено. Пиво стояло на всех столах — мужское население поезда сбежалось на пиво. Слышались веселые голоса, смех.

Пограничные офицеры, широколицые, краснощекие, веселые тамбовцы или рязанцы, пригласили его к своему столу. Аннатувак с удовольствием присоединился к офицерской компании — так повелось с войны, всегда приятно было поговорить, забыв о своем штатском костюме, о самом священном, что осталось в памяти, о боевых годах, вспомнить номера дивизий и полков, названия деревушек, хуторов, речные переправы...

Поезд замедлил ход.

— Сейчас Геок-Тепе... — сказал один из офицеров.

Перед окнами поплыли необозримые виноградники.

Слушая разговор за столом, Аннатувак не сводил глаз с окна.

Маленький полустанок... Женщина в красно-желтом халате со связанными веревкой ковровыми торбами, перекинутыми через плечо, спешит куда-то в конец поезда. За ней юноша в кепке, синем суконном пальто, с чемоданом и портфелем. Может быть, сын? На скамейке перед окнами вагона пятеро солдат дружно доедают дыню. Оранжево-зеленые корки аккуратно бросают на газету, разложенную у ног. Двое из них русские, с мягкими чертами лица, красновато-розовым загаром. Трое — туркмены, с коричневыми, худыми, подсушенными южным солнцем лицами.

— Посмотрите, какая дружба, — улыбнулся Аннатувак. — И заметьте: здесь, в Геок-Тепе...

Офицеры глянули в окно и продолжали беседовать. Им, видно, непонятна была мысль Аннатувака. Они были русские, он туркмен.

...Когда-то на месте этих виноградников была крепость Геок-Тепе. Тут, у подножия Копет-Дага, веками шли кровопролитные сражения. Зоркий глаз историка и археолога нашел бы здесь следы коня Александра Македонского, верблюдов арабских джахангаров, орд Чингисхана, воинов Тамерлана. Не было такого года, когда бы не топтали туркменскую землю войска иранских шахов, хорезмских ханов, не было и куска земли, где бы не пролилась туркменская кровь. Туркменские кони были всегда под седлом, оружие — наготове, в народе чаще всего повторяли пословицу: «Сабля ржавеет, когда лежит в ножнах». Веками держалась крепость Геок-Тепе и пала только под натиском русских войск в 1881 году. С тех пор чужеземные кони перестали топтать туркменскую землю, край перестали терзать феодальные междоусобицы, но страна замерла под колониальным гнетом царской России. И лишь после того, как Туркмения на равных правах вошла в семью советских республик, зацвела здешняя земля, обгаренная кровью многих поколений...

— О чем задумались, товарищ? — спросил один из офицеров.

— Так... ничего, — ответил Аннатувак, очнувшись, и вдруг повеселел, молодо смахнул рукой со лба прядь черных волос. — А что, если, товарищи майоры, мускатного вина попробовать? Этот край богат превосходным мускатным вином...

Как только сели в вагон, Аман Атабаев замотал покруче шерстяной лоскут, согревавший культю в рукаве, устроился поуютнее и попытался «сделаться англичанином», как советовал преподаватель английского языка, то есть перестал думать по-туркменски и по-русски.

На этот раз удавалось с трудом. С утра тоскливо ныла старая рана, обрубок руки не давал покоя. Аман даже подумал: наверно, к снегу. Но солнце било в окно, заливало светом купе. Непохоже на снег.

Ученый болтун исчез к полному удовольствию Атабаева. Порывистый Аннатувак тоже куда-то вышел. В купе остался Сулейманов — этот не помешает, сам любит уткнуться в книгу. «Ох уж эти мне семейные люди, шумные люди, скандалисты, — подумал Аман. — Вот сидят два одиноких человека, тихо сидят, никому не мешают... Одинокие? — тотчас переспросил он сам себя. — Султан Рустамович не одинок, у него большая семья в Баку, письма летят, телеграммы, по вечерам телефонные переговоры... Да и он сам — одинок ли? Еще недавно — да. А сейчас?..»

И невольно задумался о Марджане. Волна тепла и нежности залила его с головой, когда представил, как ей там будет трудно без него. «Редко встречаемся, но и ей покажется вечностью трехдневная разлука».

И, чтобы отвлечься от ненужных дум, Аман так громко зашептал английские фразы, что его корректный попутчик поднял голову, погладил пальцем седенькие усики, что означало — улыбнулся.

— Штурмуете английский язык?

— Уже три года.

— И далеко подвинулись?

— Как сказать. Зачет, конечно, сдам. Но ведь дело не в зачете. — Аман улыбнулся. — Я считаю, что нам, нефтяникам, надо хорошо говорить по-английски. Хотя бы потому, что с англичанами в эти годы решительно расстается Азия. Там — в Абадане, в Алеппо, в Мосуле, да и в Индии — будут нуждаться в технической помощи. Арабы, персияне, рабочие люди, вроде нашего Тагана, захотят иметь своих собственных инженеров, геологов. Глядишь, и к нам по соседству приедут, в Туркмению, — учите, помогайте, покажите. А на каком языке прикажете для начала разговаривать? Тут нам и пригодится английский. Мне надо будет знать, как по-английски «звезда», как «товарищ»...

— И как по-английски «залп», и как по-английски «кровь», — хмуро поддержал Сулейманов, показывая в окно.

Поезд как раз подошел к разъезду, носившему имя Двадцати шести комиссаров. Здесь, в песках Ахча-Куймы, на заре революции английские интервенты зверски убили вожаков бакинского пролетариата.

— Да, вы правы, — сказал Аман.

Его тогда еще не было. Но он живо представил себе сырой песок на рассвете, тени подлых мусаватистов, шеренгу британских солдат, переодетых в черкески и халаты. И вспомнились комиссары — Шаумян, Азизбеков, Фиолетов, их кровью залитые лица...

— Вы что-то мрачный сегодня, Аман Атабаевич, — сказал Сулейманов, когда поезд медленно двинулся дальше.

— Рана болит. Это бывает к снегу.

Скучаете без Небит-Дага?

Аман насторожился. О чем он? Что имеет в виду? Вслух сказал:

— Для себя лично ничего не жду от этой поездки.

— Не любите академическую науку?

— Нет, скорее себя не люблю. Боюсь, что научных докладов не пойму.

Геолог пытливно взглянул на него.

— Вы заочник. Вот получите диплом инженера и, наверно, оставите партийную работу?

— Ну нет! Для того и учусь, чтобы стать настоящим партийным работником на промыслах.

— Вы и сейчас настоящий.

— Чепуха! Если бы я был инженером-нефтяником, а не педагогом-историком, я бы знал, например, кого поддержать в затянувшемся споре: вас или Човдурова.

— Так ведь вы на его стороне. Значит, знаете.

— Разве это заметно? — рассмеялся Аман.

— Вы не высказывались прямо, но я — то чувствую. Я ведь к вам хорошо отношусь.

— А я к вам... Скажу откровенно, я очень доверяю Човдурову. Он умело руководит конторой; темперамент, конечно, не в счет... Но я хотел бы не верить, а знать, что он прав. На сессии этого знания не добыть... Нет худа без добра: отдохну! — вдруг размечтался Аман. — Будут спектакли по вечерам, в воскресенье повезут на экскурсию в Фирюзу, будут встречи со старыми друзьями, которых сто лет не видал, а в заключение — большой банкет! Тут уж все будет понятно.

Не прибедняйтесь. Кое-что еще поймете. Мы же коммунисты, понимаем любой язык, если требуется.

Так они ехали, изредка переговариваясь. Читали книги — каждый свою. Сулейманов взял в дорогу старинное сочинение Абулгази, хана хивинского, изданное недавно на русском языке в Москве, «Родословную туркмен». Читая книгу, он иногда спрашивал Атабаева о чем-нибудь непонятном, и Аман, заглядывая в туркменский текст, напечатанный в приложении, и сверяя с русским, объяснял своими словами. Он давно оценил широту интересов азербайджанца, который, работая в Туркмении, с удовольствием изучал незнакомый быт, историю чужого народа.

Потом Сулейманов вышел в коридор. Когда возвратился в купе, он был взволнован, но не сказал ни слова Аману. И тот, догадавшись, что снова был спор с Човдутовым, из деликатности промолчал.

Рука болела, Аман растирал и разминал ее. В памяти возникли стихи, прочитанные когда-то в журнале. Кажется, написал башкирский поэт, но Аман прочитал в русском переводе. И запомнил, да жаль, какие-то отрывки...

Третий день подряд идет мокрый снег.

Мне невмочь уже третью ночь —

Стонет старая рана, как человек,

Третий день подряд идет снег...

Но за окном светило солнце, хотя белесый пар облаков уже вставал над отодвинувшимся далеко Копет-Дагом.

Ворвался Тихомиров, нарушив уютную тишину купе.

— Ызгант за окном! Ызгант! — кричал он.

И верно, вдали проплывала одинокая буровая вышка, словно смерч, возникший в безветренный день.

— Зоркий взгляд... — отметил Сулейманов.

Тихомиров не понял иронии, восторженно подхватил:

— О, мои глаза видят, как и где лежит нефть не только в Небит-Даге, не только в туркменской земле, но от Египта до Туймазы, не сомневайтесь!

— Вы меня не поняли, Евгений Евсеевич.

— Что не понял?

— Хочу проверить вашу научную зоркость, хочу знать ваше мнение об этой вышке. Даст ли Ызгант нефть?

— А кто же первый доказал перспективность Ызганта! Тихомиров! Ызгант обязательно даст нефть!

— Ну, слава аллаху, наконец сошлись во взглядах.

Поезд приближался к станции Безмеин. Заводские поселки, разделенные пустырями, тянулись на несколько километров. Паротурбинная станция, цементный завод, завод вин...

— А если окажется, что здесь к тому же и нефть, то Безмеин станет большим городом, — заметил Атабаев. — Возможно, даже с Ашхабадом сольется.

Тихомиров язвительно кольнул парторга:

— Может, и с Серным заводом сольется, с тем, что в глубине Каракумской пустыни?

— Вполне возможное дело, — всерьез поддержал Амана маленький геолог. — Но вот, Евгений Евсеевич, что я точно скажу вам: самое позднее к концу семилетки мы увидим вышки

вокруг Кырк Чулбы.

Тихомиров продолжал иронизировать:

— Добавьте: проложим в глубь пустыни бетонированные автострады!

— Евгений Евсеевич, нефть и без бетона дорогу прокладывает, — отрезал Сулейманов.

К вечеру небо нахмурилось, видно, и в самом деле к снегу. Сумерки подернули окно синевой. Между тем из вагона-ресторана воротился Човдуров, хмельной и веселый после обеда. Поезд уже оставил позади Кеши. За окнами мелькнул Ботанический сад. А вот и университет, ипподром, шелкомотальная фабрика. Пора собираться! Постепенно сбавляя ход, поезд приближался к новому ашхабадскому вокзалу.

Делегатов сессии на площади ждали две машины. Из вагонов вышли управляющий Объединением, главный геолог, русская женщина из Ясхана.

— А ведь снег, товарищи!

— Первый снег, вот здорово!

— Аман Атабаевич, ваши раны не обманывают!..

Ашхабад действительно встретил их снегом; крупные мокрые хлопья, освещенные электрическими фонарями, падали на асфальт.

Сунув свой портфель на колени Аннатуваку, усевшемуся в машину, Аман проговорил:

— Я пойду пешком, ты там устраивайся, пожалуйста, вот мой паспорт, скоро приду.

Аннатувак все понял — человеку нужно пройти по городу, тут слишком много воспоминаний...

И верно, Аман весь вечер без усталости бродил по ашхабадским улицам, похожим скорее на аллеи, они, как глубокие норы, таились под столетними раскидистыми деревьями. Иные улицы уходили во мрак, иные — в еще не погасший закат. Казалось, что они ведут к морю.

А человек торопился к дому, где когда-то жил... Странное чувство вызвал снегопад, хлопья тяжело падали на деревья, на притушенные тьмой вяло-желтые и бледно-зеленые листья. Красивые дома-дворцы торжественно вставали за деревьями. Вблизи вокзала, в центре, город был полностью восстановлен. Даже купол мечети в вечерней мгле казался целым, хотя Аман знал, что здание все в трещинах.

Землетрясение... Скоро ли оно забудется в городе, сметенном с лица земли в ту ночь, в семнадцать минут второго. Люди спали, когда вдруг что-то хлопнуло, как будто встряхнули огромный палас... Фронтоник Атабаев сразу понял, что это не война началась, не бомбы. Земля качалась... Несколько секунд — и нет семьи. Нет родного дома. Нет города. Когда, выброшенный толчком на улицу, Аман поднялся на ноги среди деревьев, отовсюду слышались стоны и плач. Люди под обломками звали на помощь; кто искал детей, кто — отца и мать. В воздухе повисла густая пелена пыли. На запыленных лицах бегущих в беспмятстве Аман видел только огромные глаза, в глазах — гнев, гнев против злодеяния природы! Позже в гробовой тишине он вместе с другими единственной рукой откапывал и откапывал, как ему казалось, жену, сына. Напрасное дело... Когда Аман уже утром понял это, он побрел без смысла по городу и ничего не узнавал: улицы лежали в кучах щебня. Тогда его ошеломленного сознания впервые коснулась гордая мысль о советских людях — они оказались сильнее самой страшной беды! Никто из тех, кто нес службу, не покинул поста. Он видел врачей, пожарных, солдат. Уже на рассвете в небе загудели самолеты, спешившие из

многих городов страны. Они везли медикаменты, продовольствие, увозили раненых...

Сейчас, спустя десять лет, Аман так же тяжело дышал, проходя мимо еще оставшихся землянок, вдоль деревьев, едва скрывавших следы разрушений. Город отстроился заново и стал краше прежнего. Целые улицы новых домов, украшенных балконами, нишами, новые дома за старыми деревьями. Но вот железная арматура, вылезшая из бетонных балок, словно негодует, вытягивая ввысь скрюченные пальцы... Вот на обломках стоит уцелевший пролет широкой лестницы. Юноши беспечно идут мимо развалин. Видят ли они, замечают ли эти страшные призраки народной беды? Для Амана воспоминания о фронте и о землетрясении так слитно связались навсегда, что, глядя на изогнутую арматуру, он думал о ноющей ране, а когда вспоминал трупы в разбомбленных городах, он представлял жену и сына, которых так и не видел после их гибели.

...Времянки, сложенные из грязных камней разрушенных зданий, — человеческие норы, пришибленные, вросшие в землю. Рядом здание еще в лесах. Аман стоял у развалившегося забора. Здесь, в этом дворике, окаймленном ржавыми кустиками туи, играл его мальчишка... Можно ли предать забвению память о семье? Не есть ли это измена?.. Здесь где-то сохранились камни ступенек, на которые он выводил, уча держаться на ножках, сына, Азиза... Где же камни? Аман с тревогой озирался, словно боялся потерять с ними что-то самое дорогое. В углу двора среди каменного теса, предназначенного для постройки, он увидел и узнал одну из этих ступенек, поставленную столбиком. Ее уже наполовину стесал молоток мастера-камнереза. Утром он придет и закончит работу. Все в порядке, жизнь продолжается. Из старых камней складывают новые стены.

Аман и сам не понимал, почему отпустило сердце, он даже повеселел, возвращаясь по тем же улицам и переулкам в гостиницу. Там ждут люди, там уже, наверно, ученые ведут свои дебаты в гостиничном буфете. Как мудро поступили с ним, Аманом Атабаевым, когда после несчастья вызвали его, студента, в один из отделов ЦК партии и предложили вместо педагогической работы — он думать не мог в ту пору о детях! — ехать в город нефтяников и возглавить партийный коллектив бурильщиков. Какая новая деятельная полоса жизни открылась тогда — он даже не предполагал, что может быть такой выход...

Ноет рана моя двенадцатый год.

Третий день подряд снег идет. Снег идет...

Снег растает и станет вчерашним днем,

Превратится зима в весну.

Кто увидел бы в заснеженном Ашхабаде, поздним вечером, в глухих переулках парторга бурильщиков, бормочущего стихи, наверно, подумал бы: как сложна и сумбурна жизнь. А парторг шел мимо известково-белых дувалов, шел, все прибавляя шаг, вспоминал новые строфы полузабытого стихотворения и уже не обращал внимания на ноющую рану, а только сожалел, что не знает эти стихи на башкирском языке, на каком написал их неведомый друг-фронтовик.

Глава двадцать седьмая

В Академии наук

Снег шел до самого рассвета, укрыв к утру город белой шкурой. Кровли домов, площади и сады — все сверкало, как плавленное серебро. Тонкие ветви акаций гнулись дугой под снегом. Лишь узловатые стволы карагачей чернели в садах, словно узор на серебре.

Утро было тихое, сияло солнце, его золотые лучи, не грея, озаряли город. Воробьи, прославляя на своем языке белую зиму, порхали в безлюдных открытых верандах. Легкий морозец слегка обжигал лица пешеходов. С кошелками бежали на базар старушки, тепло укутанные, в шубах и варежках. А дети, те без пальто, без шапок, в восторге барахтались в снегу, голыми руками мяти снежки, глотали снег, как сливочное мороженое. И матери, вызывавшие к ним из окон, понимали: этого не было два года, детский праздник, разве они послушаются?..

Сулейманов, выйдя из гостиницы раньше других, шел по заснеженной улице южного города и наслаждался, слушая этот восторженный гомон:

— Тоймамед-джан, не бросайся снежками, в глаз кому-нибудь залепишь!

— Алеша, не возись в снегу, нам еще ревматизма не хватало!

— Алекпер, горло простудишь!

И детские буйно-радостные голоса:

— Бей же, бей, Тоймамед!

— Алеша, держи его, держи-и!

Говорили, что в новом здании Академии наук еще не смонтирована котельная и даже ученый секретарь — академик принимает гостей в своем просторном кабинете, стоя в пальто внакидку. Поэтому заседания сессии назначены были в другом прекрасном новом здании Президиума Верховного Совета. Машины одна за другой подкатывали в это утро к его изукрашенным орнаментом стенам. Спешили к подъезду люди, одни в академических черных шапочках и в меховых шубах, другие, те, что из экспедиций, в кепках и в поржелых кожаных регланах. Сулейманов с интересом поглядел на машину, из которой вышли одинаково одетые, в синем, молодежью с виду китайские геологи — гости далекой братской державы.

Ковры, развешанные на стенах конференц-зала, придали ему едва ли не уютный вид. И многие, входя в зал, прежде чем отыскать место, шли вдоль стен, поглаживая рукой ковры тончайшего рисунка. С улыбкой взглянул Султан Рустамович на Тихомирова, который, то снимая очки, то надевая, громче всех восхищался, объясняя столичному гостю: «Вот это и есть национальная форма!..» Маленький геолог поспешил отойти и сесть подальше от своего небит-дагского коллеги.

Човдуров и Атабаев уселись вместе в последних рядах: не только из скромности, но и потому, что отсюда легче было незаметно улизнуть. Оба рассчитывали, отдав дань уважения почтенному собранию, разойтись по своим делам — в ЦК партии, в совнархоз.

Однако и вступительное слово известного московского геолога, члена коллегии министерства, и краткая речь президента Туркменской Академии настолько были не похожи на привычные академические выступления и так неожиданны по мысли, что начальник конторы и парторг, не сговариваясь, перебежали на несколько рядов вперед, поближе к трибуне.

Оба оратора, открывая сессию, призвали участников посвятить свой труд разработке плана широкого наступления на пустыню — там нефть, там наше славное будущее, там новые



города и промыслы!..

— Только тридцать лет прошло, — внушительно говорил главный геолог министерства, — с тех пор, как академик Ферсман с небольшой группой геологов на машинах французской марки «Rene sachte» проложил первую автомобильную колею через Каракумы! А сегодня родина и партия зовут нас к полному освоению неисчислимых богатств пустыни. Туркмения — это нефть и газ, это сера, это мирабилит, это бентонит...

— Это безводье... — прошептал Аннатувак.

И в перерыве, нервно закуривая папиросу одну от другой, он спрашивал Амана Атабаева:

— А будет ли разговор о нас, о Небит-Даге?..

— Это разговор о нас, — подумав, ответил Аман. — Прямой разговор о нас, я так понимаю.

Аннатувак, кажется, рассердился и нашел другого собеседника. Зато к Аману подошел Сулейманов, он был возбужден услышанным и почему-то молча пожал руку парторгу, крепко пожал и улыбнулся: «Какой поворот!»

В жизни страны — все это почувствовали после XX съезда партии — наступило то время, когда повсюду: в индустрии и в сельском хозяйстве, в науке и в правосудии, в искусстве и в школе — наступил поворот. И все же люди не могли к этому сразу привыкнуть. И часто слышался теперь в разговорах советских людей этот простой, от сердца идущий, изумленный возглас:

«Какой поворот!»

В толпе ученых, спешивших в зал, Аман Атабаев протиснулся к своему месту, вынул из кармана, положил на колени блокнот и весь обратился в слух. Никто бы не мог его теперь извлечь из зала. Доклады сменялись докладами, за утренним заседанием шло вечернее, геологи, словно страницы огромной книги, листали пласты пород и древних отложений и, как по строчкам этой книги, водили указкой по картам, развешанным за трибуной.

Все было понятно Аману!

Он даже рассмеялся однажды от удовольствия, что все так понятно. Соседи поглядели на него и, видно, не поняли, чему он смеется. Как мог он опасаться, что чего-то здесь не поймет... И спор о геологическом строении безлюдного и труднодоступного Усть-Урта, и сообщение об опытах удачной разведки геологических недр с самолета, и серия коротких докладов о новых методах защиты промышленных объектов от песчаных заносов, и вновь и вновь мелькавшие названия перспективных площадей в глубине пустыни — Бохурдок, Мамед-Яр, Ербент — все било в одну точку. Аман отлично понимал: речь шла о генеральном выходе в пустыню, о небывалом расширении фронта буровой разведки в новых, еще не освоенных районах республики.

Выступал ученый — пышногровый, седой, сероглазый человек, долго и не очень понятно Аману водил указкой по карте, толкуя о геологических временах образования нефти тут и там, и вдруг отчетливо и вполне понятно заявил о родстве каракумской нефтеносной платформы с платформой Саудовской Аравии, жадно расхищенной англичанами и американцами.

— Каракумы, может быть, самый перспективный район Советского Союза! — воскликнул этот ученый. — Нам только следует откинуть, как блины на блюде, верхние пласты и заглянуть в самые нижние, в те, что погорячее...

И зал ответил на эту шутку одобрительным гулом.

В перерыве Аман разыскал Човдурова, тот и не думал уже отлучаться ни с утреннего, ни с вечернего заседания и был раздражен, много курил, что, впрочем, тоже было понятно Аману.

— Послушай, а эти землепроходцы времени не теряли! Молодцы! — весело крикнул ему Аман.

— Еще бы! — раздраженно подхватил Аннатувак. — Сорок процентов полевых. Водку пьют, джейранов стреляют...

— Иди ты знаешь куда...

И на следующий день Аман Атабаев, не отвлекаясь, слушал сменявших друг друга на трибуне ораторов. Особенно интересны были сообщения руководителей экспедиций. Они ставили вопрос настолько практически, что Аману порой казалось, будто все тайком от руководителей небит-дагской конторы бурения уже побывали на вышках Сазаклы и выводили у отца Амана — мастера Атабая — его заботы и сомнения. Говорили о зеленой защите от движущихся песков, о посадках вокруг буровых тамариска и белого саксаула, но предупреждали, что при разбурировании выносятся иногда на поверхность соленые воды — и тут уже ничего не вырастишь. Говорили о самом сложном этапе работ, когда наступает необходимость от поискового бурения, не требующего капиталовложений, переходить к закладке глубоких скважин; еще не доказана промышленная ценность площади, а уже надо тащить водопровод, ставить электростанцию, монтировать резервуары...

Все было понятно Аману!

Тихомиров — испарился, будто его и не было. И это понятно! Так получилось, что те одинокие вышки, терпевшие бедствие в песках Сазаклы, те вышки, из-за которых рассорились руководители конторы, будто выдвинулись на авансцену огромного зала. Это о них шел страстный разговор ученых. Не было малых вопросов — все сопрягалось... Народ, партия давали наказ рабочему классу и технической интеллигенции Туркмении — вперед, на новые позиции! И, еще не зная об этом наказе, не прочитав тезисов к семилетнему плану, люди науки — партийные и беспартийные — уже повиновались как бы внутреннему велению, искали кратчайшие пути к будущим свершениям.

И снова в перерыве, во время дружного перекура в задымленном вестибюле встречались Сулейманов, Човдуров, Атабаев.

— Слушайте, друзья, надо к весне душевую устраивать в Сазаклы, — простодушно высказался парторг.

Сулейманов улыбался в усики.

— Вот именно! Главный вопрос! — разразился бурей Аннатувак. — Вода! Об этом меньше всего говорят — где взять воду?

— Надо с Сафроновым посоветоваться, — лукаво, как будто они уже дома, в конторе, предлагал Сулейманов.

А старый фронтовой друг брал начальника конторы за локоть:

— Не петушись... Сессия еще не кончилась.

— Да, еще банкет впереди, — мрачно острил Аннатувак, — там много будет воды — в бутылках, Ашхабад находится в зоне ижевского источника.

Так он шутил в перерыве, и ни Атабаев, ни Сулейманов не догадывались, что неистовый человек уже записался в прения. Они как раз сидели в зале рядом и только переглянулись,

когда председательствующий предоставил слово начальнику Небит-Дагской конторы бурения. Ученые встретили работника промышленности дружеской овацией.

— Я буду говорить о воде, и потому разрешите для начала выпить ее...

Эта шутка Човдурова расположила слушателей. Он действительно выпил залпом стакан воды и только тогда стал говорить.

Это была, пожалуй, самая короткая речь.

На примере Сазаклы Човдуров просил ученых вникнуть в сложность практического осуществления великолепных замыслов: при разведке в пустыне вода становится душой и человека и транспорта. Как можно вести разведку, если поблизости нет воды? Можно ли строить капитальные водопроводы для отдельных и скромных разведбуровых? Что предпринимают для разведки воды те, кто шумно агитирует за разведку нефти? Не сидят ли они сложа руки, следуя поговорке: «Не ищи воду там, где не нашел ее туркмен»? Тогда это, конечно, глупость! Верно, наши отцы и деды, перегоняя свои стада, веками искали воду в пустыне и находили ее с помощью древней лопаты. Но никогда не было ее вдоволь! Они рыли колодцы глубиной в пятнадцать — двадцать метров и берегли пресную воду от засоления, хранили свои секреты, чтоб не иссякла вода, и точно знали, где можно напоить триста баранов, где — меньше десятка...

— Так неужели мы, с нашей современной техникой, не найдем воду? — воскликнул Човдуров под аплодисменты зала. — Я недавно слышал от бурового мастера хорошую поговорку: когда усердно плачешь, даже в слепых глазах показываются слезы. А мы-то ведь зрячие!

Он заслужил одобрение ученых и пробирался к своему месту, взволнованный и взбудораженный, когда его потянул за рукав управляющий Объединением. Вдвоем вышли в коридор.

— Я-то понимаю, о чем вы, хитрый человек, умолчали: о самом главном! А что, если мы освободим вас от эксплуатационного бурения? Пусть контора специализируется только на разведке, — размышлял вслух управляющий, закуривая папиросу. — Что сидеть в обжитых районах с вашей энергией, напором! Слышите, что творится! А мы дадим вам план по пустыне — совсем другую песню запоете! А?

Когда вернулись в зал, с трибуны говорила та смуглая черноволосая русская женщина, которую «газик» подвез к поезду в Казанджике. Нет, это была не офицерская жена, как тогда подумал Аман, это была научная руководительница Узбойской гидрогеологической поисковой партии; несколько лет она провела в пустыне в поисках подземных пресных вод. Она как бы отвечала своим выступлением Човдурову:

— Есть вода!

Ее рассказ, такой же взволнованный, как речь Човдурова, выслушали в полной тишине. Она говорила без бумажки, рассказывала о том, как гидрогеологи вели несколько лет назад разведку грунтовых вод по трассе Узбойского канала полосой в десять километров и как нашли четырехметровый слой воды, поистине гигантскую подземную линзу пресных вод. Не было сметы — они продолжали свои изыскания без разрешения, на риск. Одни из властей имущих закатывали энтузиастам выговоры, другие бескорыстно поддерживали. Москва присылала и педантичных инспекторов, грозивших прокуратурой, и равнодушных консультантов, помогавших и оконтурить линзу и изучить химический состав воды. Чтобы определить долговечность запасов, надо было понять происхождение этих вод. Откуда они? Стекают с гор Копет-Дага? С больших глубин поднимаются по разрывам пластов? Или, может быть, тут происходит конденсация водяных паров, которые под разностью давления летом уходят вглубь, чтобы зимой начать обратное восхождение?

— Теперь мы можем доложить вам, товарищи: воды нам хватит на двадцать пять лет. Шестьсот литров в секунду — достаточно?... Уже создано в миниатюре водозаборное сооружение, третий месяц идут опыты — засоления не будет!.. Вы не должны верить на слово, товарищи, но это такая замечательная вода! Ну как вам объяснить? Ее может в сыром виде пить грудной ребенок. Это я вам говорю, женщина...

Люди вскочили с мест. Была минута такого воодушевления, когда маститые академики стоя аплодировали женщине, растерянно проходившей в толпе. Кто-то крикнул: «Да здравствует наша славная гидрогеология!..» И эти слова утонули в восторженной овации.

Вечером все три товарища из конторы бурения, отказавшись от театра, сидели за бутылкой коньяка в ресторане гостиницы, в углу, под пальмой. Тихо беседовали о пустяках, усталые от впечатлений. Сулейманов рассказывал секреты приготовления бозбаша. Аман издали увидел вошедшую в зал Марию Петровну — так звали гидрогеолога из Ясхана.

Когда он любезно подвел ее к столу небит-дагских друзей, мужчины стоя приветствовали ее, усадили, предложили бокал.

— Когда зовут гостей, режут барана, — смеясь, заметил Аману Човдуров.

— И блюда подают по очереди! — воскликнул парторг.

Мария Петровна рассмеялась:

— Я больше всего люблю баранье рагу с айвой.

Оркестранты, заметив появление русской женщины в кругу туркмен и, видимо, приняв ее за приезжую москвичку, немедленно заиграли «Подмосковные вечера».

Заговорили о Сазаклы, о вышках, ожидавших водопровода, о джебелской воде, бегущей по трубам через барханы.

— А сколько у вас там вышек? — спросила Мария Петровна.

— Сейчас один станок работает. Вполне достаточно... — буркнул Аннатувак.

И Аман, стеснясь того, что за столом женщина, выругался по-туркменски.

— Ты забыл, упрямый осел, что, когда в сорок первом году мы вывели роту на полигон, мы давали солдатам по три патрона для пристрелки... По три патрона! А не по одному. Ты забыл?

— Не трудитесь объясняться по-туркменски, я ведь понимаю без переводчика, — с легкой улыбкой заметила Мария Петровна. — Вы друзья, вам не надо ссориться в такое время. И за это стоит поднять бокалы!

Сулейманов незаметно наклонился к Аману.

— Что я говорил в поезде? Коммунисты любой язык понимают, когда понадобится, верно?

Глава двадцать восьмая

За барханом не видно вышек

Бригада Тагана Човдунова четвертую неделю работала в Сазаклы.

Среди необозримых песков, барханных холмов стояли два дощатых барака, где жили бурильщики. Пустырь между домами Тойджан называл площадью Молодых энтузиастов и даже не догадывался, как это льстило Тагану.

Новая буровая находилась недалеко от жилья, но за барханами ее не было видно. Через песчаный перевал протоптаны тропки; иной раз ветер их заносил, и к ночи приходилось отправлять за вахтой танкетку на гусеничном ходу. Ехали — столб пыли за гусеничными лентами, над головой яркое звездное небо, и на его черном фоне светлели барханы, как башни древней Нисы.

Быт был трудный. Вода на вес золота. Заново учились умываться, учились пить... Бурильщики сами собирали саксаул для топки, хлеб ели всегда зачерствевший, отдающий керосином; пока довезут на тракторе — пропахнет. В этой трудной жизни были и свои маленькие радости. Однажды привезли, непонятно откуда, березовые дрова, и бурильщики на две недели позабыли о путешествиях за саксаулом. В другой раз новички взбунтовались, решили сами испечь свежий хлеб. Халапаев еще подростком работал в пекарне, усатый бурильщик из бригады Атабая умел складывать печи. За ночь возле старого барака устроили печь наподобие тандыра, и вернувшиеся с ночной смены рабочие пили зеленый чай с пышным горячим хлебом. Это было целое событие в их однообразной жизни. Таган так радовался, что завернул кусок хлеба в газету, положил в хурджин и сказал, что отвезет домой, покажет жене и дочери, на что способны мужчины.

Завели и собаку. Ее выпросили для нового поселка трактористы где-то в кочевье, раскинувшем свои кибитки у крана водопровода. Стройная тонконогая борзая с могучей грудью и втянутым животом была ласкова, как щенок. К ней все привязались: играли, разговаривали, а Джапар сшил ей попонку, чтобы не зябла по ночам.

С бригадой Атабая приезжие жили дружно. Старожилы тяготились своим малолюдством и обрадовались появлению небит-дагских знакомых, усатый бурильщик даже попытался составить волейбольную команду, но игроков все-таки не хватало.

Приезд трактористов и шоферов — тоже всегда радость. У местных шоферов особое отношение к пескам. Бездорожье полное, и каждый, как штурман в море, сам себе выбирает курс. Шоферы валились с ног от усталости, им давали отоспаться, а потом сажали за стол. Они привозили городские новости, знали и все, что происходит на безлюдном унылом пути. Рассказывали, что в доме насосной станции на полдороге от Небит-Дага в Сазаклы в полном одиночестве живет механик, прежде бывший большим начальником в Красноводске. Его сняли за пьянство и отправили в пустыню... на водопровод. Бурильщики и шоферы держали пари, что будет с механиком: исправится или вовсе сопьется? Шутник Атабай однажды пришел на буровую Тагана и сказал, что в поселке появился мальчишка, который продает чал в стаканах. Ему поверили, мальчишку искали, беспокоились, не засыпало ли его во время песчаной бури.

Аккуратно вели счет выходным дням — у каждого свой запас, свои выкладки. Счастьем бывало, когда отгул совпадал с прибытием самолета. Тогда в два счета, за полчаса можно оказаться дома, в кругу семьи, и помыться и отоспаться на чистом белье.

Так, поглощенные работой, ежедневными заботами да маленькими радостями и горестями, люди жили, не замечая за собой ничего героического. Скажи им, что Атабай и его товарищи, проработав год в барханах, уже совершили подвиг, — не поверят. Скажут: где же нефть, какой это подвиг без нефти?

Легче всех и труднее всех в Сазаклы жилось Пилмахмуду. Прозвище прочно пристало к нему, и теперь только по ведомости на зарплату можно было узнать его настоящее имя — Чекер

Туваков. Пилмахмуду удалось еще на Вышке перейти к Тагану. Вместе со всей бригадой он полетел в Сазаклы. Перелет из города в пустыню ошеломил его. Самолет тянул ровно, набирал высоту, и его ничто не подпирало снизу. Забыть об этом, пока летели, Пилмахмуд не мог ни на минуту. Он вставал во весь рост, оглядывался, кругом был воздух — снизу, сверху, с боков, а ноги твердо упирались в пол, даже в поезде больше качало. Внизу городские дома, как аптечные коробочки, а деревья похожи на щетки, которыми чистят лампы. И, как ни странно, воздух на небе такой же, как на земле. Временами Пилмахмуд терял ощущение собственной громоздкости — ощущение, которое никогда не покидало его. Он ликовал, казалось, что он и сам превратился в птицу, освободился от тяжелого груза. Но когда снова очутился на земле, то все свои смутные и радостные переживания смог выразить лишь одной глубокомысленной фразой:

— Только с ишака слез, и оказался на самолете...

В Сазаклы Пилмахмуду было легко, потому что он всю жизнь провел в песках и еще не успел привыкнуть к городу. Не скучал, потому что у него была своя особая задача: стать настоящим нефтяником. А это-то и было непостижимо трудно. Не хватало сообразительности, трудно было приучить грубые руки к инструменту. Пилмахмуд двигался как во сне, то защемлял себе пальцы, то ронял на ноги тяжелые предметы.

Таган понимал состояние новичка и обращался с ним мягко, но Тойджан, вспыльчивый и нетерпеливый, часто укорял за неповоротливость. Чекер задумывался: «И эта работа, видно, не по мне. Попал сюда по ошибке». Он не догадывался, что уже и теперь был очень полезен для бригады. Хотя буровые работы в Сазаклы были по-современному механизированы, но и для них иногда требовалась физическая сила. Чекер еще не годился в бурильщики или палатчики, но для тяжелой работы был незаменим. Трубу, которую Халапаев и Джапар вдвоем не могли сдвинуть с места, он спокойно нес на плече. Когда приходилось разгружать машины, Пилмахмуд оправдывал свое прозвище и впрямь напоминал большого слона, с легкостью перетаскивающего бревно. Могучей рукой, точно хоботом, хватался за трубы и поднимал, как тонкие прутья.

Сегодня Чекер начал рабочий день с того, что принялся измерять вязкость глины прибором, похожим, как ему казалось, на моток шерстяных ниток. По тому, как он то набирал глину, то сливал, разглядывая на свет, и снова набирал, почесывая затылок, было видно, что, сколько ни учили, все равно он не может определить, густой получился раствор или жидкий.

Таган заметил, что Пилмахмуд не справляется с делом, взял у него вязкометр, взглянул на показания прибора и, махнув рукой в сторону огромного чана, сказал:

— Открой, пожалуйста!

Он поглядел, как неуверенно передвигается Чекер, переставляя свои широкие, подобные крышкам котла, ступни, и заметил Тойджану:

— Погляди на его походку! Человек словно дом потерял...

— А раскачивается-то как пьяный! — поддержал бурильщик.

Чекер оглянулся, помолчал и пошел дальше, не улыбаясь и не сердясь. Молчаливость мешала ему близко сходить с людьми, он дичился, смотрел на всех, как больная овца. Вначале шутки казались обидными, но откровенное восхищение товарищей его силой, их незлобивость постепенно примирили его с постоянным подтруниванием. Теперь он не представлял себе, как смог бы жить без бригады.

Выполнив приказание мастера, он в глубокой задумчивости вперил взгляд в глубь чана. Мастеру показалось, что наконец-то парень начал кое-что соображать. На самом же деле

Чекер предавался в эти минуты довольно отвлеченным размышлениям. «Удивительные люди здесь работают, — думал он, — как только они догадываются, что лежит под семью слоями земли? Если бы раньше сказали, что нефть добывают с такой глубины, я бы подумал, что это делает божья сила. Оказывается, бог и руки не приложил к этому делу. Хоть бы еще один уважаемый Таган-ага тут колдовал! Куда ни шло! Но Тойджан, он по годам только в подпаски и годится, а как быстро соображает, будто насквозь просверливает взглядом все семь слоев. И я, я тоже помогаю! Что может быть интереснее бурения? Работа, конечно, беспокойная, у всех будто хвосты подвязаны, как у скакунов перед бегом. Это тебе не овец водить на водопой. А почему бы и мне не стать мастером? Ну, не дурак ли я, о чем задумался... Равняться с Таганом-ага! Кто не понимает техники, годится только таскать трубы. Но ведь и Таган-ага прилетел сюда не на крыльях учености, а оседлав свою пастушью палку. Неутомимому охотнику и не очень щедрый бог дает добычу. Может, и меня выведет в люди упорный труд?»

Ухватившись за эту надежду, Чекер Туваков просиял, как солнышко, а мастер сказал Тойджану:

— Если хочешь знать, какая на дворе погода, смотри не в окно, а в лицо Пилмахмуду.

Тойджан, видя, что старик в веселом настроении, подзадорил простодушным вопросом:

— Мастер-ага, разве лицо Пилмахмуда зеркало?

— Что там зеркало! От сырости сходит фольга, упадет — разобьется. А лицо Пилмахмуда — прочный прибор. Нахмурился — налетела буря, просиял — вышло солнце. Три дня, пока дул ветер, мы не видели на его лице улыбки. В такие дни не знаешь, с какой стороны к нему подойти. Глядит, как ленивый бык, который обиделся, что ему хвост прикрутили. А сейчас смотри-ка — рот до ушей!

Чекер долго не подавал голоса. Однако мастер заметил, как шевелятся его толстые губы, и терпеливо ждал ответа. И верно, не прошло и трех минут, как Чекер проговорил:

— Эта непогода наделала много хлопот.

Кратко высказавшись, он опустил глаза, словно произнес что-то непристойное.

Чекер сказал правду. Свирепый ветер, не утихавший три дня, измучил бурильщиков. Густая пыль не давала открыть глаза. Привинчивая трубы, Халапаев и Чекер, несмотря на прохладную погоду, обливались потом. Известный своей выносливостью Губайдуллин кричал: «Мастер-ага, сил больше нету! Ноги дрожат, сейчас упаду!» В такую погоду трудно было держать тяжелые трубы, раскачиваемые ветром. Сквозь свист ветра слышался голос мастера: «Ха-ла-паев! Смени наверху палатчика!» У Пилмахмуда замирало сердце. А вдруг и ему мастер прикажет лезть наверх? «Нет, — решал он, — если и велит, все равно не полезу. Прикажет сдвинуть вышку — попытаюсь. А наверх — ни за что!» Вспомнив все это, Пилмахмуд снова разжал уста и сказал:

— Мастер-ага, и ты был тогда невесел.

На этот раз Таган ответил серьезно:

— Верно говоришь, Пилмахмуд! Как я мог быть спокойным в такую опасную минуту? Ведь я отвечаю и за Джапара и за тебя. За всех отвечаю, а прекращать бурение недостойно нашей бригады...

— Правильно, — вмешался в разговор Халапаев. — Чтобы владеть собой в такие минуты, нужна крепкая жила!

Таган, недовольный, что его прервали, сухо сказал:

— Если так хорошо соображаешь, возьми за рычаг, подай бурильщику воздух!

Когда мастер говорил серьезно, его слова были законом. И Халапаев схватился за рычаг, а вскоре сменил Тойджана. Разминаясь, бурильщик сказал:

— Только не торопись, все время сверяйся с картой.

— Не поторопишь проходку — не выполнишь плана, — беспечно ответил Халапаев. — Не выполнишь плана — не получишь премию!

— План не штурмовщиной выполняется, — строго возразил Тойджан. — Допустишь аварию — надолго простишься с премиями...

— Золотые слова, — одобрил подошедший к вышке Атабай. — При здешней структуре работай да оглядывайся... Я и сейчас помню, да и вам советую не забывать про грифон, что случился у меня осенью...

— Как забыть! — откликнулся Халапаев. — Вся Вышка, весь Небит-Даг только о нем и говорили.

— Кричали! — подтвердил Атабай. — Я сам слышал, как горланила в очереди Эшебиби: «Теперь Атабай не будет задирать свою поганую бородавку, как курица хвост. Не хотел Сатлыккыча взять в помощники, говорил, что Сатлыккыч не отличает колодца от скважины, теперь пусть пеняет на себя. Его грязные руки должны держаться не за рычаги на вышке, а за верблюжий повод. Посмотрим, что он теперь запоет! Я всегда говорю, что жизнь — это ложка, которой едят все по очереди. Пусть теперь Атабай мне поклоняется, попросит для себя местечка около Сатлыккыча...»

Весельчак Атабай так сердито кивал направо и налево, передразнивая Эшебиби, что все покатались со смеху.

— Вспоминать всегда весело, — сказал он, — а тогда было не до смеха. За час вокруг буровой образовалось озеро, и вышка торчала в воде, как маяк...

Люди смеялись шуткам старика, а видно было, что слушают внимательно. Каждый понимал, что в любую минуту может повториться то же самое. Поощряемый общим интересом, Атабай продолжал:

— Когда я почувствовал силу, толкавшую вверх тяжелую глину, я, конечно, остановил проходку, закрыл скважину. Но вода перехитрила меня, нашла себе по трещинам другой путь. Грифон забил метров за триста от буровой. Страшно вспомнить! В котловане величиной с комнату, как в котле, бурлила вода! А то вдруг поднимался водяной столб в рост человека, и мутная вода разливалась, как в паводок. А земля кругом будто ожила и дышала — дышала, как грудь больного лихорадкой!..

Встревожась этим рассказом, Таган Човдуров подумал, что он тоже слишком беспечен, и решил еще раз осмотреть всю площадку.

Глава двадцать девятая

Тревога гложет мастера



Прежде всего Таган отправился к механику. Кузьмин, по обыкновению, неторопливо налаживал насос. Таган встал поодаль и, откинувшись назад, принялся разглядывать механизм. Потом наклонился к насосу, как будто надеялся отыскать в нем иголку. Наконец оглянулся на Кузьмина, словно только сейчас его заметил, и весело воскликнул:

— Как самочувствие, Иван Иванович?

Будто не слыша вопроса, Кузьмин разложил по местам ключи, бросил тряпку, которой вытирал руки, и только тогда ответил, и то не обернувшись:

— Самочувствие то же самое. Какое у мастера, такое и у механика.

Таган схватил его за плечи и взглянул в глаза.

— А у тебя, Иван, характер не хуже моего!

Прищурившись так, что вместо глаз остались только щелки со слипшимися ресницами, механик ответил своей любимой поговоркой:

— Говорят, если товарищ слепой, прикрой и сам глаза.

Човдуров расхохотался, со всего размаха хлопнул механика по плечу. Тот притворился обиженным.

— Эй, мастер, рукам волю не давай, а то недолго и сдачу заработать!

Таган вдруг насупился, лицо его потемнело. Но не от шутки Кузьмина, а от приступа тревоги, которая по сути и не покидала мастера со дня приезда в Сазаклы. Откуда эта тревога? Сердце дизеля бьется спокойно, насосы равномерно попыхивают, глина течет, все глубже уходит в землю долото... Как будто не о чем волноваться, а быть спокойным невозможно... Правда, геологи имеют приблизительное представление о новом участке, опыта у Тагана тоже хватает, но ведь никто здесь не побывал под землей, никто не знает, какие она готовит неожиданности. Может быть, Аннатувак прав? Перед отъездом Аннатувак сказал: «Отец, не гордись первыми успехами. Кишмиш, который тебе нынче даст та земля, завтра обернется полынью. Будь начеку!» И хотя Таган верил, что бригады освоят новый участок, слова Аннатувака сидели как заноза в груди!

— Эх, мастер, я же пошутил! — заметил Кузьмин, подумав, что нечаянно обидел старика.

Таган и не понял даже, о чем он, а потом отмахнулся, показывая, что и внимания не обратил на эту шутку.

— А все-таки, как ты думаешь? — спросил он.

— О чем?

— Так и будет все благополучно? Или...

Таган боялся высказать вслух сомнения, и механику захотелось заставить его говорить откровенно.

— Если мастер не знает, откуда же мне знать?

Старик умоляюще поглядел на Кузьмина.

— Иван, разве я бродил под землей?

— А где же прошли твои лучшие годы? Где посидели твои усы?

— Впервые работаю на таких опасных пластах.

— Раз решился — шагай твердо, не дрожи, как мышь в щели: «Выглянуть или нет? Не подстережет ли кошка?» Пусть под ногами вспыхнет огонь, но он не успеет обжечь тебя, а искрами разлетится под твоим натиском!

Старик утвердительно кивнул.

— Умно сказал, Иван!

— Спасибо, дорогой! До сих пор не слышал от меня ничего умного?

— Не в этом дело... Так ты считаешь, что нам не угрожают беды?

— Вот уж чего не говорил! Нешуточное дело затеяли мы с тобой, как на фронте, а войны без крови не бывает. Твое долото и тысячи метров не прошло, а по проекту должны пробурить три тысячи триста тридцать. Известно — чем глубже, тем труднее. Глядишь, и вода прорвется или газ засвистит. Тогда не будешь так ласково разговаривать, как сейчас, а завизжишь, будто кобель, которому хвост прижали. Может, и меня назовешь не Иваном, а Ваней, может...

Мастер крепко схватил за плечи Кузьмина и пристально взгляделся в маленькие голубые глаза, словно надеялся разгадать какую-то тайну.

— По-твоему, может так случиться?

Высвободив плечи, Кузьмин шлепнул старика по спине.

— Просто не узнаю тебя! Кто передо мной — Таган-ага? Тот, кто стоял как вкопанный, когда катились на него громадные камни с горы? Или это чучело, дрожащее даже без ветра? Что с тобой нынче, мастер?

Таган смущенно отколупывал кусочек сухой глины с тужурки механика.

— Разве не помнишь? Я и тогда не растерялся, когда на четыреста тридцать седьмой буровой забил сильный грифон и вышка ушла под землю.

— Сказать по правде, ты и тогда был не в своем уме.

— Ты проглотил свою совесть, если хочешь сказать, что Таган Човдуров испугался!

— А кто тогда вскочил на ротор, обнял квадратную трубу и чуть не отправился с нею под землю? Если бы тебя не оттащили, был бы другой мастер на этой буровой.

— Неужели непонятно? — Таган покачал головой. — Ведь каждый винтик там моими руками привинчен. Трудно расстаться! Может, не поверишь, но, когда я был подростком и Урре-бай исполосовал меня, а раны присыпал солью, мои глаза слезинки не выронили. А в ту ночь, когда вышка провалилась, можно было выжать не только мой платок, но и рукава рубашки.

— Глупости все это...

Взгляд старика, словно копье, вонзился в механика.

— Беречь социалистическую собственность как зеницу ока — глупости?

Механик хорошо знал, когда мастер всерьез говорит, а когда шутит.

— Вот уж сразу и социалистическая! Эта самая собственность и мой хлеб. Я тоже волнуюсь,

если какой-нибудь винтик заржавеет, но тошно слушать такие разговоры: «Ах, мое долото! Ох, моя надежная труба! Без вас жизнь немила!» Сегодня потеряли один станок, завтра привезут десять. Но все заводы, какие только есть на свете, не создадут одного мастера Човдунова.

— Это, конечно, верно, Иван...

— Если верно, так и спорить не о чем. Лучше скажи, что с тобой творится?

— Как бы объяснить... На мозг мне все время капает...

— Это кому понадобилось?

— Аннатуваку. Он кипит от возмущения. И Тихомиров тоже... Появится ли он здесь, я ли приеду в город, Тихомиров каждый раз, глядя на меня, качает головой. Чего качает? Когда только собирались сюда, он прожужжал мне уши: «Зачем шагаешь в бездну? Ты же неглупый человек, опомнись!» Я его послал подальше, и он на время оставил меня в покое. Но стоит встретиться, начинает качать головой, как маятник, или молча грозит пальцем. Да и другие твердят: «Взялся не за то дело! Поступал бы лучше на работу в аварийное депо». Ты пойми: не за себя боюсь. Все знают, что я летел сюда, как стрела, пущенная из лука. Но если дело себя не оправдывает? Если по моей вине случится авария? Не знаю покоя, хотя и от беспокойства пользы никакой.

Механик не ожидал таких признаний. Все три недели Таган держался весело, все время шутил. Переступив с ноги на ногу, Кузьмин сказал:

— Ты же настоящий человек, Таган-ага.

— Да, когда меня поддерживают такие друзья, как Тойджан и ты, я начинаю важничать, думаю, что нет таких крепостей, которых бы я не взял...

— Ну вот и договорились. За поддержкой дело не станет.

В то время как Таган изливал свои сомнения старому приятелю, Тойджан вел дежурство у скважины. Но мысли его были далеко. После ссоры они с Айгюль не встречались. И не было такого часа, не было такой минуты, когда бы Тойджан не ощущал горечи разлуки. Он терзал себя: как можно было вспылить, придравшись к случайному слову? Как можно было не понять, что вспышка Айгюль — доказательство любви, а не равнодушия? Надо было ее успокоить и не пускаться в глупые препирательства. Айгюль сама честно рассказала про азербайджанца, покинувшего ее год назад. Что удивительного, если после такой обиды она стала недоверчивой. Сердце Тойджана сжималось от жалости к Айгюль, от тоски по ней... Теперь все выглядит так просто и понятно. А вот два дня назад, когда Тойджана отправили на самолете в Небит-Даг за недостающим оборудованием, странная робость, а может быть, упрямство помешали ему разыскать Айгюль. Покончив с делами в городе, он поехал на промыслы и раза три промчался на мотоцикле туда и обратно по дороге, ведущей на участок Айгюль, сбавляя газ возле конторы. Может быть, выйдет, заговорит, улыбнется? Айгюль не появилась. Вечером в городе он шагал взад и вперед перед ее домом. Открыл калитку, хотел подняться по лестнице и остановился. В голову пришли ничтожные, мелкие соображения. Зачем навязываться? Может быть, ей легко и весело без него? Еще встретит насмешками. Стоит ли унижаться?

Он ушел домой, а прилетев утром в Сазаклы, снова проклинал себя за нерешительность и гордость. Он искал выхода и не находил. То обдумывал предлог, чтобы завтра снова поехать в город, то решал никогда больше не встречаться с Айгюль. Кто знает, что произошло за это время? Выбросила его навсегда из сердца и бегают в кино с каким-нибудь мальчишкой вроде Нурджана? Странно все-таки, что, проведя полдня на участке Айгюль и возле ее дома, ни

разу ее не увидел. А вдруг она заболела? И снова угрызения совести начинали терзать Тойджана. Этот мучительный и однообразный круговорот мыслей был нарушен громким возгласом:

— Так и живете? И подумать только, что люди сюда приехали по доброй воле.

Ханык Дурдыев, окруженный бурильщиками, приближался к вышке. В пустыне всякий гость дорог, поэтому даже не слишком уважаемого Ханыка сопровождали и Джапар, и Халапаев, и Кузьмин. Среди пыльных ватников и потертых ушанок его красно-зеленый клетчатый шарф и пушистая светлая кепка выделялись, как оперение фазана в стае воробьев. Ханык и разговаривал с фазаньей важностью.

— Джапар, ты когда в последний раз был в кино? Не помнишь? Должен тебе сказать, что у нас в Небит-Даге идет мировая картина «Фанфары любви». Заграничная. Я дважды смотрел и пойду еще. А ты, Шамрай, — обращался он к усатому бурильщику из бригады Атабая, — должен знать, что сын Дурдыклыча — не вратарь, а лев. Что он делал на последнем матче с кум-дагскими ребятами! Ай, что он делал!.. — И Ханык, хватаясь двумя руками за щеки, качался, будто изнывал от зубной боли.

Тойджан после поездки в подшефный колхоз еще не встречал Ханыка. В тот вечер в аульской гостинице он посоветовал Зулейхе написать жалобу в партком и дал адрес, но в суматохе переезда в Сазаклы не успел лично переговорить с Аманом Атабаевым. И надеялся, что это сделает за него Ольга Сафронова. Снабженец впервые появился в пустыне. Глядя на его сияющее самодовольством, лоснящееся личико, Тойджан сразу вспомнил Зулейху, тускло-черные, полные слез глаза, вспомнил, как смущенно она поглаживала свою острую коленку, обтянутую застиранным ситцевым платьем, и чувство глубокого отвращения к Дурдыеву охватило его.

— А как насчет газировки? — продолжал Ханык. — Зимой еще можно терпеть, но что вы будете делать летом?

— Не беспокойся, братец, — сухо заметил Таган, — о нас позаботятся и летом. Ижевскую привезут и без лимонада не оставят.

— Мастер-ага, — не растерялся Ханык, — если узнают, что вы здесь, вас и шампанским обеспечат. Кто может сомневаться? Ваш сын недавно зашел к нам в отдел — так все задрожали. Как будто министр явился! Не знаю, кто в республике может сравниться своими успехами с Аннатуваком Човдуровым, начальником конторы бурения!

— Я-то мастер-ага, а ты мастер лизать чужие пятки. Только если тебе нравится это занятие, лижи другому. Я тут ни при чем! — громко и отчетливо сказал Таган.

Дурдыев вспомнил, что в городе говорили о ссоре Аннатувака с отцом, и решил, что попал впросак.

— Семье Човдуновых и пятки лизать считаю за честь. Вся семья выделяется в городе. Был на участке у Айгюль, снова и снова удивлялся ее красоте. Это пери, а не девушка! Что за глаза, что за шея! И при этом большой начальник!

Старик поморщился.

— Ты что, жениться собираешься на ней?

С притворной скромностью Ханык склонил голову.

— Смею ли я поднять на нее глаза!

— Ну, вот и хорошо, что не смеешь! Но плохо, что решаешься болтать о моей дочери. Не мешало бы попридержать язык.

Слушая этот разговор, Тойджан чувствовал, как все сильнее закипает в нем злоба, он с трудом сдерживался, чтобы не подойти и не двинуть Дурдыева по загривку. Но Ханык с нечувствительностью, свойственной самодовольным людям, сам подошел к бурильщику и сказал:

— Старик, как видно, совсем сбесился от скуки в пустыне. Уж нельзя и поговорить об Айгюль!

— А зачем о ней говорить? — не скрывая раздражения, ответил Тойджан. — Поговорим лучше о Зулейхе.

От неожиданности дряблое лицо Дурдыева будто запрыгало.

— Откуда знаешь Зулейху? — тихо спросил он, виновато оглядываясь по сторонам. — Она приезжала к тебе?

— Нет. Я к ней приехал.

— Зачем?

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— Я как друг прошу, Атаджанов, скажи, зачем она тебе понадобилась?

— Как друг? Вот досада-то! Я хотел бы видеть тебя в числе врагов.

— Ну, если у тебя такие дела с Зулейхой, что не можешь рассказывать, пожалуйста! Имей в виду, я не в обиде. Для меня эта распутная девка плевков под ногами!

Этого Тойджан не выдержал. Одним прыжком подскочил к Дурдыеву и схватил его за горло.

— Ты смеешь так говорить о матери своих детей? Ты! Сын шакала! Отродье кобры! Запомни: не поможешь этой женщине — будешь иметь дело со мной! Не только со мной, а со всеми нефтяниками. А вернее, ни с кем не будешь: задушу тебя сию минуту!

Стоявшие в отдалении Губайдуллин и Халапаев переглянулись, пожимая плечами.

— Что это не везет нашему агенту? — вяло удивился Джапар. — Как ни приедет на буровую, обязательно его кто-нибудь душит.

— Значит, за дело, — ответил Халапаев. — Тойджан — парень справедливый, зря не тронет...

Ни тот, ни другой не проявляли ни малейшего желания прийти на помощь Дурдыеву. Иначе рассудил Таган Видя, как тщетно пытается Ханык своими слабыми руками оторвать пальцы Тойджана от горла, как вертится, встает на цыпочки и крутит шеей, будто надеется вывинтить ее из железного кольца, он кликнул Джапара и Халапаева, и втроем они освободили Дурдыева.

Ханык сразу не мог заговорить и только выразительно показывал обеими руками на Тойджана, но старик, не обращая внимания на эти жесты, дал знак бурильщикам, чтобы увели злополучного снабженца.

Ребята взяли его под руки, круто повернули и повлекли за собой.

— Куда? — пролепетал Ханык.

— В гости! — засмеялся Джапар.

— Гость — раб хозяина! Но я еще не кончил разговора с Тойджаном, — взмолился Дурдыев.

— Если хочешь продолжать то, что тебе показалось разговором, — задумчиво сказал Халапаев, — боюсь, что больше тебе никогда не придется говорить. В нашей бригаде после Пилмахмуда Тойджан второй по силе.

— Тогда не надо, — кротко сказал Ханык и поплелся вместе с бурильщиками.

А около буровой шел свой разговор.

— Стоило связываться, — укоризненно сказал Таган.

— Вы недавно проделали то же самое! — засмеялся Тойджан.

— Тогда за дело и в шутку.

— Ну и теперь за дело, только всерьез.

— Куда уж серьезнее. Я поглядел на его шею. Пять пальцев так и отпечатались...

Таган не проявлял любопытства, он считал, что Дурдыев настолько мерзок, что всегда найдется повод ухватить его за кадык.

— Хороший ты парень, Тойджан, — одобрительно сказал старик. — Даже удивительно, что в ремесленном училище — не в родной семье — так хорошо воспитывают ребят.

— Мать моя тоже не верила, что там могут воспитать.

— Как же решилась отдать тебя?

— Знали бы, что было прежде, чем она решилась...

— Ну расскажи. Люблю, когда человек рассказывает про свою жизнь, про детство...

Они сели, поджав под себя ноги. И Тойджан, водя пальцем по песку, как будто не было никакого происшествия, стал рассказывать:

— Родился я в ауле Чашгын, Сакар-Чашгынского района, Марыйской области. Аул наш вырос как раз на границе между пустыней и оазисом. Отец мой был общительный человек, краснбай, его всегда приглашали распорядителем тоя. Может быть, потому его и звали Той-кули, а меня в детстве называли Тойчи. Это ведь твой ласковый язык, мастер-ага, переделал меня в Тойджана... Жили мы хорошо, но отец умер, когда мне еще не исполнилось десяти лет. Тогда я стал работать. Летом пас ягнят, осенью собирал с матерью хлопок, зимой бегал в школу, но учился кое-как. Все больше гонялся за сусликами да скатывался вниз с высоких барханов. Это у нас такая игра была — кто быстрее скатится. Летом я тоже озорничал, совсем забывал про ягнят, и они смешивались со стадом, а мне доставалось от пастуха и от председателя колхоза.

— Отчего же мать боялась отдать тебя в ремесленное, если ты рос такой непутевый? — удивился Таган.

— А вот слушайте, — сказал Тойджан, которому было приятно отвлечься воспоминаниями детства от печальных мыслей. — Когда перешел в пятый класс, осенью мне и еще четверым парням объявили, что нас отправляют в ФЗО. Мне было совсем все равно, куда посылают, чему будут учить, но очень хотелось сесть на поезд и оказаться в городе. Зато, когда эту весть услышала мать, она заметалась по всему аулу и, не зная, на кого излить гнев, стала

проклинать председателя сельсовета: «Чтобы лопнуть твоему животу, превратившемуся в мешок с саманом! У людей заботы, горе, разлука, а ты дармоед — того и гляди ноги-руки, точно бурдюки, полопаются! Был бы человеком, работал бы наравне с людьми! Чтоб тебе задохнуться! Разве у меня есть лишний грош, чтобы откупиться от тебя, оставить при себе своего ребенка? Почему не посылаешь ни Чарыяра, ни Аннаяра, ни Гуллу, ни Мюлли? Почему привязался к единственному сыну беззащитной женщины? Чтоб тебе дожидаться своего наказания!..»

Сколько ни объясняли, что ничего плохого со мной в ФЗО не сделают, она только плакала: «Отберут у меня желторотого и отправят на войну...» Наконец кое-как уговорили. И я поехал в Красноводск. До сих пор, мастер-ага, не могу забыть, как страшно было в городе! Вы ведь знаете Красноводск? С двух сторон нависли огромные горы, того и гляди скалы обрушатся вниз. У ног — Каспий. С моря все время дует ветер, в воздухе носятся обрывки газет, мусор, в порту люди сидят с чемоданами, с узлами, ждут парохода. Ночью проснешься в общежитии, и тоже страшно. Где, думаю, мои поля Сакыр-Чага, зеленеющие весной и летом, где необозримая пустыня Чашгына? Где вы? Только в памяти моей? А осень поздняя, за окном вдалеке волнуется, грохочет Каспий... Как представлю тяжелые темно-зеленые волны, как представлю пену на гребне волны, всю из серебряных бусинок и бисеринок, так и вспомнятся слезы матери, серебристые слезы на ее щеках... И снова забываюсь тяжелым сном. То снится, будто горы рушатся и вот-вот придавят меня камни, то догоняет высокая волна, накрывает с головой и несет в море. А то просто снится, что ноги отнялись и не могу двинуться с места.

Недолго я терпел эти муки. Оставил в общежитии мешочек с лепешками, а сам — на поезд. Залез под лавку, ночь проехал, а утром вышел в Небит-Даге. Зачем вышел, что буду делать — ничего не знаю. И тут посчастливилось. Увидел меня большой начальник, вы его, наверно, знаете, Ключевой по фамилии, теперь в Ашхабаде живет, лысый такой, все зубы золотые, а улыбнется — будто свет зажгут. Он матросом в молодости был, у него и сейчас выправка военная. Стал расспрашивать меня, послушал, послушал, да и повел домой обедать. Жена у него, седенькая старушка, тоже очень ласковая, а намучился я у них не хуже, чем в Красноводске. Всюду кружевные занавески, радиоприемник, на стенах картинки висят, обедают за столом и сидят на стульях. Ничего этого я никогда не видел. Не знал, как стать, где сесть, куда повернуться... А после обеда отвел меня Ключевой в Небит-дагское ремесленное училище. Там я почему-то сразу привык. В Небит-Даге ничего не страшно...

— В Небит-Даге-то не страшно... — задумчиво повторил Таган.

— А где нам, нефтяникам, страшно, мастер-ага?

Таган улыбнулся. После разговора с Кузьминым, после бесхитростного рассказа Тойджана умиротворенность снизошла в его душу. И, будто успокаивая Тойджана, он несколько раз повторил:

— Нигде не страшно. Совсем не страшно, сынок. Ничего нет страшного...

## Глава тридцатая

### Как плетут паутину

В полдень безлюден и заспанно-скупен городской базар.

Город живет размеренной жизнью. Хозяйки, проводив мужей на работу, сразу отправляются

за покупками, а ближе к обеду торгуют только фруктовые ряды; там можно встретить приезжих из Кум-Дага или Вышки да командировочных из соседней гостиницы «Нефтяник».

Когда Ханык, оставив на улице свой мотоцикл, заглянул в ворота, базар весь был виден насквозь, просторен и чист, лишь у газетного киоска выстраивалась очередь: видно, только что привезли свежие газеты. Собственно, и Ханык завернул сюда на минутку — купить полкило хурмы, но, увидев в очереди за газетой исполнительницу русских частушек, гастролировавшую в городе, поспешил к ней. Придав плаксиво-сладкую умильность беспокойно дергавшемуся лицу, он без малейшего стеснения принялся разглядывать артистку. Два дня назад, когда Ханык видел ее на сцене Дома культуры строителей, она была в атласном сарафане, кокошнике, расшитом жемчугами, — сказочная красавица! Ее сегодняшний скромный вид разочаровал снабженца. Она показалась старше, чем на сцене, и гораздо скучнее в клетчатом пальто, маленьком берете и туфлях на толстой подошве. «Донашивают в провинции что похуже, — подумал он, — не считаются с публикой. А небось деньжищи лопатой гребет...»

Убедившись, что артистка не обращает на него внимания, Ханык уныло поплелся к фруктовщикам. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что даже если бы случилось чудо и артистка пригласила его в гости, вряд ли бы он повеселел. После вчерашнего разговора в Сазаклы с Тойджаном шея побаливала и настроение было мрачное. Тщетно Ханык ломал голову, сочиняя благородное объяснение истории с Зулейхой и брошенными детьми, но ничего не мог придумать! Между тем трусливое воображение рисовало самые безотрадные картины. Наверно, в парткоме уже лежит заявление Тойджана, в котором тот ставит на нем тавро — называет низким человеком и злостным неплательщиком алиментов. Он уже видел, как ехидный лысый кассир рассматривает исполнительный лист, приколотый к ведомости зарплаты. Уже подсчитал, что за вычетом тридцати трех процентов (двадцать пять за первого ребенка, восемь — за второго) он получит такие гроши, что придется не только проститься с мечтой о габардиновом пальто, но еще и подзаять у кого-то, чтобы вернуть долг Эшебиби. Связываться с Эшебиби опасно...

Эти соображения и расчеты ни на минуту не оставляли Дурдыева, и он тупо глядел на прилавки, окрашенные в ярко-зеленый цвет, где в оранжево-желтом великолепии были горками разложены айва, мандарины, шептала, хурма и орехи.

— Ханык! — окликнул высокий парень в коричневой папахе, торговавший морковью.

Узнав односельчанина, Дурдыев отпрянул было назад, но потом, махнув рукой, подошел к прилавку.

— Салам, Салих!

— Тебя сразу и не узнаешь, — сказал Салих, — из Москвы, что ли, приехал?

Как раз сегодня Ханык не был особенно щеголеват, но ослепительно яркий клетчатый шарф, болтавшийся на тонкой шее, и светлая кепка, видно, бросались в глаза в сочетании с потрепанным ватником и кирзовыми сапогами.

— Какая там Москва, — со вздохом отмахнулся агент отдела снабжения, — из Небит-Дага — в барханы, из барханов — в Небит-Даг, вот и все мои путешествия...

Он был так удручен, что даже поленился приврать и похвастать.

— Что ж тебя к нам на праздник не прислали? Большой той был — и скачки, и гореш, и много бузы выпили, — сказал Салих. — Тебя там ждали...

— А кто был от нефтяников? — спросил Ханык, сделав вид, что не расслышал последних



слов.

— Ваш бурильщик Тойджан Атаджанов. Еще девушка была. Русская девушка. Красивая...

— А какая девушка? Как зовут? — оживился Ханык.

— Все такой же, — засмеялся Салих, — всегда только о девушках разговор... Ольгой ее зовут, сестра главного инженера Сафронова, только...

— Что только?

— Только у тебя ничего не вышло бы. Атаджанов с ней весь день ходил, не расставался.

— Не расставался? Вот и хорошо! — радостно воскликнул Ханык. — Может быть, и спали в одном доме?

— И это угадал! — рассмеялся Салих. — В Доме колхозника остановились. Мне комендантша рассказывала: к ним туда и твоя Зулейха заглядывала.

— Прощай, брат Салих, тороплюсь, на работу надо! — засуетился Дурдыев.

— Да куда заспешил? Я тебе привета не успел передать. Зулейха ждет не дождется! Смотри, как бы сюда не приехала! — кричал Салих вслед Дурдыеву.

Но Ханык уже ничего не слышал. Не выбирая и не торгуясь, заплатил за хурму, выбежал на улицу, вскочил на мотоцикл и помчался к промыслам. Он был окрылен мгновенно возникшим замыслом. Как только Салих произнес имя Ольги Сафроновой, выход был найден.

Весь жизненный опыт Ханыка Дурдыева подсказывал, что лучший способ обороны — наступление, а единственная возможность разоружить опасного человека — очернить его.

Пусть Тойджан подает заявление, пусть изобличает Ханыка на всех перекрестках — это не страшно. Кто такой сам Тойджан? Где его совесть? Собирается жениться на Айгюль, дочери уважаемого мастера, сестре начальника конторы, а сам на глазах у целого аула день и ночь проводит с Ольгой Сафроновой. Какое бесстыдство!

Улыбка так и дергала толстые, бесформенные губы Ханыка. Оставалось только собраться с мыслями и понять, с какого края начать плести паутину сплетни и клеветы. Пока ясно одно: инженера Сафронова надо исключить из игры. У этих русских все непонятно. Скажешь, что родная сестра гуляет с чужим женихом, а он ответит: «Так и надо. Это у них дружба». А вот мальчишку, Нурджана Атабаева, стоит навестить. Слишком часто он ходит в кино с Ольгой, чтобы остаться равнодушным к такой новости. Бешеный петух клюнет в темя, от ревности парень взовьется, глядишь, и подымет шум на весь город. А другого от него и не требуется.

Все складывалось необыкновенно счастливо. Ханыку даже не пришлось искать Нурджана на вышке. Он встретил оператора прямо у дверей конторы.

— Ба, Нурджан! Здорово, брат! — сказал он, преградив дорогу юноше. — Что случилось? Почему так похудел?

Нурджан молча пожал плечами, не зная, что ответить.

— И веки опухли, — сочувственно продолжал Ханык, — и глаза тусклые. Если бы встретил не на работе, подумал бы, что ты болен. Но я догадываюсь... Настроение неважное?

— С чего ты взял, что я расстроен? — спросил Нурджан. — Целый день веселюсь...

— Рассказывай кому-нибудь другому. От Дурдыева ничего не скроешь. Прямо скажу: назови

мне имя человека, который портит тебе жизнь, и я не то что его самого — его отца в могиле заставлю вертеться!

— Какого человека? — недоумевал Нурджан. — О ком говоришь?

— Не хочешь признаться?

— Не в чем признаваться, да и незачем! — разозлился Нурджан.

— Я понимаю, что ты стесняешься. Не так приятно сознаваться, что одурачили. Но ведь я — то не стану над тобой смеяться!

— Пстой, пстой! Кто меня одурачил?

— Ну что мы будем, как дети, играть в прятки. Весь город говорит о них, а ты стараешься делать вид, что ничего не знаешь!

— О ком говорит весь город? — Нурджан начинал выходить из терпения.

— О Тойджане и Ольге, — скромно потупясь, сказал Дурдыев.

— Что же можно о них сказать?

— Я ничего не знаю, — осторожничал Ханык, — продаю, за что купил, но, говорят, не зря они ездили вдвоем на праздник в подшефный колхоз...

— Хватит! — отрезал Нурджан. — Прошу не повторять мерзкой сплетни. Ольга мой товарищ...

— Да что так волнуешься, — радостно перебил Дурдыев, заметив, что Нурджан покраснел до корней волос, — мало ли что люди скажут! Может, и не было ничего. Только нехорошо, что они под одной крышей переночевали. Колхозники знаешь народ какой, могут подумать...

— Ханык! — закричал Нурджан. — Я же сказал, что не хочу слушать эти гнусности!

— И ты прав, трижды прав, Нурджан. Я и сам думаю: зачем ехать в аул людям, которые живут в одном городе? Если нужно встречаться, они и здесь могут увидеться. Люди молодые, неженатые... От кого им скрываться?

— Почему ты не родился мухой? — вдруг взмолился Нурджан.

— Если бы я был мухой, товарищ Нурджан, — обиделся Дурдыев, — пришлось бы тебе выплеснуть свой чай из пиалы...

— Вот уж не пожалел бы ничего на свете, только бы избавиться от твоего жужжания!

— Э, брат, всему свету рот не заткнешь!

— Пока что слышу эту сплетню только от тебя! А вообще я тороплюсь в контору. Прощай, брат, — и Нурджан быстро взбежал на крыльцо.

Ханык остался в недоумении. В самом деле мальчишка ничему не поверил или притворяется из самолюбия? Хорошо, если бы Ольга поссорилась с ним. Уж это он бы наверняка отнес на счет Тойджана.

Когда дело касалось интриг и сплетен, энергия Дурдыева была беспредельна. Через четверть часа он уже стоял около Ольги, которая осматривала только что вышедшую из ремонта скважину. Ханык залюбовался девушкой. В синем платочке, в красном свитере, она

была похожа на картинку из детской книжки.

— Ольга Николаевна, — начал Ханык, остановившись около нее, — вы сегодня как Аленушка, которую умчал серый волк.

— Вот уж не думала, что вы читаете детские сказки, — улыбнулась Ольга.

Больше всего на свете Дурдыев боялся, что его могут посчитать простачком, неотесанным болваном, поэтому он поспешил оправдаться.

— Не читал детских сказок, даже когда был маленьким, но в одном доме я видел коврик, и мне сказали, что на нем вышита Аленушка...

— Если коврик, тогда еще смешнее, — расхохоталась Ольга.

Дурдыев покачал головой.

— Вот вы смеетесь, а не знаете, какая беда у вашего друга...

— Он мне ничего не сказал! — простодушно проговорила Ольга.

Дурдыев так торопился, что не заметил ее промаха.

— А как ему в этом признаться? — горестно спросил он. — Нурджан уже не мальчик... Ну, поскандалил с матерью, чего не бывает между своими людьми... Но чтобы мать была уполовником двадцатилетнего парня...

Сочиняя свои небылицы, Ханык то и дело останавливался, потирал пальцем щеку, запинался, но Ольге и в голову не пришло, что он врет, ее слишком интересовало все, что относится к Нурджану.

— Ничего не понимаю, — сказала она, — какой уполовник? Из-за чего скандал?

— Да ведь Мамыш сватает ему Айгюль Човдурову. Ну, а ее мать, Тыллагюзель, отказала. Говорит: «Тот, кто гуляет с иноязычной, не найдет и со своими одного языка». Мамыш и стала допрашивать Нурджана, кто иноязычная, с кем он гуляет, а тот не сознается, отпирается... Слово за слово, она и стукнула его уполовником. Парню, конечно, обидно... Какой он жених, если мать, как ребенка, бьет...

У Ольги даже ноздри раздулись от негодования. Она стояла перед Ханыком, выпрямившись, заложив руки за спину.

— Откуда вы-то знаете, из-за чего они поссорились?

— Дурдыев такой человек, — самодовольно ответил снабженец, — все, что происходит в городе, что творится в поселках, что говорят в аулах, даже о чем мяучит барханный кот в песках за Молла-Кара, — все знает Дурдыев.

— Ну и отправляйтесь к своему барханному коту, а мне надо работать!

И, повернувшись спиной к Ханыку, Ольга быстро пошла к соседней вышке.

«Вот разберись с этой молодежью, — думал Ханык, — рассердиться-то она рассердилась, а поверила ли — сам аллах не поймет! А если не поверила и Нурджан не поверил, значит, я попусту терял время и дело не подвинулось ни на шаг? Нет, надо бить наверняка».

И, оседлав мотоцикл, Дурдыев помчался в поселок.

## Глава тридцать первая

### «Хороший парень — к обеду»

Ханык не ошибся: Мамыш встретила приветливо. По правде сказать, он немало постарался, чтобы заслужить этот радушный прием. Войдя в дом, назвал Мамыш матерью, оставил у порога свои кирзовые сапоги, повесил на вешалку старую стеганку и новую кепку, поклонился по-старинному, как нынче кланяются только старики, и присел около хозяйки, поджав под себя ноги. Еще больше понравилась старухе важная степеньность, с какой парень расспрашивал о здоровье Нурджана, Амана и самого Атабая-ага. Покоренная этой учтивостью, Мамыш постеснялась спросить у гостя имя, хотя и видела его в первый раз. Дурдыев и тут проявил знание обычаев, не заставил хозяйку долго мучиться. Неторопливо и плавно, будто сказку сказывал, объяснил, откуда родом, как зовут, кто были родители, где работает, и назвался близким другом Нурджана.

Мамыш, очищавшая рис для плова, в лад его словам качала головой, не замечая, что глаза Ханыка воровато бегают, разглядывая все углы.

— Тетушка Мамыш, — спросил он наконец, — скоро ли Нурджан придет с работы?

— Говорил, дорогой мой, что нигде не задержится и вернется прямо к обеду с товарищем.

— Не меня ли имел в виду?

— Наверно, тебя, дорогой...

Нурджан давно приглашал в гости. «Познакомишься, говорит, с моей матерью, посидишь с ней и про свою мать позабудешь». Вот как говорил про тебя. Может, и сейчас Нурджан ищет меня? Правда, я его не видел со вчерашнего дня...

— Ханык-джан, а с кем еще он может прийти? Ты знаешь его друзей?

Этот вопрос порадовал Дурдыева. Старуха сама торопилась в расставленные сети. Изобразив притворное смущение, помолчав для пущей важности, Ханык со вздохом сказал:

— Тетушка Мамыш, очень хочется рассказать тебе кое-что. Чувствую, что для пользы Нурджана должен поделиться своими мыслями. Но боюсь, что тебе будет слишком больно, и потому прикусываю себе язык...

Никто не смог бы лучше сыграть на самой слабой струнке старухи. Мамыш вечно страдала от мнимой скрытности сыновей, изнемогала от любопытства, выпытывала у Нурджана какие-то несуществующие тайны. Сейчас она быстро придвинулась к Ханыку, не замечая, что рис просыпался на ковер.

Дорогой мой, если вправду хочешь стать моим сыном, никогда ничего не скрывай. Ты не испугаешь меня. Я старуха, выдавшая и холод и жару, привыкшая равно благодарить жизнь и за цветы и за траву. Если беспокоишься за Нурджана, не робей, говори мне все! Я не испугаюсь, а только буду настороже. И мы вместе оградим его от беды.

Круглое лицо Ханыка, как всегда в минуты волнения, дергалось, глаза бегали. Но Мамыш принимала это за признаки стеснительности.

— Ну, говори же, не бойся, — подбодрила она Ханыка.

— Прости меня, мамочка, за горькие слова, какие я заставляю выслушать, — сказал он плачущим голосом. — Так болит сердце за Нурджана... Трудно удержать слезы...

И он всхлипнул.

— Не томи меня! Говори правду! — воскликнула перепуганная Мамыш.

— Что делать, мамочка, Нурджан потерял голову. Околдовали его, и он забыл друзей, и меня забыл...

— Околдовали? — шепотом переспросила Мамыш, уставившись на Ханыка круглыми от ужаса глазами.

— Совсем околдовали, мамочка.

У старухи даже голова затряслась. Она крепко схватила за локоть Ханыка.

— Кто же это сделал?

— В том-то и дело, мамочка, что никудышная вертихвостка, не стоящая даже следа Нурджана!

Мамыш дергала руку Ханыка, как голодная собака рвет еще не обглоданную кость.

— Что за вертихвостка? Русская? Туркменка?

Ханык, конечно, не постеснялся бы приписать все пороки Ольги тому, что она русская, но ему захотелось выглядеть в глазах старухи поблагороднее.

— Мамочка, дело не в национальности, а в душе!

— Дорогой, сердце рвется на части, скажи скорее — кто она?

— Она промысловый оператор, вроде Нурджана, и тут еще нет ничего худого. Но страшно другое: она не видит разницы между днем и ночью, между хорошим и плохим.

— Что ты сказал? Не отличает плохое от хорошего?

Почувствовав, что Мамыш полностью доверилась, Ханык нанес решительный удар.

— Прямо скажу, мамочка, Ольга — девушка легкого поведения.

— Что такое? Олге?

— Ольга Николаевна Сафронова.

— До чего же злая моя судьба. Айгюль превратилась в Ольгу, а Човдур в Сапара!

— Верно, верно говоришь, мама! Если бы мне посчастливилось сосватать такую пери, как Айгюль, я бы в одно мгновение семь раз склонился перед ней и семь раз выпрямился. Как жаль, что околдованные, пеленой задернутые глаза Нурджана не замечают ее.

— Лучше бы эта пелена пала на мои глаза!

— Что там говорить, мамочка, если человек околдован, он и в слепую и в горбатую может влюбиться.

— Только этого не хватало! Мало мне, что Аман стал калекой, так теперь и чужая, со стороны пришедшая к моей скатерти, оказалась кривой и горбатой!! Как же я переживу все это!

Концом платка Мамыш вытерла слезы, Ханык испугался. Что, если она заголосит и на крик сбегутся соседи?

— Не тревожься так, мамочка! Еще неизвестно, чем кончится дело, может, образумишь сына, да и я полезу хоть в огонь, чтобы поссорить их друг с другом.

В голове Нурджана не отыщешь и капли разума! Все мои слова для него — пустой звук. Может, ты сумеешь сладить с ним? Дорогой мой, постарайся, ради дружбы постарайся уберечь его от неверного шага. А я твоей доброты никогда не забуду.

Ханык чувствовал, что заврался, и Мамыш легко сможет убедиться, что Ольга не кривая и не горбатая.

— Не стану скрывать, мамочка, Ольга красивая, привлекательная девушка.

— Какая польза от луны, если я не достаю до нее? Я же не пойму языка этой Олге! Пусть хоть алмаз в кольце, а что делать, если не лезет на палец?

— Не в этом дело, мамочка. Ольга и по-туркменски говорит. Но не страшно, если бы и не говорила. Когда сердца слиты воедино, можно понять друг друга и без языка: глаза объяснят желания чистых сердец. Но если сердца не сольются, как мед с маслом, тогда всему конец! Как бы тебе пояснить?.. Ольга не такая уж плохая девушка. Но выросла без матери, без воспитания... Ее капризная рука куда хочет, туда и тянется. Не стану скрывать от тебя, ее белые руки обнимали и шею Тойджана Атаджанова. Весь город говорит, что они ночевали вместе, когда ездили на праздник в колхоз. Тянулись эти руки и к моей шее, но ты знаешь мой характер. Я сбросил их, как веревку с шеи верблюда. Жаль, что эти руки капканом вцепились в Нурджана...

Мамыш вскочила с места.

— Ах, дорогой, что же делать?

Ханык тоже поднялся с ковра.

— Мамочка, я излил свое сердце, исполнил свой долг. Если позволишь, я теперь уйду.

Но Мамыш не слышала. Голова ее тряслась, в полном отчаянии старуха твердила:

— Ах, дорогой, что же мне делать?

Боясь, что Мамыш упадет, Ханык поддержал ее, поцеловал в висок.

— Не убивайся, мамочка. Я все улажу. Не сыном Дурдыева буду, если вместо Ольги не приведу тебе в дом Айгюль!

Обратив на Ханыка благодарный взгляд, Мамыш мокрой от слез рукой погладила его по голове.

— Пусть ждет тебя удача на каждом шагу.

— Будь спокойна! Только разреши мне поскорее уйти.

— Ни за что, дорогой! Сварю плов, покушаешь, тогда и уйдешь. Верно говорится: «Хороший парень — к обеду».

У Ханыка давно разыгрался аппетит, но он понимал, что дольше задерживаться опасно.

— Если Нурджан застанет меня здесь, все мои планы рассыплются, как бисер, нанизанный на

гнилую нить.

— Как же я отпущу тебя без обеда?

— Ах, мамочка, я сам был бы счастлив просидеть с тобой весь день, да не приходится...

— Не везет тебе, бедный мой... Ну, я оставлю тебе, придешь попозже.

— Если правду сказать, я, конечно, не невидимка. Но, кроме ветра, никто не знает, где я хожу, где бываю, куда иду и когда я приду. Не обещаю, что скоро появлюсь. Но пусть никто, особенно Нурджан, не знает, что я был здесь. Понятно?

Мамыш поглядела с сомнением. То ли не понравились ей эти слова, то ли не верила в собственную выдержку.

— Дорогой, как же я могу дать такое обещание?

— Разве так трудно исполнить его?

— Сколько ни старался Атабай обуздать мой язык, ничего не мог поделаться с этим маленьким кусочком мяса в два пальца длиной. Если я попробую прикрыть свой рот, язык, наверно, начнет щекотать мне нёбо.

Дурдыев вынужден был заговорить поосторожнее:

— Хорошо, мамочка, если думаешь, что это пойдет тебе на пользу, выйди во двор и во все горло кричи о нашем разговоре.

— Нет, дорогой, нет! Я шучу. Понимаю, что для меня стараешься. Будь уверен, как ни слаб мой язык, он станет дверью на семи замках. Не будь я матерью Нурджана, если когда-нибудь проговорюсь!

Успокоенный тем, что повесил замок на старухин рот, Ханык решил взять и ключи с собой.

— Мамочка, мне совесть не позволит поступить, как другие: мол, пусть все идет как бог даст. Я для друга пойду на все! Но если ты не понимаешь этого, пеняй на себя.

Мамыш обеими руками ухватила за Ханыка.

— Понимаю, дорогой, понимаю.

— Если понимаешь, то хорошо. А теперь — до свидания!

По тому, как покачивал плечами Ханык, надевая сапоги, как переступал с ноги на ногу, влезая в ватник, было видно, что настроение у него хорошее, но Мамыш, погруженная в свои мысли, ничего не замечала. Вдруг спохватилась.

— Ой, дорогой, подожди-ка! — Она раскрыла скатерть, достала круглую жирную лепешку, сложила вдвое, быстро завернула в газету и протянула Дурдыеву. — Ханык-джан, нельзя уходить из дома, ничего не отведав. Положи эту соленую лепешку себе за пазуху, дорогой.

Дурдыев отогнул край газеты и устоялся на вкусно пахнущий чурек, как петух на зерно, вдруг с жадностью откусил кусок и, мотнув головой, выбежал из дома.

В глазах старухи словно туман рассеялся. Кто такой Дурдыев? Друг ли Нурджана? Почему Нурджан никогда ни слова не сказал о нем? Почему он появился, когда Нурджана не было дома? Может, сам любит девушку, которую зовут Олге? Может, и Мамыш решил втянуть в это дело, чтобы поссорить Нурджана с девушкой? Природный здравый смысл натолкнул ее на

эти размышления, но удовольствие обладать тайной Нурджана, вмешаться в его дела оказалось самым сильным соблазном, и она отбросила свои догадки. Не может такой обходительный человек, как Ханык, быть обманщиком!

## Глава тридцать вторая

### Дети и взрослые

Этот вечер Нурджан условился с Ольгой провести вдвоем. Давно ему хотелось пригласить девушку к себе, но боялся, что мать безудержной болтливостью все испортит, начнет жаловаться, что не удастся сына женить, или, еще хуже, допытываться у Ольги, не собирается ли она за него замуж.

Ольге некого было бояться. Старший брат, которому она рассказала о дружбе с оператором, посоветовал звать его запросто в дом.

— Есть у туркмен поговорка: «Однажды увидел — знакомый, дважды увидел — родственник», — сказал Андрей Николаевич, — тут, знаешь, вся доверчивость народа, его уважение к людям. Но я предпочитаю русскую: «Человека не узнаешь, пока три пуда соли вместе не съешь».

Народная мудрость пришлась кстати, и при первой же встрече Ольга без раздумья сказала:

— Нурджан, идем!

— Куда? — удивился юноша.

— Как куда? К нам домой!

— Может, лучше пойдем к нам?

— Нет, к вам в другой раз.

— Я ведь не знаком с Андреем Николаевичем, с Валентиной Сергеевной!

— Вот и познакомишься.

— Я стесняюсь...

— И не стыдно тебе? — сказала Ольга, заглянув в глаза Нурджану.

— Очень стыдно. Так стыдно, что, кажется, упаду у ваших дверей.

— Не бойся, у наших дверей не скользко.

— Может, все-таки пойдем в другой раз?

— Нет, Валентина Сергеевна нас ждет сегодня.

— Сегодня?

— Ну что ты, как эхо, все повторяешь за мной?

— Значит, ты уже?..



— Да, я говорила, что собираюсь позвать тебя. Разве это стыдно?

— А вдруг Валентина Сергеевна скажет: «Молодой человек, что вам тут нужно?»

— И ты не сможешь ответить?

— Я еще не бывал в таком трудном положении, откуда же мне знать?

— Ну, ответишь, что тебе я нужна!

— Думаешь, у меня повернется язык?

Ольга весело рассмеялась и положила руку на плечо Нурджана.

— Ты пойми, мы ведь русские люди! У нас так принято. Парень может зайти к девушке, и никто не подумает ничего плохого. Не смущайся, пожалуйста.

— Тогда пойдем сперва к нам, я переоденусь.

— Вот хорошо сообразил! Ты будешь переодеваться, а я в этой робе должна показываться вашим?

Они условились встретиться на автобусной остановке.

Уже темнело, когда молодые люди подошли к дому Сафроновых. Нурджан чувствовал себя, словно вор, которого ведут в отделение милиции. Ему казалось, что голос ослаб, ноги заплетаются. За несколько шагов от дома он остановился. А Ольга, не замечая его смущения, решительно открыла двери и крикнула:

— Гелнедже, я не одна, мы с Нурджаном пришли, встречай!

За дверью послышался приветливый голос Валентины Сергеевны:

— Очень хорошо. Рады видеть.

Это радушие еще больше смутило Нурджана. Он притаился за углом дома в полной растерянности.

Ольга вернулась назад и крикнула:

— Нурджан, Нурджан!

— Где же он? — удивилась и Валентина Сергеевна.

Нурджан не мог откликнуться, голос не слушался его. Он и сбежать не решался — ноги не шли. Вспомнились веселые рассказы родителей о старине, когда парни, приходя за невестами, так робели, что и в дом войти не могли и удрать не успевали. На таких трусах товарищи, оседлав их, катались верхом. Сам Атабай однажды пошел к Мамыш и упал, испуганный неожиданно вскочившим на ноги верблюжонком.

Нурджан знал, что его некому пугать и преследовать, но, неизвестно почему, чувствовал себя глубоко виноватым перед Ольгой и, понимая, что это стыдно, не находил сил, чтобы решиться войти в дом.

Ольга направилась к калитке и увидела его стоящим под деревом.

— Ты что тут делаешь?

— Я... — Нурджан запнулся. — Я... рассматриваю ваш сад...

Тут он вспомнил историю, случившуюся с одним парнем, который тайком явился навестить свою девушку и застрял под кошмой кибитки. Люди спрашивали его: «Эй, братец, что ты лежишь тут?» — «Курю...»

Ольга удивилась.

— Рассматриваешь сад?

Нурджан немного ободрился.

— У вас удивительный порядок в саду! Даже без листвы деревья кажутся красивыми...

В сад вышла и Валентина Сергеевна и, протягивая юноше руку, сказала:

— Здравствуйте, Нурджан!

Вид этой ласковой женщины сразу успокоил Нурджана.

— Здравствуйте! Как поживаете? — вежливо ответил он.

— Очень хорошо.

— Знаешь, Нурджан, гелнедже за этим садом ухаживает уже несколько лет, — сказала Ольга.

Валентина Сергеевна возразила:

— Нет, нет! В выходные дни сам Андрей Николаевич до ночи возится тут с лопатой в руках, расчищает канавки, окапывает розы. Он одним из первых посадил финики, виноград в Небит-Даге и считает каждый кустик членом семьи. Постоянно упрекает: «Валя, почему до этого куста не дошла вода? Почему акация плохо выглядит?» Когда засыхает дерево — в прошлом году у нас засохли два урюка, — он страдает так, будто буровая вместо нефти дала воду.

Вбежавшая в калитку пухленькая девочка лет четырех-пяти бросилась к Нурджану и повисла у него на шее. Юноша взял ее на руки, прижал к груди.

— Дядя, вы каждый день будете приходить? — спросила девочка.

— Приду, Верочка.

— И сакгыч мне принесете?

— Самый лучший принесу.

— Всегда с Олей будете приходить?

Нурджан молча погладил ее по щеке, а Ольга поспешила на помощь:

— Иногда Нурджан будет нас навещать, иногда мы будем ходить к нему в гости...

— И меня возьмете с собой?

— Обязательно!

Верочка сползла с рук Нурджана и сказала:

— Я вам свой велосипед покажу!

Слушая беспечный лепет Верочки, Нурджан почувствовал себя вступившим в новую радостную жизнь. Валентина Сергеевна повела его в дом. Ольга ушла в ванную, чтобы помыться и переодеться.

Сердечность и доброта Валентины Сергеевны, заметившей застенчивость Нурджана, тронули его. Очень приятно было смотреть на эту полную женщину с двойным подбородком, улыбающимися пухлыми губами, сияющими серыми глазами. Даже родимое пятно на щеке, казалось, красило ее. Занятая хозяйственными хлопотами, она как будто и не замечала Нурджана, но краешком глаза все время разглядывала его. Ей понравился скромный и аккуратный вид юноши, зачесанные назад блестящие черные волосы. «Если ум и характер соответствуют внешности, Ольга нашла хорошего друга», — думала она. Около Нурджана вертелась Верочка, показывала свои игрушки, расспрашивала, мешала разговаривать с Валентиной Сергеевной. Сама хозяйка то и дело уходила на кухню и, кажется, была довольна, что дочь занимает гостя. Ее хлопоты и то, что обеденный стол был раздвинут во всю длину, встревожили Нурджана. «Не праздник ли они отмечают какой-нибудь сегодня?» — подумал он. Но, как говорится, в доме, где дети, воровства не скроешь. Верочка, истощив все темы для разговора, сообщила:

— Дядя, а сегодня к нам гости придут!

Нурджан не понял.

— Верочка, я уже пришел.

— Нет, дядя, вы не гость.

— А кто же должен прийти?

— Кто? Один, потом еще один...

— А как их зовут?

— Я не знаю. Мама говорила, что папа сегодня придет с гостями. Подожди-ка, я сейчас спрошу!

Девочка хотела побежать на кухню, Нурджан удержал ее:

— Нет, Верочка, не нужно.

Не слушая, Верочка кинулась к матери, вошедшей в комнату:

— Мам, а мам, какие гости сегодня будут?

Валентина Сергеевна улыбнулась.

— А, ты, значит, уже все рассказала дяде?

Верочка стала оправдываться:

— Нет, не все. Я ведь не знаю, кто придет. Это ты Расскажи все.

Валентина Сергеевна знала, каких гостей пригласил муж, но, не желая, чтобы Нурджан чувствовал себя стесненно, уклонилась от прямого ответа:

— Я тоже, Верочка, не знаю. Папа только сказал, что сегодня, под выходной день, могут прийти гости, и просил кое-что приготовить.

Но Верочку нелегко было унять.

— Ты все знаешь. Подожди-ка... Аман... Потом... Су... Су... Ну-ка, скажи, как его назвал папа?

— Успокойся, пожалуйста! Увидим, когда придут. Ты лучше поужинай пораньше и ложись в постельку.

— Это как же?

— Лялечка моя, ты еще маленькая. Нехорошо маленьким вмешиваться в разговоры старших.

— А дядя Нурджан?

— Дядя Нурджан с тобой — маленький, а среди больших людей — он тоже большой.

— Я тогда...

— Да, миленькая, ты ляжешь спать. Вот будет у тебя день рождения, соберутся твои подружки, никто из взрослых не будет мешать, будете играть одни.

— А дядя Нурджан?

— Я же сказала: дядя Нурджан с тобой — тоже как маленький. Его обязательно позовем.

Нурджана забавляло, что малютка Верочка удивительно походила на свою немолодую мать. Все — и движения, и походка, и родинка на щеке, и сияющий взгляд, — все было общее.

Взяв дочку на руки, Валентина Сергеевна понесла ее в спальню. Оставшись в одиночестве, Нурджан задумался: «Какая прекрасная жизнь! Какой простой народ! Еще и не знают меня, а держат себя просто, как с родственником. Даже девочка приветливая... Но, может. Андрей Николаевич будет недоволен, подумает: «Что это за парень? Откуда взялся этот незванный гость?» Сегодня тут соберется много народу. Верочка не смогла вспомнить, но, кажется, и Сулейманов придет. А что подумает Аман? Не лучше ли, пока есть время, сбежать отсюда?»

Встревоженный размышлениями, Нурджан подошел к дверям, схватил шляпу и выбежал в сад. Но вдруг, опомнившись, остановился. «Ну и болван же я! — подумал Нурджан. — Что скажет Валентина Сергеевна, если я так удеру? Будет смеяться над Ольгой, велит, чтоб этот меджун и на глаза больше не показывался. И Ольга не постесняется: «Не нужен мне человек с заячьим сердцем, который своей тени боится...» Теперь уже он не знал, как вернуться назад, но и совесть не позволяла сбежать.

Когда Нурджан вошел в комнату, Ольга, одетая в темно-красное бархатное платье, стояла перед зеркалом, поправляя золотые косы, короной уложенные на голове. На щеках играл румянец, глаза сияли, кожа сделалась еще белее от темного платья; казалось удивительным, что девушка, пришедшая полчаса назад в замасленной спецовке, могла так неузнаваемо измениться. Нурджану очень хотелось дотронуться до Ольги, просто за руку взять, но он не решился.

— Куда это ты вдруг исчез? — насмешливо спросила Ольга.

Сгорая от восторга и стеснительности, Нурджан чуть было не признался, что хотел позорно сбежать, но, сообразив, что Ольга посмеется, да еще при Валентине Сергеевне, храбро соврал:

— Я выходил в сад подышать свежим воздухом...

— Разве у нас душно?

— У меня голова заболела...

— Ой ли?

Припертого к стене Нурджана спасла Валентина Сергеевна, притащившая из кухни огромное блюдо с холодцом.

— Что вы стоите на ногах, как в автобусе? — спросила она.

Ольга, лукаво смотревшая на Нурджана, озадачила его неожиданным ответом:

— Я хотела надеть фартук, а он тоже поднялся, говорит, что хочет нам помочь.

Валентина Сергеевна, уверенная, что Нурджан будет больше мешать, чем помогать, вежливо ответила:

— Нет, Нурджан, сидите спокойно. Кухня — дело женское.

В дверях появился Андрей Николаевич. Нурджан снова оробел, опустил голову и еще больше смутился оттого, что Сафронов узнал его.

— Если не ошибаюсь, Нурджан Атабаев? — спросил он.

Добродушная хозяйка ответила за Нурджана:

— Он самый.

— Приветствую, товарищ Атабаев.

— Здравствуйте, Андрей Николаевич.

Не выпуская ладони Нурджана из своей крепкой руки, Андрей Николаевич оглядел всех.

— Поднялись встретить меня?

— Андрюша, а ты, вижу, не прочь, чтобы тебя встречали стоя? — пошутила Валентина Сергеевна и объяснила, что все собрались идти на кухню.

Андрей Николаевич погрозил пальцем Ольге.

— Нурджан, — сказал он, — Ольга у нас неплохая. Я хвалю не потому, что она моя сестра, а потому, что она скромная и решительная девушка. Только будь начеку, если подружишься с ней. Она тебя из кухни не выпустит. Даст ведро и тряпку и скажет: «Мой полы!»

Заметив, что Нурджан покраснел, Валентина Сергеевна толкнула мужа локтем:

— Ну, хватит, нечего смущать молодежь своей болтовней! Разве тебя заставляли мыть полы?

— Эх, Валя, у Ольги характер не такой, как у тебя!

Ольга подмигнула брату и лукаво покосилась на невестку.

— Гелнедже, разве для мужчины позор почистить картошку, вымыть пол? И Нурджан, и Андрей не меньше нас с тобой едят и топчут полы...

Сафронов расхохотался:

— Что теперь скажешь, Валя? Разве я не говорил...

— Хватит, хватит болтать! Лучше иди смени свою шкуру...

Женщины ушли в кухню, Андрей Николаевич усадил Нурджана на диван, а сам отправился «менять шкуру». Все в этом доме удивляло Нурджана. «Какие добрые, открытые люди! — думал он. — Когда туркмен выдает замуж дочь, разве позовет он зятя в дом? Даже и после свадьбы откровенно не поговорит. При встрече тесть и зять глядят как виноватые, начнут говорить — отворачиваются! Удивительно, до чего разные обычаи у людей! Здесь с такой добротой относятся ко мне, хотя и не знают, как сложатся наши отношения с Ольгой...»

В простоте душевной Нурджан не допускал мысли, что родные Ольги могут и не считать его женихом.

Из кухни прибежала Ольга в пестром фартучке, пряча что-то за спиной.

— Нурджан, закрой глаза и открой рот.

— Зачем?

— Затем, что надо слушаться!

— Хочешь оправдать характеристику, которую дал брат?

— Обязательно! Закрой глаза и открой рот. Открой, говорю, открой!

Нурджан подчинился, и в ту же минуту большая медовая коврижка оказалась у него во рту.

А Ольга убежала из комнаты.

## Глава тридцать третья

### Проигранная партия

Гости пришли все вместе, дом сразу наполнился шумом голосов и смехом. Кроме Сулейманова и Атабаева были, разумеется, приглашены Тамара Даниловна с Аннатуваком. Были и незнакомые небит-дагскому обществу люди: старый сослуживец Андрея Николаевича — инженер из Красноводска с женой, та привела с собой дядю, работника торговой сети из Кум-Дага.

Это была первая домашняя встреча после ашхабадской поездки. Затеяв свой маленький семейный праздник, Сафроновы хотели свести Сулейманова и Човдурова за дружеским ужином, чтобы, как выразился Андрей Николаевич, «в вине утопить всю эту карусель...» — затянувшийся конфликт вокруг сазаклыньских вышек. Инженер был воодушевлен рассказами о сессии, считал ее даже поворотным пунктом в истории туркменской нефтяной промышленности, и ему казалось, что споры исчерпаны, про себя он верил, что заставит сегодня начальника конторы и главного геолога протянуть друг другу руки над праздничным столом.

Всем приглашенным, кроме разве кум-дагского кооператора, так ясна была мирная миссия домашнего банкета, что, еще смеясь по телефону, переговариваясь с Аманом, Султан Рустамович предложил всем мужчинам прийти с бумажными голубями на лацканах пиджаков, а женщинам с оливковыми ветвями в волосах. Трудно было ожидать, что снова возникнут

споры, даже Аннатувак перед тем, как выйти из дому, пообещал Тамаре Даниловне соблюдать железную выдержку.

— Буду с Сулеймановым играть в шахматы. Это можно? И я его заматую!

— А мы, как всегда, — в домино! — сказала жена, взяв его под руку.

Стол ломился от яств.

В фарфоровых блюдах лежали горы холодной курятины, с золотистой корочкой. Дрожал желтоватый холодец, украшенный яйцами и морковными звездочками. В хрустальных салатницах пламенели помидоры. Ядовито зеленел лук, уложенный пирамидкой на оранжевой тарелке. Розовела поздняя редиска, осыпанная травкой. В белых кольцах репчатого лука серебрились селедки. Из кухни несли то голубцы в виноградных листьях, то сильно зажаренный темно-коричневый шашлык, насаженный на шампуры, то, наконец, дымящийся рассыпчатый плов.

Присутствие Нурджана, конечно, удивило всех. Тамара Даниловна проницательным взглядом сразу определила, что юноша гость Ольги. Это ее порадовало: от Айгюль она знала кое-что о намерениях своей свекрови и Мамыш Атабаевой и не одобряла их. Теперь достаточно ей было взглянуть на молодых людей, усевшихся в дальнем углу стола, чтобы понять, что хитроумные замыслы старух разлетелись в прах. Сулейманов сначала подумал, что Нурджана пригласили, как брата Амана, но, взглянув на девушку, понял, что ошибается. Човдуров уставился на оператора, словно не веря своим глазам. Но и в этом взгляде было только удивление, может быть, усмешка, а не враждебность. Если бы Нурджан решился заглянуть в глаза начальнику конторы, он почувствовал бы даже мужскую поддержку: «Правильно действуешь, дружок!»

Больше других был удивлен Аман. Он знал о стычках между матерью и младшим братишкой, но не подозревал, что мальчик тем временем ходит к Сафроновым. Несколько дней назад, когда Аман был у стариков, мать пожаловалась на Нурджана, и он тогда, приличия ради, побранил брата: «Зачем огорчаешь маму? Кто нам ближе нее?» Нурджан не оправдывался, слушал, опустив голову, и улыбался. Сомневаясь в успехе сватовства матери, Аман прежде всего был уверен, что Айгюль с ее независимым характером никогда не согласится на этот брак, о причине же упрямства Нурджана, по правде сказать, не задумался. Ему бы и во сне не приснилось, что тут замешана девушка, да еще именно Оля Сафронова, хорошенькая сестренка Андрея Николаевича. Сейчас, незаметно наблюдая за тем, как, выбегая на кухню и возвращаясь в комнату, Оля с нежностью поглядывает на Нурджана, иногда что-то нашептывает ему, Аман был очень доволен. Он давно знал эту хорошую семью, да и девушка нравилась. Уже одно то, что не сидит дома за книжкой, а пошла на производство! Аман поморщился, вспомнив жалобы матери. «Вот что значит рабочая среда, — думал он. — Отец — ровесник матери, даже старше ее; казалось бы, и он мог слепо держаться стародавних обычаев. Но он рабочий, общается всю жизнь с более культурными людьми, научился по-новому смотреть на вещи. А мать встречается только с соседками-старухами, для которых весь мир ограничен домашним очагом. Было бы обидно, если б брат поддался ее влиянию. Нет, за этим надо следить... Теперь я буду верным союзником Нурджана».

Не догадываясь, что все вокруг полны самой искренней благожелательности, Нурджан сидел, прячась за чужие спины, не поднимая глаз. Ему казалось, что все глядят только на него. Геолог, конечно, удивляется его нахальству — пробрался, дескать, в такое общество и сидит как пень. Жена Човдунова убеждена, что он недостойн Ольги и надел хороший костюм, чтоб хоть как-нибудь скрыть свое невежество. Сам начальник конторы, наверно, завтра сделает внушение Андрею Николаевичу за то, что тот сажает за один стол с ним такого ничтожного юнца. Но тяжелее всего выдержать взгляд брата, в нем не укор, а негодование. Кажется, он говорит: «Знал бы, что увижу тебя здесь, не пошел бы даже по этой улице! Сафроновы,

конечно, люди добрые, но не стыдно ли ждать от них подаяния? Тебе ли владеть сердцем Ольги? Оно у нее широко, как река, твое — узко, как отверстие штуцера. Из-за любого пустяка ты кипятишься, грубишь. Она по доброте позвала в дом, а ты и рад! Как говорят: «Собачьи глаза дыма не видят...»

Погруженный в мрачные мысли, Нурджан не заметил, как наполнили бокалы и рюмки, как подали горячие блюда, как завязался оживленный разговор. Почти все за столом были давно знакомы и понимали друг друга с полуслова.

Тамадой выбрали Султана Рустамовича.

Он не отказывался. Он любил этот дом, хозяина считал лучшим своим другом и уважал хозяйку. Он встал, поднял рюмку и, отведя маленькую руку в сторону, поглядел на коньяк, любуясь его коричневато-золотистым цветом.

— Друзья! — сказал он, и Нурджан, очнувшись, стал слушать, переходя попеременно от мрачного уныния к безудержному ликованию.

— Не удивляйтесь моему вступлению, — продолжал Султан Рустамович. — Хочется напомнить о том, что мы живем в счастливое время... В стране, где уничтожена национальная рознь. Поглядели бы вы на национальный состав сессии Академии наук. Конечно, большинство, как и полагается в нашей республике, туркмены. Но были там и русские, и азербайджанцы, и армяне, и казахи, и эстонцы, были болгары, китайцы. Что поделаешь — я стараюсь быть молодым, но, увы, скрыть этого нельзя: я человек двух эпох. Помню, как в царской России государственная политика заключалась в том, чтобы разжигать отвратительную слепую национальную и религиозную ненависть. Маленьким я видел в Баку ночную резню в кривых переулках, лужи крови, слышал выстрелы, вглядывался в изуродованные тела женщин, детей — армянских и азербайджанских... К черту, не надо вспоминать! Теперь в нашей стране все народы собрались, как за этим дружным столом. А молодежь даже и не подозревает, что нечто такое может препятствовать их дружбе, любви... Там, на краю стола, я вижу, сидят два таких счастливца. Давайте же, вопреки обычаю, на этот раз выпьем первый бокал за самых молодых, за самых счастливых.

Когда Нурджан понял наконец, что речь идет о нем с Ольгой, и поднялся на ноги, он так смутился, что даже пролил вино на скатерть. Не зная, как себя следует вести в подобных случаях — благодарить или молчать, в каком порядке чокаться бокалами, — он только смешно моргал черными невинными глазами. Но со всех сторон стола к нему протягивали полные рюмки, все смеялись, говорили разом, нисколько не озабоченные церемониалом. Как музыку слушая звон рюмок и бокалов, Нурджан подумал, что наша страна действительно прекрасна, уж коли такие почтенные люди пьют, как за равного, за юнца, еще не доказавшего своего права на уважение. Но приятнее всего, что и Аман так ласково сказал: «За ваше здоровье, братишка!» — и развеял все подозрения Нурджана.

Тост Сулейманова и всеобщее внимание, конечно, взволновали Ольгу. Только она не растерялась, как Нурджан, а принимала все как должное. Немножко досадуя, что Султан Рустамович бесцеремонно соединил их с Нурджаном, как молодых на свадебном пиру, она сияла от тщеславного счастья, что на минутку оказалась в центре внимания всех этих милых, совсем старых, по ее мнению, и очень серьезных людей. Ее забавляло и смущение Нурджана. Такой наивный и добродушный, что с ним всегда легко и просто.

Наконец Ольгу и Нурджана оставили в покое. Разговоры возникали и обрывались, как незакрученные нити. Султан Рустамович насмешил всех, мастерски изобразив, как на обратном пути из Ашхабада в вагоне-ресторане Евгений Евсеевич Тихомиров тщетно искал очки, уже давно сидевшие у него на носу. Тамара Даниловна не постеснялась показать в лицах, как Эшебиби пришла сватать Айгюль и заглянула во все шкафы в квартире старых



Човдуровых. Нурджану тоже захотелось рассказать про Дурдыева, но он не решился подать голос. Щадя его, Ольга тоже промолчала, а было что рассказать о том, как он, рассматривая деревья в саду, поглядывал на калитку, вроде Подколесина в гоголевской «Женитьбе».

Только Аннатувак глядел насупленно, пил коньяк и мрачнел. Раздражение, накопившееся еще в Ашхабаде, искало выхода. Там, на сессии, все-таки явно возобладала сумасбродная позиция Сулейманова. Аман, ничего не понимающий в делах разведки, поверил ораторам-горлопанам. Красивые слова говорить теперь всякий умеет. У каждого своя теория, свой взгляд на будущее, только слушай. Неприятен был и короткий разговор с управляющим по поводу перехода конторы на разведку. Хорошо, что пока все осталось без последствий. Даже больше того, Аннатувак успел побывать в Ашхабаде у членов комиссии, и у него сложилось впечатление, что они — каждый порознь — прислушались к доводам и склоняются в пользу его мнения, будут стоять за временную консервацию разведки в Сазаклы.

Раздумывая обо всем этом, Аннатувак то и дело тянулся к бутылке и старался не глядеть в сторону тамады, чтобы не дожидаться тостов. А Сулейманов его не останавливал.

— ...А ну, отодвиньте стулья! Шире, шире, больше места!

Только сейчас Аннатувак услышал звуки лезгинки — по-любительски храбро играла на пианино Ольга. Кум-дагский торговый работник уже шел по кругу, пошевеливая плечами, помахивая руками. Был он лыс, как булыжник, и очень молчалив за столом, до сих пор никто не слышал от него ни слова. Но вот настала его минута. Сатанинские, высоко вскинутые брови, скульптурно подпухшие веки, сверкающий ряд золотых зубов... Он лихо прошелся, выбирая партнершу и прищелкивая пальцами. Танец его с Тамарой Даниловной произвел впечатление поразительное. Все глядели на дядю как замороженные: так неподвижно было его лицо со вскинутыми бровями и золотым оскалом, и так легки и быстры движения, казалось, будто завели механическую игрушку.

После ужина приезжие гости заторопились домой — им предстояло на рассвете лететь в Красноводск. Пока хозяева провожали их до калитки, женщины убрали посуду, принесли чайники и пиалы, и все-таки разговор свернули на дела конторы, как всегда бывает, когда собираются люди, работающие в одном коллективе.

Аннатувак сидел за столом, но мысли его унеслись далеко. На лбу собирались складки, губы недовольно кривились, будто он обдумывал трудную задачу и сердился на себя, что не может решить. Временами лицо светлело, хмурые складки расходились — он, видно, побеждал какое-то препятствие. И руки, лежавшие на столе, говорили не меньше, чем лицо. Пальцы то собирались в горсть, упирались в одну точку, то приходили в движение, начинали рисовать какие-то восьмерки.

Он все-таки выпил лишнее.

Это особенно бросилось всем в глаза, когда Ольга стала собирать со стола бутылки с ижевской водой. Човдуров вдруг вскочил и торопливо сгреб пять-шесть бутылок, поставил их в круг на столе перед собой и только тогда сел и рассмеялся:

— Вот сколько воды у нас для разведки в Черных песках! — сказал он, глядя на бутылки.

Все поглядели с удивлением. Пожалуй, только Аман понял, что означает загадочная фраза. Это было продолжение спора с той русской женщиной-гидрогеологом. Он быстро подошел к другу и склонился, положив руку на его плечо. Что он шепнул, никто не расслышал, но все слышали, как залихватски громко крикнул Аннатувак:

— А эта бабенка из Ясхана, видно, вскружила тебе голову! Будто она там не воду качает, а коньяк!

При этих словах Аман, не говоря ни слова, вышел на веранду. Ему не хотелось сегодня ни ссориться с этим неистовым человеком, ни усовещивать его. Он невольно слышал, что делалось в комнате, дверь осталась полуоткрытой.

— Вы хотите скомпрометировать политику партии!.. — доносился отрывистый голос Човдунова. Было ясно, что он задирает геолога, а тот молчит, избегает скандала. — Легко приспособили большие тезисы к маленькому делу! Да, к очень маленькому... Сами вы, Султан Рустамович, человек очень маленький... хоть и Султан...

— Эк вас развезло, молодой человек, — слышался ленивый голос Сулейманова.

Аман понимал, что умный человек хочет обратить в шутку неприличный разговор. Но Човдунова, видимо, раздражала невозмутимость противника. Теперь он кому-то, может быть жене, объяснил всю глупость врагов:

— Им сказали: удой молока увеличьте! А они рады стараться: быков начали доить!

Ольга заглянула на веранду. Аман не дал ей убежать, задержал.

— Оля, вызовите сюда Човдунова. Очень прошу...

— Я постараюсь.

— Буду ждать!

Выходка Аннатувака произвела на всех удручающее впечатление. Тамара Даниловна рванулась было к мужу, но тотчас остановилась, поняв, что, если вмешается, будет еще хуже. Никто, кроме Сафронова и Сулейманова, и не понимал, из-за чего, собственно, поднялся весь этот шум. Не знали, что уже после сессии Академии наук управляющий Объединением ездил в Ашхабад и докладывал в совнархозе среди прочих дел и о конфликте в конторе бурения. Но комиссия еще не кончила работу, вопрос оставался нерешенным, попросили прислать все материалы, чтобы изучить подробнее. Аннатувак Човдунов, как всякий одержимый упрямец, считал уже и это промедление своей победой.

Валентина Сергеевна умоляюще поглядела на мужа. Тот нехотя, с кислой улыбкой, вмешался в разговор.

— Аннатувак Таганович, может, вам кажется, что вы говорили недостаточно громко? — Ему, хозяину дома, было неловко, но он продолжал: — Тогда говорите еще громче, мы народ закаленный, выдержим. Скажите, неужели вы считаете, что резкость и, простите, порой бестактность — на пользу народу?

— Вы считаете меня врагом народа?

— Вот уж никогда не сомневался в чистоте вашего сердца.

— Как же прикажете понимать?

Теперь Валентина Сергеевна уже не рада была вмешательству мужа.

— Андрюша, — шептала она, — ну можно ли гостю говорить такие горькие слова?

Но Андрей Николаевич богатырской рукой мягко отстранил жену. Его, видимо, задела сама подозрительность Аннатувака.

— Постой, ты не понимаешь, Валя, — пробасил Сафронов. — Я не вижу разницы между своим домом и домом Човдунова. Мы давно не гости друг для друга. Мы — одна семья. Дело

вовсе не в этом. Я в любом доме скажу, что Аннатувак Таганович, которого мы все любим и уважаем, не только не отдает себе отчета в своей грубости, но и не понимает, что вредит хорошо налаженному делу.

Човдуров вскочил с места и широкими шагами заходил по комнате. Тщетно пыталась Ольга выполнить поручение парторга — Аннатувак был для нее просто неуловим. Глядя на сдвинутые брови, покрасневшую шею, те, кто сто знал, ожидали, что он сейчас буркнет: «Пошли, Тамара!» — и удалится. Но неожиданно он остановился, взмахнул руками и, почти задыхаясь, заговорил:

— Хочется, чтобы раз в жизни меня поняли... Я никогда не шепчусь за спиной людей, говорю в лицо все, что думаю. Никогда не топчусь на месте, за всякое дело берусь решительно. Может быть, я и могу ошибаться, но только не в этом! Напрасно Андрей Николаевич беспокоится: если мы потеряем год и миллионы рублей, то вовсе не из-за меня!

Поведение Човдунова, его крик и грубые шутки казались Нурджану чудовищно бестактными, но сейчас начальник конторы говорил так страстно и убежденно и так, очевидно, страдал при этом, что юноша проникся сочувствием. Валентина Сергеевна, хорошо знавшая характер Аннатувака, очень опасалась, что он снова расшумится.

— Надо переменить тему разговора, Андрюша, — снова шептала она мужу. — Может, радиолу включим?

— Не торопись, — спокойно ответил Сафронов, прихлебывая чай из стакана.

Заметив, что неловкое молчание продолжается, Аннатувак вдруг рассердился и сказал жене:

— Пора домой!

— Куда торопиться! — улыбнулась Тамара Даниловна. — Байрам-джан уже спит, как говорится, дети дома не плачут...

— Оставайся, если хочешь, я и один дорогу найду.

Валентина Сергеевна подошла к Аннатуваку, ласково коснулась его руки.

— Еще совсем рано, завтра выходной день... Садитесь-ка лучше в шахматы играть!

Желая сгладить общую неловкость, Султан Рустамович миролюбиво сказал:

— Может, в самом деле сразимся?

— С вами — хоть через Балхан прыгать! — тотчас ответил Аннатувак.

— А не высоко ли взял?

Это сказал, стоя в дверях, Аман Атабаев. Ему надоело ждать, он не выдержал и вернулся в комнату. Так с этим человеком не поладишь.

— Говорят, если прыгать, так прыгать с высоты... — неуверенно пошутил Аннатувак. Все поняли, что он, взглянув на Амана, почувствовал себя виноватым.

— А ноги удержат?

— Вероятно, они не слабее, чем у любого из вас.

— Я думал, что привык к тебе, Аннатувак. Но ты не перестаешь меня удивлять! То затеял язвительный разговор, неуместный, когда люди собрались повеселиться, то эти колкие

сравнения с Султаном Рустамовичем, человеком постарше тебя, и...

— Да это я просто так сказал, — устыдившись, быстро перебил Аннатувак. — К слову пришлось...

— К слову? Слово — не звук пустой. Верно говорят в народе: «Рана от сабли заживает, рана от слова — никогда». Ты можешь думать все, что хочешь, можешь стоять на своем, словно гвоздями приколотенный, но не давай воли языку, когда говоришь о человеке, которого мы все уважаем.

Как ни удивительно, Аннатувак молча выслушал назидание, только поднял пиалу со стола, потом поставил обратно и попытался ногтем соскоблить нарисованный на ней цветок.

Со стола убрали чай и посуду, принесли шахматы, домино и карты. Нурджан стал играть в домино вместе с женщинами. Сулейманов и Човдуров на другом конце стола уселись за шахматы. Аман и Сафронов наблюдали за их игрой.

Среди наступившей тишины и согласия особенно неловко чувствовала себя Тамара Даниловна. Ей было стыдно и за мужа, и за себя. Как объяснить людям, что, если бы она вмешалась, получилось бы еще хуже. Единственный способ успокоить Аннатувака — приласкаться. Но не разыгрывать же нежные сцены на людях! Нет, с этим человеком никогда не знаешь, чего ждать! Переменчив, как весенняя погода. Дураком не назовешь, а ведет себя хуже глупого. Если равняться на него, тоже ничего ему не спускать — семья, пожалуй, разлетится вдребезги. Можно пожертвовать всем, даже своим чувством, но какое право имеет она жертвовать отцом своего ребенка?.. Мысли были сбивчивые, противоречивые, Тамара Даниловна играла неуверенно, путала и ошибалась, и ее партнер Нурджан, забыв свою стеснительность, уныло повторял:

— Ну так, конечно, нам сделают сухую.

Аннатувак, который с равным азартом вкладывал всю душу и в работу и в игру, бурно атаковал Сулейманова на шахматной доске. Думая, что, если только рассердить Човдурова, обыграть его не труднее, чем снять седло с ишака, Сулейманов играл очень беспечно. Аннатувак, обрадованный, что партия сложилась удачно, извергал потоки шахматного красноречия:

— Султан Рустамович, ходи! Ай-ай-ай, и с конем придется проститься! Не зевайте — теряете вторую фигуру!

И действительно, Сулейманов потерял фигуру, у него не хватало двух пешек, ферзь был зажат.

— Шах! — весело куражился Аннатувак, заглушая стук костяшек домино. — Сейчас ставлю второго ферзя!

И тут же осекся: заболтавшись, он прозевал ферзя, а через ход Сулейманов отобрал и пешку, стоявшую на предпоследнем поле. Теперь инициатива перешла к Сулейманову, игравшие в домино слышали, как он негромко объявил:

— Шах... Еще один шах...

Однако позиция у Аннатувака была все-таки лучше. Он отдал своего ферзя за две ладьи и теперь снова угрожал ферзю Сулейманова.

— Посмотрим, что вы скажете на это? — снова разглагольствовал он. — Посмотрим и поглядим...

Следуя поговорке «хорош тот игрок, который понимает свой проигрыш», геолог снял своего короля и развел руками.

— Сдаюсь!

Аннатувак крепко пожал ему руку и не удержался от шутливой похвальбы:

— Помните мои слова — побеждаю не только в игре...

На круглом столике в углу зазвонил телефон непрерывным продолжительным звонком.

— Междугородный? — прислушалась Валентина Сергеевна.

Лицо Сафронова, взявшего трубку, внимательное и серьезное, вдруг словно осветилось. Улыбка плыла от тонких морщинок у глаз к губам, расплывалась все шире и шире...

— Обязательно поздравлю... — говорил он. — Оба у меня. Сейчас расскажу.

Женщины и Нурджан прервали игру. Все безмолвно смотрели на Сафронова, стараясь угадать, что случилось.

Но Андрей Николаевич не торопился успокоить любопытных. Положив трубку, он сказал жене:

— Валя, повторим наш той? Из Ашхабада сообщили такую новость, что обязательно надо повторить. Просто необходимо!

Теперь, по-видимому, почти все догадались, какую новость сообщили Сафронову. У Сулейманова и Амана радостно заблестели глаза, Тамара Даниловна улыбалась. Аннатувак, отодвинувшись вместе со стулом, смотрел под ноги, будто старался запомнить узор на ковре. И только Ольга кокетливо переглядывалась с Нурджаном, не очень задумываясь над тем, что могло произойти в Ашхабаде.

Наполнили рюмки, Андрей Николаевич оглядел всех, но обратился к одному Човдурову. В душе старого инженера боролись сейчас два чувства: он торжествовал и радовался, но и захмелевшего товарища было жалко. Он знал, что тому предстоит пережить неприятную минуту, и много дал бы за то, чтобы сейчас находиться с ним вдвоем в служебном кабинете.

— Аннатувак Таганович, так бывает в жизни, — с деликатностью хозяина и старшего друга начал он тост, — в шахматы выиграли вы, а в вопросе о дальней разведке — ваш партнер и товарищ, милейший Султан Рустамович... Звонили из совнархоза. Решение, впрочем, касается не только нашей конторы. Правительство предлагает широкую программу выхода отрядов и бригад буровой разведки в пустыню. Там записано: «Развернуть глубокую разведку, обеспечить источники водоснабжения, дать промышленную оценку...» — и названо много площадей: Сазаклы, Аджияб, Чикишляр, Карадашлы... Давайте выпьем за большую программу!

Пили в молчании. Не думал Нурджан, что придется так близко видеть больших людей в ту минуту, когда их потрясло и сблизило глубокое волнение. Он сейчас забыл об Ольге, он видел лишь Сафронова, маленького, изысканного даже в минуту ликования геолога, своего умного, хорошего брата — все трое протянули друг другу руки с бокалами и чокнулись. Легкий звон прозвучал в комнате и смолк.

Теперь внимание Нурджана сосредоточилось на Аннатуваке Човдурове. Ни с кем не чокаясь, тот осушил рюмку и тотчас налил снова. Видимо, был ошеломлен происшедшим. Он поднял красивую голову. Нурджан хорошо понимал, что происходит у него в душе. Было заметно, что он силится разобраться в случившемся. Никогда еще в жизни Нурджан не видел, как

мгновенно трезвеют люди, а это сейчас происходило с начальником конторы: он просто преобразился, куда девалась пьяная развязность, стоял строго навтыжку, как солдат.

— Дайте слово Аннатуваку, — тихо сказал Аман.

— Аннатувак Таганович, говорите, мы слушаем, — тотчас предложил тамада Сулейманов.

Човдуров недоуменно посмотрел на него. Не сразу понял, что говорят ему. А поняв, поднял рюмку.

— Хочу предложить тост... за дисциплину, — медленно произнес он. — Я был четыре года фронтовиком, а это остается в нас на всю жизнь. И я — сын партии. Знаю, что такое приказ. Отступать труднее, наступать легко. Пью за ту нефть, которая лежит на глубине четырех тысяч метров в Черных песках, пусть она будет наша...

— Но ты и сейчас не веришь, милый... — мягко заметила жена.

— Не надо об этом! — вспыхнул и как бы сорвался со взятого тона Аннатувак. — Мы поведем работы в хорошем темпе. Ни минуты задержки! Никто не посмеет сказать, что Човдуров сопротивляется принятым решениям... И там увидим.

Поставив невыпитую рюмку на стол, начальник конторы твердым шагом, как будто вообще не пил в этот вечер ни капли, пошел к двери, на пороге опомнился, повернулся и сказал жене:

— Пойдем, Тумар-ханум. Поздно. Завтра рабочий день.

### Часть 3

#### Конец южной зимы

#### Глава тридцать четвертая

##### Глубокая колея

От повторений далекий путь как будто сократился... Раза два в неделю Аннатувак Човдуров выезжал на своем всемогущем «газике» в Сазаклы и возвращался домой поздно ночью. Так прошел весь январь, в сновании по пескам, в неутомимой работе на Вышке, в случайных встречах на дороге то с главным инженером, то с главным геологом, то с парторгом. Аннатувак взялся за дело, и теперь никто не мог угнаться за ним. Он всех подгонял и подбадривал...

В саксауловой рощице где-то на подходах к Джебелу, когда меняли баллон, подошел водитель тягача — веснушчатый курносый паренек родом из Астрахани, известный в небит-дагских гаражах балагур и балаболка. Подтянул сапоги и так, чтобы все слышали в автоколонне, спросил, дерзко прищурясь:

— Товарищ начальник, а ведь вы, сказывают, не верили, супротив, значит, были... Даже отца родного прогнали, сказывают, не желали, чтоб он тут пропадал... А теперь как же? Или передумали?..

Аннатувак Човдуров знал, что каверзный вопрос задал устами астраханского паренька весь шоферский народ. Он помедлил с ответом. Тоже подтянул сапоги. А когда выпрямился, ответ был готов. Все шоферы слышали, как сказал Човдуров весело и жестко:

— У нас, туркмен, говорят: «Если народ найдет нужным — режь и коня своего». А у вас, астраханских, как на этот счет?

Ответ шоферам понравился.

Теперь Човдуров редко вылетал в Сазаклы на самолете. Как на фронте в дни наступления, успех готовился на дорогах. Весь январь трактористы везли в Сазаклы барит и уголь, солянку и кирпич. Човдуров иногда целый день сидел на полпути — у насосной станции джебелского водопровода и лично контролировал и направлял работу шоферов и трактористов. Он не жалел себя, и за это его любили рабочие.

Иногда он приказывал своему бедовому Махтуму свернуть в сторону с тропы, за бархан, там, у водопроводного крана, у каменной колоды с водой, всегда можно было встретить кочевников иомудов с их верблюдами. Начальник конторы выходил из машины, пил чай, беседовал с бородачами, уговаривал их отправить молодежь на заработки в нефтяной городок Сазаклы. Там нужны рабочие, а через месяц и женщины понадобятся — строят столовую, школу, ясли, клуб и сельмаг.

При виде начальника аксакалы из уважения натягивали поверх тюбетеек бараньи папахи и неопределенно кивали головами.

А в Сазаклы и впрямь строилась столовая. Доставили кухонные котлы, большие термосы, баки для пива и даже хитроумные электроподогреватели, чтобы не стыли на выходном железном прилавке борщи и баранье рагу в тарелках, пока их возьмут на подносы официантки.

На грузовиках привезли четырех дойных коров. Они бродили целый день по сыпучим пескам поселка, не удаляясь от завезенного вместе с ними стога сена и от колодца на главной площади.

Уже второй раз приезжала к бурильщикам кинопередвижка. Под жгучим звездным небом Туркмении на белом полотне шоферы неведомой страны везли на чужие неведомые промыслы, на нефтяной пожар тонны взрывчатки, рискуя жизнью, чтобы спасти от огня чужие богатства.

В первые дни января управляющий Объединением чуть ли не каждый день под разными предложениями вызывал к себе начальника конторы бурения. Ему было известно упрямство Човдунова, и он знал, какое сопротивление оказал молодой администратор всем предыдущим попыткам добраться до нефти в дальнем районе пустыни. Об этих вызовах Човдуров рассказывал товарищам с недоброй усмешкой. Однажды Сафронов позвонил управляющему и сказал:

— Нам кажется излишним ваше беспокойство о настроении Човдунова. Он работает за десятерых. Было бы хорошо, если бы вы посоветовали и другим меньше его контролировать.

— Значит, можно быть спокойным за сроки? Узнаю его, это такой человек!

Когда управляющий прослышал, что повезли строительный материал для школы, он снова вызвал Човдунова, но теперь уже они ролями поменялись: начальник конторы защищал интересы Сазаклы, а управляющий, несколько озадаченный размахом работ, склонив голову набок, с интересом поглядывал на этого азартного человека.

— Значит, решили школу строить?

— А как же! Поселок-то наш, советский...

— Да наберется ли там детишек, чтобы учиться?

— Семьи будут — будут и детишки.

— Не рано ли?

И тут управляющий увидел, как улыбается Човдуров, как молодо стряхивает со лба черную прядь.

— У нас там уже свои собаки, кошки, голуби, кролики, куры, верблюды! Пора и семьи везти. Жить так жить, тем более в пустыне!

— Но вы туда ковровые обои завозите! Для общежитий, что ли? — взмолился управляющий.

— Мне показывали снабженцы: пятисотсвечовые лампочки, радиоприемники, термосы...

— А как же! Летом бесплатно буду всех поить газированной водой! Никто у меня не убежит из Сазаклы...

Люди отдела технического снабжения стали в этот месяц гвардией наступления. И Аннатувак подружился со снабженцами.

Тракторный поезд выезжал ночью. Пять-шесть километров в час по пескам без дороги — это еще хорошо... Двадцать часов в пути. Люди, сопровождавшие грузы, спали в дороге, а проснутся — все то же: небо да барханы. Точно слепой за веревку, тракторная тропа держалась за трубопровод. Вот они, утепленные трубы, обмотанные паклей, точно в лохмотьях, то выползут из песчаного бугра, то вновь зароятся в песок. В полдень блеснет на солнце далеко видный с вершины бархана алюминиевый бак насосной станции — и два часа потом ползут до него тракторы и тягачи... Четырнадцать тракторов и восемьдесят пять автомашин барахтались в песках день и ночь. Ночная езда особенно выматывала людей. Усталый водитель тягача Еремкин ночью спросонок врезался в стену жилого дома насосной станции и отхватил угол, потащил под звезды чью-то кровать и ведра. Товарищеским судом судили Еремкина прямо у колодца в поселке и оправдали. Есть же предел человеческим силам...

Човдуров больше времени проводил на дорогах, Сафронов — у самых вышек. Он понимал стратегию начальника конторы: в январе все решат подвоз и снабжение. Догадывался он и о том, что Аннатуваку не по душе встречаться с отцом. А между тем в бригадах у вышкомонтажников и бурильщиков люди потеряли счет дням — не было выходных. «Потом отгуляем в Небит-Даге». Уже заложили фундаменты трех вышек, подвезли и монтировали блок-насосы. Сафронов подобрал трех мастеров, десять бурильщиков, теперь среди местных кочевников искали рабочих — надо же готовить молодые кадры нефтяников.

Андрей Николаевич полюбил дорогу в Сазаклы. Туда едешь — утро, впереди в песках ощущается море, как будто голубой отсвет Каспия роится в небе, и свежесть воздуха на заре приморская. Едешь обратно — глубокое небо пустыни и обрывистая, серая, освещенная закатным солнцем скала Джебел. В ее глубоких пещерах и впадинах до черноты налита тень. На лысых обрывах лепятся ветвистые арчи... Можно подумать о вечности, о бессмертии,



пока не потряхнет на корнях саксаула.

На полпути между сазаклыньскими вышками и алюминиевым баком насосной станции тропа проходила в глубокой песчаной котловине, по краю которой, в полукилометре, не далее, Андрей Николаевич каждый раз провожал взглядом историческое чудо — морской порт в пустыне. Да, там белели тысячи свай, на которых некогда стоял мол, виднелись развалины глинобитных магазинов, глазом ощупывалась линия берега, вся усыпанная черепками разбитых кувшинов. Здесь когда-то, восемьдесят лет назад, был в самом деле морской порт Михайловский, и от него тянулась железнодорожная линия в глубь Средней Азии. А потом Каспийское море ушло за тридцать километров к западу. Пески пожрали и железнодорожное полотно и пристанские склады. Барханы ворвались в таможни и караван-сарай, а люди ушли. И ничего не осталось, только дождевая вода узкой полоской отделяет автомобильную тропу от старых развалин и означает собой остатки фарватера. Подойдешь — даже не лужа, а все-таки и в этом зеркальце отражается небо... Зрелище смерти всегда волновало Сафронова. Отъехав подальше, он засовывал руки глубоко в карманы кожанки и закрывал глаза.

В эти дни Човдуров оценил способности и опыт старого инженера. Оказалось, что Андрей Николаевич многое успел обдумать заранее. Он и к авралу подошел не спеша, и его деловая хватка была под стать бешеному темпераменту начальника конторы. Они как будто наперегонки состязались. А все-таки верх взял Човдуров. Всем это было ясно, когда в середине месяца после трех недель безоблачной погоды прошли хорошие дожди. Пески слежались, машинам стало легче, шоферы приободрились. И тут Аннатувак придумал смелый командирский маневр — бросил в пустыню весь автопарк конторы. Сто сорок автомашин так накатали за двое суток влажную трассу, что с этого дня бурильщики в Сазаклы стали считать, что дорога из Небит-Дага уже проложена. Теперь трактор успевал от зари до зари и отвезти груз и вернуться обратно.

А Сулейманов? Как жил в январе Султан Рустамович — «первооткрыватель», как теперь его полусхотят, но вполне уважительно называли в конторе?

Говорили, что он просто поселился в Сазаклы. Туда ему привозили с квартиры и чистое белье и бакинскую почту. По несколько дней он жил в комнатухе начальника участка Очеретько, спал голова к голове с молодым участковым геологом Зоряном. Буровые бригады стремились ускорить проходку скважин, но чем дальше углублялись в недра их трубы, тем больше времени уходило на взятие проб. Чтобы поднять на поверхность маленький цилиндр — керн — с глубины двух тысяч метров, нужно много часов вынимать свечу. И тут Сулейманов не давал пощады бурильщикам, никакого послабления, с каждых двухсот метров проходки требовал керн. Он был неумолим, и мастер Атабай напрасно пытался веселыми шутками и мудрыми поговорками влезть в душу этого маленького геолога: он и смеялся шутке, и в то же время пальцем показывал вверх, что означало — пора выдавать пробу.

Однажды Сулейманов и Човдуров встретились под вечер на дороге. Геолог подъехал к насосной станции и увидел сидящего у стены Аннатувака. Там, у стены насосной станции, торчал из песка единственный, людьми посаженный, кустик саксаула — все, кто тут ездил, его знали. Вот у этого куста и сидел Човдуров, очень одиноко и грустно. Султан Рустамович вылез из машины и подошел, удивляясь, что тот не слышит.

— Здравствуйте, Аннатувак Таганович!

— А?... Что сказал? — спохватился Човдуров, даже не поняв, кто заговорил.

Впрочем, всю дорогу, до самого Небит-Дага, они ехали потом в одной машине, Човдуров интересовался результатами проб, и неприятное впечатление у Сулейманова исчезло. Что ж, просто устал человек, вот и задумался.

Как ни удивительно, но тоньше всех ощущал этого другого, — задумчивого и грустного — Аннатувака его сын, ребенок, Байрам-джан.

Возвратившись в дом, еще пыльный с дороги, Човдуров обнимал, прижимал к груди, целовал, радовался, смеялся с ним вместе. Но вдруг словно переставал его видеть, останавливался среди комнаты, не понимая, что мальчик только разыгрался. Он не отталкивал его, а лишь ложился на диван и задумывался на минуту. И мальчик надувал губки — «Разве папа меня не любит?..» — и шел на руки к матери, плачущим голосом шептал:

— Мама, мама, что с папой?

— Ничего, сынок...

— А почему он оттолкнул меня? Или спать хочет?

— Тебе показалось. Папа, наверно, устал, Байрам-джан.

Тамаре Даниловне тяжело было видеть, как страдает Аннатувак. Она старалась поддержать и ободрить, быть ласковой и нежной.

Однажды, уложив сына, она под села на диван к Аннатуваку и обняла его.

— Тувак-джан, — сказала она, — у нас с тобой работа разная, я на промыслах, ты занят бурением. А теперь мы и совсем редко встречаемся и не знаем, что у кого болит, что кого беспокоит. Скажи, как дела у вас...

— Дела... — Аннатувак опустил глаза, потом медленно произнес: — В общем неплохо. Но ведь ты хорошо знаешь, что я не изменил своего мнения. Я руководитель коллектива, партийный долг заставляет меня действовать наперекор своему взгляду. Можно ли так работать?.. Поверь, я со всей энергией выполняю решение, и мы протолкнули в пустыню целые транспорты оборудования, люди воодушевлены, горы ворочают... И я с ними вместе. Только я работаю слепо, нет ничего хуже раздвоенности действия и мысли. — Он помолчал, погладил ее руку и тихо добавил: — Я теперь словно молот из шерсти: бью и собственных ударов не слышу...

Тамара Даниловна положила голову на плечо мужу и тихо, мягко заговорила. Аннатуваку слова слышались как бы сквозь дрему.

— Ты же не ребенок, Тувак-джан. Была дискуссия, тебе дали высказаться. Потом в Ашхабаде обсуждали... И была комиссия. И все с уважением вникали в твои доводы, ничего не делали наспех. Правда? И дело ведь не в одном Сазаклы — ведь это начало нового этапа для всей республики... Может быть, ты ошибаешься? Не все увидел. Кому-то с горы видней? Ты же не ребенок, Тувак-джан... Должен понимать.

Аннатувак сам не заметил, как высвободил плечо, взглянул в глаза жене, но в этом взгляде был не гнев, а мольба о помощи.

— Ты можешь этого не говорить. Только ты да маленький Байрам знаете меня сейчас, в минуты слабости. Я работаю. И, хотя представляю страшные события, которых нельзя будет избежать, ты не думай, Тумар-джан, я не боюсь. Когда речь идет об интересах родины, страх не останавливает. Но я ненавижу себя: как же я не смог доказать другим свою правоту? Почему беру на себя ответственность за дело, в которое не верю? Почему не откажусь от этой работы? Что тогда скажет мне партия? Стоит мне намекнуть о своем несогласии, Атабаев уже грозит пальцем.

— Ты говорил с Аманом?

— Он болен третий день... Говорят, Аннатувак словно заряженный капкан, готов щелкнуть в любую минуту, но, правду сказать, Тамара, я беспомощный человек...

— Хорошо, не нравится работа, так зачем же зря тратить жизнь? Разве партия выбросит меня, как ненужную тряпку? Самое большое — дадут выговор за то, что ушел в кусты. Но лучше быть с выговором, чем топтать совесть! Или боюсь остаться голодным? Но разве я с портфелем родился? Разве без этой должности меньше буду иметь авторитета, я, инженер, разве меньше принесу пользы родине?..

— Тувак-джан, ну что ты говоришь! Довольно. Нет, Тувак-джан, не так... Нельзя уходить — никто тебе не простит. Сегодня после разнарядки Айгюль спросила: «Тамара, не скрывай, скажи правду, вы не поссорились с ним? Не нравится мне, как в последние дни ведет себя брат, вчера прошел мимо, даже не взглянул, не заметил. Я целый день думала, почему он обижен. Или озабочен чем-нибудь? Тамара, скажи правду, что такое с Аннатуваком?» А я у кого должна спросить?.. У тебя, милый? Но больному нельзя говорить, что он болен, — хуже себя почувствует. Ведь тебе не станет лучше, если я скажу: «Аннатувак, не нравятся мне твои мысли!..» Мне другие твои мысли по душе: «Если народ найдет нужным — режь коня своего!..»

Аннатувак поднял голову, словно донесся до него далекий голос.

— Верно, я сказал так однажды... Откуда ты знаешь?

— Шоферы повторяют... Народ запоминает верные слова, Аннатувак.

## Глава тридцать пятая

### Парторг болен

Аман Атабаев простудился во время поездки с Сафроновым в Сазаклы. Третий день он лежал в постели в своей чистой, светлой, голой, неуютной комнате, окрашенной бирюзовой краской.

По субботам у приходящей домработницы был выходной день. Чтобы не оставлять больного в одиночестве, с Вышки приехала Мамыш. Она немедленно потребовала, чтобы Аман разрешил помассировать голову, сообщила, что врачи ничего не понимают в болезнях, предложила приложить к шее чапади со сливочным маслом. Приготовленная ею лапша с перцем и в самом деле помогла Аману пропотеть, а сейчас Мамыш грохотала на кухне кастрюлями, выражая пренебрежение к порядкам, заведенным домработницей.

Этот шум раздражал Амана. Впрочем, его все сейчас раздражало. Никак не мог привыкнуть к тому, что здоровье пошатнулось, что, выезжая в командировку, надо думать о теплых носках и шапке-ушанке. Казалось диким и обидным, что Сафронов, который старше чуть ли не на двадцать лет, вернувшись из Сазаклы, даже не чихнул, а он, Аман, должен валяться в постели. Вынужденное бездействие было особенно досадным теперь, когда в Сазаклы посылали новые бригады. Конечно, смогут обойтись и без него. Работники в конторе — богатыри как на подбор. Но в эти горячие дни Аннатувак, который сейчас делал такие огромные усилия над собой, бросая людей и средства в ненавистное Сазаклы, может в конце концов взорваться. В начале нового дела надо быть бдительным, как на фронте. Будет плохо, если сразу начнутся недоразумения. Кроме того, через день на новый участок отправляют еще две бригады. В них есть новички — и азербайджанцы, и русские, и лезгины, приехавшие из-за моря. Люди собрались разные, не все такие энтузиасты, как бурильщики в бригадах

Тагана и отца. Многие даже и не представляют себе как следует жизни в туркменской пустыне. Их надо подготовить и подбодрить. Если бы только выйти на работу в понедельник!

Аман взял со стула, стоявшего у изголовья, градусник, сунул под мышку. В комнату вливались серо-розовые сумерки, и в этом полумраке Аман ясно представил лицо Амирова, молодого азербайджанца из бригады Тобольцева. Он застенчив и робок, как девушка. Палатчика Володю Фомина, отчаянного, но прямого и честного парня, который никогда не свалит вину на чужую голову. Золотой человек, а ведь наверняка запыет с тоски в пустыне, если вовремя не поддержать... А сам Тобольцев? Опытный мастер, но быстро зазнается, не умеет ладить с людьми...

Термометр показывал 39 градусов. Ясно, что послезавтра врач ни за что не выпустит на работу. Так он и не поводится с ребятами. Что бы придумать? Позвонить, что ли, Марджане?

На стуле среди пузырьков с лекарствами, книг и газет стоял телефон. Аман набрал номер.

— Марджана Гургеновна? У меня к вам просьба. В понедельник в Сазаклы отправляются бригады. Надо бы поговорить с людьми. Не умеете? Не скромничайте. В самом деле не сумеете? Тогда научу. Лучше бы поговорить отдельно с каждым. И вам легче и людям приятнее. А с кем именно, тоже скажу. Володе Фомину объясните, что ему в пустыне будет и скучно и трудно. Непременно будет. А когда это случится, пусть вспомнит, зачем приехал в Сазаклы. Скажите ему, чтобы всегда в тяжелые минуты проверял себя. И тогда этот бесшабашный парень поймет, что, если помнить о главной цели, легче держать себя в руках, не распускаться. Он должен понять, что завоевать пустыню, открыть в ней нефть — дело героическое. А раз так... Проще скажете? Ну, тогда я совсем спокоен. А Тобольцеву передайте, что есть такая пословица: «Мелкие реки всегда шумливы». Пусть не петушится. Если хочет сплотить вокруг себя людей, хочет, чтобы подчинялись и уважали, пусть к этим самым людям и прислушивается. Ему надо научиться благодарить своих ребят за хорошую работу. От поклона голова не отвалится. Амирову скажите — смелость города берет!.. Какие еще знаю афоризмы? Ах, Маро, я же старый педагог! Когда учишь, очень полезно находить формулы — лучше запоминают... Вы хотите завтра зайти ко мне? Спасибо, буду рад, если только вам не в тягость сидеть с больным.

Аман положил трубку, натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза, надеясь уснуть. Но из этого ничего не вышло. В комнату тихо проскользнула Мамыш, дожидавшаяся за дверью конца разговора. Она уселась на коврик около кровати и пристально посмотрела на сына.

— Аман-джан, скажи мне, ты только газеты и книги признаешь или у тебя все-таки есть чувства?

Аман сделал вид, что не понял вопроса:

— Раньше говорили: «Много знает не тот, кто много жил, а тот, кто много ходил». А нынче много знает не тот, кто много ходит, а тот, кто много читает. Газета рассказывает обо всем, что произошло за день в мире.

— Нет, Аман, ты не хочешь понять. Я спрашиваю: греет ли тебя газета, когда спишь?

— В комнате тепло. Пощупай-ка, батарея обжигает руки.

Мамыш, упершись обеими руками в пол, подалась вперед, будто хотела разглядеть соринку в его глазу.

— Ведь бывают же такие тугодумы!

— Чего же я не понял?

— Я спрашиваю: ты поклялся быть одиноким?

— Ну так бы и сказала.

— Вот так и говорю. А ты отвечай.

— Ай, мама, ну почему тебя так волнует моя женитьба?

— Почему так волнует? — переспросила Мамыш. — Что же мне делать, если родной сын не понимает, почему я волнуюсь?

Мамыш схватилась за голову и стала раскачиваться из стороны в сторону.

— Зачем я пришла на этот свет? — причитала она. — Лизать хвосты щенкам, которых я породила? Смиренно склонять голову перед ними? «Дети мои, вы зарабатываете пять грошей — я в вашей власти. Дадите — поем, не дадите — помру!» Если не смогу жить, как мне нравится, если не попробую пищу, какая даст силу моему телу, я верну хозяину то, что он дал мне на хранение!

— О чем ты, мама? — недоумевал Аман.

— Если не понимаешь родного языка — могу объяснить: богу душу отдам, вот что говорю! Не я ли вам чистила носы, убирала за вами, поставила вас на ноги? Так слушайте же теперь меня! Смотрите мне в рот! Поступайте, как велю! Я вас сделала людьми, теперь вы успокойте мою старость — женитесь! А потом... можете делать что угодно.

Ослабевший от жара Аман не перебивал мать, и, передохнув, она снова начала причитать:

— Не мне бы говорить это сыну, но во всем виноват твой пустоголовый отец! Раз он рабочий, раз он нефтяник, так уж ему кажется, что все знает, что всю революцию сам устроил. Твой отец — игрушка в руках людей. Над ним смеются, шутят: «Ты сознательный, Атабай, ты передовой рабочий!» А он и уши развесил. Пучит глаза, наступает на меня, пыжится: «Сыновья сами знают, как жить!» Вот как сказал! И я обречена теперь метаться всю жизнь, как газель, у которой отняли детеныша...

Аман и не подозревал, слыша все эти вопли, что у матери появились новые причины для такого разговора. Услужливая кумушка-соседка в точности передала ей, что наговорила Эшебиби в очереди у тандыра: «Аман Атабаев неплохой парень, тихий, скромный, но... родился под несчастной звездой. После землетрясения потерял не только жену и ребенка, но и самое важное для мужчины. Что скажешь, что поделаешь... Врачи говорят, это бывает с горя. И нельзя не верить. Бедняга живет один уже который год и не помышляет о женитьбе. Ходит, опустив голову, как мерин в стаде, и на девушек даже не глядит. Не дай бог никому такого несчастья!»

Когда до Мамыш дошли эти слухи, она даже заплакала от возмущения: «Лучше бы оглохнуть, чем слушать такие пакости!» Но, поразмыслив и вспомнив, что сын действительно ведет себя странно, и, не дай бог, если Эшебиби права, и впрямь забеспокоилась об Амани. Старухе всегда мерещилось, будто от нее что-то скрывают. Сегодняшняя молчаливость Амана еще больше укрепила подозрения.

— Аман, сынок, скажи, я ведь мать, и никто больше не узнает, по совести скажи, может, тебе и нельзя жениться?

— Ай, мама, ну что только тебе лезет в голову! — буркнул Аман и отвернулся к стенке.

Мамыш, конечно, и внимания не обратила на этот робкий намек. Ей и в голову не пришло, что сыну хочется кончить этот разговор. Она погрозила сыну пальцем.

— Не один ты послан мне богом в наказание. Нурджан ничем не лучше. Оба в отца.

— В отца?

— Конечно. Если бы Атабай был путным человеком, разве бы такие сыновья у него выросли? Нурджану говоришь — женись, а он дрожит, будто безоружным выставили против врага. А ты все отмалчиваешься.

Аман почувствовал, что отмолчаться не удастся.

— О чем ты говоришь, мама? Мне не хочется сегодня жениться, завтра разводиться...

— Упаси бог от разводов! Но почему же обязательно завтра разводиться?

— А кому я такой нужен?

— Паршивая не в счет, хромая не в счет, вдову тоже оставим в покое. Я тебе найду не девушку, а загляденье!

— Давай все-таки оставим этот разговор! Жениться — это мое дело.

— Ничего нового не сказал. Все вы, и старые и молодые, только и знаете: «Это мое дело!» Подумать только, какие собрались на мою голову деловитые...

Кроткий Аман вышел наконец из терпения.

— Скажи, пожалуйста, ты ухаживать приехала или хочешь, чтобы я совсем разболелся?

— Ну, если так ценишь материнские заботы, я помолчу.

И Мамыш в самом деле на минуту умолкла. Но, увидев, что Аман закрыл глаза, дернула за кончик одеяло.

— А ты слышал новость?

— Какую еще?

— Говорят, Нурджана встречают на улице с какой-то девушкой.

— Прекрасно! Ты должна радоваться, ты же только об этом и мечтаешь.

— Если бы этот молодой ишак хотел меня порадовать, я бы уж давно нянчила внучонка и не приставала к тебе, как сейчас. Но, говорят, он ходит с русской!

— Какая разница, если он ее любит.

— И это я слыхала. Все заодно — «какая разница!» По-моему никогда не выходит, вот какая разница! Что же мы будем пялить глаза друг на друга, на пальцах объясняться? Атабай тоже этого не понимает, хотя борода его давно побелела. «Какая разница, лишь бы попалась умница!» Ты знаешь мой характер. Я ответила: «Если хорошая девушка — на голову посажу. А если такая, что не захочет знать ни мать, ни отца, ни соседей?» Знаешь, что люди говорят?..

Тут Мамыш будто поперхнулась, прикрыла рот рукой, вспомнив, что Ханык требовал полнейшей тайны. Аман опустил глаза, не проявляя ни малейшего желания продолжать

разговор, и Мамыш тихонько удалилась на кухню.

В комнате наступила долгожданная тишина. Лишь иногда сквозь двойные рамы глухо доносились гудки автомашин. Не зажигая света, с закрытыми глазами Аман погрузился в глубокое раздумье.

Мать, конечно, имела право укорять... Что хорошего в одиночестве? Сколько лет никто не согревает подушку, ни одна рука не поправит одеяла, не погладит волосы. По вечерам в квартире тихо, как на кладбище. Летит время, и жизнь проходит. Права мать. Дом без детей — тело без сердца, пища без соли. Какое счастье, возвращаясь домой, зная, что тебя встретит ласковая улыбка жены, радостный лепет сына! Но имею ли право мечтать об этом? Я — половина человека! Кому нужен однорукий, одноглазый? Этого мать не поймет. Для нее сын, будь он хоть обрубком, все равно лучше всех на свете. На моем пути попадались хорошие девушки, но я не позволял себе ни глядеть, ни думать о них. Каждая девушка живет мечтой о любимом. Но кто мечтает о половине человека? Все бывает. Может быть, и нашлась бы такая, что решилась выйти за меня. Может, до поры до времени и скрывала бы свое равнодушие и тоску. Но однажды я непременно поймал бы угрюмый, полный брезгливости взгляд, говорящий: «Горькая моя судьбина!» Смогу ли я жить на свете, угадав в этом взгляде отвращение? Не лучше ли страдать в одиночестве, чем сломать чью-то жизнь? Нет, не стоит посыпать старую рану перцем.

...Что же остается? Воспоминания о былом счастье? Но они, как миражи, появляются и тут же исчезают. Как короткий весенний дождь, который уходит в песок, не успев освежить жаждущую землю... Тело мое как иссохшее, старое русло Узбоя. Проклятая война! Сколько смертей, сколько одиночества, калек! Когда-то я валил наземь пальванов, а теперь застегнуть пиджак стоит большого труда. Кому понравится нянчиться со мной? Поверить, что девушка захочет пожертвовать собой ради меня, так же трудно, как поверить что она мечтает отдать кому-то свой глаз и руку. Лучше уж остаться одиноким, чем жить бок о бок с человеком, видеть, как он смотрит на юг, когда глядишь на север...

Давно уже мысли о семье не волновали Амана так сильно. Годами гнал их от себя. Но, видно, пришло время навсегда решить свою судьбу. Сам того не замечая, весь вечер Аман плавал в бурном море размышлений. И, как ни торопился к берегу, как ни загребал одной рукой, расхोdivшиеся волны то подбрасывали на гребень, то накрывали с головой. Он терял направление, мысли путались. Тогда Аман приподнимался, глотал воздух воспаленным от жара ртом, озирался по сторонам. Комната тонула во мраке, только угол с книжными полками освещался светом уличного фонаря. Там через спинку стула беспомощно свисал протез.

На улице прекратилось движение, затихла и мать в соседней комнате.

В полной тишине Аман слышал собственное жаркое дыхание... Потихоньку сон смежил его веки, и все время гудели и грохали снаряды, и сквозь вой мин доносилась команда Човдунова: «Вперед!» И сквозь клубы дыма, в зареве пожара плыл по небу протез, сжимая неживые пальцы в кулак.

## Глава тридцать шестая

Волна любви не оставляет и соринки

Когда Аман проснулся, солнце стояло высоко. Лучи ворвались в комнату, косо улеглись на столе, осветили стену веселыми пятнами. Аман быстро поднялся с постели, умылся, побрился. Было весело, оттого что солнечные блики согревали холодные бирюзовые стены,

оттого что в доме тихо и пусто. Сегодня отец должен был приехать из Сазаклы, и Мамыш с первым автобусом отбыла на Вышку. Домработница еще не вернулась, как видно, задержалась у дочери в Кум-Даге. Как ни тяжело одиночество, но еще тягостнее одиночество вдвоем. Мамыш одним словом умела разрушить душевное равновесие, выработанное Аманом с таким трудом.

Войдя в кухню, Аман увидел на плите кастрюлю с едой, приготовленной матерью, на столе хлеб, заботливо обернутый белоснежной салфеткой. Следовало бы вскипятить чай, но не хотелось возиться... «Позавтракать всегда успею, — подумал Аман, — температура спала, можно и позаниматься». Третий год он заочно учился в нефтяном институте, времени для занятий не хватало, приходилось пользоваться каждой свободной минутой, чтобы усестись за учебники.

Послышался легкий стук, Аман открыл дверь — перед ним стояла Марджана.

Всегда уравновешенная, даже бойкая, девушка стала сейчас неловкой от застенчивости. Аман чувствовал это по тому, как она, не глядя, поставила на пол плетеную кошелку, в которой загрохотала кастрюлька, зачем-то старательно сложила пальто, прежде чем повесить.

— Оказывается, вы уже на ногах? — тихо спросила она.

Теперь Аману была понятна причина ее смущения. Девушка пришла навестить товарища по работе, прикованного к постели. Но если он здоров, то, может быть, неуместно и посещение? Чтобы рассеять неловкость, Аман сказал шутливо:

— Знаете, бывают такие изнеженные люди: согреются на солнышке, подумают, что у них жар, и торопятся укрыться под семью одеялами...

Марджана засмеялась.

— Это вы про Тихомирова?

— Много нас таких. Занот зуб — завяжем щеку, оступимся — зовем скорую помощь. Что там Тихомиров, я сам такой же. Не знаю, что у меня болело, а три дня не вставал с постели, учился уму-разуму у подушки.

Марджана недоверчиво улыбнулась. Она знала от врача, что у Амана грипп, на столике заметила температурный лист и перевернула его чистой стороной вверх.

— Не старайтесь казаться хуже, чем вы есть, Аман Атабаевич! У вас температура доходила до тридцати девяти.

— Откуда такие точные сведения? Просто удивительно!

— Ничего удивительного нет.

— Ну, все-таки, откуда вы узнали?

— По вашим глазам.

— По моим... глазам? — запинаясь, переспросил Аман.

Неловкое молчание длилось не больше секунды, но обоим показалось мучительно долгим. Аман понимал, что эти слова вырвались у Марджаны невольно, она их не обдумывала. И все-таки прозвучали насмешкой. Глаза одноглазого. Что в них прочитаешь? Он отвернулся к окну. Марджана, проклиная себя за бестактность, готова была сквозь землю провалиться...



Заскрипел стул, зашелестела бумага. Аман повернулся к Марджане, она протягивала температурный листок.

— Я пошутила, — сказала она. — Вот зеркало, которое показывает вашу температуру.

Устыдившись своей впечатлительности, Аман сразу перешел на шутливый тон.

— Ба! Что это за волшебная бумага, которая выдает секреты хозяина?

— Это же главное свойство бумаги, хранить, а значит, и выдавать секреты...

— Так, стало быть, я не симулировал?

Марджана подошла к письменному столу и, показывая на незаконченный чертеж, сказала:

— А вот и еще бумага, выдающая секреты! Я давно хотела спросить, Аман Атабаевич, зачем вы учитесь?

— Все учатся, — пожал плечами Аман, — когда прихожу сдавать зачеты, рядом со мной сидят рабочие — бурильщики, монтажники, операторы...

— Но ведь у вас есть высшее образование и вы давно на партийной работе. Не собираетесь же вы стать инженером?

— А разве партийный работник не должен знать производства? Пока я могу только верить или не верить тому, что говорят. Выучусь, буду сам знать. Вот, например, в этой сазаклынской истории я все время был на стороне Аннатувака, пока не поехал в Ашхабад на сессию Академии наук и не убедился, что мы на своем пяточке тоже решаем вопрос огромного государственного значения.

— А почему не верили Сулейманову? — живо спросила Марджана, которая недолюбливала Човдурова.

— Потому что аргументы Аннатувака Тагановича казались убедительными. Правда, смущало, что у него такой плохой союзник — Тихомиров... Но ведь все это — вера, симпатия, антипатия, интуиция — плохие помощники в работе. Даже логика, казалось бы, надежная опора, и то должна иногда отходить на второй план.

— Странно! Чему же уступает место логика?

— Необходимости. Один из законов советской жизни.

— Не понимаю.

— А вы постарайтесь понять. «Разбитая тарелка», разорванные пласты, гигантские средства, брошенные впустую, неминуемые аварии, невыполнение плана — все это обдуманые аргументы Тихомирова и Аннатувака Тагановича, очень осмысленные, логичные. Против них только одно — необходимость. Государственная необходимость открыть и освоить как можно скорее новые нефтяные бассейны в пустыне.

— Откуда же вы знаете, что победит необходимость?

— Я был на войне.

Марджана ни о чем больше не спрашивала. Облокотившись на письменный стол, задумчиво смотрела в окно. Каждый раз, встречаясь с Аманом, она поражалась его способности с необычайной легкостью превращать самый пустяковый разговор в серьезный. Парторг все время заставляет думать. Как только сам не устает от этой кипучей работы? Решает все

время отвлеченные проблемы, а о себе небось и не заботится...

— А чай вы сегодня пили? Только отвечайте по совести, — покраснев от собственной смелости, спросила Марджана.

— Неужели есть и такое зеркало, которое сказала, что я голоден?

— Вот видите! Хорошо хоть сознались! А я принесла гостинцы со вчерашнего тоя.

— А по какому случаю был той?

— Ах, Аман Атабаевич, дни бегут незаметно! Вчера мне исполнилось двадцать три года.

— Двадцать три?

— Не верите?

Худощавая хрупкая Марджана, с косами, уложенными на затылке корзиночкой, казалась совсем девочкой. Аман привык думать, что ей лет восемнадцать-девятнадцать.

— Разве не вчера вы бегали с красным галстуком?

— Вчерашнего сегодня не увидишь, — весело подхватила девушка. — Вчера был облачный день, а сегодня снег выпал и солнце засияло — глядите-ка, весь мир будто сделан из серебра!

— Значит, и Маро сегодня серебряная? Да нет, она совсем золотая!

Марджана привыкла к шуткам парторга, но сегодня ее все смущало.

— Аман Атабаевич, не шутите так! Я не люблю золотого цвета.

— Золото, это не цвет, а качество, если о душе...

— Не надо вгонять меня в краску. Давайте-ка я лучше накрою стол и поставлю чайник.

— Откуда пришло ко мне такое счастье?

— Опять смеетесь надо мной?

— Нисколько! Очень серьезно говорю. Анна Ивановна еще не вернулась после выходного, и я все раздумывал, поститься мне или нет? А вы помогли решить этот сложный вопрос.

Не дослушав, Марджана удалилась на кухню. Аман последовал за ней, чтобы помочь, удивился: никелированный чайник уже стоял на плите, под ним дрожало голубое пламя. Марджана с такой легкостью находила все, что было нужно, как будто сама все расставила на кухне. Аман улыбнулся: забавно, что между матерью и Анной Ивановной всегда шли препирательства, кто лучше хозяйничает, обе были недовольны друг другом. А вот Марджана ни на кого не жалуется, и все спорится у нее под руками. Видно, только сегодня и пришла в дом настоящая хозяйка.

Не отвечая на шутки Амана, девушка быстро сновала из кухни в комнату и обратно, а он не переставал удивляться. Как удастся беззвучно двигаться в туфлях на высоких каблуках? Как догадалась, где лежат ножи и вилки? Стол был накрыт в одну минуту, а из сетки Марджаны, как из атласного цилиндра циркового фокусника, появлялись все новые и новые предметы: большая кастрюля с чебуреками, курица на зеленой тарелке, сметана в глиняном горшочке, поджаристый домашний чурек, два пучка зеленого лука и, наконец, самое неожиданное, бутылочка армянского коньяка.

Марджана сказала:

— Это мой брат Ашот подсунул потихоньку в сетку. Он считает, что обед без выпивки — пища без соли.

— Конечно, особенно когда есть повод выпить!

Аман открыл четвертинку, поставил на стол рюмки, но Марджана убрала одну.

— Не сердитесь, Аман Атабаевич, я не пью.

— Да ведь и я не пью!

— Знаю, но после болезни полезно. Лучше есть будете.

Аман чокнулся с бутылкой.

— За то, чтобы Маро прожила еще три раза по двадцать три, и за здоровье Ашота Гургеновича!

Аман опрокинул рюмку, закусил чебуреком. Его тронуло, что Марджана так заботливо обдумала свое угощение. И чебуреки, и куриную ногу, и зелень можно было есть без помощи ножа и вилки, обходясь одной рукой. И все так вкусно приготовлено! Аман выздоравливал, у него появлялся аппетит, и Марджана с удовольствием смотрела, как он ел.

— О чем задумалась, Маро? — спросил он притихшую девушку.

— О вас, — смело ответила она.

— О том, что похож на голодного зверя?

— Ой, нет! Совсем не об этом. Вы вчера сказали по телефону, что формулы помогают лучше усваивать. Мне кажется, что вы и работаете по собственным формулам.

— Как интересно! По каким же?

— Ну, например, ваша первая заповедь — имей бесконечное терпение.

— Правильно! Только это не первая.

— Тогда — будь справедлив!

— Тоже верно, но опять не первая!

— Есть еще одна: если твое распоряжение неправильно — признай свою ошибку.

— Очень хорошо формулируете, только это тоже не главное.

Марджане нравилась эта игра, она покраснелась, глаза блеснули. На работе редко удавалось подолгу говорить с Аманом, временами казалось, что он все еще считает ее за девчонку. Она была честолюбива и очень хотела, чтобы парторг наконец понял, чего она стоит.

— Ох, какой придирчивый учитель! Ну, еще могу сказать, что, глядя на вас, усвоила, что надо быть всегда внимательной к чужому мнению и критике, даже если она и неправильная.

— И все-таки не с этого надо начинать.

Марджана недовольно выпятила губы.

— Тогда больше ничего не знаю.

— Я тоже не знаю, как лучше выразиться, чтобы вам понравилось. Вы вчера упрекнули меня за выпренность и, наверно, были правы, но эти слова не сумею сказать иначе. Раньше всего и прежде всего надо проникнуться бесконечной преданностью идее коммунизма и сплачивать людей вокруг этой идеи. Вот самое главное. И еще: все почему-то считают, что я добряк, как говорится, мягкий человек. Знают, что люблю нянчиться с людьми, не жалея времени. Но ведь до поры до времени. Если вижу, что человек сознательно пошел на дурной поступок, если им руководит корысть, я беспощаден.

— Вот чего не замечала!

— Придет время, заметите. Тогда, смотрите, не испугайтесь.

Испугаться Амана! Вот чего Марджана не могла вообразить. Широко улыбаясь, она смотрела на него. Нет на свете другого человека, с которым ей было бы так интересно и приятно! Неужели он не чувствует? Или только делает вид, что не чувствует? Как сковывает человека болезнь! Как ошибается он, если думает, что ее пугает его увечье. Если бы знал, с какой радостью она отдала бы ему свою руку, свой глаз! Но нельзя же в этом признаться ни с того ни с сего! Хоть бы повод какой-нибудь придумать...

И все-таки Марджана решилась. Уходя, держась за ручку двери в полутемной передней, она сказала:

— Зря на себя наговариваете. Вы не беспощадный. Это жизнь была к вам беспощадна. И если вам когда-нибудь станет тяжело одному, вспомните обо мне. Я всегда...

И быстро захлопнула за собой дверь, только каблук застучали по лестнице.

Аман распахнул окно. Хотелось еще раз увидеть Маро. Неужели правду сказала? Неужели есть на свете человек, который ждет его? Свежий воздух ворвался в комнату и с ним мягкий гомон воскресного дня. С утра снегопад, по-южному щедрый, выбелил улицы, а сейчас солнце взялось за работу, но там, где прошли колеса машин, в глубоких бороздах снег еще отливал влажной синевой. Где же Маро?.. В Доме культуры кончился дневной сеанс, по улице шел знакомый рабочий люд с женами, с детьми. Милый, близкий народ. Тепло одетые дети копошились в снегу, звонко смеялись. Под деревьями матери катили коляски с завернутыми в теплые одеяльца малышами... Вот, кажется, мелькнула и Маро — коричневое пальто и зеленая шапочка... Мелькнула и исчезла в толпе.

## Глава тридцать седьмая

### Клевета

Смета по Сазаклы на второй квартал, присланная из производственного отдела, разграфленная по всем правилам бухгалтерского щегольства, с утра лежала на столе у Човдунова — не было свободной минуты заглянуть в нее. Народ толпился в кабинете, как на вокзале.

С утра Аннатувака посетил Тихомиров и с видом заговорщика сообщил, что хочет побывать на новых разведбуровых. Это нисколько не обрадовало директора конторы. Что, собственно, рассчитывает увидеть «Вчерашний день» в Сазаклы? Отыскать лишний повод для склоки? После драки кулаками не машут, время и без этого покажет, кто прав.

Вслед за Тихомировым явились два молодых инженера, только что окончившие нефтяной институт и присланные по разверстке. Оба высокие, румяные, русокудрые добры-молодцы — один из Тамбова, другой из Ярославля. Пришлось долго беседовать, рассказывать о специфике местной работы. Разговору мешали. Забежал корреспондент из газеты, чубатый, только что демобилизовавшийся парень, еще не успевший снять военную шинель. Звонили из Объединения — торопили со сметой. Заглянул Сафронов посоветоваться о 425-й скважине, которая дала воду, а в довершение всего секретарша с испуганным лицом доложила:

— Какой-то бабай к вам ломится.

И действительно, вслед за ней в кабинет ввалился дедушка лет семидесяти с длинной белой бородой, в большой бурой папаше. Поставив на пол у двери зеленый эмалированный чайник и принакрыв его полосатым хурджином, он почтительно приветствовал Аннатувака; затем сварливо потребовал, чтоб его внука сделали нефтяником. Дедушка отличался неукротимой энергией, прилетел на самолете из Мары с этой единственной целью, и понадобилось много времени, чтобы растолковать, что ему нужно идти в отдел кадров.

Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения Аннатувака. Он попросил секретаршу больше никого не впускать и углубился в смету.

Сосредоточиться на цифрах было нелегко. Весь последний месяц Аннатувак чувствовал себя как взведенный курок. Огромным усилием воли он заставлял себя сдерживаться: терпеть противоречия, выносить многословие, прощать бестолковость. От нервозности появились новые привычки — руки не могли оставаться в покое: ломали папиросные коробки, разгибали канцелярские скрепки, теребили клочки бумаги. Ему даже пришло в голову завести четки. Один знакомый азербайджанец уверял, что ничто так не успокаивает нервы. Однако Аннатувак быстро отказался от этой идеи. Азербайджанец-то был профессор, носил пиджак и тубетейку, а что за вид — в полушубке и ушанке с янтарными камешками в руке! Да разве ими вернешь утраченный душевный покой? Дело даже не в Сазаклы. Подумаешь, какой важный эпизод в биографии начальника конторы бурения этот клочок пустыни! Но остаться одиноким, растерять товарищей, не чувствуя перед ними никакой вины, — это страшно. Не так жалко потерять Сулейманова, проработали три года душа в душу — разошлись. Что же, бывает! Труднее мириться с отчуждением Сафронова, но ведь с ним и дружить нелегко. Глядит на все с высоты своего опыта, обо всем имеет свое мнение, видно, не может забыть, что знал своего начальника еще мальчишкой. А вот холодность Амана невыносима. Чего, собственно, все хотят от него? Он склонился перед обстоятельствами, делает все, что требуется. Неужели нужно еще и выражать восторг? Этого не дождутся! Дома тоже будто отопление выключили. Тамара, как всегда, кротка и заботлива, но не может скрыть, что сочувствует Сулейманову. Если женщина работает, трудно ожидать от нее справедливости. Всегда ей ближе тот, с кем проводит целый день, а не муж, с которым еле успевает перекинуться двумя словами перед сном. А самое горькое — отец. Что бы ни случилось в жизни с Аннатуваком, первая мысль всегда была об отце. Что он подумает, что скажет? Теперь их разделяет не сотня километров бездорожья от Небит-Дага до Сазаклы, а нечто худшее. Когда Аннатувак приезжает на новый участок, отец почти не разговаривает с ним. Споров больше нет, но, кажется, у старика совсем пропала охота встречаться с сыном. Этого никогда не было. Все будто отодвинулось от него. Как в мираже: все видно, а рукой не дотронешься, уплывет. Кто же остается? О Тихомирове смешно говорить. Пожалуй, одна Айгюль. Встречаясь с сестрой, Аннатувак угадывал непривычную теплоту в ее больших черных глазах. О делах не говорили, и тут надо оценить такт сестры. Понимает, что не следует посыпать рану перцем...

В дверь просунулась голова Дурдыева. Човдуров замахал рукой:

— Не могу принять!

Но Ханык посчитал отказ за приглашение и, дергаясь всем лицом, улыбаясь и подмигивая, вошел в кабинет.

— Товарищ директор, есть важный разговор.

Аннатувак поднялся и раздельно сказал:

— Я занят.

Ханык плаксиво улыбнулся.

— Есть вещи поважнее занятий. Будете жалеть, что не поговорили.

Човдуров стукнул кулаком по столу, но даже не успел рта раскрыть, как Ханык юркнул в дверь. Аннатувак взялся было за карандаш, но в дверную щель снова просунулась голова снабженца.

— Не ради себя, ради ваших интересов, Аннатувак Таганович, необходимо поговорить...

Жалкий человечек пресмыкался, не замечал, как он противен. Пересилив себя, Човдуров спокойно ответил:

— Если разговор не деловой, тем более можно отложить.

По привычке он вертел в руках тяжелый пресс. Бросив взгляд на тяжелую вещицу, Ханык снова исчез, на этот раз плотно прикрыв за собой дверь. Испуг снабженца так насмешил Аннатувака, что он смягчился и попросил секретаршу разыскать его.

Через две минуты Ханык как ни в чем не бывало здоровался с Човдуровым.

— Я знаю, товарищ директор, почему вы рассердились, но ведь это же клевета, — развязно говорил он. — Эта баба из святого сделает черта.

— Какая клевета? — отрубил Аннатувак. Больше всего он ненавидел склоки, сплетни, разбирательство семейных скандалов. — Не знаю никакой бабы.

— Есть такая дрянь, ее зовут Зулейха. Может быть, не она сама, а ее друг...

— Не знаю Зулейхи и ее друга.

— Да разве он один? У нее, наверно, десяток друзей или мужей, не знаю, как приличней назвать...

Дурдыев задумался. Ясно было, что слухи еще не дошли до Аннатувака. Но что выгоднее: рассказать самому или надеяться, что вся история с брошенной семьей так и не дойдет до ушей начальства? Нет, лучше все-таки прикинуться простодушным, напрасно оклеветанным.

— Все дело в Тойджане Атаджанове, — начал он, — если бы вы могли себе представить, сколько грязных нитей сплелось вокруг одного человека! Да что там нитей! Его сердце — клубок змей!

— Атаджанов? — переспросил Човдуров и уселся поглубже в кресло. Теперь он готов был слушать рассказ Дурдыева хоть до вечера, тот и не подозревал, какие струны задел в душе начальника конторы.

— Когда Атаджанов ездил на праздник в подшефный колхоз, он спозналсся с моей бывшей женой Зулейхой, а она плачет, будто я не даю денег...

— А разве это неправда?

— Неправда — мало сказать. Это клевета! Я посылаю все, что зарабатываю, сам сижу на хлебе и чае. Посмотрите на мой ватник, разве это костюм для снабженца? Я только позорю свою контору, когда прихожу в другие учреждения. Думают, что это за контора, где работают такие оборванцы?

— Хотел бы знать, — сказал как бы про себя Аннатувак, — почему я обязан выслушивать эту чушь?

— Подождите, товарищ Човдуров, скоро все поймете. Я же должен оправдаться перед вами, раньше чем на меня начнут возводить всякие небылицы.

— Пока что никто не заводил о тебе речи, а ты терзаешь меня целый час бабьими сплетнями.

Не слушая, Ханык бубнил свое:

— Она считает: раз я нефтяник, значит, хожу в золоте и могу построить ей серебряный дом. Сама она работает подпаском.

— Хоть министром, мне-то что?

— А живет с заведующим фермой, — упрямо продолжал Ханык. — Что у них было с Атаджановым — не скажу, хотя догадаться нетрудно, но сейчас не о том речь.

— Может, объяснишь, зачем я тебя слушаю, если речь не о том?

— Ваша сестра, товарищ Човдуров, — редкой чистоты девушка...

— Ты приплетаешь к своей грязной истории имя моей сестры? — грозно спросил Аннатувак.

— Говорю вам, подождите немного. Не я приплетаю. Но должен сказать, что все рабочие любят ее, как сестру. Только... Только она немного ошибается.

— В работе?

— Нет. В чувствах. Если сказать правду, товарищ Айгюль хорошо знает рабочего, его душу, но не знает человека, которого, как видно, выбрала себе в мужа. — Дурдыев остановился, покосившись на Аннатувака, но тот, насупясь, молчал. — Хотите — опять выгоняйте меня, хотите — слушайте, но я прямо скажу, что мне не нравится этот парень. Боюсь, как бы не втянул в болото несчастья девушку, которая белее снега, чище воды...

Как ни хмурился Аннатувак, как ни противно было ему слушать Дурдыева, но предчувствие неотвратимой беды сжимало сердце и заставляло терпеть до конца.

— Имя? Назови имя!

— Так я же только о нем и толкую! Бурильщик Тойджан Атаджанов. Когда я наблюдаю его поступки, не по себе становится. Пользуясь добротой, доверчивостью Тагана-ага, он может, не приведи бог, нанести позорную пощечину вашей сестре.

— Ты в своем уме?!

— Чтоб черви завелись в моем языке, если вру! Никак не могу удержать сердца, потому и говорю. Помяните мое слово: этот проходимец доведет буровую Тагана-ага до страшной аварии и сделает несчастной нашу красавицу Айгюль.

Аннатувак молчал, но сердце лихорадочно билось. Давнишняя неприязнь к Атаджанову, который, как ему казалось, отнимает у него отца постоянным потаканием старческим причудам, теперь превращалась в настоящую ненависть. Негодяй смел поднять глаза на сестру!

Исподтишка поглядывая на Аннатувака, Дурдыев старался угадать его мысли. Аннатувак опустил голову, и снабженец понял, что заставил его задуматься, а когда снова поднял глаза, Ханык решился продолжить:

— Товарищ Човдуров, простите, если лезу не в свое дело. Но кто вам раскроет глаза, кто знает происки этого бесчестного парня так хорошо, как я? Он говорит Айгюль сладкие слова, а сердце отдает другим. Да что говорю, откуда у него сердце! Он отдает один конец нитки Айгюль, а с другого конца начинает плести паутину, в которой она же завязнет. Вы знаете, как себя чувствует Ольга Сафронова?

Аннатувак, с жадностью внимавший поношению Тойджана, нетерпеливо сжал кулаки.

— Какое мне дело до Сафроновой? — грубо сказал он. — Откуда среди овец затесалась корова? То Зулейха, то Ольга! Долго еще будешь забивать голову чепухой?

Не отвечая, Ханык продолжал допрашивать:

— Может, вам известно, что Ольга и Нурджан Атабаев любят друг друга?

Човдуров рассердился, что снабженец запутал разговор, который его так интересовал.

— Куда тебя заносит? О чем думаешь? Невозможно понять, куда ведешь, к чему клонишь, пятишься все время как рак!

Не боясь теперь гнева Човдунова, Ханык гнул свое:

— Я чувствую, что душу Нурджана разрывают на части собаки, а сердце Ольги болит, будто в него попал змеиный яд...

— Терпение мое кончается, — грозно сказал Аннатувак и привстал, опираясь обеими руками на стол.

— Говорю вам, не торопитесь, товарищ директор. Я хочу спросить вас, по какой причине страдают молодые сердца?

— Кончай немедленно!

— Да что вы волнуетесь? Я не из тех, что суют нос в чужие дела. Нужно было проверить все обстоятельства, выяснить все отношения, а затем довести до вашего сведения, что мне известно. А мне хорошо известно, что Атаджанов бросает одну кость двум собакам, чтобы поссорить их...

— Да ты сам-то можешь разобраться в том, что плетешь?

— Товарищ Аннатувак, я своими глазами видел, как Тойджан и Ольга сидели обнявшись!

— Это правда?

— Зачем выдумывать? — скроив печальную рожу, сказал Ханык. — Разве вы поблагодарите за это? Разве слышу от вас что-нибудь, кроме ругательств? Только сочувствие да доброе сердце привели меня в этот кабинет! А если говорить прямо, Тойджан и Ольга ночевали вместе, когда — были в колхозе. Но разве повернется язык сказать такое вашей сестре? Вот



я и решился...

Ханык, наблюдавший, как темнеет лицо Човдурова, оборвал свою речь.

Выйдя из-за стола, Аннатувак остановился перед снабженцем.

— Я выслушал твой гнусный рассказ. Вернее, вынужден был выслушать, но не думай, что ты что-нибудь выиграл. Ненавижу сплетников и склочников! Уверен, что ты завел всю эту музыку ради какой-то выгоды, но пока еще не знаю какой. Я проверю твои слова, и не потому, что ты, забыв стыд и совесть, завел речь о моей сестре, а потому, что хочу разобраться в этом негодяе Атаджанове. Но если ты посмеешь еще где-нибудь назвать имя Айгюль, то не найдешь себе места между Балханом и Каспием! Можешь убираться!

Ханыка будто вихрем вынесло из кабинета. В приемной он тяжело плюхнулся на стул и вытер рукавом пот со лба. Страшно иметь дело с этими Човдуровыми, но главное сделано. Аннатувак так прямо и сказал: «Я должен разобраться в этом негодяе Атаджанове».

Оставшись один, Аннатувак заперся на ключ. Ярость душила его. Ненавистное лицо Тойджана стояло все время перед глазами. Теперь ясно, зачем ему понадобилось поссорить Тагана с сыном! «Этот насквозь фальшивый, бессовестный беспризорник никого не любит. Что ему отец, что Айгюль? Он играет нами, Човдуровыми!»

Аннатувака поразила эта мысль, и он снова повторил вслух:

— Играет Човдуровыми!

Глава тридцать восьмая

Я не хочу быть невестой

Только среди дня в кухонном чаду, в хлопотах ненадолго забывала Мамыш свою навязчивую идею — женить сыновей. На сковородке весело шипели баранина и желтоватый, пропитанный жиром лук; белый пар клубами бил из кастрюли. Мамыш засыпала рис в кипяток, взяла щепотку соли, но в это время послышался робкий стук в дверь. Она насторожилась. Все домашние и даже соседи входили без стука. Значит, пришел кто-то посторонний. Мигом старушка очутилась в передней и распахнула дверь. Перед ней стояла красивая, нарядная девушка. Скромно поклонившись, она спросила:

— Нурджан здесь живет?

— Здесь, — глухо ответила старуха, чуя недоброе.

— А вы тетушка Мамыш?

— Я тетушка Мамыш.

— Вот как хорошо! Очень рада вас видеть!

Заметив недружелюбный взгляд старухи, Ольга остановилась на пороге. Мамыш безмолвствовала. Чтобы прекратить неловкое молчание, Ольга задала пустой вопрос:

— Нурджана еще нет дома?

Хотя Мамыш сразу догадалась, кто пришел к ней в дом, хорошо помнила, что рассказывал

Дурдыев про девушку, и ни минуты не сомневалась в справедливости его слов, но торжественный и вместе с тем скромный вид Ольги, ее ласковый взгляд подкупили старуху. К тому же Ольга свободно, хотя и с акцентом, говорила по-туркменски. Мамыш оживленно заговорила:

— А Нурджан так и не показывался с утра, никогда сразу не приходит с работы... — И вдруг зажала рот рукой, вспомнив, что никак ей не следует быть приветливой с Ольгой.

Снова воцарилось тягостное молчание. Мамыш не позвала девушку в комнату, не предложила раздеться, не спросила имени... Ольга испытывала мучительную неловкость, но и уходить сразу казалось неудобным.

— Может быть, мне подождать Нурджана? — спросила она. — Или лучше уйти?

Разглядывая девушку, Мамыш с трудом сдерживала желание сказать: «Если хочешь уйти — зачем пришла? Я не тосковала без тебя. Скатертью дорога!» Однако, заметив в глазах девушки робкий укор, постеснялась отвечать грубостью и неохотно выдавила из себя:

— Если есть дело — жди. Он должен появиться. Проходи, садись...

— У меня, собственно, нет дела к Нурджану Атабаевичу, — Ольга замешкалась на пороге комнаты. — Только он приглашал меня... Вот я и пришла.

— Приглашал? — переспросила Мамыш. — А как тебя зовут?

— Ольга.

— Ах, Олге! — Мамыш хотела сказать что-то еще, но снова прихлопнула рот рукой, словно кастрюлю крышкой.

Хотя вторичного приглашения не последовало, Ольга отважилась и, не снимая пальто, прошла в комнату, присела у стола. Мамыш, словно пришитая, последовала за ней, устроилась напротив, подперла подбородок рукой и беззастенчиво уставилась на девушку. Да, Ханык был прав. Она в самом деле красива. Темно-зеленое пальто ловко облегает стройную фигуру, из-под шляпки, надетой набекрень, выбиваются пушистые золотые волосы, расстегнутый воротник открывает нежно-белую шею. Скромный вырез Ольгиного платья показался старухе величайшим бесстыдством, но особенно противны были ей стройные ноги девушки в прозрачных чулках.

Ольга ежилась, как на огне, под этим пристальным осмотром. Взгляд Мамыш как будто говорит: «Кто тебя звал в мой дом? Стыдно бросаться на шею мужчине! Не для таких бесстыжих я растила своего Нурджана. Если тебе нужны парни, ищи в другом месте!» Нет, не такой встречи ждала Ольга, когда шла сюда. Она думала, что мать Нурджана обрадуется, начнет рассказывать о сыне, расспрашивать Ольгу о ее семье. Конечно, во всем виноват Нурджан. Откуда Ольге знать, как ведут себя такие старухи? Если позвал, должен был подготовить мать. Может, по ее понятиям, девушке неприлично приходиться к товарищу? Разве угадаешь чужие обычаи? Нурджан должен был предвидеть все.

Ольга посмотрела на часы. Только четверть пятого. Конечно, и сама она виновата, пришла на полчаса раньше срока. Тут эти полчаса, пожалуй, покажутся годом... Что ж, если старуха так не приветлива, не надо подражать ее примеру. И Ольга непринужденно спросила:

— Тетушка Мамыш, вы, должно быть, часто остаетесь дома одна? Вам не бывает скучно?

Окинув девушку удивленно-презрительным взглядом, Мамыш ответила:

— Дорогая, какое тебе дело до моих радостей и печалей?

Ольга совсем растерялась от такой грубости.

— Да я просто так спросила...

— Просто так говорят с подругами, а со старыми людьми надо говорить подумавши.

Если бы дома Ольге кто-нибудь осмелился прочитать такое наставление, она сумела бы найти ядовитый ответ. Теперь ей больше всего хотелось убежать куда глаза глядят, но неподвижный взгляд Мамыш будто пригвоздил к месту. Потупившись, она прошептала:

— Простите, я не хотела вас обидеть...

Мамыш торжествующе смотрела на нее. Нет, не нужна ей невестка, твердо печатающая шаг, выставляющая напоказ свои ноги, смотрящая прямо в лицо, как будто собирается сводить счеты. Та невестка, которую она ждет, войдет в дом робко, неслышно. Будет ходить опустив голову, возле дверей снимет калоши, ручным соколом сядет на ковер, глубоко надвинет на глаза платок, не посмеет задать ни одного вопроса и будет во всем соглашаться с Мамыш. Подумать только! Сидит эта бесстыжая, выставляет толстые ноги, улыбается, смотрит на все, как председатель санитарно-бытовой комиссии из домоуправления. А совести нет и в помине. Другая бы, зная про себя все, что рассказывал Ханык, за версту стала бы обходить дом Нурджана. Взволновав себя такими размышлениями, Мамыш резко спросила:

— Хорошо. Если ты Ольге, зачем тебе нужен Нурджан?

Каждое слово старухи казалось Ольге бесконечно обидным, но она решила выдержать до конца и вежливо ответила:

— Мы с Нурджаном вместе работаем, хорошо знаем друг друга, часто приходится встречаться, разговаривать... Иногда он приходит к нам...

— Нурджан бывает у вас? — испуганно вскрикнула Мамыш.

— Да, конечно. Он знаком с моим братом, снохой. А сегодня Нурджан пригласил меня к себе. Хотел познакомить с вами, показать, как вы живете. Вот я и пришла.

Услышав, что сын бывает в доме Сафроновых, старуха загорелась желанием сказать еще какую-нибудь колкость.

— Пока что этот дом не Нурджана, а мой. И, по правде сказать, у меня нет большого желания видеть у себя всех случайных подруг сына.

Больше Ольга не могла выдержать. Она вскочила с места и сказала:

— Я тоже нисколько не стремлюсь быть нежеланной гостьей...

Мамыш не стала ее усаживать и, желая окончательно рассорить с Нурджаном, ехидно заметила:

— Ольге-джан, если верить слухам, ты гуляешь с моим сыном. Может быть, тебе кажется, что ему и не найти лучшей подруги, но... Ты уж прости, дорогая, но его судьба решена. Девушка, которая будет моей снохой, начала готовиться к свадьбе. Нурджан уже обручен, дорогая... — И впила змеиным взглядом в глаза Ольги.

Ольга не знала, верить или не верить старухе, и больше всего боялась расплакаться. Ей было очень трудно, к горлу подкатил комок, но самолюбие взяло верх надо всем.

— Тетушка Мамыш, — сказала она небрежно, — вы, должно быть, ошибаетесь. Приняли

меня за кого-то другого. Мы с Нурджаном только товарищи по работе. Если вы готовитесь к свадьбе, желаю вам всякого успеха. А теперь до свидания. Нурджан не пришел, а у меня много дел.

И она быстро ушла.

Оставшись одна, Мамыш беспомощно оглянулась. Ей показалось, что исчезло что-то, наполнявшее светом всю комнату. И в то же время она почувствовала, что сбросила с плеч тяжелый груз, избавилась от мучительной неловкости. Увидела пустой стул, на котором только что сидела Ольга, и он показался ей голым, а комната унылой до отчаяния. Что же случилось? Закружилась ли голова или сон дурной приснился? Уронила бадью в колодец? Выпустила из рук птицу? Ведь только что они сидели за столом? Только что разговаривали? Где же эта Ольга?

У Мамыш голова шла кругом, она все оглядывала комнату и повторяла:

— Олге, Олге!

Но в доме было пусто, никто не откликнулся.

Старуха выбежала на балкон.

— Олге, Олге! Аю-у! — кричала она.

А Ольга быстро шла, словно убегая от преследования, и скоро совсем исчезла из виду. Мамыш казалось, что эта девушка унесла с собой ее сердце. Не замечая, что на улицу выскочили соседки и переглядываются, она еще раз пронзительно крикнула:

— Олге! — и, безнадежно махнув рукой, вошла в комнату, опустилась на диван.

Перед затуманившимся взором мелькали то Ханык, то Нурджан, то Ольга. Ханык как будто нашептывал: «Молодец, мамочка, я ждал, что так и поступишь!» А Ольга грустно смотрела и молчала. Ах, какая девушка эта Олге! Сколько обидных слов сказала Мамыш, а она даже не показала виду, что рассердилась. Разве другая смогла бы сдержаться? Видно, душа ее глубока, как море. Мамыш замутила ей душу...

В комнату вбежал Нурджан.

— Мама, кто-нибудь был у нас?

Старуха поднялась с дивана, вытерла глаза платком:

— Дорогой, ты, кажется, что-то сказал мне?

Нурджан не узнавал мать. Обычно она встречала на пороге, на ходу засыпала вопросами, сама без умолку рассказывала обо всем, что случилось в доме и на дворе, а сейчас даже голос звучал иначе.

— Ты больна?

— Здорова, — слабым голосом ответила Мамыш.

— Может, спала?

— Нет, дорогой, нет!

— Глаза у тебя какие-то странные...

— Перебирала рис, вот глаза и устали.

— Никто к нам не приходил?

— К нам?

— Мама, что с тобой? Кто-нибудь обидел тебя?

— Какие глупые вопросы задаешь. Как же можно, чтобы никто не приходил? Соседи приходили...

— А еще кто?

— Еще... Еще приходила девушка.

— Какая девушка? — торопливо спросил Нурджан.

— Я в первый раз видела. Говорит, что зовут ее Олге.

— Где же она?

— Ушла, — Мамыш безнадежно махнула рукой.

— Куда ушла?

— Как могу знать, куда она ушла, если не знаю, откуда пришла?

— А когда она ушла?

— Только что.

Не надевая шапки, Нурджан пулей выскочил из дома, позабыв захлопнуть дверь.

Когда Мамыш увидела, что Нурджан при одном только имени Ольги заметался, как бабочка, залетевшая в комнату, она еще раз пожалела, что так обидела девушку. Мысленно она поносила Ханыка на чем свет стоит: «Чтоб тебе не родиться, негодяй! Если ты друг Нурджана, почему сперва не поговорил с ним, а прибежал ко мне? Да и сама я дура! Вся морда у него передергивается, как кожа на шелудивой собаке, а я доверилась! Разве не он встревожил меня? Помутил разум, вскружил голову!»

Расстроенная, измученная поздним раскаянием, Мамыш совсем забыла, что на кухне варится обед. А там, за прикрытой дверью, дым коромыслом.

В котле выкипела вода, плов начал подгорать. Пустой чайник накалился докрасна, отвалившийся носик упал на пол. Кухня наполнилась чадом. Серая кошка, сидевшая на подоконнике, жалобно мяукала, негодуя на беспорядок.

Вернулся Нурджан, так и не догнавший Ольгу. Хмурый и злой, он повалился на диван, как борец, уложенный на обе лопатки. Он упрекал себя, что опоздал, упрекал и мать, которая, как он догадывался, холодно приняла Ольгу. Ему казалось, что девушка навсегда отвернулась от него.

Мамыш тоже терзалась, глядя на сына. Сознывая вину, боялась заговорить. Но не в ее характере было долго молчать. Что толку сидеть по углам, будто коты после драки? Не зная, с чего начать, она спросила:

— Нурджан, дорогой, не заварить ли тебе чаю?

— Я и чаем, и обедом, всем по горло сыт! — раздраженно сказал он и даже рукой показал, как он сыт по горло.

Старуха взмолилась:

— Ты, дорогой, не говорил о ней. Откуда я могла знать, что это так важно?

— Не все ли равно — важно, неважно! Даже нищему оказывают внимание, когда приходит в дом, потчуют чем-нибудь...

Таких упреков Мамыш не могла выдержать. Раскаяние ее улетучилось, как дым из кухни. Снова вспомнились предостережения Ханыка, в потухших глазах загорелся огонек.

— Нищего я накормлю, но не считаю достойной своего хлеба всякую девку, готовую бежать за тем, кто махнет ей рукой!

Нурджан вскочил с дивана и встал перед матерью:

— Что ты сказала?

— Мой хлеб не для тех, кто тянется сразу к сорока тарелкам, — твердо повторила старуха.

— Сейчас же замолчи! — Впервые в жизни Нурджан закричал на мать.

— Кто это должен молчать? — Мамыш, казалось, готова была выцарапать ему глаза. Брызгая слюной, она вопила: — Еще Атабаю не удалось связать мой язык! А ты кто? Щенок желторотый! Щенок!

В эту минуту Нурджан находился в таком возбуждении, что одним ударом кулака мог бы пробить стену, но перед матерью он был бессилен.

Юноша овладел собой.

— Как видно, мама, нам с тобой в одном котле кашу не варить. Я, конечно, никогда не забуду все, что ты для меня делала. Когда понадобится помощь, можешь на меня рассчитывать, а теперь... Теперь остается только искать для себя угол. До свидания!

Сгоряча старуха не поверила сыну и продолжала кричать:

— Если так расплываешься за молоко, которым я тебя кормила, если надеешься найти кого-нибудь получше меня, можешь убираться куда хочешь!

Она прокричала эти слова, почти плача. Жалость защемила сердце Нурджана, но Мамыш не унималась.

— Думаешь, не знаю, куда хочешь податься? К той, кто всучивает тебе соску в рот, а сама улыбается другим! К Олге идешь!

— Мама! Прекрати!

Подняв кулак, Мамыш крикнула:

— Когда умру — замолчу! Когда умру!

Нурджан бросил плащ на руку и кинулся к двери, а Мамыш, у которой сердце рвалось на части, крикнула вслед:

— Нурджан, дорогой, подожди!

Но сын уже не слышал.

## Глава тридцать девятая

Корова бродит без привязи

Январский день клонился к закату. С утра погода непрестанно менялась, подобно крылу бабочки, переливающимся на солнце всеми цветами радуги. Облака, мчавшиеся в сторону моря, то расходились, то заволакивали весь горизонт, небо серело, как пенька, а потом снова делалось голубым, как спокойная гладь Каспия, и опять плаксиво хмурилось, как лицо обиженного ребенка. На землю начинали падать крупные капли, но с резким порывом ветра дождь стихал. И вдруг сероватое облако быстро спускалось вниз, окутывало верхушку буровой, кругом ложилась густая тень, воздух пропитывался мельчайшей изморосью. Все становилось влажным — бревна, железо, руки рабочих; на одежде, как бисеринки, блестели капельки, а дождя не было. И тут же легкий туман поднимался ввысь, как пыль от выколачиваемого ковра, и солнце между волнами легких тучек то появлялось, то исчезало, будто качаясь на качелях. Наконец облака улетучились, и теплые лучи потянули с земли чуть видные клубы пара.

Айгюль собиралась домой. Промысловый шофер Сарыбай, вызванный на комсомольское собрание, разрешил ей самой вести старенький «газик». Открыв капот, она старательно ковырялась в засорившемся карбюраторе, но мысли ее были далеко.

В разлуке с Тойджаном она не находила покоя. Временами рыдала, уверив себя, что поссорились навеки, временами готова была мчаться в Сазаклы и просить у Тойджана прощения за свою вспышку. В эти минуты ее останавливала только мысль об отце. Как объяснить ему, зачем появилась она в пустыне? А избежать встречи не удастся.

Слухи, пущенные Ханьком о близости Тойджана с Ольгой, несколько не беспокоили — Айгюль не поверила ни одному слову. Слишком хорошо знала обоих. Тойджан мог быть грубым, вспыльчивым, мог даже полюбить другую, но никогда не станет обманывать. А Ольга совсем по-детски увлечена Нурджаном. Не способна и она на такое подлое коварство.

Айгюль вытерла руки тряпкой, поправила волосы и вдруг увидела Тойджана, выходящего из будки мастера.

«Он приехал! — будто запело сердце. — Он приехал! Он искал меня!» Но, повинувшись какому-то странному порыву, она вскочила в машину, захлопнула дверцу и стала разворачиваться.

Тойджан не сразу понял, кто сидит за рулем, а когда сообразил, машина уже тронулась. Не помня себя, он бросился вслед. Но упрямая Айгюль нажала на педаль. И вдруг до нее донесся невыразимо печальный возглас Тойджана: «Айгюль, подожди!..» Будто кто-то схватил за руки и приказал остановиться. Машина резко затормозила.

Тяжело дыша, Атаджанов подбежал к «газику», поздоровался и растерянно замолк. Увидев,

что в машине нет никого, кроме Айгюль, он с такой силой оперся на крыло, как будто хотел навсегда пригвоздить машину к земле. Айгюль не снимала рук с баранки, показывая, что Тойджан задерживает ее. Время шло, и в тишине было слышно, как неровно бились их сердца. Вдруг Тойджан распахнул дверцу и сел рядом с девушкой.

— Айгюль... — сказал он и заглянул ей в глаза.

Айгюль храбро выдержала взгляд. Он опустил голову и прошептал:

— Это я виноват во всем. Ты знаешь, какой я... Грубый... Нелепый... Ты не будь, как я...

Сколько раз Айгюль представляла себе встречу, сколько раз мечтала, как оттолкнет Тойджана, когда он придет просить прощения. А теперь растаяла, как утренняя дымка над водой.

— Ну зачем ты... — нежно сказала она. — К чему вспоминать? Лучше расскажи, как там живется. Тяжело? Как отец? Как «разбитая тарелка»? Если бы ты знал, как я рада! А термос у вас есть?

Она засыпала его вопросами. Тойджан, отвечая, чувствовал, что голос дрожит, щеки горят от стыда, что говорит он невпопад. Да и что можно ответить, когда мысли заняты совсем другим. Он укорял себя: «Я думал, когда Айгюль увидит меня, начнет грызть, как собака сухую кожу. И я заслужил это. Кто я такой? Вечно надувающийся и лопающийся пузырь! А ее сердце чисто, как жемчуг, к нему не пристанет никакая грязь. Она не сказала ни одного обидного слова. Я хуже грязи на ее подошвах! Шиплю, как кошка, которой наступили на хвост... Стыдись, Тойджан, стыдись!..»

Он чувствовал рядом тепло ее тела. Оно даже не грело, оно обжигало. Но можно ли дотронуться до Айгюль? «Эта машина как гнездо голубей, но между нами лежит пропасть... — вздохнул Тойджан. — Может быть, все-таки взять ее за руку?» Он откинулся на спинку, дернулся, будто укололся, и вдруг предложил:

— Пойдем в кино? — и взял ее за руку.

Будто нахлынула горячая волна и поглотила обоих. И несколько минут они сидели молча, не шелохнувшись.

«Газик» стоял посреди дороги. К счастью, не было прохожих, лишь вдалеке какой-то рабочий возился около качалки. Серенькая птичка, жалобно попискивая, летала взад и вперед и как будто укоризненно говорила: «ай-яй, ай-я-яй...» Птичка не в счет, они бы не услышали сейчас и заводского гудка. Не было произнесено ни слова, только теплом своих рук они рассказывали друг другу о тоске долгих дней и бессонных ночей.

Айгюль первая очнулась от сладкого забытья, высвободила руку, наклонилась вперед и тоже невпопад сказала:

— Спидометр не работает... — И откинулась назад.

Тойджан не понял. Он решил, что старая обида снова заговорила в сердце. К чему бы иначе возвращаться на землю?

— Что сегодня идет в кино? — спросила Айгюль.

— Не знаю, — растерянно ответил Тойджан.

— Как же можно идти, не зная, что будешь смотреть?



— По правде сказать, Айгюль, я даже не знаю, идет ли сегодня что-нибудь в клубе.

— Почему же ты звал меня? — Теперь она улыбалась.

— Так, к слову пришлось.

— К слову? По-моему, уста человека не мост, который пропускает всех, кто проезжает. Только язык колокольчика качается в такт шагам верблюда, а язык человека — в такт сердцу... — Она раньше Тойджана овладела собой и теперь как будто мстила ему за минуту забытья.

Тойджан удивленно посмотрел на Айгюль. «Как хорошо она излагает свои мысли. Ведь я то же самое подумал про спидометр, но не сумел объяснить», — пронеслось у него в голове, а вслух он сказал:

— Верно.

— Если верно... — Айгюль запнулась. Ей показалось, что она совсем уже по-старушечьи поучает Тойджана, но все-таки решила закончить свою мысль: — Я думаю, что слово надо ценить, как драгоценность. Слово должно ложиться, как глубокое клеймо на сталь. Оно дороже любого решения, обещания, даже клятвы...

«Настоящая дочь своего отца, — восхищался Тойджан. — Старик тоже всегда говорит: слово не солома, без толку не разбрасывайте. Оно хоть и не видно, но, подобно золотому мечу, больно ранит. Однако не считает же меня Айгюль пустословом только из-за того, что я позвал в кино?»

— Ты, конечно, права, но мы так давно не встречались, что захотелось подольше побыть с тобой. Вот я и сказал про кино...

— Тогда все понятно! — рассмеялась Айгюль.

— Так когда же мы пойдем в кино?

— В кино? — задумчиво переспросила Айгюль.

— О чем ты задумалась?

— Может... может, пойдем к нам?

Тойджан невольно отодвинулся от Айгюль.

— Чему ты удивляешься? У нас в доме никто тебя не укусит.

— Но ведь я не знаю Тыллагюзель-эдже.

— Познакомишься.

— Как это у тебя легко получается.

— А что ж тут трудного?

— Я не очень стеснительный, но боюсь, что, увидев Тыллагюзель-эдже, покраснею. А если еще придет Аннатувак?.. Нет, пока я еще не могу появиться у вас, — решительно сказал он.

Айгюль схватила его за плечи, повернула лицом к себе.

— Ну можно ли быть таким мальчишкой?

И снова прикосновение огнем обожгло Тойджана. Он обнял Айгюль и крепко прижал к себе.

— Тойджан! Что с тобой?

Но он ничего не слушал.

— Тойджан, пусти! — взмолилась Айгюль. — Смотри, вон Эшебиби идет!

Тойджан выпустил Айгюль из своих объятий и, высунувшись в окно, увидел, что и в самом деле по дороге спешит куда-то Эшебиби.

Ее черный шелковый платок с красными цветами и длинной бахромой съехал набок. Она почти бежала, как будто гналась за кем-то, глаза шныряли по сторонам, из-под высоко подтянутых, расшитых пестрыми узорами штанов высывались грязные голые ноги в просторных остроносых калошах.

— Я проучу эту мерзкую сплетницу, — сквозь зубы сказал Тойджан.

— Значит, и до Тойджана дошли грязные сплетни? Айгюль не хотела видеть Эшебиби и строго остановила его:

— Не трогай. Это страшный человек.

— Пока не заткну ей в горло ее колючий язык — не успокоюсь, — прошипел Тойджан и рванулся было из машины: он не забыл, как однажды Эшебиби поносила Айгюль у себя на балконе.

— Если даже сама заговорит, не связывайся!

И снова Тойджан во взгляде девушки уловил сходство с Таганом. Бывали минуты, когда старику нельзя противоречить. Тойджан опустил на место. Айгюль захотелось обнять его за такую покорность, она никак не ожидала, что он умеет подчиняться. Тем временем Эшебиби приблизилась к машине, и Айгюль, не зная, что предпринять, решила спрятаться от нее.

— Если она заговорит, пожалуйста, спровадь ее поскорее, — сказала Айгюль и спряталась за спиной у Тойджана.

— Обязательно заговорит, — пробурчал Тойджан, — потому что ничем не отличается от чесоточного верблюда, дерева не пропустит, чтобы не потереться.

Эшебиби, как и следовало ожидать, увидев машину, подошла к ней, заглянула внутрь, будто ища кого-то, и сказала Тойджану:

— Здравствуй, дорогой! Что стоишь посреди дороги?

Тойджан поморщился, увидев безобразное лицо Эшебиби, но, вспомнив наставление Айгюль, вежливо ответил:

— Ожидаю шофера.

Как ни хорошо спряталась Айгюль, как ни приветливо ответил Тойджан, Эшебиби, верившая только собственным глазам, вытянула шею и еще раз заглянула в машину.

— Вий, дорогой! А чьи это ноги в тонких чулках спрятались за твоей спиной?

Тойджан раздвинул локти, чтобы получше заслонить Айгюль, и огрызнулся:

— Тетушка, какое дело тебе до чужих ног?

Эшебиби и ухом не повела, широкое лицо ее расплывалось в торжествующей улыбке.

— Вий, дорогой, за твоей спиной виден и шелковый платок с синими цветами!

Айгюль чуть не плакала. Никуда не скроешься от этой мерзкой бабы! Она готова была выскочить и прогнать старуху, но, представив себе, какой поднимется шум, отказалась от этой мысли. Потеряв терпение, Тойджан оттолкнул Эшебиби.

— Эй, женщина! Отойди! Нашелся тут надсмотрщик надо мной!

Старуха с трудом устояла на ногах, но погрозила кулаком.

— Значит, стыдиться должен не вор, а тот, кто поймал вора? Думаешь, я не знаю, чьи это ноги, чья косынка? Можешь прятать сколько угодно, но я тебе скажу: кто ее поманит пальцем, тот ей и мил.

— Замолчи, женщина! — заорал Тойджан.

Нисколько не смутившись, Эшебиби продолжала:

— Знаю, знаю, чья косынка! Думаешь, она ласкала только твои глаза?

— Ах ты мерзкая тварь! — Тойджан хотел броситься на Эшебиби, но Айгюль удержала его:

— Стой, Тойджан! Говорят: от дурного откупись!

Атаджанов вырвался.

— Нет, Айгюль, пусти! Я ее так отделаю, что станет похожа на сучку, лизавшую кровь!

Подобные угрозы Эшебиби не раз слышала от мужа, не смеявшего ее и пальцем тронуть.

— Не страшно! Вы тут милуйтесь, а я пойду расскажу все друзьям Тагана. Пусть своими глазами увидит, во что превратилась его дочь. А уж если друзья-приятели скажут — придется ему прикусить свой острый язык!

Тойджан обернулся к Айгюль, все еще не выпускавшей его.

— Слушай, если не проучить, она такое наплетет, что тебе и на промыслах невозможно будет показаться. Сплетня — не канат, развяжешь — не свернешь!

— Ой, Тойджан, она такая вредная! Пальцем тронешь, скажет, что избил. Не связывайся.

— Да ничего я ей не сделаю! — И Тойджан выскочил из машины.

Увидев, что он настроен решительно, Эшебиби погрозила пальцем.

— Потом не говори, что не слышал: тронешь — подниму крик, что хотел меня изнасиловать.

Как ни взбешен был Тойджан, разнузданность воображения старухи насмешила его и остудила гнев. Он довольно миролюбиво сказал:

— Тетушка, нельзя же так клеветать на людей! Я не буду равняться с тобой, об одном прошу — возвращайся обратно!

Эшебиби фыркнула.

— Это я поверну назад? Сатлыкклыч отдал за меня три десятка верблюдов, и тот не смог удержать взаперти. А ты кто такой? Хвастливый воробышка!

Тойджан преградил ей дорогу.

— Тетушка, в последний раз говорю — вернись!..

Эшебиби высокомерно сморщила нос.

— Убери руки, говорю! Я тебе не любовница! Иди показывай силу своей Айгюль! Ей есть с кем сравнивать!

Атаджанов крепко взял ее за плечо и повернул назад. Эшебиби укусила его за палец. Резкая боль пронизала руку до самого плеча. Тойджан тряхнул рукой, Эшебиби чуть не упала, но не разжала зубов. Тойджан схватил ее за подбородок, освободил руку, и, не обращая внимания на ее крик, снова подтолкнул. Видя, что не справится с бурильщиком, Эшебиби истошно завопила:

— Ай-ю-ю! Помогите, люди! Негодяй насилует меня!

Тойджан заткнул ей рот платком и угрожающе зашептал:

— Только пикни! И знай, женщина, не говори потом, что не слышала: если сболтнешь что-нибудь, считай, что моя рука на твоём горле!

Эшебиби порывалась что-то ответить, но, так как рот был забит платком, Тойджан услышал только сопение и освободил старуху. Она умильно поглядела на бурильщика.

— Вот кого я считаю настоящим мужчиной!

— Считай кем хочешь, но помни — если сболтнешь...

— Нет, дорогой, нет! Проклятие этому Сатлыкклычу! Если бы он с самого начала образумил меня, разве бы я не держала язык за зубами? Разве бродила бы, как корова без привязи? Если теперь хоть словечко скажу про Айгюль, можешь закопать меня в землю!

— Тетушка, — сказал Тойджан, — разве хорошо нам с тобой ссориться? Нас никто не видел, но все равно мне стыдно. А ты тоже хороша, прожила столько лет на свете и не угомонилась. Пора бы твоему языку стать слаще. Неужели тебе не понятно, что мы с Айгюль любим друг друга?

Один бог знает, чего стоило Эшебиби придержать язык. Ответ так и напрашивался: «Чем давать советы, сам подумай, что делаешь. Айгюль побывала в руках десяти, за двадцатью бегала!» Но старуха пересилила себя и ласково сказала:

— Каюсь, сынок, каюсь! Чтоб черви завелись в моем языке, черви. Обойди весь народ, а такую скромную умную девушку, как Айгюль, не найдешь. Дай бог вам счастья! — Прикрыв рот рукой, старуха таинственно спросила: — А когда свадьбу играть будете?

— Теперь недолго осталось, — расплывшись в счастливой улыбке, сказал Тойджан.

— Торопиться надо? — закивала Эшебиби. — Понятно, понятно...

— Что понятно?

— Хочу сказать, что я чистая дура! — Старуха хлопнула себя ладонью по лбу. — Ведь Айгюль-джан давно говорила мне: «У меня есть любимый...»

Старуха, как видно, устала разговаривать непривычно ласковым тоном и заторопилась на промыслы к своему Сатлыкклычу. Ей очень хотелось рассорить влюбленных, сказать Атаджанову, что Айгюль не стоит и мизинца его, но понимала, что это бессмысленная затея.

Тойджан — парень горячий, того и гляди снова полезет с кулаками. Любезно попрощавшись, она заковыляла своей дорогой.

Тойджан, убежденный, что образумил Эшебиби, с торжествующим видом подошел к Айгюль.

— Все-таки не удалось тебе вернуть ее обратно, — укоризненно сказала девушка.

— Не беспокойся, она теперь все поняла. Не скажет никому ни слова, а нам пожелала счастья.

Айгюль рассмеялась.

— Ах, Тойджан, ты даже не мальчишка, ты просто младенец! Да знаешь ли, какие сплетни ходят про тебя? А распускает их, может быть, та же Эшебиби.

— Что можно сказать про человека, живущего в пустыне?

— Вот представь себе, можно. Говорят, что ты любишь Ольгу Сафронову, что отношения у вас самые близкие...

— А ты поверила?

— Я почему-то не поверила. А ты бы поверил, если бы услышал, что я с кем-то поехала в колхоз, два дня, не разлучаясь, ходила с ним, обнявшись, ночевала в одном доме?..

Тойджан молчал.

— Ну, скажи по совести, поверил бы? — допытывалась Айгюль.

— Наверно, поверил бы, — опустив глаза, признался Тойджан. — Я очень ревнивый.

— Хорошо, хоть сознаешься...

— Я догоню эту мерзкую старуху! — вдруг снова вспыхнул Тойджан.

— И не думай! Как ты докажешь, что она распустила эту сплетню? — Айгюль крепко схватила Тойджана за руку.

Он со стоном вырвался и показал Айгюль следы зубов Эшебиби. Девушка нежно погладила его палец, притянула к себе. Тойджан, как замороженный, не отнимая руки, сел рядом. Теперь он не чувствовал боли. Нежная истома укачивала, как в колыбели. Айгюль чуть прикасалась пальцами к его пальцам, и мысли исчезли, и время исчезло, и никто не знал, как долго простоял «газик» посреди дороги...

А когда совсем стемнело, машина быстро помчалась в город, словно торопясь донести до дому радостную весть, что Тойджан сегодня придет в гости.

## Глава сороковая

### Отвратительный характер

Перед рассветом, когда сырой воздух побелел, как молоко, Махтум пригнал «газик» к коттеджу начальника и дважды посигналил. Аннатувак не заставил себя долго ждать, вышел на крыльцо в кожаном пальто, в шапке-ушанке, молча кивнул шоферу, молча уселся на

переднее сиденье.

— Куда? — спросил Махтум.

— В кабинет Сулейманова.

— В кабинет Сулейманова?

— Вечно переспрашиваешь. Говорю — за Сафроновым и в Сазаклы.

Словоохотливый Махтум только покосился на начальника и промолчал. В последнее время поведение Човдурова казалось загадочным. Раньше все было просто — Аннатувак был или добрым, или злым. Если злой — знай помалкивай, если добрый — проси чего хочешь. Теперь его и злым не назовешь, а рассеян и молчалив так, что делается страшно. Сегодня хочет ехать на машине на второй этаж, в кабинет Сулейманова, завтра велит погнать на крышу и даже не улыбнется.

И верно, меньше всего в эти дни Човдурову хотелось улыбаться. Как ни тяжело было заниматься новым участком, он честно старался обеспечить Сазаклы всем необходимым. Те, кто работали рядом с ним, — Сулейманов, Сафронов, даже начальник Объединения, — отлично знали, что он не нуждается в подстегивании. Но один из членов комиссии, разбиравшей вопрос о Сазаклы в Ашхабаде, посетил новый участок, остался недоволен темпом работ, о чем и сообщил Аннатуваку по междугородному телефону. Все знали, что он специалист по хлопку и в нефтяных делах не разбирается. Его поездка на самолете в Сазаклы была продиктована какими-то побочными соображениями, непонятными еще Аннатуваку. Само по себе мнение этого работника мало беспокоило Човдурова. Ясно было одно: нефть в пустыне — в центре внимания республики. Значит, с Сазаклы нужно не спускать глаз. А всякая мысль о Сазаклы вызывала тревогу в душе Аннатувака. Уже одно то, что разведку ведут такие старики, как Атабай и отец, может с ума свести. Опыт у них большой, но где же старикам разобраться в этой дьявольски сложной обстановке бурения? Снять их почти невыносимо. Отец не поленился посетить начальника Объединения, и теперь все руководство горой стоит за стариков. Администрировать не приходится.

А попробуй переубедить этих упрямцев! Каждый воображает себя пальваном, способным свернуть с места скалу.

Сафронов, бодрый, загорелый, плечистый, стоял уже у ворот, когда «газик» подъехал к его дому. Аннатувак завистливо покосился. «Просто диву даешься! Такое душевное равновесие... от возраста, что ли?»

Будто почувствовав, что он вызывает раздражение Аннатувака, Сафронов кивнул головой и молча уселся сзади. Машина помчалась на запад.

Погода хмурилась, моросил дождь. Махтум остановил машину, чтобы долить масла, и тотчас слабый ветер донес до инженеров запахи дождя и оживавших растений. Пепельно-серая туча, обложившая горный кряж, опускалась все ниже, словно хотела припасть к равнине. На смотровом стекле недвижно висели капельки дождя.

Махтум мельком взглянул на молчавших пассажиров, хлопнул дверкой и шумно дал газ. Возле курорта Молла-Кара асфальтовая дорога оборвалась, но лихой шофер почти не сбавил ходу, ловко направляя машину по двойной борозде, проложенной в песке сотнями грузовиков.

Все реже попадались кусты саксаула и черкеза на рябоватых склонах невысоких холмов, среди которых бежала машина. За Михайловским перевалом всякая растительность исчезла. Вдруг прорезалось солнце, и гребни барханов заблестели миллиардами искрящихся

песчинок. На тихом ходу машина раскачивалась, как пьяная. Вот снова Махтум перегоняет ее через гряду песков. Что же это: насыпь, сделанная некогда человеческими руками, или гонимый ветрами бархан?.. Унылая дорога напомнила Човдурову историю, которую когда-то рассказывал отец про здешние места...

...Безжалостно светило июльское солнце. Громадные песчаные валы тянулись бесконечной цепью, словно волны в море. Горячий сухой обжигал огнем и разносил сыпучий песок, как соломенную труху. В тучах пыли едва можно было различить высокого худощавого человека в синем чекмене, подпоясанном веревкой, и круглой шапочке на голове. Он шел, шатаясь, не выбирая пути, давно позабыв о своей цели. Растрескавшиеся почерневшие губы были раскрыты, и опаленный рот темнел, как нора, язык распух и не ворочался, человек не мог произнести ни слова. Взгляд потухших черных глаз без слов просил: «Воды!» Под ногами расплавленным свинцом растекался песок, но в мираже казалось, что это вода, что вода течет повсюду. Человек качался из стороны в сторону, спотыкался, падал. Руки по локоть погружались в горячий песок, он не в силах был вытащить их. Он вглядывался в землю, перед глазами сверкали капельки воды, тянулся к ним ртом, и губы прилипали к огненному песку. Ни одной мысли в голове, ни одного воспоминания, ни родных, ни близких... Вся душа прикована к капле воды. Только бы добраться до капли воды, и весь мир расцветет... Он с трудом поднимался на ноги, качался, снова падал, полз, снова поднимался... В мареве миража он видел чьи-то черные глаза. Это глаза сына! Хотел назвать имя, но язык не слушался... Человек упал лицом на пылающую землю, и волны желтого песка неторопливо засыпали его тело.

Шло время, журавли и гуси несколько раз пролетели с запада на восток и с востока на запад. Кости путника да истлевший чекмень нашли в двух километрах от порта Михайловского...

— Барса-гелмез, — пробормотал сквозь зубы Аннатувак, — гиблое место...

— Верно, верно! — подхватил Махтум, не расслышавший, что сказал директор. — Вон уже вышки виднеются...

Машина подъезжала к Сазаклы. Кругом горбились песчаные холмы, в просторной низине стояли два барака, а вдалеке, будто задрав в небо головы, — четыре вышки. Из открытых окон барака на всю пустыню разносилась мелодия из «Лебединого озера».

Сафронов, не в пример Аннатуваку пребывавший в благодушнейшем настроении, сказал:

— Видите, история повторяется. Только мы в те годы жили в Небит-Даге хуже. Радио не было.

— Говорят, что история повторяется, как фарс, — желчно откликнулся Аннатувак, — но сдается мне, здесь она обернется трагедией...

— Экое мрачное воображение! — рассердился Сафронов. — Типун вам на язык! Не каркайте...

— Типун так типун, — неожиданно флегматично согласился Човдуров. — А добра ждать не приходится.

Приехав на место, Аннатувак сразу прошел к начальнику участка Очеретько, выяснил, что, как и следовало ожидать, никаких поводов для негодования у высокого начальства не было. Поторговались по поводу присылки новых бригад. Очеретько стремился широко развернуть работы и кроме того, понимал, что чем больше народа будет занято на новом участке, тем больше оснований требовать улучшения бытовых условий. Вместе просмотрели всю документацию, дружно поругали хозяйственников, у которых без боя не добьешься и метра труб, и, успокоившись за привычным деловым разговором, Аннатувак отправился на буровые.

Когда дошли до вышки Тагана, Аннатувак решил сделать последнюю попытку. Он отвел мастера в будку, усадил на скамью, сам присел на стол и сказал:

— Отец, ты помнишь, что это я издал приказ о твоём назначении сюда, на третью буровую?

— Больше ничего не оставалось делать, — улыбнулся Таган, — тебя заставили...

— А я не спорил, — подхватил Аннатувак, — и теперь жалею.

— Что поделаешь. Это не новость. Только не могу понять, почему жалеешь?

— Ты знаешь, какое тут сложное строение земли, какое расположение пластов...

— Кто боится опасности? — пожал плечами Таган.

— Подземные силы могут неожиданно перейти в наступление, — продолжал Аннатувак.

Старик покачал головой.

— Я, парень, не смогу держать в конверте свою душу!

— И может случиться бедствие, — Аннатувак собрал всю свою волю, стараясь говорить спокойно, вразумить отца.

А тот, нисколько не ценя этих усилий, будто подсмеивался над сыном.

— Конечно, лучше, если не случится бедствия, но стоит ли жалеть, если придется пожертвовать жизнью ради блага народа?

— Риск — хорошее дело, отец. Но не стоит жертвовать жизнью, когда заранее знаешь, что не справишься. Это уж не риск, а самоубийство!

— Ты, наверно, догадываешься, что я не на дороге нашел свою душу и сейчас, под старость, особенно дорожу жизнью.

— А если все-таки другому передать бригаду?

— Никогда! Ты знаешь, что я сам просил начальника Объединения, чтобы разрешил мне здесь поработать. Тойджан меня сменит, когда придет срок...

Эти слова разбредили старые раны. Отец и сын разом замолчали, разом опустили головы. Наконец Аннатувак сделал еще попытку.

— Тойджан не сменит тебя! Мое дело найти тебе заместителя... Ты можешь понять, что меня беспокоит?

— И не могу и не хочу. Мне надоели эти разговоры: «разбитая тарелка», риск, пласты, самоубийство... Все это я слышал двадцать раз, не от тебя, так от Тихомирова, не от Тихомирова, так от тебя... Меня беспокоит другое...

— Интересно! Что же важнее собственной жизни?

— Событие, которое произошло три дня назад.

— У вас тут были события? Мне ничего не рассказывали!

— Разве шум, который тут подняли, стреляя из пушек по воробьям, не донесся до Небит-Дага, не дошел до твоих ушей?



— Не ты ли учил меня всегда, что брань взрослых — польза детям?

— Это когда взрослые учат детей, а когда ишак орет от скуки, никому нет пользы. Так вот, приехал к нам большой начальник. Мы собрались, каждому хочется получить полезный совет, послушать умные слова... И что же? — Старик поморщился, словно отведал горького. — Он вел себя, как бай, пришедший к батраку, как судья, приехавший вершить расправу! Не успел сойти с самолета, как начал глотку драть. Не оставил в покое ни меня, ни тебя. Думается, не только нефтяники, но и берега старого Узбоя и древние Балханы не слышали такого крика. К чему это? Может, своей свирепостью хотел нагнать страху, показать себя? Но ведь это глупость! Ты знаешь, в чем мы все виноваты? Капли мазута вокруг буровой — вредительство и бесхозяйственность! Мы, видишь ли, на этом потеряли миллионы тонн нефти! Я сам всю жизнь борюсь с потерями, но капли — не тонны. Приблизись к котлу — измажешься сажей. Это закон. Тут бояться нечего. Ты бы поглядел на людей, когда он кричал. Все стояли, как на похоронах...

— Не пойму, — сказал Аннатувак, — почему принимаешь это так близко к сердцу?

— Я не тому удивляюсь, — продолжал старик, — что он глупый и дурной человек, а тому, что ему поручили такую ответственную работу. Обидно, когда простыми людьми, занятыми полезным трудом, распоряжаются такие тупицы. Сорняки надо вырывать с корнем! Даже верблюд мычит, когда его бьют палкой, так и мне трудно было стоять молча, когда он орал. Я хотел было сказать, что, если бы дело делалось криком, так ишак правил бы миром, но Кузьмин дернул меня за бушлат. Догадался, что хорошего не скажу. Тут и я вспомнил, что, повесь собаке на шею жемчуг, она облает тебя. Но все-таки жаль, что я ничего не сказал.

— Думаешь, была бы польза?

— Какая там польза, дорогой! Разве старый кобель перестанет лаять, когда велют замолчать?

— А не думаешь, что, если бы твои слова имели крылья и долетели до начальника, в ответ ты получил бы не похвалу?

— Я не из тех, кто любит посудачить за глаза. Может, наш разговор будет камнем, упавшим в колодец, но я не с одним тобой говорил. Вольный ветер развеет солому моих слов, а зерна разбросает повсюду.

— А если до начальника долетит солома, а не зерна?

— Пусть засыплет ему глаза! Как будто в нем дело! Я говорю для того, чтобы каждый поразмыслил над моими словами и не уподоблялся этому ослу.

— Это кто же каждый? — спросил Аннатувак, который уже начинал догадываться, к чему вел разговор отец.

— Ты, например...

— Я, кажется, свое дело знаю!

— Верно. Но не знаешь своего места.

— Что ты хочешь сказать?

— Что у тебя тоже громкий голос.

— Спасибо за урок!

— Мое дело предостеречь...

— Не вижу, чтобы ты сам прислушивался к моим предостережениям.

— Яйца курицу не учат.

— Значит, и говорить не о чем!

Аннатувак схватил шапку и выбежал из будки. Настроение было вконец испорчено. Никто не умел так растревожить начальника конторы, как его отец. Что там Сулейманов или управляющий Объединением! Они ведут деловые споры, а если и услышишь ядовитое замечание — все равно не заденет до глубины души. А после такого разговора с отцом надолго остается ноющая боль, как будто расковыряли зуб.

Очеретько уступил Човдурову свою комнату в бараке, которая служила ему и кабинетом, и директор начал прием рабочих.

Люди были озабочены главным образом бытовыми делами. Кто просил внеочередной отпуск — жена рожала, кто путевку в санаторий, кто хлопотал, чтобы устроить детей в детский сад. Аннатувак хмуро спорил с просителями или так же хмуро соглашался. Он не очень любил заниматься этими, как он выражался, завкомовскими делами. Последним в комнату вошел Тойджан. Он собирался поговорить с Аннатуваком насчет квартиры.

Вопрос о свадьбе был решен в Небит-Даге бесповоротно. Они с Айгюль поклялись больше никогда не ссориться из-за пустяков. Тыллагюзель была оповещена о предстоящем радостном событии, а Тойджан должен был рассказать все Тагану.

До сих пор Тойджан жил в холостяцкой запущенной комнате, в коммунальной квартире. Комната была настолько мала, что Атаджанов не мог даже перевезти в город мать из аула. Квартиру в Небит-Даге, особенно в последние два года, получить нетрудно, но, чтобы дело быстрее пошло по инстанциям, нужно заручиться поддержкой начальника конторы. Тойджан был бурильщиком на ответственной буровой, собирался жениться: он ни минуты не сомневался, что Аннатувак его поддержит. Но начальник конторы встретил иначе, чем можно было ожидать.

Упершись подбородком в кулаки, Аннатувак исподлобья поглядел на бурильщика и спросил:

— Ты кем себя считаешь?

Тойджан опешил. Човдуров говорил так, будто сам вызвал к себе и в чем-то обвиняет. Похоже, что вместо светлой просторной квартиры собирается предложить комнату за решеткой. Однако Тойджана было трудно сбить с толку. Он вежливо ответил:

— Я думал, вам известно, что я бурильщик в бригаде Тагана-ага.

Аннатувак нахмурился.

— Я еще раз повторяю: кем ты себя считаешь?

— Товарищ директор, не понимаю, чего вы хотите от меня? — нетерпеливо сказал Тойджан.

— Ах, вот как! — Аннатувак приподнялся, схватился обеими руками за стол и подался вперед.

— Не понимаешь? Так я спрашиваю, кто ты такой, чтобы морочить голову старику?

Атаджанов дернулся на месте, криво усмехнулся и снова спросил:

— Нельзя ли все-таки сказать яснее?

— Думаешь, я не знаю, чем ты дышишь, чего добиваешься?

Имена Айгюль и Ольги вертелись на языке у Човдунова, но он еще не решался их назвать, хотя красная пелена гнева застилала глаза. Тойджан же никак не мог разгадать причину возмущения.

— Товарищ директор, нельзя ли ближе к делу, — спокойно сказал он.

— Я тебе покажу «ближе к делу»! — совершенно рассвирепел Аннатувак.

— Товарищ директор!..

— Кто халтурит на работе? Кто гонится за проходкой? Кто обманывает простодушного старика? — Не помня себя, Аннатувак взваливал на Тойджана все вины. Все, все в этом человеке вызывало ненависть Аннатувака: и его широкий лоб, и слишком блестящие глаза, и спокойствие, за которым, конечно, скрывается дьявольская насмешка над ними, над Човдуновыми! Но Аннатувак не так прост, как сестра и Таган. Он отбросит этого интригана, как щепку с дороги.

Терпение Тойджана истощилось.

— Что-то не помню, чтобы на нашей буровой, да еще в мое дежурство, были аварии!

— Я тебе не давал слова!

— Отвечаю на ваши обвинения!

— Замолчи!

— Хорошо. Замолчал.

Насмешливый ответ прозвучал как пощечина. Аннатувак почувствовал, что опозорился.

— Ты забываешься! Слишком высоко задираешь нос!

Тойджан промолчал.

— Ты считаешь всех ниже своего колена. А дома ведешь себя так разнузданно, что стыдно об этом и говорить!

— В мою личную жизнь вы не должны вмешиваться.

— Ты будешь мутить чужую жизнь, а я на тебя молча любоваться?

— Чью это жизнь я замутил?

— А кто отравил сердце Ольги? Весь город говорит, что девушку сбили с пути!

Атаджанов вскочил.

— Если будете повторять эту гнусную сплетню — не ждите от меня хорошего!

Аннатувак вышел из-за стола и двинулся на бурильщика.

— И притом ты еще смеешь поднимать глаза на Айгюль, ты ей голову вскружил!

Начальник и бурильщик сходились, как два козла, которые собрались бодаться, а сойдясь, уставились пристальным взглядом друг на друга, будто мерялись, кто выше ростом.

— Я где угодно скажу, что люблю Айгюль, что свою жизнь отдам ради нее! Если это называется кружить голову...

— Замолчи!

— Вы не можете запретить мне ее любить и говорить об этом.

— Я вырву твой язык!

— Я думал, что кровная месть отменена у нас лет сорок назад, а оказывается, среди членов партии еще принято...

— Вон отсюда! — перебил дрожащий от гнева Аннатувак.

— Я не у вас в доме, а в служебном кабинете! Вы даже не поинтересовались, зачем я пришел.

— В последний раз повторяю: убирайся, пока жив!

В дверь постучали, и, не дождавшись разрешения, в комнате появился Сафронов.

— Вы знаете, буровая Атабая просто радуется меня, — сказал он, улыбаясь, — после снятия превентора...

Тойджан, не дожидаясь, пока он кончит, вышел из комнаты, а по тому, как Човдуров комкал окурок, инженер понял, что тут произошел крупный разговор.

— Что случилось? — спросил он.

— Этот бурильщик — большой подлец. Если вовремя не принять меры, не вмешаться, он доведет до аварии буровую старика. Надо его уволить!

— Если мы будем увольнять таких бурильщиков, как Атаджанов, кого же оставлять?

— Не вижу ничего хорошего в этом проходимце.

— А что скажет Таган-ага?

— Конечно, не согласится.

— Вот видите. Буровая вашего отца очень ответственная... Куда это годится: без разрешения мастера менять бурильщика? Вы знаете, как это может понять Таган-ага?

Аннатувак прекрасно понимал: Сафронов намекает на то, что опять разразится скандал. Старик решит, что ему мешают работать, хотя не мытьем, так катаньем заставить уехать из Сазаклы.

— Вопрос трудный, поэтому и советуюсь...

— Ну, от меня не услышите того совета, какого вам хочется. Пойдемте-ка лучше посмотрим фотографии Очеретько. Снимает одни барханы, а какое разнообразие!

Проклиная в душе и Очеретько, и барханы, и вечную любознательность Сафронова, Аннатувак поплелся вслед за ним с видом человека, осужденного на пожизненное заключение.

Ночью Сафронов проснулся. Под кошмой и кожаным пальто было не холодно, но лежать на полу, на тощем ватном матрасе непривычно жестко. Посетовав про себя, что прошли те годы, когда спал без просыпу в землянке на Вышке, он прислушался. В домике было тихо. Значит, Аннатувак не спит. Сафронову не раз приходилось ездить с ним в командировки, ночевать в одной комнате, и всегда Аннатувак засыпал быстро, как младенец, и всю ночь напролет безбожно храпел. Если сейчас тихо — Аннатувак наверняка не спит. Видно, нелегко ему дается дисциплина...

За долгие годы, проведенные на промыслах, Сафронову приходилось работать в разных условиях и с разными начальниками. Он очень хорошо знал, какая беспросветная тоска охватывает человека, вынужденного выполнять бессмысленные, с его точки зрения, задания. А ведь Аннатувак не скрывает, что по-прежнему не верит в нефтеносность Сазаклы. Надо только удивляться, что он ринулся в это дело с таким темпераментом. Не позавидуешь сейчас его настроению. Как ни тяжело с ним работать, а честность его все-таки подкупает. Из дня в день сшибаешься с ним, отстаиваешь свое мнение, в этой борьбе и в голову не приходит поставить себя на место своего начальника. Сейчас, в ночной тишине, Андрей Николаевич испытывал только сочувствие к Аннатуваку, которого знал еще мальчишкой. В сущности, где-то в глубине души он относился к нему, как к сыну. Как помочь? Многократно доказано, что спорить и переубеждать бесполезно. Хотя бы рассеять, отвлечь, показать, что свет не клином сошелся на буровых в Сазаклы.

— Аннатувак! — окликнул он Човдурова.

— Не спите? — удивился тот.

— Поедем на охоту?

— Когда?

— А прямо сейчас. На Большой Балхан. Скоро рассветет, до вечера домой успеем.

Аннатувак заворочался в темноте.

— Ружей нет.

— Есть в багажнике, я сам просил Махтума захватить...

— Сулейманов совещание геологов назначил. Просил быть...

— Без вас проведут.

— Да и настроения нет, — признался наконец Аннатувак.

— Вот, вот! В этом-то вся и штука! Вставайте! Настроение появится.

— Откуда вы знаете?

— Ладно. Отставить настроение. Дело есть. Поищем-ка место для дома отдыха. Помните, летом была такая идея?

— А еще говорят про мою энергию! Вот кому удивляться надо, — ворчал Аннатувак, натягивая сапоги. — Среди ночи искать место для дома отдыха! Расскажешь — никто не

поверит...

К горам подъехали затемно. Под крупными, рассыпанными по небу, как кукурузные зерна, звездами стоял Большой Балхан. Его безмолвный покой нарушала только эта маленькая машина, расстилавшая за собой хвост пыли, выхватывавшая из мрака светом своих фар то скалу, то ущелье, то глубокую рытвину на дороге.

Казалось, все уснуло, но вот, как угольки, загорелись в темноте два глаза. Не моргая, они с минуту глядели на машину и вдруг исчезли, и только пушистый хвост завилял на освещенной дороге.

Смотровые стекла машины были открыты, сидевший впереди Аннатувак целился из ружья в лисицу, но, как ни старался взять на мушку, она ускользала. Сойти с дороги машина не могла — кругом ухабы и ямы. Как ни уговаривал Аннатувак ринуться напрямик, шофер Махтум и Сафронов не хотели рисковать.

— Стоит ли тратить заряд на эту мелкую воровку, — говорил Андрей Николаевич, — нарушать выстрелом покой гор? Потерпим немножко, может, попадется что-нибудь получше.

Но Аннатувак, загоревшийся при виде добычи, жалобно стонал:

— Андрей Николаевич, хвост ее мне нравится! Хвост!

— Эх, как говорится, «и добыча пестрой гончей не нужна, и вонь ее не нужна». Так и нам с вами не нужна эта лисица, и хвост ее не нужен.

Но Човдуров, не слушая, повторял:

— Эх, хвост ее мне нравится, хвост хорош! Жми, Махтум!

Пока шофер раздумывал, как выйти из затруднительного положения — и с дороги сойти, и машину сохранить, лисица исчезла. Човдуров недовольно покачал головой:

— Удрала... Ты тоже упрямый, Махтум, не слушаешь, что говорят...

— Товарищ начальник, я считал, что ваша жизнь ценнее лисицы.

— Смелый не думает об опасности!

Андрей Николаевич, боясь, что Аннатувак обидит шофера, вмешался в разговор:

— Смелый, смелость... Что за повод для громких слов! Ради смелости, например, никто со скалы не бросается...

Когда охотники, не доезжая Огланлы, в рассветной полутьме свернули на проселочную дорогу, возле кустарника снова загорелись чьи-то глаза. На этот раз они были крупнее, зверь не кружил, как лиса, и, словно замороженный сильным светом, не отводил глаз от фар. Они, должно быть, ослепляли зверя, он не двигался с места, хотя машина была уже метрах в сорока. А когда раз за разом загремела двустволка в руках Аннатувака, все увидели, как сероватая туша рухнула на дорогу словно подкошенная.

Подъехав к подбитому волку, Махтум вынул из-за пояса нож и хотел снять шкуру, но Аннатувак воспротивился. Он считал, что не стоит задерживаться. Если въехать на вершину пораньше, можно подстрелить архара или умгу, только нужно поторапливаться. Махтуму волчья шкура была очень нужна. Существует старый, веками укоренившийся обычай: если подарить пастухам шкуру волка, они отдадут лучшего барана из стада. Махтуму не раз удавалось таким образом получать мясо, он помнил, какая вкусная чехыртма получается из

двухгодовалого барана, и сейчас при виде убитого волка представил себе дымящийся котел, даже почудилось, что в нос ударил запах баранины. «Не беда, что начальник спешит, — утешал он себя, — не сейчас, так после сдеру шкуру. Время зимнее, туша не скоро испортится». И подтащил к машине убитого волка.

Но Аннатувак запретил везти с собой и тушу.

— Махтум, не пачкай руки в поганой крови!

— Товарищ Човдуров...

— Понимаю. Получишь с меня столько, сколько рассчитываешь заработать на этой шкуре. Пусть поганая падаль лежит при дороге, чтобы все видели, чтобы мясо сожрали шакалы, а глаза расклевали птицы!

Шофер оттащил тушу на пригорок у дороги, но на душе у него было безотрадно. Допустим, Аннатувак как-то возместит убыток, думал он, но кто же скажет, что именно Махтум убил волка? Кто воздаст ему хвалу, кто будет удивляться? Просто не поверят. Найдутся еще и такие шутники, что посмеются: «Бери выше, Махтум!» И как только Аннатувак не понимает?

Махтум молча сел за руль, повел машину, но, даже проехав с десятков километров, все еще чувствовал себя обездоленным и несчастным.

Сафронов не зря вспомнил про дом отдыха. Нефтяникам дача очень нужна. Чтобы попасть на ближайший курорт, в Чули, надо ехать почти сутки в поезде. Давно собирались они с Аннатуваком взобраться на Большой Балхан. Северные склоны горы заросли арчой. Старики рассказывали, что некогда на вершине Балхана были богарные посевы, что летом в нагорных лугах пасли свои стада кочевники-скотоводы. Кто знает, может, найдется укромная лощина, где можно выстроить дом отдыха?

Подростком Аннатувак ходил на Балхан с дядей. Он смутно помнил, что где-то стояли пушистые арчи, с гор бежали ручейки, куропатки слетались к воде... Вспоминалось что-то очень красивое, что может присниться только во сне. Но где это место? Сейчас припомнить трудно, а может, и не было ничего необычного и все только разукрасило детское воображение?

Сафронов тоже восходил на гору в первый год своего пребывания в Небит-Даге. Но тогда и в голову не приходило, что можно в этих краях мечтать о дачах и домах отдыха. В те годы гора считалась почти недоступной. На ишаке, на лошади трудно взбираться на высоту в две тысячи метров. Только в прошлом году грунтовая дорога потянулась к вершине Балхана. Ее пробивали с помощью взрывчатки, ямы и рытвины закидали камнями.

В утренних сумерках угловатый силуэт горы навис над дорогой, словно черная туча. Вместе с ночной тьмой исчезли волки и лисы, зато стремительно проскакал лопухий заяц, над кустами вспорхнули птицы. Возле Патмы путь сделался круче. На скалах играли тучки. Они то громоздились, как бутоны хлопка, то таяли, как распушенная шерсть, то низко висели бахромой над петлявшей дорогой и даже задевали брезентовый верх машины. И тогда охотников прохватывало сыростью. До сих пор Аннатуваку казалось, что он хорошо помнит горный пейзаж, но сейчас с изумлением оглядывал угловатые скалы, провалы ущелий, валуны, напоминавшие круторогих баранов. Разноцветные выходы геологических пластов опоясывали скалу, вкрапленные в них слюдяные блестки резко сверкали на утреннем солнце. Прозрачные капельки воды, булькая, падали со скал на дорогу. Величественные арчи клонили тяжелые ветви, как бы здороваясь с неутомимым «газиком». Пепельно-серые куропатки перебежали с места на место. Зачарованный этим зрелищем, Аннатувак, не отрываясь, смотрел по сторонам.

Иначе относился к красотам природы Махтум, искусно проводивший машину по крутой и неровной дороге. Руки и ноги его находились все время в движении, а мысли были обращены к подножию горы, точнее — к тому пригорку, на котором остался убитый волк. Может быть, туша все-таки уцелеет и на обратном пути удастся подобрать? Желая разрешить свои сомнения, Махтум спросил:

— Товарищ Човдуров, волки пожирают своих мертвецов?

— Хищники неразборчивы, — коротко ответил Аннатувак. — Если дотянется, то и свой хвост съест.

Махтум совсем приуныл. «Ну и дурак же я! — говорил он себе. — Положим, волки не едят убитого товарища. Но кто откажется от вкусного бараньего мяса? Какой шофер, проезжая мимо, не кинет в машину тушу? Да и слава достанется ему: убил, мол, волка!»

Между тем Аннатувак с каждой минутой все больше воодушевлялся.

— Взгляните, Андрей Николаевич, там гора круглится, точно яйцо, здесь вздымается к небу, будто горб упитанного верблюда... А вода струится, прозрачная, словно глаз журавля... Вот красота!.. Если брать отсюда напрямик, до Небит-Дага, верно, не больше двадцати километров, но там сейчас ходят без пальто, а тут лежат шапки снега. Вон глядите, иней белеет вдоль дороги, будто мука просыпалась...

Слушая, как восторженно, точно мальчишка, лепечет Аннатувак, Сафронов радовался, что затея удалась и Човдуров начисто забыл про Сазаклы.

— Сколько веков, — сказал он, невольно впадая в тот же восторженный тон, — сюда заходили только редкие любознательные путники, а нынче Махтум довез нас за два часа почти на самую вершину. Пришли сюда и геологи... Небит-Даг дает нефть, Балхан — уголь, свинец. Может, и более драгоценные металлы здесь найдутся?

Упоминание о драгоценных металлах пришлось по душе не только Човдурову, но и Махтуму. Он подумал, что некоторые камешки в самом деле блестят, как золото, но, поразмыслив, решил, что все же лучше сегодняшняя требуха, чем завтрашний курдюк, и снова принялся обдумывать, как бы подобрать брошенного волка.

Наконец машина выскочила на вершину. Здесь раскинулось холмистое плоскогорье, освещенное солнцем, покрытое сухой прошлогодней травой. Выросшие на просторе арчи были раскидистее, чем на склонах, а некоторые давно засохли. Махтум подумал: «Вот где дрова! Потребуется караван машин, чтобы увезти только одно дерево. Под каждым может улечься целая овечья отара».

Как и предполагал Махтум, по горной дороге прошла не только его машина. Спускался вниз новенький «ГАЗ-69», доставивший сюда геодезические приборы, вдали трактор тянул тяжело груженные машины. Не успели проложить дорогу, а уже на горе начиналась жизнь.

Охотники вышли из машины и направились к самому пику горы. Отсюда, как на ладони, были видны Патма, Каразем и Огланлы на северо-западе, а на юго-западе — Вышка и Кум-Даг. Развалины древней крепости тянулись чуть ли не на километр. Човдуров подумал, что крепость имела важное стратегическое значение, но, когда высказал это соображение Андрею Николаевичу, тот не согласился: ведь на горе большое поселение не могло существовать — слишком ограничены посевные площади, да и мало воды, труден крутой подъем. Вернее было бы предположить, что это была летняя резиденция какого-нибудь хана. Такая догадка показалась Аннатуваку убедительной, и он спросил:

— Может, знаете историю этой крепости?



Сафронов пожал плечами.

— Я — нет. Может быть, вы знаете?

— Даже старики не вспоминали!

Махтум лихо сдвинул ушанку, выпятил грудь, ядовито улыбнулся и сказал:

— А я вот знаю!

Оба инженера обернулись к нему.

— Ну-ка, Махтум!

Шофер сделал вид, что не расслышал, и начал неторопливо вышагивать вдоль полуразвалившейся стены. Решив, что он хочет найти какое-то примечательное место, инженеры двинулись следом, но Махтум нигде не задерживался и только прибавлял шаг. Аннатувак наконец потерял терпение.

— Куда ты идешь, Махтум?

Наслаждаясь невинной местью за волка, брошенного на дороге, Махтум, не оборачиваясь, ответил:

— Хочу измерить, сколько тут шагов в окружности.

— Разве история крепости связана с твоими шагами?

— Торопливость от шайтана, — наставительно сказал Махтум, — терпение от создателя.

Аннатувак догнал Махтума и, схватив за плечи, повернул к себе лицом.

— Разыгрываешь нас, что ли? За кого нас принимаешь?

— Вас, товарищ Аннатувак, за начальника, а товарища Андрея — за главного инженера, — ответил Махтум с полной серьезностью.

— У тебя все шарики в порядке? Или совсем голова перестала работать?

— Действительно, товарищ начальник, она у меня сейчас неважно работает. Все думаю, думаю...

— О чем?

— Думаю, что произошло там, на дороге. Съели ли волки труп или кто унес? Или все еще лежит на том же месте?

Взбешенный Аннатувак схватил шофера за плечи и так встряхнул, что ушанка слетела с головы.

— Давай рассказывай, что слышал о крепости.

Сафронов, которого развеселило упрямство Махтума, подошел поближе.

— Значит, вас интересует история крепости? — переспросил Махтум и нагнулся. — Подождите, сейчас шапку надену... Не знаю, когда она развалилась, эта крепость, только построена была четыре тысячи лет тому назад.

— Откуда узнал?

— Помнил я, товарищ Аннатувак... — Махтум погладил свою голову и взглянул на шапку, — но вот замерзла голова, и все забыл. Если мозги не согрею, пожалуй, и не вспомню.

Аннатувак, побежденный упрямством шофера, пожаловался:

— Видите, Андрей Николаевич, как он над нами издевается...

— Когда воля не в твоих руках, товарищ начальник, слабеет язык, — кротко заметил Махтум.

— Ну, надевай шапку, пусть соберутся мысли и окрепнет язык!

Махтум отряхнул шапку, надел на голову, потом присел на камень и начал рассказ.

— Историю этой крепости я слышал от Сапджана-ага...

— Кто этот Сапджан?

— Садовника из Дашрабата зовут Сапджан. Однажды возле Дашрабата мы встретились у старой крепости. Я говорю: «Ба, какая старая крепость! Интересно, когда ее построили»? Сапджан-ага ответил: «Две тысячи лет тому назад». Я удивился. Тогда он сказал: «Ты этому не удивляйся. Вот на Балхане есть развалины крепости. Ее построили четыре тысячи лет тому назад — вот чему ты удивляйся!» Так он об этой крепости говорил.

— Откуда же садовник знает про крепость? — спросил Сафронов.

— Сапджан обошел все крепости с одним ученым. Тот все рассказывал...

— Кто же этот ученый?

— Как его звали? — Шофер почесал затылок. — Что-то связанное с телом человека. Подожди-ка... Не то круглый, не то гладкий... Нет, не то... Вспомнил, вспомнил! Толстый!

— Археолог Толстов?

Кто же в Туркмении не знает Сергея Павловича Толстова, много лет ведущего археологические изыскания в западных пустынях! Поэтому инженеры поверили рассказу Махтума. Только Сафронов подумал: «Толстов, верно, сказал, что крепость выстроена четыреста лет назад, а Махтум ради красного словца приумножил в десять раз — на него это похоже...»

Довольный собой и своим рассказом, Махтум снова надел шайку набекрень.

— Да, товарищи, — важно сказал он, — не думайте, что в голове шофера — пыльца камыша. Если что еще не освоили после пятнадцати лет учения, обращайтесь к малограмотному Махтуму. Не стыдно спросить, чего сам не знаешь, и у простого человека.

— Кстати, уж расскажи нам, какой хан построил эту крепость, что за народ жил здесь? — сказал Аннатувак.

На этот раз Махтум немного смутился.

— По правде говоря, этого Сапджан не знал. Если он не ошибается, этого не мог бы сказать и Толстов.

Сафронов задумался над происхождением слова Балхан. Когда-то он слышал и даже в свою тетрадь записал, будто Балхан происходит от слова вулкан. Но это толкование и тогда казалось неправдоподобным, — ведь по всему каспийскому побережью туркмены называют вулканы «патлавук».

— Аннатувак Таганович, откуда это слово — Балхан?

Човдуров искоса поглядел на Махтума.

— Где уж мне знать, это пусть Махтум расскажет.

— Сказать правду, не слыхал, не знаю этого, — признался шофер и вдруг просиял, словно нашел игрушку. — Впрочем, если не ошибаюсь, Балхан происходит от «Бей уллукан» [5].

— Нет, Махтум, не так, — мягко возразил Човдуров. — Балхан происходит от слов «Бал акан» [6].

— «Протекал мед»? Подходит! Только я нигде не вижу тут меда.

— А видишь, какая жизнь была когда-то вокруг этой крепости?

— Ну, когда это было...

— В древности Узбой протекал между Большим и Малым Балханами к Каспийскому морю. В те времена это был прекрасный край, поэтому реку называли Узбой, то есть «Красивый берег», а воду его сравнивали с медом. Вот откуда название Балхан! А когда Аму-Дарья сменила свое русло, отказалась от Узбоя, жизнь в этом краю заглохла, и остались на память только развалины крепости.

Аннатувак закурил. Сафронов продолжил рассказ о прошлых днях этого края:

— Ты, должно быть, удивляешься, Махтум, что в Небит-Даге так хорошо принялись бульвары и сады. Отойди на километр — ни травинки. А ведь все очень просто: нашли под землей воду — озеленили город. Вспомни-ка, встречал ли ты здесь, на западе, хоть один благодатный уголок, кроме долины реки Атрека? А недалеко то время, когда снова в наших краях потечет мед. Но покуда, как говорят, до прихода палки годится и кулак — надо искать воду и под землей и ценить каждую каплю не меньше, чем нефть...

Удрученный ученостью начальников, Махтум начал заводить «газик». Машина двинулась по плоской вершине Балхана. Тут уже не было никакой дороги, и шофер прокладывал колею по своему разумению, делая неожиданные зигзаги и виражи.

Все утро Сафронов любовался Човдуровым. Во всем, что тот говорил и делал, было столько детского и привлекательного, что трудно представить, как тяжел, упрям, хвастлив бывает он временами. Сегодняшняя стычка с Махтумом вовсе не была похожа на ссору начальника с подчиненным. Так ссориться могли только два товарища: один — простодушный, вспыльчивый, нетерпеливый, другой — хитрец, прикидывающийся простаком. А как Човдуров интересуется историей Туркмении, как неожиданно обнаруживает интерес к филологии. Хотелось бы знать, способен ли он когда-нибудь трезво оценить свое собственное поведение? Задумывался ли хоть раз в жизни над самим собой?

— Аннатувак Таганович, расскажите-ка о своем детстве. Ну, хотя бы о вашем самом первом воспоминании... — вдруг сказал Сафронов.

— А почему вас это интересует?

— Да потому же, почему я спросил вас о Балхане. Все что-то хочется понять, во всем разобраться...

Аннатувак задумался.

— Как ни странно, — помолчав, сказал он, — самое раннее воспоминание жизни связано у

меня с этой горой. Мы ведь здешние, прибалханские. Когда был маленьким, мы жили у колодца Молла-Кара Сами знаете — пустыня. Курорта тогда не было. Дров ближе, чем за пятнадцать километров, не найдешь. На себе не дотащишь. И вот отец купил ишака у соседа. Как хвалил сосед своего ишака: «Быстроходный осел! Дисциплинированный осел! Очень порядочный осел!» И на следующий день после покупки мы с двоюродным братом поехали за саксаулом к подножию Балхана. Мне — восемь лет, брату — девять. Мучились, мучились, пока нарубили... Саксаул — это же не дерево — чугун! Пришло время укладывать дрова — осел не ложится. Мы и уговаривали его, мы и били его — ничего не помогает. Уперся, как... осел, и — никакого к нему подхода! Верно говорят: с ослиным упрямством ничего не поделаешь. На всю жизнь запомнил...

Сафронов с трудом удерживал улыбку.

— А где теперь ваш брат?

— На Челекене. Разнорабочим на промыслах.

— Как странно. Вместе росли, а теперь ему до вас и рукой не достать...

— Ничего странного. Не захотел учиться, вот и мыкает горе. Да если бы и захотел, может, тоже недалеко ушел бы. Я вот кончал с Васькой Сметаниным, вы его знаете — он сейчас инженером в производственном отделе на Кум-Даге. Как пришел из института на эту должность, так и сидит по сей день на том же месте. Лежащий камень...

— Кулиев, кажется, тоже вместе с вами кончал? — поддел Сафронов.

— Кулиев теперь работал в Ашхабаде заместителем председателя совнархоза.

— У него связи, — отмахнулся Аннатувак, — я сколько лет работаю, представления не имею, как это продвигаться по знакомству...

— А у Сангалиева, вашего друга, который теперь в Красноводском райкоме партии, тоже связи?

— Так он же по партийной линии пошел, — простодушно удивился сравнению Аннатувак. — А я нефтяник! Меня с бурения бульдозером не выковыряешь.

Сафронову стало скучно. Таким он видел Аннатувака каждый день на работе. Разговор известный: Аннатувак все знает лучше всех, Аннатувак всего добивался сам, и все прочие ему в подметки не годятся.

«Газик» между тем спускался с пологого склона и наконец остановился перед глубоким ущельем. Аннатувак и Сафронов вышли из машины и глянули с обрыва. Вспугнутое шумом, стадо айраков скакало по камням противоположного склона. Встреча была совсем неожиданная, и Аннатувак не сразу даже схватился за двустволку, но быстро опомнился, и вслед айракам загредел выстрел. Пока Аннатувак перезаряжал ружье, стадо, выскочившее на плоскогорье, пустилось вскачь, оставляя за собой облачка пыли. Однако выстрел был метким: один айрак бился на земле, вспахивая желтый песок крутыми рогами. Копыта разбрасывали камни, трава оросилась кровью. Стиснув зубы, красивое животное водило по сторонам выкатившимися невидящими глазами.

Минут через десять охотники уже подбежали к раненому айраку. Охваченный спортивным азартом, Аннатувак старался ухватить его за рога, но Махтум, заглянув в глаза айрака, вдруг испытал жгучий стыд. Эти измученные глаза, казалось, говорили: «Где же мои товарищи? Где?... Ты ли пустил огонь в мое тело, сломил мои крепкие ноги, кровью наполнил мой взор? В чем же я виноват? Где же мои товарищи, где?» Глаза жаловались и просили: «Помогите! Не

лишайте воздуха, широких степей, привольной, мирной жизни...» Постепенно затухал свет в глазах, туманились зрачки, тяжелели веки... Но айрак бился. Аннатувак наконец ухватился за рога, но никак не мог дотянуться ножом до горла и кричал:

— Махтум, держи за ноги!

Махтум неловко кинулся исполнять приказ, а айрак острым копытом, как ножом, полоснул его по ногам. Шофер отпрянул, а Сафронов навалился на айрака и придавил его.

Кровь текла с оцарапанной ноги, но Махтума огорчало вовсе не это. Он с понурым видом разглядывал голенище сапога: айрак распорол его от верха до подошвы. Отвалившись от айрака, Аннатувак заметил, что шофер не на шутку расстроился.

— Не огорчайся из-за пустяков!

Махтум, обвязывавший свой сапог тряпкой, мрачно буркнул:

— Для шофера сапоги не пустяки.

— У меня есть две пары. Эти отдаю тебе. — И Човдуров постучал ногой об ногу.

Давно заглядывавшийся на сапоги Аннатувака, Махтум оживился.

— Ай молодец, товарищ Човдуров! Вот за эту доброту я хвалю начальника везде и всюду. Всегда говорю, что он хороший парень!

— Смотри, подхалимы часто и палку себе зарабатывают, — пошутил Аннатувак.

Но Махтум безудержно веселился:

— Если ты наденешь на меня такие сапожки и толстый бушлат, никакая палка не возьмет!

— Есть ли предел твоей жадности? Одень тебя — потребуешь, чтобы женили...

— Ай, товарищ директор, сам знаешь — двоеженство запрещено! Вот если переселишь в домик вроде твоего, я не возражаю!

— Раз у тебя такой большой аппетит, грузи айрака на машину.

— Если выпотрошить — погружу, а так мы и втроем не поднимем.

Но и выпотрошенный айрак был все еще тяжел, и Махтум с трудом уложил его в машину.

Охотники тронулись в путь и скоро увидели далеко на западе черные точки. Похоже, что там стояли дома или скирды сена. Решили проверить: место жилое, может быть, годится и для дома отдыха? Машина кружилась, то возвращалась назад, то спускалась в лощины.

Когда приблизились к цели, черные точки действительно оказались домами, только очень странной архитектуры. Наполовину они были врыты в землю, верхняя часть сколочена из крепких стволов арчи. Между домиками росли деревья, на земле разбросаны шкуры джейранов, повсюду торчали столбики для навешивания янлыка, в котором сбивают масло. Как видно, тут останавливались на лето кочевники-скотоводы. Место они выбрали широкое, ровное, хоть аэродром строй, но проточной воды поблизости не было.

Махтум развел костер из веток арчи и нанизывал на шомпола печенку айрака, мягкие кусочки с окороков. Човдурова удивляла предусмотрительность Махтума. Кто ему говорил, чтобы он захватил шомпола? Откуда знал, что будет мясо для шашлыка? Аннатувак никак не мог привыкнуть, что Махтум всегда подготовлен к счастливым неожиданностям. За поясом у него

нож, чтобы свежевать добычу, в машине — походный чайник, чашки и большой бидон с водой.

Ладони и губы Махтума лоснились от жира, он находил, что шашлык из айрака великолепен. Аннатувак и Сафронов забыли про все заботы. Всем троим казалось, что такого приятного отдыха, такой вкусной пищи не сыскать нигде на свете.

Все холмы похожи друг на друга, поэтому нелегко найти среди них свой путь. Махтум повел машину по тропинке, протоптанной лошадьми, думая, что она приведет к дороге. Вечерело. Чтобы зайти, солнцу оставалось спуститься на высоту копыя. Тени теперь тянулись не к западу, как утром, а к востоку... Не успел Махтум порадоваться, что выехал на дорогу, как открылась глубокая впадина, «газик» с ходу чуть не опрокинулся в нее. Махтум нажал на тормоз, машина качнулась и остановилась у самого края ямы. Аннатувак подпрыгнул на сиденье, стукнулся головой о верх, хотел было выругать шофера, но, увидев перед собой глубокую яму, поблагодарил его про себя за то, что остался жив. Впадина была почти квадратная, глубиной метра в два. С одной стороны ее огибала тропинка, протоптанная лошадьми. Ехать невозможно — слишком узко. Если повернуть назад да искать дорогу — придется проделать еще километров пятьдесят — шестьдесят, рискуя так и не найти обратного пути. К тому времени зайдет солнце, а в темноте и вовсе не разберешься...

Посоветовавшись, охотники решили устроить переправу. Заполнить яму камнями немислимо, слишком велика, оставалось только выстроить стены, по которым пройдут колеса. Работали старательно, но неровные камни держались неустойчиво, стены покачивались, как люльки, чуть сместится центр тяжести — и все сооружение рухнет. Не всякий решился бы вести машину по таким ненадежным мосткам. Но Махтум, полный веры в себя, не раздумывая, завел мотор. Машина качнулась, из-под колес полетели камни. На минуту показалось, что и сам «газик» тоже разлетелся на куски. У пассажиров захватило дыхание. Еще рывок, и машина спокойно остановилась по ту сторону ямы.

— Молодцы твои родители! — облегченно вздохнул Аннатувак.

— Родители родителями, — сказал Сафронов, — но надо отдать должное искусству Махтума. Мало кто на это способен!

Шоферу очень хотелось поблагодарить Сафронова, сказать: «Наконец-то слышу правду о себе». Но он решил, что это будет нескромно.

Аннатувак поддержал инженера:

— Правильно! Молодец, Махтум!

Обрадованный Махтум пустил машину вниз с горы и вдруг, забыв обо всем, запел песню. Пел он, правда, недолго. Протяжная мелодия оборвалась сразу, как туго натянутая веревка. Может, он вспомнил о волке, оставленном на дороге, может, представил, как придет домой и начнет хвастать перед женой: «Хаджи-биби, ты гордись своим мужем! Я застрелил айрака, я!»

Глава сорок вторая

Аман хочет помочь

Нурджан лежал на диване с газетой в руках, ожидая брата. С минуты на минуту Аман должен был вернуться домой. Не читалось. Газетные строчки прыгали перед глазами, каждый абзац

Нурджан перечитывал несколько раз, а все равно мысли уносились в сторону. Как хорошо в этой пустоватой бирюзовой комнате! Нурджан не чувствовал ее холода и неуют, которые постоянно мучили Амана. Только свобода и покой. Свобода... После шумной ссоры с матерью, когда он покинул отчий дом, Нурджан сразу хотел бежать к Сафроновым, но благоразумие одержало верх. Что, собственно, он может сказать Ольге? Что она больше никогда не услышит обидных слов от его матери, что он не хочет дышать одним воздухом с женщиной, оскорбившей любимую? О, сказать можно много, сердце рвется от невысказанных слов! Но надо сказать правду. А куда он денется? Согласится ли Аман приютить его? А вдруг не захочет? Чувство беспомощности, бессилия прозрачной пленкой заволакивало глаза. Что может быть тяжелее: сделаться взрослым человеком, стать, что называется, на ноги, иметь собственные взгляды на жизнь и терпеть, что в самые дорогие твои чувства вмешиваются, распоряжаются тобой, как несмышленищем... Нет, одинокий Аман в тысячу раз счастливее!..

Одинокий Аман с пожелтевшим от усталости лицом и появился в эту минуту на пороге. Он бросил портфель на стол, помахал в знак приветствия рукой брату и пошел умываться. Перед приходом он звонил домой, знал, что Нурджан ждет, и понимал, что это не случайное посещение. Сразу он заметил осунувшееся за день лицо брата, набухшие тяжелые веки, вздрагивающую родинку на щеке и дал себе слово не расспрашивать его ни о чем, пока сам не захочет поделиться своими горестями.

Вернувшись в комнату, Аман раскрыл портфель, протянул Нурджану журнал.

— Свежий «Огонек», почитай пока...

А сам присел за пианино и одной рукой стал подбирать мелодию «Пиалы». Аман был музыкален и пел не сильным, но приятным, низким баритоном.

«Что было бы, если бы ты своими руками преподнесла нам пиалу?» — негромко напевал он, а потом перешел на арию из «Кёр-Оглы» — «Увидел тебя». Невольно вспоминалось, как бесшумно бегала по этой комнате Марджана, ее карие, ясные глаза, открытый, твердый взгляд и неожиданное смущение и робкое признание...

А Нурджан только растревожился сильнее и шепотом повторял слова, которые напевал брат: «Тебя увидел и влюбился и страдаю, о милая, ты сердце мое унесла...» Кто подрезал крылья моей душе? Кто посмел воздвигнуть цементную стену между мной и Ольгой? К чему жить на свете, когда родная мать вонзает кинжал в сердце? Конечно, мать виновата во всем! Да нет, неправда, — во всем виноват древний адат, отравивший ее мысли. Почему так долго не можем уничтожить старое? Почему оно побеждает нас, заставляет блекнуть сверкающие листья жизни? Как безысходно горька судьба...»

Аман захлопнул крышку пианино и обернулся к брату, удивленный долгим молчанием.

— Ты не уснул?

— Какое... — безнадежно махнул рукой Нурджан.

Парторг походил по комнате, потом сел за стол, выдвинул ящик, достал чертежную бумагу, кнопки и снова обернулся к Нурджану.

— Может, улыбнешься?

— Не получится.

— Есть такие стихи русского поэта Тютчева, с институтской скамьи еще запомнились: «И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений — самоубийство и любовь». Похоже?

— Очень, — вздохнул Нурджан.

— Так не томись! Укорачивай сроки!

— Сроки, говоришь?

— Ну конечно. Ближе к свадьбе...

— Мать оскорбила Ольгу, — сказал Нурджан и повернулся лицом к стене.

— Чем удивил. Это не беда, лишь бы не ты оскорбил...

— А по-моему, беда.

— Ты что же, не понимаешь, что твое счастье в твоих руках? Или, может, испугался матери, хочешь ей вручить свою судьбу?

— Ты ничего не понимаешь, Аман. Не понимаешь, как унижительно, когда все вмешиваются в самые затаенные твои чувства, вмешиваются грубо, бесстыдно... Если хочешь знать, мы с Ольгой и о любви-то прямо никогда не говорили, а ты сразу о свадьбе! Неинтересно это у вас как-то получается...

Аман с удивлением посмотрел на брата и улыбнулся.

— Я понимаю, — сказал он, — даже прошу простить меня за грубость. Со стороны все кажется просто. Но подумай, когда я вижу, что молодой человек валяется, как невод с дохлой рыбой, тоже ведь противно становится. Газета брошена на пол. Ты не читал, ты, как в мертвую точку, уперся в свою беду — мать оскорбила Ольгу! Ты глубоко несчастен, твою душу залапали грязными руками, и выхода нет... Если прыщик расчесать, может сделаться нарыв, глубокая рана, заражение крови, можно даже умереть при большом желании в конце концов... Как это так получается, что ты все время думаешь о своем несчастье, а не думаешь о счастье?

— Где же счастье? — прошептал Нурджан.

— Подними газету. И представь себе, что ты мог бы жить не в Советской Туркмении, а в Иране, в Ливане, в Ираке и все твое счастье заключалось бы в том, чтобы в день есть не одну горстку риса, а две. И такое счастье все равно было бы недостижимо. Твою страну, твой народ сжимали бы кандалы, надетые американцами. Ты опустишь глаза и увидишь, как нефть, добытая из-под земли твоим кровавым потом, течет по трубам в танкеры, а танкеры плывут за море, к чужим берегам. Ты поднимешь глаза и увидишь, как над большим белым домом, построенным на твоей земле, над зданием, куда тебя никогда не пустят, реет чужой многозвездный флаг. Ты придешь домой, ты — хозяин нефти, ее добытчик, ее властелин — и зажжешь свою коптилку, чтобы проглотить свою горстку риса, и без сил свалишься на земляной пол, и уснешь под грязным, рваным лоскутом...

— Подожди, подожди... — говорил пристыженный Нурджан.

— Нет, слушай! Твой отец сейчас в пустыне, он обогащает родной край, украшает родную землю. Ей, Туркмении, цвести цветами там, где сегодня грузовик тонет в песках, и Атабай — герой, уважаемый всеми, достойный человек. Ты туркменский мальчишка, сын рабочего, и любое будущее открыто перед тобой. Совершай усилия — и добьешься всего! Ах, Нурджан, Нурджан... Где же счастье?

Нурджан спустил ноги с дивана, он сидел, выпрямившись, готовый к спору. Слова брата задели за живое.



— Завидую тебе, Аман, — сказал он, — если ты умеешь каждый день жить в таких масштабах. Но ведь это же надо на цыпочках все время ходить, головой к потолку тянуться, чтоб существовать в мировом масштабе! Есть величины, не подвластные человеку.

— Пустяки! Самое опасное заблуждение. Все подвластно человеку! Не сегодня — так завтра. В математике нет понятия неизмеримая величина, но есть выражение — неправильный масштаб. Вот и не теряй масштаба! А если трудно — не жалея усилий! Что поделаешь, даже на свет божий появиться трудно, лбом дорогу пробивать приходится... — Аман говорил теперь, улыбаясь, терпеливо прикалывая кнопками бумагу к доске. Нурджан устыдился и подумал, что лучше бы он рассказал о своей судьбе, чем приплетать к разговору жизнь иранского юноши. Но тут же понял, как нескромно и самодовольно это выглядело бы, и проникся нежностью к Аману.

— Значит, выше голову? — спросил он.

— А то как же! — рассмеялся Аман.

Анна Ивановна, домработница Амана, внесла в комнату поднос с чайниками и пиалами. И сразу уютно запахло свежее испеченным пирогом.

— Приятно смотреть, когда родня, а смеются, — сказала она, — прямо как голуби...

— А то как же! — повторил Аман.

— А то бывает, как сычи, — неторопливо говорила старуха, расставляя посуду, — усядутся по углам и молчат... Вот попробуйте пирога с орехами и урюком, как меня ваша мамаша учила, а то завтра воскресенье, опять в Кум-Даг поеду. Пусть хоть сегодня, как у людей, и мы с пирогами будем...

Старуха удалилась. Нурджан разлил чай и без обиняков задал вопрос, который вертелся на языке:

— Аман, можно к тебе переехать?

— Буду рад. Вторая комната пустует. Только...

— Что только?

— Только неужели покинешь мать?

— Из-за нее-то и хочу уехать. Как я буду смотреть в глаза Ольге, если останусь дома?

— Так-то оно так... — Аман помолчал. — А не жалко тебе старуху?

— Конечно, жалко, но, сам знаешь, словами ее не убедишь.

Дверь широко распахнулась, и в комнату вошла Мамыш. Она робко моргала редкими, выцветшими ресницами, бледные губы дрожали, голова, окутанная белым платком с синими розами, беспомощно тряслась, дрожали и пальцы, придерживающие платок у подбородка.

— Мама! — обрадовался Аман. — Вот хорошо, как раз к чаю!

Радость его была непритворной. Ему было жалко старуху, которой угрожало одиночество. Он надеялся примирить ее с братом.

— Вот какой редкий случай, — продолжал он, — почти всей семьей собрались. Можно и поговорить, можно и договориться...

— Едва ли, — прерывающимся голосом сказала Мамыш. — Не знаю, что делать, твой брат думает совсем не так, как я...

— Чтобы мыслить одинаково, надо понять друг друга.

— Что же делать, дорогой, если он не понимает моих желаний? — Мамыш говорила робко, казалась совсем подавленной.

— Тогда ты пойми его!

— Аман-джан, хоть ты не терзай моего раненого сердца! — тихо сказала старуха. — Нурджан хочет ввести в мой дом...

Нурджан, боясь, что мать опять примется поносить Ольгу, не выдержал:

— Мама! Прекрати!

— Вот видишь, Аман, я еще ничего не сказала, а что услышала?

Аман остановил ее:

— погоди! Как я понял, Нурджан собирается жениться. Правильно?

— Ах, дорогой, это и моя мечта! Но он...

Нурджан снова перебил мать:

— Не говори о ней!

Все сочувствие Амана было на стороне брата. Он решил тверже говорить с матерью.

— Пойми, что Нурджан хочет привести к тебе в дом не чучело, которое безгласно будет сидеть в углу, а свою любимую, свою единомышленницу, с которой надеется прожить всю жизнь. Какое же ты имеешь право мешать молодым?

— Но ведь это Нурджана могут обмануть синие глаза, а я эту проходимку в дом не пущу! — Мамыш начала горячиться.

— Мама, довольно!

— Ах, ты уже успел сговориться с ним?

— Думай, как хочешь, но никто не посмеет оторвать сердце Нурджана от Ольги!

— Нога этой Олге не вступит в мой дом!

— Ты знаешь, на свете есть столько домов, где можно жить! Есть мой дом, есть Ольгин, да и в квартире Нурджану не откажут, если он окажется семейным человеком.

— Ой, горе мне! — закричала Мамыш. — Собственные дети хотят заживо похоронить меня! О горе, горе...

Напускная кротость старухи внезапно улетучилась. Она сверкнула глазами на Нурджана, вытащила из кармана смятый конверт и поднесла к его лицу.

— Читай! Может, тогда разберешься, чего стоит мать, чего стоит Олге! Я жалела тебя, не показала дома письмо... Но раз ты бежишь от меня — читай!

Нурджан схватил письмо, с каждой строчкой глаза его все больше округлялись, родинка

трепетала на щеке. Он прочел до конца и снова начал, шепча про себя некоторые фразы, будто стараясь запомнить наизусть, потом скомкал письмо и бросил на стол.

Мамыш испуганно следила за ним, забившись в угол дивана. Два часа назад, наплакавшись после ссоры с сыном, она ринулась искать Нурджана и встретила Дурдыева. В ответ на упреки старухи, что он вносит разлад в семью, что из-за него Мамыш обидела скромную девушку, Дурдыев, гримасничая и подмигивая, достал из пиджака этот конверт и прочел вслух письмо, не оставлявшее сомнения в отношениях Тойджана и Ольги. Это Ханык посоветовал ей поискать Нурджана у старшего брата, это он научил, как соврать, когда спросят, откуда к ней попало письмо. И верно, Нурджан сразу спросил:

— Где ты взяла его?

— Нашла на полу под вешалкой в прихожей, там, где висело ее пальто, — храбро соврала Мамыш и вдруг прикрыла рот рукой. Вспомнив, что Ольга даже не раздевалась в доме, она испугалась, что ее могут уличить.

Аман перевел глаза со скомканного письма на брата, Нурджан понял и махнул рукой.

— Читай...

Разглаживая странички, Аман вглядывался в незнакомый почерк.

«Ольга! Я знаю, что это письмо ранит твое сердце, и мне больно писать его. Но правду надо сказать. Я люблю тебя. После той ночи в колхозе, когда ты отдала мне все, что только может дать женщина, моя любовь благоухает в сердце, как только что раскрывшаяся роза. Но преграда, стоящая между нами, подобна острому мечу. Я слаб и не могу преодолеть ее. Еще до нашей встречи я полюбил Айгюль. Теперь я вижу, что это была не любовь, а тень любви, но тогда я еще не знал, что такое истинное чувство, и признался Айгюль. Об этом знает вся ее семья, знает и грозный Таган-ага — мой начальник, знает и бешеный Аннатувак — мое главное начальство. Что я перед ними? Ничтожный бурильщик. Эта семья, если захочет, сотрет меня в порошок. Я знаю, разлука с тобой будет мучить меня, быть может, унесет меня в могилу. Без тебя хлеб для меня — яд, вода — отравка. Как много может открыть одна ночь человеку! Но что делать — не жди меня! Ты говорила, что Нурджан Атабаев, этот мальчик, без ума от тебя. Иди к нему. Но не забывай обо мне. Пусть то, что случилось в колхозе, клеймом оттиснется в твоей душе и на твоём теле. Перед последним своим вздохом я издали полюбуюсь на тебя и буду знать, что живу в твоём сердце. Пусть я останусь на задворках жизни, с нелюбимой женой, пусть я погрязну в болотной тине, но я буду счастлив, если память обо мне сохранится в твоей душе навеки. Не жди меня. Пыль от твоих ног в последний раз делаю сурьмой для своих глаз.

Тойджан».

— Ты веришь? — спросил Аман, дочитав письмо до конца.

— Мне говорили про них еще раньше. Тогда я не поверил, а теперь...

Аман стоял в раздумье. Толкать брата в объятия развратной девушки — безумие. Но жизненный опыт подсказывал, что в этом письме таится какая-то фальшь. Как проверить это?

— Ты объяснись с Ольгой, — сказал он, — это письмо — обвинительный акт. А даже в суде дают слово обвиняемому...

— Ах, прошу тебя, не рассуждай! — воскликнул Нурджан. — Когда ты рассуждаешь, все выходит так гладко, только... неправильно.

— Где же моя неправда?

— Ты сказал — прыщик... — горько улыбнулся Нурджан. — Это не прыщик — ножевая рана... В сердце нож повернули.

Аман опустил голову, но упрямо повторил:

— Нет, ты должен с ней поговорить!

— О чем говорить? Я даже видеть не могу ее сейчас! Как я пойду на промысел? — Нурджан подбежал к брату, схватил за руку. — Я знаю, что делать! Слушай, завтра воскресенье, у меня еще есть два переработанных дня. Скажи Айгюль, что я уехал, что отец заболел, скажи что хочешь! А я бегу. Мне Сарыбай говорил, что сегодня гонят новый вездеход в Сазаклы!

И, схватив плащ, Нурджан выбежал из комнаты.

Аман поглядел на мать. Та, неподвижно сжавшись в углу дивана, прослушала весь разговор братьев, в глазах ее стояли слезы. Но Аману не было ее жалко.

— Довольна? — спросил он укоризненно. — Неужели не могла показать сначала мне, посоветоваться со мной, с отцом?..

— Когда у Нурджана распухла щека и он, катаясь по кровати, кричал от боли, я ни с кем не советовалась, а понесла его в больницу. Резали щеку, рвали зуб, кровь текла из моего сердца... Но теперь-то он здоров!

— Ай, мама! Боюсь, что сейчас ты вырываешь ему здоровый зуб.

Глава сорок третья

Где ты, Нурджан!

Что может быть тоскливее бесплодного ожидания?

Два дня Ольга просидела у окна в своей комнате, выбегала на все звонки в прихожую, а Нурджан так и не пришел. Приходилось врать — она сказала домашним, что заболела, и не выходила к столу. Сдерживаясь, она ласково выпроваживала из комнаты маленькую Верочку, когда хотелось просто прикрикнуть на нее. Приходилось даже улыбаться — вечером в воскресенье появился Сулейманов и захотел обязательно навестить «нашу бедную больную».

В английской книжке, которую она пыталась читать в эти дни, попало выражение: «Время мчалось беспощадно быстро», и Ольга горько рассмеялась. Бывают же такие счастливыцы! Время тянется беспощадно медленно!

Теперь она не только знала, но и чувствовала, сколько часов в сутках, сколько минут в часе, сколько секунд в минуте... А Нурджан все не шел.

Стена в ее комнате, возле которой стояла кушетка, выходила на лестничную клетку. Каждый шаг идущих по лестнице отзывался болью в Ольгином сердце. Сколько народу живет в соседней квартире! Сколько гостей ходит к брату! Ей никто не нужен, кроме Нурджана, а Нурджан не идет...

Неужели эта злая старуха сказала правду и он любит другую? Да нет, он не способен обманывать... Снова легкие шаги на лестнице, кто-то бежит, перепрыгивая через ступеньки... Это Нурджан! И снова хлопает соседняя дверь, будто прихлопывая последнюю надежду. А на что надеяться? В столовой пробило одиннадцать, никогда Нурджан не решится прийти в такой поздний час.

Выбежать бы на улицу, вскочить в автобус, домчаться до Вышки и, высоко подняв голову, войти к Атабаевым: «Здравствуй, Нурджан!» Черт с ней, со старухой! А вдруг и он сам скажет: «Я занят, не могу проводить»? Нет, хватит вчерашнего позора! До сих пор нельзя забыть, как возвращалась от Мамыш. На каждую туфлю будто налипла тонна грязи. Еле до дому дотащилась... Надо терпеливо ждать завтрашнего дня, надо щадить свое достоинство, потерпеть, пока он сам не разыщет ее на промыслах. А сейчас — спать, спать!.. А сон не шел, и снова слышались шаги на лестнице и веселые голоса — соседи возвращались из кино.

В понедельник Ольга работала во вторую смену, а Нурджан с утра. Она нарочно пришла пораньше, чтобы он успел разыскать ее, чтобы было время для серьезного разговора, но Нурджан так и не появился. Расспрашивать товарищей не хотелось — еще подумают, что она гоняется за Нурджаном, и Ольга медленно поплелась осматривать свое хозяйство.

К вечеру погода испортилась. Было не холодно и не ветрено, но красноватое солнце, висевшее над землей на высоте копья, заволокло желтым туманом и не грело и не светило. В этом мутном мареве бескрайняя, простиравшаяся к западу пустыня впервые в жизни показалась Ольге страшной. Солнце спускалось все ниже, на землю полз тяжелый туман. Сквозь мутно-белую ватную завесу просвечивала тревожная красная заря, и лампочки скважин мигали, как затухающие угольки. Ни звука вокруг — весь мир, словно кладбище. Оглушающая тишина. Будто во всей широкой степи от дороги до горизонта только и слышно, как бьется сердце Ольги. Не поймешь, быстро ли шагаешь, медленно ли, — ноги двигаются легко, тяжелые мысли придавливают к земле. Сквозь ажурную арматуру фонтанирующих скважин светилось красноватое, подернутое туманом небо, станки-качалки с глубинными насосами кланялись без конца, будто утешали: «Не горюй, все идет хорошо, будь спокойна, Ольга, не горюй...»

Вот и кончилась тишина. К юго-востоку от Ольгиного участка начался подземный ремонт скважины. Слышался грохот подъемника, звон тонких труб и жалобный скрип тросов. Этот скрип хватал за сердце. Тоскливые мысли складывались по-новому. Может быть, что-нибудь случилось с Нурджаном? Может, он заболел и мучается сейчас. Стыдно думать только о себе, жалеть только себя, когда с другом случилась беда! Теперь уже не было страшно в этой беспредельной степи с мигающими огоньками скважин. Только бы помочь Нурджану! Он еще мальчик. Это неважно, что он старше Ольги, все равно мальчик, беспомощный и беззащитный. Все ее девятнадцатилетнее сердце было захвачено сейчас материнским чувством. Уже материнским или еще материнским, как у девочки, недавно игравшей в куклы, кто знает?..

Если бы сейчас, в темноте, Нурджан вышел из-за той дальней качалки, Ольга обняла бы его, прижала и ни слова не сказала о своей обиде. Чего там... Так бы и ходить от качалки к качалке, так бы и слушать звонкое пенье труб, далекий скрип тросов, как лучшую музыку на земле. Пусть их выгонит из дому мать, пусть брат не захочет их видеть, так даже лучше. Все равно они всегда будут вместе в этом огромном безлюдном мире. Жажда подвига во имя любви, неслыханного самопожертвования с настойчивой силой овладевала Ольгой, и ей становилось легче.

Она сдала вахту сменщику, позвонила домой предупредить, что останется на работе, и отправилась спать в красный уголок. Она твердо решила дождаться Нурджана и не расставаться с ним весь день.

Лежа на жестком диване, прикрыв ноги коротким ватником, Ольга не могла уснуть почти до утра. За окном с шумом проносились самосвалы, в углу звонко стучали костяшками домино, оглушительно хлопали дверьми рабочие и операторы, забежавшие в красный уголок погреться. Шум не прекращался ни на минуту, но усталость наконец взяла свое, и Ольга уснула.

Когда она проснулась и вышла из комнаты, рабочий день был в полном разгаре.

По дороге и прямо по пескам шли грузовики, «газики», самосвалы. Народ сновал вокруг конторы, тракторы тянули за собой тяжелые грузы, оставляя на влажной земле змеистые следы. Около ремонтируемой скважины басовито гудел подъемник, ремонтники тянули тонкие штанги. На заборах, на стендах, а то и просто на столбах были расклеены лозунги и плакаты, призывавшие повысить производительность труда. И среди всей этой сутолоки нигде не было Нурджана. Может быть, он пошел к дальним скважинам? К утру туман рассеялся, и в чистом воздухе было видно далеко. На горизонте маячили какие-то фигуры, но ни одна не была похожа на Нурджана.

Смущаясь, Ольга стала расспрашивать, где Нурджан, но толку так и не добились. Кто-то сказал, что он был, но уехал, другой, что не вышел сегодня на работу, третий слышал, что Нурджан заболел, кому-то показалось, что Айгюль говорила о нем по телефону. Айгюль как раз и уехала куда-то на «газике». На этом сходились все.

Что же делать? Возвращаться домой и пребывать в мучительной неизвестности — невыносимо. Идти к Атабаевым и снова встречаться с Мамыш — унижительно. Ольга металась между двумя огнями, куда ни ступишь — обожжешься. Однако вернуться домой, не повидавшись с Нурджаном, она не могла.

Она сама не заметила, как пустилась в путь, как дошла до западного поселка Вышки. Правда, сейчас ноги несли не так легко, как два дня назад, когда она впервые шла к Нурджану. Вспомнилась любимая с детства сказка Андерсена про маленькую русалочку, которая попросила, чтобы ей дали ноги вместо хвоста, хотя знала, что каждый шаг будет причинять мучительную боль.

Да, наверно, все повторится, как прежде. Мамыш встанет в дверях и скажет: «Зачем снова пришла сюда, девушка? Мои глаза не соскучились по тебе». А Нурджан, должно быть, больше всего на свете боится матери, он нырнет головой под одеяло и забормочет: «Долго еще будешь ходить за мной? Не стыдно тебе? Оставь меня в покое!» Ну что ж, это и есть дорога любви. Так и пойдет она босыми ногами по острым камням, как маленькая русалочка.

И Ольга зашагала храбрее. Поселок с новенькими домами показался теперь добрым и приветливым. А вдруг старуха на этот раз поймет, что была неправа, и встретит ее как родную: «Ольга-джан, прости глупую старуху, и дом мой, и сын мой, и душа моя пусть будут твоими!» А Нурджан выбежит навстречу, и родинка запрыгает от радости на его щеке.

Взволновав себя этими мыслями, Ольга посмотрела на свою спецовку и остановилась в нерешительности. Как же все-таки идти в гости в ватнике? Но тут же успокоилась — рабочего вида нечего стесняться. Вот только не причесывалась она сегодня и гребенки нет...

Она переходила через улицу, погруженная в свои мысли, и не слышала, как машина, просигналив несколько раз, резко затормозила около нее.

Из кабины выскочила Айгюль.

— А кыз Ольга, что с тобой?

Ольга очнулась, но не знала, как объяснить, что в самом деле происходит с ней.

— Я вот иду... — растерянно сказала он...

Айгюль заглянула ей в глаза, оглядела с головы до ног, заметила растрепанные волосы, утомленный вид.

— Что-нибудь случилось?

— Нет... Ничего не случилось.

— К Нурджану идешь?

— Да-да! — обрадовалась Ольга, что Човдурова так легко говорит об этом посещении. — Он заболел?

— Нет, кажется, здоров. Только уехал в Сазаклы.

— Его послали в командировку? — быстро спросила Ольга.

— Ну зачем мы будем посылать кого-нибудь в Сазаклы? Там же разведка!

— Тогда почему же он?

— Да не знаю... — Айгюль замялась и проницательно посмотрела на Ольгу. — Звонил его брат, говорил, что у него какие-то неприятности... Не знаешь, какие?

Ольгу обдало жаром. Неужели Мамыш отправила Нурджана к отцу, чтобы они больше не встречались? И он послушался?

— Я не знаю, — сказала Ольга, — он мне не звонил.

— Вот тебе и на! — удивилась Айгюль. — Ну, садись в машину, подвезу до автобуса. Значит, не звонил, говоришь?

Ольга молчала. Она устроилась в «газике» рядом с Айгюль и старалась изо всех сил не выдать себя, казаться спокойной. На крутом повороте машину тряхнуло. Ольга почти упала на Човдурову, и та почувствовала, что девушка дрожит мелкой дрожью.

— Ты простудилась? Больна?

— Нет, просто голова болит. Домой бы поскорее.

— От головной боли не бывает озноба. Зачем скрываешь от меня? Я же не враг тебе...

Ольга уронила голову на плечо Айгюль и горько заплакала, впервые за два дня.

Глава сорок четвертая

Брат и сестра

Аннатувак Човдуров никогда не был педантом и мелочным человеком, он прекрасно понимал, что успех любого предприятия решает удар на главном направлении, и тут был беспощаден и

к себе и к другим. Когда товарищи удивлялись его гигантской пробивной силе, он, пожимая плечами, говорил: «Но я никогда бы не простил себе ни одной упущенной возможности!» И верно, добиваясь цели, не упускал ни одной возможности, какой бы бесплодной ни казалась попытка на первый взгляд.

С такой же обстоятельностью он относился и к своим домашним делам. Честь семьи, ее вес в общественном мнении были для него очень существенны. В свое время, когда Тыллагюзель искала у Аннатувака поддержки, чтобы расстроить брак Айгюль с Керимом, она не нашла сочувствия. Самый церемониал сватовства, национальность будущего зятя не имели никакого значения в глазах Аннатувака. Иначе обстояло дело с Тойджаном. После разговора с Дурдыевым, после бесплодной попытки запутать самого Атаджанова в голове, как заноза, сидела мысль, которая однажды с такой ясностью возникла: «Он играет нами, Човдуровыми!» Здесь тоже нельзя было упустить последней возможности, и Аннатувак решил раскрыть глаза Айгюль. По телефону он предупредил сестру о своем приходе.

Торжественное это предупреждение насторожило Айгюль. Брат не часто баловал родственников посещениями. В отсутствие Тагана это намерение казалось совсем странным, но Айгюль не была теперь склонна беспокоиться о чем-нибудь заранее. После примирения с Тойджаном вся жизнь представлялась ей сказочно прекрасной. Мало ли что могло случиться с Аннатуваком? Он помрачнел за последнее время, но как будто сделался мягче. Люди меняются, растут. Может быть, как ни трудно представить себе такую честь, он хочет о чем-нибудь посоветоваться с сестрой? Все бывает... Айгюль улыбалась воспоминаниям. Как и во всех туркменских семьях, в семье Човдуровых мальчика любили больше и больше прощали ему, но самым забавным казалось сейчас, что и она мирилась с установленным порядком, старалась заботиться о брате, во всем угождать ему. Когда выросли, перестали вспоминать об этом, и при встречах Аннатувак любил говорить с сестрой о делах, как бы подчеркивая, что он теперь изменился, стал новым, передовым человеком. Айгюль не очень-то верила в серьезность этих перемен.

Когда брат появился, Айгюль приняла его весело и приветливо, усадила за большой стол, прямо против окна. Косые лучи заходящего солнца освещали усталое лицо Аннатувака, оно смягчилось, казалось спокойным и добродушным.

Тыллагюзель, думая, что у детей секретный разговор, удалилась на кухню, но, кажется, эта предосторожность была излишней. Аннатувак рассказывал Айгюль о Кум-Даге. Кум-дагские промыслы были любимым детищем Нефтяного объединения. Благодаря счастливому расположению пластов нефть там добывалась легко, скважины залегали неглубоко, и кум-дагский трест из года в год завоевывал Красное знамя республики. Когда Аннатувак рассказывал о кум-дагских буровых, лицо его принимало самодовольно-скромное выражение, как у счастливого отца, когда он слышит об успехах отличника-сына. Айгюль с удовольствием поддерживала эту мирную беседу, и постепенно ее безоблачное настроение начало раздражать брата. Неужели она воображает, что он явился сюда без всякой цели, только чтобы поделиться впечатлениями о Кум-Даге?

Терпение его наконец лопнуло, именно тогда, когда сестра подробно, со знанием дела, толковала о способе вторичной добычи нефти, широко применявшейся в Кум-Даге.

— Айгюль! — перебил Аннатувак и опустил голову, словно стыдясь того, что собирался сказать. Помолчав немного, он продолжал: — Конечно, не очень-то хорошо заводить мне этот разговор, но раз уж начал — скажу: ведь тебе как будто не мало лет?

К Айгюль сразу вернулась настороженность.

— Не пойму, что ты хочешь сказать?

— Могу яснее: ты долго еще будешь одна?



Заметив, как пальцы Аннатувака нервно катают по столу спичечный коробок, Айгюль поняла, что он волнуется, и насмешливо ответила:

— Собрался замуж меня выдавать?

— У тебя всегда хватало самостоятельности влюбляться без помощи родителей и брата.

— О чем же тогда беспокоиться?

— Да Лучше уж замуж, чем быть предметом сплетен для всего города...

Айгюль подумала, что он вспоминает случай с Керимом, и решительно прервала:

— Не стоит возвращаться к прошлому.

— А как избежать повторения в будущем?

Девушка пристально посмотрела на брата.

— Хотела бы я знать, куда ты гнешь? — сказала она как бы про себя. — В голове чужие мысли, на языке колючки... Не мучай себя, выкладывай все, что тебя смущает, и успокойся.

Аннатувак уже собрался ответить грубостью, но в комнату вошла Тыллагюзель с чайниками. Он натянуто улыбнулся и обратился к матери:

— Мне очень жаль тебя...

Тыллагюзель испугалась, старательно поплевала себе за ворот и, удивленно подняв брови, спросила:

— Что-нибудь случилось, Тувак-джан?

— Трудно сказать точно, но скоро, кажется, ты останешься одна.

Тыллагюзель совсем разволновалась.

— Неужели опять война? Тебя снова забирают в армию?

— Нет, нет, не волнуйся. Речь не обо мне, а об Айгюль.

— Об Айгюль?

— Что же пугаешься, не век же дочь будет жить с тобой?

— Ах, ты об этом? Конечно, если в доме останутся два старика, жить будет неинтересно, я думаю...

— Ну и как же ты готовишься к свадьбе?

— К свадьбе? — переспросила Тыллагюзель и посмотрела на Айгюль. Она никак не могла понять, рассказала ли дочь Аннатуваку о Тойджане, и наконец нашла дипломатический ответ:

— Спрашивай у Айгюль. Она лучше знает.

— Но, по-моему, Айгюль не торопится?

Сердце Тыллагюзель растаяло от внимания Аннатувака к сестре. Ей очень захотелось поделиться своей радостью.

— Недавно Айгюль сказала: «Мама, ай, мама...», — таинственно начала Тыллагюзель.

Действительно, вернувшись домой после примирения с Тойджаном, Айгюль сказала: «Мама, ай, мама, не сегодня, так завтра будем справлять свадьбу. Только той будет у нас в доме. Как ты на это смотришь? Не говори потом, что не слышала, — народу соберется много!» Испугавшись, что мать повторит ее слова, Айгюль перебила:

— Мама, ай, мама, занялась бы ты ужином!

Старуха сразу поняла намек.

— Вий, ну и память у меня! Тесто, наверно, убежало!

Аннатуваку было совершенно достаточно и того, что успела сказать Тыллагюзель.

— Я вижу, вы уже готовитесь к свадьбе?

— Возможно, — бодро сказала Айгюль.

— Так неожиданно, не сказав никому...

— Ах, зачем трезвонить людям о деле, которое еще только начинается?

— Ты считаешь меня посторонним человеком?

Айгюль стало жалко брата.

— Кем же мне считать брата своего, как не душой своей?

— Зачем же тогда тайны?

— Какие еще тайны?

— Неужели тебе мало, что однажды обманулась?

— Я уже просила не говорить об этом!

Аннатувак хлопнул себя по колену.

— Ну, есть ли в твоей голове хоть капля разума?

— Где же мне, бедной женщине, блистать умом? — улыбнулась Айгюль. — Была бы умная, не пачкалась бы в нефти, а тоже сидела бы где-нибудь директором.

Она хорошо знала, как побольнее уколоть брата.

— Айгюль, — прорычал он, — мне не до шуток!

— Не может быть! — расхохоталась Айгюль. — Бедный мой! Тебе все еще кажется, что продолжается наше детство?

— Это ты не забывай, что я уже отец ребенка!

— Ах, прости, пожалуйста! И поэтому с тобой надо говорить, склонив голову, безропотно соглашаясь?

— Айгюль! — крикнул Аннатувак, потухшая папироса вылетела изо рта и испачкала пеплом белую скатерть, но он ничего не замечал. — Думаешь, я не знаю, в чьи сети ты попала?

— Тем лучше. Но зачем же кричать?

— Затем, что я не хочу, чтобы ты позорила нашу семью!

— Ты в своем уме?

В неистовстве Аннатувак уже бил кулаком по столу, папиросная коробка подпрыгивала, папиросы высыпались на стол.

— Ты даже не можешь понять, что попала в лапы предателя! Он отравляет все вокруг себя!  
— закричал он.

— Это о чем ты хочешь мне рассказать? — тихо спросила Айгюль.

— О том, о чем говорит весь город! — крикнул Аннатувак. — Атаджанов живет с Ольгой Сафроновой!

— Кле-ве-та! — перекрыв Аннатувака, крикнула Айгюль.

Тыллагюзель прибежала из кухни и испуганно сказала:

— Айгюль-джан, ты звала меня?

Сейчас Айгюль была взволнована больше, чем брат. Он нашелся раньше.

— Мама, тебя никто не звал. Лучше последи-ка за своим тестом, как бы оно не убежало из миски...

— Не до теста, когда от вашего крика того и гляди стекла вылетят из окон, — проворчала Тыллагюзель, неохотно удаляясь.

— Так ты хочешь сказать, что никогда не слышала о связи Атаджанова с Ольгой?

— Второй раз слышу, но если бы слышала тысячу второй, так же не поверила бы, как сейчас!

— Надо же так потерять голову! Забыть о своем достоинстве, о чести семьи наконец!

— В самом деле поразительно! — согласилась Айгюль, она уже овладела собой и могла снова говорить в ироническом тоне. — Просто поразительно, как образованный человек, инженер, начальник конторы, опускается до уровня Эшебиби.

— При чем тут Эшебиби? — огрызнулся Аннатувак.

— А разве не она рассказала тебе эту гнусную сплетню?

— Только у меня и времени языки чесать со старухами!

— Но от кого же ты узнал? — допытывалась Айгюль. — А, понимаю! Когда секретарь говорит, что у вас с Сафроновым и Сулеймановым идет лирический разговор, вы обсуждаете, кто с кем живет?

— И ты можешь себе представить, что я позволю Сулейманову вмешиваться в мои семейные дела?

— Он недостойн? Но кто же этот свет сердца твоего, друг закадычный?

— Никто... — буркнул Аннатувак, представив себе дергающуюся, гримасничающую харю Дурдыева.

Айгюль совсем разыгралась.

— Никто? Значит, об этом по радио уже сообщают? Но тогда поздно принимать меры. После драки кулаками не машут, как говорит моя подруга Ольга Сафронова.

— Прекрасных друзей ты себе выбираешь.

— А ты наперсников!

Этой насмешки Аннатувак не мог выдержать.

— Я и не выбирал никого. В том-то и дело, — сказал он, — что совершенно посторонние люди рассказали об этом. Тут и скрывать нечего. Ханык Дурдыев удивился, какую змею отогрел мой отец на своей груди.

— Интересно... — задумчиво сказала Айгюль. — Значит, ты так близок с ним, что обсуждаешь свои семейные дела?

— Он специально пришел, чтобы сообщить об этих слухах. И я благодарен этому человеку. Но довольно тебе заниматься расследованиями, я не за этим пришел сюда.

— Вот как?

— Я пришел требовать, чтобы ты отказалась от Атаджанова.

— Это самая неудачная мысль, какая только могла прийти тебе в голову!

— Я покажу тебе, что удачно, что неудачно!

— Ты, видно, забыл, что те времена, когда ты таскал меня за косы, прошли?

— Откажись от него, если не хочешь довести меня до преступления! Этот хитрый бурильщик обманывает тебя, обманывает отца... Если хочешь знать, он отнял у нас отца!

— Теперь понятно, почему ты лезешь на стену, — надменно сказала Айгюль. — Только запомни на всю жизнь — для меня нет человека чище Тойджана, благороднее Тойджана, лучше Тойджана! Свою судьбу я вручаю в его руки.

— Я эти руки...

— Замолчи!

Аннатувак обошел стол и приблизился вплотную к Айгюль.

— Если ты твердо решила растоптать мою честь, то знай, что завтра же его не будет ни в Сазаклы, ни в Небит-Даге!

— Может быть, тебе удастся загнать его в Антарктику? Но ты тоже знай, что мое сердце всегда будет с ним, а его — со мной!

— Я растопчу ваши сердца!

— Замолчи, дикарь!

— Как, как ты меня назвала?

— Дикарь! Дикарь с высшим образованием!

Брат и сестра стояли так близко, что казалось, еще минута, и они вцепятся в горло друг другу, но в комнату, громко стуча сапогами, вошел Таган. В бушлате, измазанном глиной и нефтью,

до бровей заросший седой щетиной, он остановился около стола, беззвучно пошевелил губами и сказал вслух:

— Что видят мои глаза?

Айгюль со стоном кинулась к нему на шею. Огрубевшие пальцы старика гладили шелковистые волосы дочери. Аннатувак дрожащими руками чиркал обгоревшей спичкой по коробку, пытаясь закурить.

Тыллагюзель, прибежавшая из кухни с посудой, расставляла тарелки и, желая внести мир и успокоение, весело говорила:

— Вот и хорошо, что отец приехал! Теперь-то уж по-настоящему начнем готовиться к свадьбе!

Глава сорок пятая

Кто же мутит воду?

— Айгюль, ты ничего не боишься? — спросил Аман, когда они вдвоем вышли из Нефтеобъединения на широкую площадь Свободы, продуваемую всеми ветрами.

— Ну что ты! — удивилась Айгюль. — Пендинки боюсь, скорпионов боюсь, фальшивых людей...

— Не то. Я хочу тебя пригласить в ресторан. Потолковать надо, а больше, кажется, негде. Не боишься, что в городе о нас заговорят?

— Если верить моему брату, в городе только и делают, что говорят обо мне. Хуже не будет. Пошли!

По совести сказать, Айгюль с большим удовольствием отправилась в ресторан. За всю жизнь она только два раза была там, да и то на служебных банкетах, когда вход посторонним был запрещен.

За две минуты пересекли площадь и очутились в единственном в городе ресторане «Восток». Айгюль с жадным любопытством приглядывалась ко всему, что попадалось на глаза. Пожилая гардеробщица в пестрых шерстяных носках и остроносых азиатских калошах приняла одежду у пришедших и переменила пластинку на проигрывателе: на попечении этой женщины была и музыкальная часть. Молоденький капитан с изрытым оспой лицом причесывался перед зеркалом. «Верно, очень хочет кому-то понравиться», — подумала Айгюль.

Они поднялись наверх по неширокой лестнице. Большой светло-зеленый зал с золотым и белым орнаментом сиял корабельной чистотой. Стулья в полотняных белоснежных чехлах, крахмальные скатерти, тюлевые занавески на окнах, хрустальные вазочки с бумажными салфетками — все сверкало.

Народу было немного. За двумя сдвинутыми столами, уставленными стеклянными кувшинами с пивом, сидела компания пограничников, в углу нежные влюбленные, чтобы отдалить минуту расставания, распивали ижевскую воду. Из репродуктора бодро бил вальс Штрауса.

— А ведь тебе тут очень интересно, — заметил Аман, исподтишка наблюдавший за Айгюль.

— Конечно! — согласилась девушка. — Я же по-настоящему-то в первый раз в ресторане. Только в кино и видала, как это бывает...

— А брат, говоришь, недоволен твоим поведением?

— Чуть не с кулаками лезет на меня!

— Ты шутишь? Из-за чего же?

— Как тебе сказать... — замялась Айгюль. — Ты умеешь хранить тайны? (Аман молча кивнул). Так вот. Я выхожу замуж за Тойджана Атаджанова. Только мне не хочется пока кричать об этом на всех перекрестках... Но Аннатувак узнал все от матери и обещал, что я больше не увижу Тойджана ни в Сазаклы, ни в Небит-Даге.

— Почему же он так настроен против Тойджана?

— Потому что по городу ходит сплетня, что Тойджан живет с Ольгой Сафроновой.

— Это ведь неправда? — с надеждой спросил Аман.

— Можешь не сомневаться, что самая гнусная клевета, — пожала плечами Айгюль. — Но как все запуталось вокруг этой подлой сплетни. Позавчера я отвозила домой Ольгу Сафронову. Девчонка заболела от горя! Нурджан уехал, не позвонив ей. Попросту говоря, сбежал в Сазаклы. А почему? Как ты думаешь?

— Вот чтобы во всем разобраться, я и хотел поговорить с тобой наедине. Признаться, раньше всего я хотел бы знать — веришь ли ты Тойджану?

— Больше, чем самой себе! — не задумываясь, ответила Айгюль.

— Так сильно любишь? — недоверчиво спросил Аман.

— Так хорошо знаю, — отпарировала Айгюль.

— Тогда прочти! — И Аман подал письмо Тойджана, найденное Мамыш.

Девушка быстро пробежала письмо и бросила на стол.

— Это писал не Тойджан! — воскликнула она. — Почерк не его, слова чужие! Разве скажет Тойджан про себя так унижительно: «Я простой бурильщик...» Он гордится своей профессией, он ни перед кем не опускает глаз! И потом — откуда такое выражение: «Пыль твоих ног будет сурьмой для моих глаз». Он же в ремесленном воспитывался. Там иначе разговаривают!

— Правильно говоришь! — Аман даже стукнул ладонью по столу. — Но как мы докажем это Нурджану? Как объясним Ольге, что произошло? Ведь она-то как будто ничего не знает об этой сплетне? Если бы понять, кому понадобилась эта клевета!..

— И я не понимаю, — вздохнула Айгюль. — Нурджан и Ольга — дети. Кому они нужны? Какая корысть отравлять их сердца?

— А Тойджан? У него есть враги?

— Если и есть, я о них не слышала. Но, должно быть, есть. Тойджан вспыльчивый, резкий...

Молоденькая официантка с бездонными голубыми глазами и стрелой пендинки на подбородке подошла к столу и радостно сообщила:

— А грузинского вина нету!

— Что же нам делать, Айгюль? — спросил Аман. — Может, пива выпьем?

— Мне все равно. Пива никогда не пробовала.

— Что ж, когда-нибудь надо и попробовать. Начнем, пожалуй?

— Все равно, — повторила Айгюль. — Мне сейчас все равно, только бы понять, кто написал это отвратительное письмо!

— Ты оскорблена за Тойджана, я понимаю тебя. Но ведь детям, как ты их называешь, еще тяжелее приходится.

— Так кто же мог это придумать? — упрямо повторяла Айгюль.

— Мы никогда не догадаемся кто, если не поймем зачем.

— Постой-ка, постой! — закричала Айгюль. — Ведь и у меня есть враг — Эшебиби! Она угрожала мне, и твоя мать это слышала. Эшебиби говорила, что вся моя семья ее еще вспомнит!

— Что ты ей сделала?

— Отказалась выйти замуж за ее сына. Потом... — Айгюль густо покраснела. — Она однажды встретила меня с Тойджаном. Даже не встретила, а мы сидели в машине... Вместе... И она укусила Тойджана за палец.

— Укусила?! — Аман хохотал до слез. — А я — то даже и не догадывался, какой бурной жизнью живет наш город!

— Вот ты смеешься, — обиделась Айгюль, — а ему было очень больно...

— Прости, пожалуйста, что оскорбил твои чувства, — продолжал хохотать Аман, — но я думаю, что Эшебиби рассчиталась с Тойджаном на месте. Писать такие письма — это что-то слишком тонко для неграмотной старухи. Тебе не кажется?

— Пожалуй, и потом, как оно попало в карман к Ольге? Ручаюсь тебе чем угодно, что Ольга ничего не знает об этом письме.

— Ты хочешь сказать?... — Аман даже запнулся от волнения.

— Я ничего не хочу сказать, а только хочу понять.

— Ты хочешь сказать, что мать не нашла это письмо, а ей его дали? — Аман вытирал лоб. Его даже пот прошиб от такой чудовищной догадки.

— Неужели я могу подумать такое про тетушку Мамыш? Тогда остается предположить, что письма написал Аннатувак и передал ей. Три дня назад я чуть не подралась с братом, но и тогда я бы не поверила, что он способен на такую подлость.

— Нет, конечно, это невозможно!

Оба замолчали. Неугомонная швейцариха увлеклась хором Пятницкого, и сейчас на весь ресторан разносилась песня: «На закате ходит парень...» Пограничники, уходя, с шумом отодвигали стулья, разбирали фуражки на подоконнике, а влюбленные по-прежнему тянули ижевскую воду.

— Вот, — тихо сказала Айгюль, — мы с тобой полчаса поговорили об этом деле и сами стали гораздо хуже. Всех подозреваем, готовы обвинить в самых низких поступках своих близких...

— Когда копаешься в грязи, трудно не запачкаться...

— Ужасная грязь! — с отвращением подхватила Айгюль.

— Клевета — это страшная сила. Всегда найдутся готовые поверить. Твой брат поверил, мой брат поверил, я уже не говорю про мать. Она рада была поверить...

— Что ей сделал Тойджан?

— Не в этом дело. Не хочет русскую невестку.

— У нас то же было, а сейчас лучше Тумар-ханум и человека нет.

— И ты заметь, клеветник вроде диверсанта. Он не только отравляет воду в стакане, он мутит весь источник. Подумай: Нурджан страдает, Ольга мучается, Аннатувак готов изничтожить Тойджана, да и тебе нелегко... хотя ты мужественный человек. Ты сильна своей верой, любовью...

— А как же жить иначе?

— Живут и иначе...

И снова оба надолго замолчали. Зал будто вымер. Ушли и влюбленные, официантка удалилась за буфетную стойку, и только голос в репродукторе старательно выводил: «И кто его знает, чего он моргает...»

— Чего он моргает... — машинально повторила Айгюль и вдруг наморщила лоб, вспоминая что-то. — А может быть? Слушай-ка, Аман, вчера Аннатувак сказал, что Ханык Дурдыев специально явился к нему, чтобы рассказать эту сплетню. Ты его знаешь?

— Мало. О нем — больше.

— Как, по-твоему, такой трус, и притом расчетливый трус, может явиться к Аннатуваку, зная его бешеный характер, только для того, чтобы сообщить неприятную новость? Тут что-то странное... Этот человек ничего зря не делает и, если пошел на риск, хорошо представляя, что брат может запустить в него чернильницей или, в лучшем случае, вышвырнуть из кабинета, значит, ему очень нужно было прийти.

Аман пристально смотрел на девушку, и его единственный глаз ласково заблестел.

— Нет, не зря я тебя пивом поил! Голова у тебя светлая. Теперь слушай. Два дня назад в партком пришло письмо от Зулейхи Дурдыевой. Просит воздействовать на мужа, он алименты не платит. То есть не то что алименты, они не разведенные, а просто деньги на детей высылают не каждый месяц, а раз в полгода, да и то копейки. А письмо ей посоветовали написать шефы, которые были в колхозе. Ты помнишь, кто ездил в колхоз? Нет, кажется, не зря я тебя пивом поил!

Айгюль сияла. Когда Аман снова заговорил о пиве, она с готовностью отхлебнула большой глоток, поперхнулась, закашлялась и рассмеялась.

— Похоже, что распутали! А ты знаешь, кто помог? Пластинка! «И кто его знает, чего он моргает...» — тихонько пропела она. — У Ханыка-то вся рожа дергается!



Среди ночи Айгюль разбудил телефонный звонок. Пока она зевала и потягивалась, пока протирала глаза, чей-то женский голос успокаивал, просил не напугать Тыллагюзель и совершенно бестолково расспрашивал об ее здоровье. Не сразу, в предчувствии страшной беды, Айгюль поняла, что говорит Тамара Даниловна, а когда поняла, трубка ходуном заходила в задрожавшей руке.

— Что случилось? Не томи! Говори прямо! — кричала Айгюль.

Опять невестка бормотала что-то невнятное, просила не волновать старуху. И вдруг отчетливая мысль пронзила Айгюль.

— Что-нибудь с отцом? Что, что? Буровая? Говори, говори, не бойся! Пожар на буровой отца...

Трубка выпала из рук Айгюль и замоталась на шнуре вдоль стены. Несколько минут девушка не могла прийти в себя, не помнила, как упала на стул, стоявший возле телефона, не слышала голоса Тамары Даниловны, тщетно кричавшей что-то, не чувствовала, как по щекам заструились горячие слезы. Мотаясь, трубка ударила по колену, и Айгюль опомнилась.

— Алло, алло! Это я! Ничего, Тамара, ничего со мной не случилось! Только говори всю правду! Что? Нет большой опасности? А где Аннатувак?.. Улетел с попутным самолетом! Почему же без меня? Спешил? А я не спешу? Ах, все-таки буровая в огне и никто ничего не знает? Что же делать?.. Сулейманов? Так скажи ему, чтобы обязательно заехал за мной. Слово возьми с него! Какое несчастье, какое несчастье...

Она повесила трубку и с лихорадочной быстротой стала одеваться.

Только теперь она как следует поняла, что рассказала невестка о Сазаклы. На вышке Тагана пробурили уже более двух тысяч метров. До проектной глубины осталось около трехсот. Геологи подтверждали наличие богатых залежей, последние два дня бурение шло совершенно благополучно — и вот такое несчастье! Тойджан и отец вместе! Страшно подумать — живы ли они? Если Тойджан был на вахте, когда загорелось, так самое большее, на что можно надеяться, это только на то, что он ранен. А вдруг?..

Айгюль заметалась по комнате, отыскивая платье, которое лежало на стуле перед ее глазами. Сейчас заедет Сулейманов... Нельзя задерживаться ни на секунду. А как сказать матери?

Старческий сон хрупок, как яичная скорлупа. Тыллагюзель услышала телефонный звонок, услышала и крик Айгюль. Войдя в комнату и увидев дочь совсем одетую, в теплом платке, она обомлела.

— Какая беда стряслась? Айгюль, газель моя, говори скорее...

Как успокоить мать, когда сама еле держишься на ногах от волнения? Айгюль обняла старуху, крепко прижала к себе.

— Мама, только обещай, что не будешь волноваться. Хорошо?

Тыллагюзель задрожала в объятиях дочери.

— Я совсем спокойна, только скажи, что случилось?

— Ничего страшного, не бойся, прошу тебя!

— Говори же, дорогая...

— По телефону сообщили, что на буровой у отца какая-то авария...

— Обвалился колодец, как в прошлом году у Атабая?

— Пока ничего не известно. Сейчас за мной заедет Сулейманов, и мы отправимся в Сазаклы.

— Если едешь в такую даль среди ночи, значит, случилась большая беда. Ты все скрываешь от меня, Айгюль!

Старуха припала к плечу дочери и беззвучно заплакала.

Слабость матери придала силы Айгюль.

— Поверь, еще ничего не известно. Ты же сама говоришь: беда между глазом и бровью живет. Разве поможешь горю слезами?

— Сердце-то ведь из мяса, газель моя...

— Да ведь и у меня не из камня.

— Я за отца боюсь, дорогая, за твоего отца!

— А я за отца и за Тойджана, за буровую, за все боюсь и тоже ничего не знаю, как и ты!

— Неправда, Айгюль, ты что-то скрываешь, — и мать заглянула ей в глаза.

— Ну, если хочешь знать все, крепись, не плачь! Мне сказали, что на буровой пожар и Аннатувак уже там.

Тыллагюзель со стоном упала на кровать.

Под окнами засигналила машина.

— Я должна тебя оставить, мама. Ты держись, пожалуйста! Ведь мы же нефтяники, можно ли нам отчаиваться? А Човдуrowым в особенности...

Дверь за Айгюль захлопнулась, и еще раз стукнула дверь вниз, в подъезде, а Тыллагюзель так и сидела, уронив седую голову на спинку кровати. Она хорошо знала, что такое пожар на буровой. Десять лет назад, когда Човдуrowы жили еще на Вышке, на ее глазах горела пятьсот первая скважина. Горела целую неделю. Вспоминать об этом страшно. И сейчас ни минуты нельзя быть уверенной, что Таган жив, не ранен, не обожжен... А Тойджан? Едва ли бурильщик уцелеет, когда горит буровая... Неужели мороз снова побьет только что расцветшее счастье Айгюль?.. Но даже если и случилось чудо и все живы-здоровы, кому-то ведь придется отвечать за пожар, за миллионы народных денег. Кого будут судить, кого обвинят, кого оправдают?.. Платок старухи вымок от слез.

«Газик», управляемый Махтумом, медленно переваливался по песчаным буграм и косогорам. Гнать бесполезно. Тут и днем веда оглядывайся, как бы не застрять в сыром такыре, а ночью и помощи ждать неоткуда.

Всегда словоохотливый Махтум молчал. Он боялся неосторожным словом растрезвожить сердце Айгюль. Молчал и Сулейманов. На горевшей буровой у него не было ни родных, ни близких, но от этого не становилось легче на душе. Горело дело, в которое вложил четыре года своей жизни. Произошло все то, что предсказывали его враги. И страшно подумать, что такое несчастье будет поводом для торжества какого-нибудь Тихомирова... Айгюль молчала и слышала только стук своего сердца да напряженное дыхание Махтума, который зигзагами вел машину, будто узор рисовал на пустынных песках.

Что может быть ужаснее этого черепашьего хода, когда сердце рвется из груди от нетерпенья!

Тихая, безветренная, лунная ночь, черные языки теней от барханов на светлом песке, а впереди виляют лучи фар, будто бесконечная серебристая змея тянет за собой «газик»...

Только вчера Айгюль смеялась и шутила с Аманом, разглядывала стены в ресторане, любопытствовала, кто сидит за столиками. И самым важным казалось понять: кто же мутит воду?... Какими пустяками они интересовались, какими мелочами были озабочены! Нет, только в несчастье познаешь настоящую меру вещей! Если бы знать заранее, что случится, бросить бы все еще вчера, примчаться в Сазаклы и быть рядом с Тойджаном. А отец? Суеверный страх охватил Айгюль. Почему она сразу не подумала об отце? Может, именно с ним и случилось несчастье? Ах, как медленно тащится машина, будто пьяный возвращается домой, переваливаясь от стены к фонарному столбу и обратно. Проклятая пустыня! Ни жилья, ни деревца, ни какой-нибудь отметинки, чтобы узнать, сколько еще осталось ехать. Айгюль глубоко вздохнула.

— Не волнуйтесь, — сказал Сулейманов, — мастер — не бурильщик. Это же исключительный случай, чтобы мастер пострадал при пожаре. Если только сам в огонь бросится... Так удержат, там народ опытный...

Сулейманов и не подозревал, что по капле льет яд в сердце Айгюль, он ничего не знал о Тойджане.

— Медленно, ох как медленно двигаемся, — сказала Айгюль, чтобы скрыть волнение.

— Иначе нельзя, — Махтум как бы извинялся, — завязнем, хуже будет. Да теперь уж немного... Сейчас Михайловский перевал будет — половина пути. Бутылку уже проехали.

— Какую бутылку? — удивился Сулейманов.

— А мы с Сафроновым бутылку от боржома бросили на той неделе. Горлышко еще торчит.

— А, следопыт! Комариное крыло в крошечной тьме рассмотрит! — Сулейманов даже повеселел, так его восхитила наблюдательность Махтума.

И Айгюль обрадовалась.

— Полпути есть, говоришь?

— У Михайловского будет.

Прошло еще томительных пятнадцать минут. Айгюль глубже вздохнула. Может, будет когда-нибудь и конец пути... Но что это? Откуда свет в пустыне? Как солнечные веники, завияли по земле лучи фар встречной машины.

— Как их остановить? Махтум, дорогой, как остановить? — затрепетала Айгюль. — Может, объяснят, расскажут?

— А сейчас помигаем, — сказал Махтум.

Он подал в сторону свой «газик» и начал сигналить фарами, но машина, не останавливаясь, прошла мимо. И окаменевшая Айгюль увидела на боку красный крест. Никто не проронил ни слова.

— Догоним! Остановим! — встрепенулась Айгюль. — Это же скорая помощь! Кого они везут?

— Ни догнать, ни обогнать на этой дороге нельзя, — наставительно сказал Махтум. — Завязнуть можно.

— Кого же они повезли? Кого? — металась Айгюль.

Сулейманову стало не по себе. До сих пор, хотя и ехал с Човдуровой, он никак не допускал мысли, что может пострадать и Таган. Сейчас он ужаснулся, представив себя косвенным виновником еще и этой жертвы.

— С Таганом-ага ничего не случилось. Ничего! — сказал он, стараясь твердостью интонации загипнотизировать и себя и Айгюль.

И снова ехали молча, считая минуты. В черном небе мигали звезды да покачивались в свете фар волны барханов. А впереди, где-то очень далеко, над горизонтом поднималось зловещее кроваво-красное зарево.

Изнемогая Айгюль потеряла счет времени, когда наконец почувствовалось приближение Сазаклы. На западе вдруг просветлело небо, будто солнце вздумало взойти с другой стороны. Показались отблески пожара.

Около Сазаклы путь стал легче. Махтум поехал быстрее, и вот уже стали видны желто-красные языки пламени. Айгюль показалось, что они слизывают звезды с неба.

Ближе, ближе... Уже слышен и гул взметнувшегося вверх пламени. И вот — столб огня!

Он возник, упершись в небо, и сразу опустился вниз, будто провалился сквозь землю. Снова взметнулся, снова исчез. Казалось, будто под огненной колонной поставлена пружина, которая распоряжается ее движением.

Айгюль знала, что сила нефти и газа огромна, знала, что это гигантское пламя выходит из узенького отверстия, но какие беды принес этот пожар, что потребовал себе в жертву, она не могла угадать. И дрожала как в лихорадке. Добросердечный Махтум накинул ей на плечи свой ватник, заметив, как стучат ее зубы.

Вот уже можно и прыгнуть с машины. Айгюль рванулась вперед, но приблизиться к огненному столбу было невыносимо: от скважины во все стороны текли огненные ручьи, подойдешь чуть ближе — и от жгучего пламени начинает тлеть одежда. Кругом светло как днем, видны даже гвозди на земле. Вокруг буровой бесстрашно снуют пожарники. Тамара Даниловна, чтобы не пугать Айгюль, не сказала, что шесть машин выехали в Сазаклы еще раньше, чем Аннатувак отправился на аэродром.

И сквозь мощное рычание огня временами доносился голос Тагана. Знакомые лица мелькали и исчезали вокруг, но Тойджана нигде не было. Неужели скорая помощь увезла его? Айгюль

схватила за сердце, остановилась. Ей захотелось хоть на минуту утешить себя: может быть, брат, как обещал, уже прогнал Тойджана из Сазаклы? Аннатувак, милый, следы твоих ног буду целовать, если ты сдержал обещание...

Собравшись с силами, Айгюль пошла дальше и у каждого встречного, даже у пожарников, спрашивала:

— Кто видел Атаджанова?

— Кто бурил перед пожаром?

— Не случилось ли чего с бурильщиком?

— Кого увезла скорая помощь?

Какой-то мрачный пожарник напугал:

— Кого же, как не бурильщика?

— А кто бурил?

— Откуда я знаю!

И долго-долго она ходила среди людей, и никто не мог потушить пожара ее сердца.

Кто-то обнял ее за плечи. Аннатувак! Айгюль никак не ожидала такой сердечности от брата. А тот гладил плечи и ласково шептал на ухо, что Тойджан ранен легко, что его сразу увезли в больницу и все будет хорошо. Силы покинули Айгюль, и она зарыдала в объятиях брата. Он терпеливо успокаивал:

— Рана совсем пустяковая, завтра будет на ногах. Я, правда, не видел, что с ним случилось, но, говорят, не опасно. Слышишь, отец там командует? Иди к нему. Он тебе все расскажет.

Аннатувака окликнули, и он оставил Айгюль.

Огонь порывисто гудел, столб пламени становился все выше, красные языки ожесточенно лизали черное небо, обдавая нестерпимым жаром все вокруг. Временами столб сникал, словно невидимый кузнец переставал раздувать мехи. Никто не мог приблизиться к пылающей буровой.

Пилмахмуду, не отходившему от Тагана в надежде защитить его от всех бедствий, показалось, что между скважиной и огнем есть расстояние примерно в метр высотой, где нет пламени. Он подумал, что, если прервать связь между землей и столбом огня, пламя затухнет. Мысль эта поразила его. Он задумался, потом тронул Тагана за рукав и пошевелил губами. Мастер понял, что он хочет высказаться, и спросил:

— Что, Чекер, тебя тоже поранило?

— Нет.

— Так в чем дело?

— Я хочу сказать, но мне стыдно.

— Говори, не стесняйся!

— Думаю, что смогу потушить этот пожар.

— Ты не сошел с ума от страха?

— Ай, голова у меня в порядке, мастер-ага!

Пилмахмуд был огромен, но, как видно, хотел прыгнуть выше головы. Как ни тяжело было Тагану, он чуть не рассмеялся.

— Ну, объясняй!

— Я думаю так...

— Поторопись немного!

— Я обмажусь хорошенько глиной и брошусь на скважину. Покуда затухнет огонь, из меня получится хорошая крышка.

Будь другое время, Таган посмеялся бы над Пилмахмудом, может, даже и обмазал бы его глиной, и месяца на два хватило бы поводов для шуток у всей бригады. Сейчас мастер строго сказал:

— Ты, видно, думаешь, что это огонь шамана и человеку под силу справиться с ним? Не дури, иди помогай людям да помалкивай, а то засмеют.

Пилмахмуд смотрел на старика, как верблюд, которого прогнали с клевера, но мастеру некогда было вникать в этот немой упрек. Он увидел Айгюль. Дочь бросилась к нему на шею, припала головой к его груди. Старик без слов понял, что она хотела услышать.

Когда произошел выброс, Тойджан был на тормозе. Страшная сила отбросила его. Он ударился затылком о трубу и потерял сознание. На голове кровоподтек, а больше никаких ранений нет. Мы успели отнести его в сторону раньше, чем начался пожар. Сейчас он в больнице. Когда пойдешь к нему, сама увидишь, что ничего нет опасного.

Таган был краток, давая понять дочери, что времени у него нет. Хотя сознавал, что, пока не решили, как тушить пожар, он все равно не сможет быть ничем полезен. И все-таки бегал с места на место, потом отправился разыскивать сына.

Айгюль осталась одна. Ее удивляло, что никто не спрашивал о причине пожара, никто не искал виновника. Даже Аннатувак ни слова не сказал об этом... Среди пожарников мелькнула какая-то знакомая фигура. Нурджан! Она даже забыла, что оператор поехал в Сазаклы. Юноша тоже заметил Айгюль.

— Жди меня тут! — крикнул он. — Сейчас вернусь!

И через несколько минут он, запыхавшись, подбежал к Айгюль. Ей хотелось еще и еще слышать о Тойджане, хотелось, чтобы все кругом подтверждали, что ничего страшного не произошло. Она спросила:

— А ты видел Атаджанова? Это правда, что не опасно?

У Нурджана дернулась родинка на щеке.

— Я не видел его и не хочу о нем слышать!

Нет, недаром Айгюль была сестра Аннатувака! Бешенство охватило ее, безрассудное бешенство! Она вцепилась обеими руками в плащ оператора и стала изо всей силы трясти юношу.

— Мальчишка! — приговаривала она. — Ишак новорожденный! Ты не стоишь подошвы

Тойджана, ты должен пыль от следов Ольги целовать, ты, ты! Повтори еще, что ты сказал!

Нурджан задохнулся. Он ничего не понял и подумал, что Айгюль так негодует, потому что не подозревает об измене Тойджана.

— Сейчас не время объяснять, но на твоём месте я бы больше не интересовался этим человеком!

— Где твоя голова? Да ведь письмо-то написал Ханык! — охваченная вдохновенным прозрением, закричала Айгюль.

— Ханык?! — переспросил Нурджан и тут же удовлетворенно подтвердил: — Ханык. Так и должно было быть.

— Так чего же ты... — Но Айгюль уже не могла закончить. Последние силы ушли на эту вспышку, ноги подкосились, и она почти упала на песок.

— Айгюль, дорогая, тебе плохо? — Нурджан готов был сейчас нести ее на руках до Небит-Дага. — Я знаю, где есть вода... Ты подождешь? А хочешь, я отнесу тебя к Тагану-ага? Хочешь?

— Не надо мне воды, ничего не надо, — махнула рукой Айгюль. — Садись рядом... Ты... Глупый...

Она говорила с трудом, но Нурджан понимал, что вся злоба выдохлась, она больше не сердится, может, даже жалеет его. Оператор опустился на песок, и, освещенные зловещим пламенем пожара, они долго сидели рядом, молчаливые, смуглые, чем-то похожие друг на друга.

— Если бы ты знала, какую тяжесть с души моей сняла, — сказал наконец Нурджан.

— Если бы ты мог понимать, что такое тяжесть... — горько улыбнулась Айгюль.

— То что? Доканчивай! — Мальчишеский задор вернулся к Нурджану.

— То молчал бы и радовался своему счастью. Ну, хватит. Пошли! Надо узнать, не идет ли какая машина в город.

В стороне от буровой собрались инженеры и начальники пожарной охраны. Они совещались, обсуждали, как лучше потушить пожар.

Майор из пожарной дружины предлагал заполнить песком тысячи мешков и закидать скважину. Очеретью советовал бурить наклонную скважину и через нее отвести нефть и газ в сторону. Сафронов сказал: из агрегатов и пожарных машин со всех сторон пустить воду и одновременно устроить взрыв. Аннатувак утверждал, что сбить пламя можно только с помощью взрыва.

У каждого были свои доводы, каждый был уверен в своей правоте, но всех перекрывал голос Аннатувака, привыкшего приказывать:

— Только взрыв! Двух мнений быть не может!

У Тагана не было опыта тушения пожаров, но по здравому смыслу ему казалось, что прав Сафронов. Начальственные окрики сына он находил совсем неуместными в такой трагический момент.

— Аннатувак, дорогой, зачем столько шума? Не грех послушать и специалистов, они же

поседали на этих делах!

— Я начальник! — закричал Аннатувак.

— Вот поэтому-то и надо прислушиваться к людям.

Аннатувак бешено сверкнул глазами на отца.

— Молчать надо тому, кто ничего не понимает в деле! Мало, что устроил пожар, так теперь еще тушить мешаешь?

Таган сгорбился, как от удара.

— Мало, что умер, — тихо сказал он, — так еще ворон выклевал тебе глаза...

Айгюль, которая вместе с Нурджаном робко прислушивалась к спорам, не решаясь вставить слово, теперь не выдержала.

— Стыдно! Неужели не нашлось других слов для отца? Ты хоть отдаешь себе отчет, какое у него несчастье?

— Ты еще будешь рассуждать! Замолчи! — прикрикнул Аннатувак и добавил сквозь зубы: — Как будто у него одного несчастье.

Отец и сестра поняли, что спорить сейчас с Аннатуваком бесполезно, и замолчали. Всем остальным тоже было не по себе от грубой выходки Човдунова. Минуту продолжалось неловкое молчание. Все будто прислушивались к отдаленному гулу пожара и к легкому дробному звуку, с каким песчинки рядом падали на землю. Издали слышалось гуденье моторов подъезжавших машин. Аман обратился к молчавшему до сих пор Сулейманову:

— А вы, Султан Рустамович, какое предложение считаете правильным?

— Все эти меры хороши, но применяются в зависимости от характера пожара. Бурение наклонной скважины и отвод в сторону нефти и газа — хорошее дело, когда все остальные способы не дали эффекта, когда пожар продолжается несколько дней. Песок, конечно, тут не поможет. Остаются взрыв и вода, для того чтобы охладить и сбить пламя. Но подготовка взрыва требует времени, а водяную атаку попробовать мы можем сейчас же, и притом на всю мощность нашей водопроводной времянки!..

— Значит, вы за предложение Андрея Николаевича?

— Да. По-моему, сейчас надо пустить в ход воду и одновременно готовить взрыв.

Аннатувак, несколько успокоившийся во время этого мирного обсуждения, с готовностью поддержал Сулейманова:

— Присоединяюсь к этому предложению.

Машины, стоявшие наготове, стали окружать пылающую буровую.

— Пустить воду! — раздалась команда.

Ночь уже кончилась, начинал брезжить рассвет. Пламя пожара взлетало все выше в посветлевшем небе. Сотни глаз неотрывно следили за этим горячим дыханием земли. Газ, который горел сейчас, мог отопить тысячи домов, нефть — привести в движение сотни тысяч тракторов. Шум агрегатов и пожарных машин яростно спорил с гулом огненного чудовища. Шланги быстро вбирали в себя воду и бурно выбрасывали ее на устье скважины, а пламя пожара, казалось, разрасталось все сильнее.



Затаив дыхание зрители следили за борьбой. Таган вместе со всеми следил за ходом сражения, ни на минуту не отрываясь от огненного столба. Если пожар не удастся потушить, пропадет полугодовой труд всей бригады, пропадут государственные средства и черное золото, которого ждет вся страна, бесполезно останется лежать под землей. Если же сражение окончится победой, поломанные крылья мастера заживут, и он опять воспарит. Сердце Тагана стучало в такт тарахтевшим машинам.

Не меньше отца волновалась Айгюль. Что с Тойджаном? Можно ли доверять тому, что о нем сказали? Всей душой она стремилась в Небит-Даг. Но как уехать, не дождавшись конца? Что скажет она Тойджану и матери? Сможет ли успокоиться сама? Ах, да когда же потушат этот свирепый огонь! Айгюль уже казалось, что языки пламени лижут не воздух, а лицо, гул пожара гудит только в ее ушах.

И Аннатувак потерял терпение. Он расхаживал взад и вперед широкими шагами. А Пилмахмуд, глядя на армию машин и агрегатов, которая тщетно боролась с огнем, испытывал жгучий стыд, вспоминая, как телом своим хотел придушить пламя.

А когда восток побелел, словно обрызганный молоком, огненный столб вдруг пошел вниз. Какие-то новые силы подземных недр вышли на помощь нефтяникам: видно, где-то в глубине скважины произошел обвал и фонтан начал быстро слабеть. Этим воспользовались пожарники, тотчас же усилившие водяную атаку. Пламя еще раз взметнулось в небо, затем упало и исчезло из глаз.

На минуту всех оглушила тишина. Но вот кто-то крикнул:

— Ур-ра!

И земля задрожала от радостных криков толпы.

Скважина, с полуночи изрыгавшая пламя, выдохлась, как проколота камера.

Таган без разбору обнимал всех, кто попадался под руку. Забыв обиду, обнял даже Аннатувака, горячо расцеловал Сафронова. Не снимая рук с его плеч, он сказал:

— Вам, Андрей Николаевич, я особенно благодарен. Спасибо, брат мой!

— Таган-ага, через несколько дней и следов пожара не останется на вашей буровой. Уж это-то мы сделаем!

Старик посмотрел на буровую. Деревянные части вышки сгорели, швы распаялись, станковые фермы валялись на земле. Нельзя было даже угадать цвет станка и дизеля. С болью в сердце глядел Таган на эти разрушения.

— Удастся ли, Андрей?

— Непременно удастся, — твердо сказал Сафронов.

Судьба буровой не зависит от станка, вышки, дизеля. Ее решает скважина. Если она не развалена, если еще не окончательно вышла из строя, можно снова привести в движение долото. Опыт подсказывал Сафронову, что скважину удастся восстановить.

Но радость мастера длилась недолго. Пока рабочие, аварийники, пожарники, инженеры бурно ликовали, Тагана снова охватили сомнения. Буровая была страшнее покинутого, разграбленного дома. Разве можно поверить, что вернется вчерашняя жизнь, полная радости и надежд? Может, Сафронов просто хотел успокоить? А если даже и восстановят буровую, допустят ли мастера к работе, позволят ли вдохнуть запах новой нефти? Не зря Аннатувак сказал: «Устроил пожар!» Наверно, завтра начнется следствие. Кто окажется виноват:

мастер, бурильщик?.. А что сейчас с беднягой Тойджаном? Может, сгоряча и не заметили, что он серьезно ранен?

А в это время Айгюль уже ехала в Небит-Даг на попутной машине, снова и снова проклиная пески и бездорожье.

Глава сорок седьмая

Глаза милого ищут милую

Тойджан очнулся, но жар еще туманил голову, мрак и пламя мешались в глазах, и седые усы Тагана росли, росли, разрастались во всю комнату, протягивались от стены до стены... Тойджан начинал метаться на постели.

— Мастер-ага, нет, нет... Я не виноват, мастер-ага! Куда же, куда...

Он не признавал, что лежит в больнице, бредил, рвал ворот просторной рубахи, сбрасывал одеяло.

А в больнице было тихо, чисто, светло. Тойджан лежал в отдельной палате, и возле него сидела Нязик, молоденькая медицинская сестра. Утреннее солнце освещало розовым светом белую стену, и она казалась теплой. Лучи падали на смуглые руки Нязик, и они казались горячими. Чьи это руки, чьи?

— Айгюль? Айгюль... — снова забормотал больной. — Не виноват я... Тяни рычаг, Халапаев... Палатчик, выше, выше! Горит? Горит буровая? Нет, нет... Мое сердце горит!

Нязик испугалась, что у больного и в самом деле болит сердце. Она придвинулась поближе, погладила Тойджана по голове.

— Тойджан, братец, не бойся ничего, ты уже выздоравливаешь. Посмотри, как хорошо за окном! Скоро наступит весна... Слышишь, как поют птички? Не думай ни о чем, только слушай, как поют птички... Слышишь, все по-разному...

В открытую форточку доносилось разноголосое пение птиц из больничного сада. Тойджан затихал понемножку, как младенец, которому спели колыбельную песню, и только не мог понять, чей это нежный голос говорит с ним.

— Айгюль? Это ты пришла, Айгюль?

— Не волнуйся, братец, Айгюль сейчас придет.

— Это ты, Айгюль? Милая, дай руку...

Он нежно гладил руку Нязик, а девушка растроганно проводила рукой по его волосам и приговаривала:

— И Айгюль придет, и все придут, и птички будут петь...

Тойджан еще что-то бормотал, но лежал совсем спокойно. Глаза его сомкнулись, а губы тихонько шевелились, потом он умолк, глубоко вздохнул и стал напевать:

Глаза милого ищут милую,

Приди на буровую, приди.

Милая, если придешь, порадуешь сердце,

Приди на буровую, приди!

Теперь он позабыл о пожаре и не мог бы себе представить, что обломки вышки валяются на земле, что его милая в Сазаклы, а мастер подавлен тяжелыми думами. Тойджану чудилось, что он снова на буровой, и Джапар ему подпевает, и Халапаев подтягивает тенорком, и густым басом гудит сам Таган... А стрелка манометра стоит, не шелохнется. Нязик казалось, что больной хочет песней развеять печаль, позабыть про свои огорчения. Где же эта Айгюль? Если бы она сейчас появилась, больному полегчало бы. Ишь как печально зовет ее! Почему же она не приходит? Доктор не разрешил свиданий с больным, но Нязик все равно бы пропустила эту Айгюль к бурильщику. Пусть хоть выговор дадут. А может, эта бедная Айгюль и не знает, что случилось с ее другом?

В палату вошел доктор, приземистый человечек в очках с тяжелой роговой оправой.

— Как ведет себя? — отрывисто спросил он, кивая на Тойджана. — Есть перемены?

— Бредит, — тихо сказала Нязик, — потом приходит в сознание, открывает глаза, поет и снова впадает в забытие.

— Думаю, что скоро придет в себя. Только следите, чтобы лежал спокойно, не вскакивал на ноги и...

— Доктор! — неожиданно окликнул Тойджан спокойным голосом здорового человека.

Врач подсел к больному, взял за руку, чтобы проверить пульс.

— Слушаю вас, товарищ Атаджанов.

— Я пойду на буровую...

— Обязательно. Как поправитесь, так и пойдете.

— Я же здоров!

— Вот и прекрасно. Отдохнете дня три-четыре и — на буровую!

— А как там сейчас?

Доктор знал, что случилось в Сазаклы, и поэтому промолчал. Но Тойджан и не дожидался ответа.

— Горит, доктор... Горит...

С большим напряжением он приподнялся, опираясь обеими руками на кровать, и тут же упал на подушки. Доктор заботливо укутал его одеялом, посидел немного у постели и, считая, что бурильщик заснул, вышел. Нязик тихонько отошла к окну и разглядывала птиц, перепархивавших с ветки на ветку.

А Тойджан не спал. Прояснившееся сознание все время возвращалось к буровой. Почему она загорелась? Когда вспыхнул пожар, его оттащили, но он еще помнил взметнувшееся пламя, а

потом все смешалось, и только, как сквозь сон, слышался голос Тагана: «В машину его, в машину!..» Как же это случилось? Кто виноват? Рассеянность? Нет, держа рычаг, он все время был начеку. Азарт? Нет, никогда он не гнался за проходкой и с Халапаевым спорил... Так почему же случился пожар? И мгновенно вспомнилось: буровая работала равномерно, как вдруг резкий толчок... Значит, произошел выброс. Внезапный выброс! Глинистый раствор был разрезан газами и нефтью, с огромной силой вырвавшимися из вскрытого долотом пласта, и уже больше не мог создавать противодавления. «Заккрыть превентор!» Он отчетливо помнит эту молнией блеснувшую мысль. Если бы он закрыл превентор, пожара не было бы. Но он не успел сделать и трех шагов, тяжелая гора упала на него, и все сразу исчезло. Кто же виноват? «Ах, неважно, кто виноват! Пусть я виноват, но знать бы, что с буровой? Неужели горит?»

Тойджан снова застонал, заворочался, начал бредить.

— Кто виноват? Мастер-ага!.. Горит? Ах, Айгюль, Айгюль-джан... Приди, приди!

И опять он тихо запел: «Глаза милого ищут милую...» Теперь Нязик чувствовала, что он понимает, что поет, не бредит больше. Так много чувства вкладывалось в эти простые слова, а солнце так буйно заливало комнату, будто музыка к песне, и Нязик чудилось, что уже наступила весна. И не успел смолкнуть припев, как дверь отворилась, и в комнату тихо вошла Човдурова.

— Айгюль-джан! — крикнул больной.

Айгюль стала на колени перед постелью, уронила голову на грудь Тойджану, а Нязик незаметно вышла из комнаты, то ли чтобы не мешать влюбленным, то ли чтобы охранять их у дверей. Стоя на посту, она и не слышала, как колотилось сердце Тойджана, не видела, как из глаз Айгюль катились слезы.

Но раньше всего Тойджан спросил:

— Буровая?

— Столб огня рассеялся, словно вихрь улетел в небо.

Тойджан и сам не заметил, как сел.

— Пожар потушен?

— Инженеры уверяют, что через несколько дней буровая снова начнет работать.

— Ты осчастливила меня, Айгюль!

Тойджан обнял девушку, удивившись, откуда взялись силы. Тепло губ, рук, щек Айгюль оживляло, согревало до самой глубины души. Он все крепче прижимался к Айгюль, не переставая удивляться целительной силе любви.

Деликатно постучавшись, в комнату вместе с Нязик вошел доктор и развел руками, увидев сидящего Тойджана.

— Что это, сон или действительность?

Айгюль покраснела, вскочила на ноги и поздоровалась. То ли от радости, то ли от смущения и Тойджан встал рядом с ней и в своей полосатой пижаме застыл, как по команде «смирно».

— Простите, доктор, — сказала Айгюль, — я второпях даже не попросила разрешения.

— А халат кто дал?

— Сама с вешалки стащила!

— Если бы знал, что так лечите больных, послал бы за вами три часа назад.

Тойджан вмешался в разговор, думая, что шутки доктора смущают Айгюль.

— Разрешите? — спросил он врача.

— Пожалуйста!

— Пошли, — сказал Атаджанов, схватив за руку Айгюль.

Растопырив руки, доктор загородил дверь.

— Это куда же?

— На буровую!

— А кто разрешил?

— Я же спросил у вас!

— Я думал, что вы просили разрешения задать вопрос. А теперь запомните: больной Атаджанов должен лечь в постель и без разрешения не вставать. В самом деле, кто вам позволил встать?

— Кто? — Тойджан на секунду задумался и нашелся. — Я встал из уважения к вам, доктор.

— Ах, молодец! — засмеялся врач. — Я вижу, вы действительно здоровый человек. А между тем похоже, что у вас легкое сотрясение мозга, и рана на голове еще внушает опасение...

— Рана? — Тойджан дотронулся до головы и только теперь обнаружил, что она перевязана. И тотчас почувствовал боль в затылке.

— Вы еще не знаете о своей ране?

Врач стал рассказывать, обращаясь больше к Айгюль, чем к больному, о том, как Тойджану сделали маленькую операцию, наложили швы и что теперь самое главное — покой.

— Все это хорошо, доктор, — нетерпеливо перебил больной, — я вам очень благодарен, но меня ждет буровая.

— Вот и пусть ждет, — неумолимо говорил врач, — она никуда не сбежит. С сотрясением мозга шутить нельзя, а потушенная буровая и товарищ Човдурова как-нибудь уже подождут. Вашей посетительнице я разрешаю пробыть здесь еще десять минут. Нязик, — обратился он к сестре, — ты тогда проводишь товарища Човдурову.

Влюбленные остались вдвоем, и в палате снова стало тихо. Тишина казалась торжественной, раскрывала в их душах новый радостный мир. Страшно было слово сказать, чтобы не нарушить это счастье. И молчать тоже страшно — того и гляди придет Нязик и уведет Айгюль. Не отнимая своей щеки от щеки Тойджана, Айгюль тихо сказала:

— С тебя бушлук причитается...

— За что тебя награждать? Что пожар кончился?

— Есть одна приятная новость.

— Не томи...

— Тебе дали квартиру.

— Так значит? — И Тойджан крепко обнял Айгюль.

— Значит, и откладывать нечего!

— Какое счастье! А где?

— Рядом с нами, новый дом в сто тридцать восьмом квартале.

— Да ведь его же только начали строить?

— Это из Сазаклы так кажется. Теперь строят быстро. Половину дома уже заселили.

Тойджан помолчал и снова спросил:

— Так дали квартиру, говоришь?

— Ты что — не веришь мне?

— Жизнь свою доверяю тебе!

— А кому же не веришь?

— Начальнику конторы бурения.

— Какое дело Аннатуваку до квартиры?

— Все кажется, что он готовит мне другую квартиру.

Айгюль поняла сразу, о чем он говорит, крепко обняла его, поцеловала. На минуту дыхание разлуки коснулось ее. Захотелось устыдить Тойджана.

— Можно ли выдумывать такие глупости?

— Дело даже не в том, что Аннатувак хочет помешать нам с тобой...

— А что же тебя беспокоит?

— Пожар на буровой — не шутка. Кто-нибудь должен ответить!

Всю дорогу из Сазаклы Айгюль думала о том же и ни до чего не додумалась. Но надо было успокоить Тойджана. Доктор сказал, что главное — покой.

— Глупости говоришь, Тойджан, — весело рассмеялась она, — никто об этом и не заикался.

— Сегодня не заикался, а завтра хором запоют. Кто будет отвечать за миллионный ущерб?

— Во всяком случае, не тот, кто не виноват!

— Это другой вопрос.

— Вот и не думай о нем!

Тойджан погладил девушку по плечу.

— Понимаю, ты хочешь меня успокоить, но человек так устроен, что не может не думать. За рычагом буровой сидел я, а виноват я или нет, еще не разобрался.

— Как же это получается?

— А вот так: ни я, да и никто на вахте не заметил, как долото врезалось в нефтяной пласт. Вот и я не успел подавить силу, поднявшуюся со дна скважины...

Айгюль хорошо понимала, что Тойджану есть над чем подумать. Вернее всего, он не виноват, но смогут ли изучить все обстоятельства, сопровождавшие аварию? От Аннатувака ждать пощады не приходится. Впереди, конечно, мало хорошего, но самое главное тоже не надо забывать: ведь с Тойджаном не случилось большой беды, он почти здоров... Могла ли она рассчитывать на такой счастливый исход ночью, когда металась у пылающей буровой. Атаджанов продолжал думать вслух:

— За себя-то я не боюсь, но мастер-ага... А что, если и его заставят отвечать?

— Перестань говорить про это!

— Айгюль, я знаю, что и тебе больно, но только не надо притворяться друг перед другом, обманывать себя. Я люблю глядеть в глаза любой угрозе. Но вот если мастер-ага окажется, по-ихнему, тоже виноват...

— По-моему, ты попусту устраиваешь панику.

— Так ли?

— Именно так. Мало сотрясения мозга, ты хочешь забивать свою бедную голову какими-то несуществующими угрозами?

Тойджан понимал, что Айгюль и сама не очень-то верит своим словам, но оценил желание оберечь покой больного.

— Хорошо. Кончил, — твердо сказал он.

— Тогда скажи, когда будем справлять свадьбу?

Хотя вопрос о свадьбе был давно решен, но до сих пор Айгюль стеснялась произносить это слово. Тойджан обрадовался.

— Неплохие намерения, Айгюль!

— С языка сорвалось. Я, собственно, хотела спросить, когда ты переедешь на новую квартиру.

— Если переедем, значит, придется свадьбу справлять!

— А кто против свадьбы?

— По-моему, Аннатувак.

— Это неважно!

— Как неважно?

— Сегодня против, а завтра сам будет жалеть об этом, да мы и не станем советоваться с ним!

Нязик уже несколько раз заглядывала в палату, напоминая, что пора прощаться.

Трудно было разлучаться, страшно оставаться наедине с невеселыми мыслями, но солнце так по-весеннему заливало всю палату, Айгюль так нежно улыбалась, что нельзя было не верить, что впереди все будет хорошо.

## Глава сорок восьмая

### Дело передано прокурору

Несколько дней на промыслах и в городе только и говорили что о пожаре в Сазаклы. Старые споры руководителей конторы бурения вокруг нового месторождения были известны всем. Сама жизнь подтверждала мнение Човдурова и Тихомирова о трудности бурения в этом районе. И, как всегда бывает в таких случаях, им начали бурно сочувствовать.

— К чему рисковать жизнью людей, миллионами рублей?

— Опасное дело так и должно было кончиться!

— Неужели и дальше будут продолжать разведку в гиблом месте?

— Счастье, что бурильщик уцелел и рабочие остались живы! Что-то теперь будет с Атаджановым?

— А может, пожар произошел по недосмотру бурильщика?

— Какой нефтяник допустит такие разрушения по халатности?

— Дай-то бог, чтобы хорошо обошлось...

Слушая эти разговоры, Эшебиби пребывала на седьмом небе. Зловредная старуха ни на минуту не могла забыть обиду, которую ей когда-то нанесла Айгюль своим отказом. Теперь вдохновенное воображение сплетницы всю вину за аварию возложило на Човдурову. Едва ли кому-нибудь, кроме Эшебиби, могло прийти в голову подобное хитросплетение. Оказывается, Айгюль тайком от отца приехала в Сазаклы, чтобы повидаться со своим милым, оторвала от работы бурильщика, увлекла его. Пожар произошел как раз в ту минуту, когда Атаджанов забылся в объятиях своей возлюбленной.

Даже самые недалекие кумушки, слушая Эшебиби, усомнились.

— Ездить на любовное свидание за сто километров по пескам и бездорожью? Тут что-то не то...

— А почему же она оказалась на пожаре? — брызгая слюной, доказывала Эшебиби. — Сам майор из пожарной охраны видел, как она стояла у горящей вышки, бледная как смерть. Видно, чувствовала свою вину...

Этот довод показался неопровержимым, и сплетня вскачь понеслась по городу.

Оживился и Тихомиров, усмотревший в пожаре на Сазаклы лишнее подтверждение своего научного авторитета. Он стал каждый день появляться в конторе бурения, ловил в коридорах работников, собирал вокруг себя целую толпу и разглагольствовал.

— Разве я не говорил? Разве я скрывал свое мнение? Разве я не выступал против этого не



только среди геологов и в Объединении, но и в самом совнархозе? Теперь пойдут авария за аварией. Не слишком ли дорогая цена? Думается, ученое звание мне присвоили не по благу. И как обидно сознавать, что директор нашего института, как ни высоко он ценит мое знание геологии, не сказал ни слова в защиту моих доводов. Если бы он вовремя, опираясь на свой высокий авторитет, поддержал меня, вопрос был бы решен иначе, и сегодня мы не стояли бы перед лицом этой катастрофы. Тогда никто не посчитался бы с пустопорожней болтовней Сулейманова, который не видит дальше своего носа. Все-таки поражает удивительная доверчивость в наших руководящих кругах! Ну хорошо, будь я один против Сулейманова, еще можно было бы усомниться. Но моей точки зрения придерживался и Аннатувак Човдуров! Человек, для которого тектоническое строение земли не сложнее рисунка шахматной доски, который современную технику приводит в движение с такой же легкостью, как шахматные фигуры! Не посчитаться с мнением такого специалиста! И вот мы теперь видим, к чему привела эта затея!

И так как пожар действительно произошел, а мрачные предсказания начальника и Тихомирова давно были известны всей конторе, то находилось немало поклонников удивительной прозорливости ученого.

В эти дни нелегко пришлось и Дурдыеву. Он не сумел извлечь для себя никакой пользы из случившейся беды. Он лежал у источника и не мог напиться. Казалось бы, обстоятельства сложились как нельзя лучше. Его заклятый враг Тойджан Атаджанов — виновник аварии, как говорится, человек подмоченный. Пусть геологи спорят о тектоническом строении земли, пусть Тихомиров интригует против Сулейманова, но факт остается фактом: когда случился пожар, на вахте был Атаджанов.

Чутье интригана и склочника подсказывало Дурдыеву, что теперь у Аннатувака есть все основания смешать бурильщика с грязью. Да и самому Атаджанову сейчас не до того, чтобы сводить какие-то счета с Ханыком. Как будто сама судьба позаботилась повергнуть в прах врага. Так надо же было именно теперь этой проклятой Зулейхе написать в партком! Ханык узнал о письме от старого приятеля, приехавшего в Небит-Даг из аула. Пройдет несколько дней, утихнет история с пожаром, и, конечно, партком займется разбором его персонального дела. Что же, снова начинать подрывную работу? Доказывать, что Зулейха живет с пастухом? А в парткоме будут расследовать обстоятельно, запросят характеристику из колхоза, а колхоз, дело известное, — горой за брошенную мать семейства... Ханык метался, как суслик в свете фар на дороге, и не мог найти выхода.

В городе каждый по-своему переживал событие в Сазаклы. Аннатувак Човдуров держался замкнуто и сдержанно. Случилось то, что он предсказывал. Мог ли он в чем-нибудь упрекнуть себя? Совесть была чиста. Сколько раз ездил в Сазаклы, отрывая время от освоенных площадей, сколько схваток провел со снабженцами, задерживающими обеспечение сомнительного месторождения, сколько бесед со старыми мастерами, недостаточно подготовленными для работы на таком сложном участке, сколько бессонных ночей, наконец! Об этом знает только он сам да Тамара: не раз она будила его, когда кошмары заставляли кричать по ночам. Все снилось. И фонтаны, и грифоны, и пожары... А разбудят — вся ночь насмарку. Сон больше не приходит, и только следишь, как черное небо за окном светлеет, делается серым, зеленоватым, синим... Нет, его совесть была чиста.

Сейчас по предложению Сафронова в Сазаклы работали две комиссии из геологов и инженеров: одна проверяла состояние буровой и возможности восстановления, другая — причины аварии. Надо было изучить работу буровой за несколько дней до происшествия: собрать показания приборов, просмотреть лабораторные записи. Сафронов понимал, что, если не проделать это быстро, ответственность за пожар ляжет на мастера и бурильщика; не сомневался и в том, что Човдуров не упустит возможности снять с работы Атаджанова. Аннатувак в свою очередь догадывался о причинах поспешности Сафронова.

Удивляло Човдурова и спокойствие главного геолога. Сулейманов от души радовался, что комиссия выясняет причины аварии, хотя выводы могли задеть и его самого. Главного геолога могли обвинить и в том, что он поверхностно изучил тектоническую структуру участка, неправильно составил геолого-техническую карту. Но Сулейманов, по-видимому, нисколько не боялся. Он говорил: бурение потому и называется разведочным, что район еще досконально не изучен.

Аннатувак сам как следует не сознавал, какая странная перемена произошла с ним за последние полтора месяца. Он перестал считать и Сулейманова своим принципиальным противником, соединил его в своем представлении с руководителями совнархоза, чьему приказу должен был безоговорочно подчиниться. У него пропал интерес к полемике с главным геологом, и с тем большей непримиримостью он относился сейчас к Атаджанову.

Ему казалось, что он рассуждает логично. Одно дело его взгляд на Сазаклы, как на бесплодную и дорогостоящую затею, другое — конкретный виновник пожара.

Аннатувак не сомневался, что виноват бурильщик. Был убежден, что выводы комиссии совпадут с его мнением. Как же может быть иначе? С того дня, как начались работы в Сазаклы, он ждал аварии и всегда был уверен, что виновником будущей беды станет Атаджанов. Не привлечь его к ответственности — значит вредить делу. Изучение показаний приборов, сверка лабораторных записей — дело кропотливое и затяжное, как бы там Сафронов ни торопил комиссию. И, не советуясь ни с кем, Човдуров написал письмо прокурору, предлагая привлечь Атаджанова к ответственности за аварию. Правда, сердце несколько щемило оттого, что Таган неизбежно окажется под судом, как мастер, недостаточно контролировавший работу своего бурильщика. Но другого выхода не было. Тюрьма старику не угрожает, так пусть подумает, с каким проходимцем связывает свою судьбу и жизнь дочери! Пусть припомнит добрый сыновний совет... Кроме того, суд заставит и остальных работать осторожнее. Зло надо искоренять в самом начале.

Снедаемый зудом самоутверждения, Тихомиров написал в совнархоз докладную записку, в которой снова доказывал необходимость прекращения работ в Сазаклы. У подъезда почты он встретил Тагана и, положив ему руку на плечо, сказал с видом пророка:

— Мастер, ты ни в чем не виноват. Корень зла — Сулейманов, указавший ложный путь!

Тут же ему пришло в голову ознакомить бурильщиков со своим посланием, и он направился в контору.

В этот час в кабинет Човдурова пришел Сулейманов, узнавший, что дело Атаджанова передано прокурору.

— Я услышал неприятную новость, Аннатувак Таганович! Это правда?

Човдуров понял с полуслова и ответил, спокойно улыбаясь:

— Дыма без огня не бывает, как мы только что убедились в Сазаклы.

— Это неправильная мера!

Теперь улыбка Аннатувака сделалась едкой.

— Я как будто не собирался советоваться с вами по этому поводу.

— И все-таки считаю своим долгом вмешаться.

— Вот как?

— Вот так. Конечно, я понимаю, что вы тяжело переживаете последствия пожара...

— Если понимаете...

— Потерпите немного, дайте досказать. Как вы можете догадаться, меня пожар тоже не радует. Хотя не считаю, что буровая для нас пропала. Но это второй вопрос...

— А первый?

— Я не верю, что Атаджанов — виновник аварии.

— А я верю!

— Мало верить — надо знать. А чтобы знать, надо проверить.

— Вот и пусть проверяет прокурор.

— Там, где дело касается недр земли, первые прокуроры — инженеры и геологи.

Аннатувак поднялся.

— Вы возражаете против советской юстиции?

— Стыдно слушать! Что за дешевая демагогия в серьезном разговоре! Неужели не понимаете, что в этом вопросе статья прокурора зависит от решения геологов? Что может сказать прокурор, не зная выводов специалистов?

— Так о чем вы беспокоитесь?

— О настроении рабочих! Сегодня о письме узнал я, завтра узнает Атаджанов или Таган... Люди потеряют охоту работать! К тому же Атаджанов еще в больнице, а мастер... Вы отдаете себе отчет, что значит для вашего отца оказаться под следствием? Чернить честного мастера, отбивать у людей охоту работать — я этого не допущу!

Аннатувак барабанил пальцами по столу.

— Хотите опустить занесенное копье? Благородная роль миротворца? Красиво, очень красиво! Только я не гонюсь за эффектами и прошу запомнить, что у меня нет жалости к тем, кто вредит государственному делу. И если вы...

Зазвонил телефон. Човдуров поднял трубку и бросил ее на рычаг, негодуя, что его прервали.

Но договорить так и не удалось. В комнату вошел Тихомиров, притащивший с собой двух инженеров из производственного отдела конторы. Следом появились Сафронов с Аманом. Парторг сразу почувствовал накаленную атмосферу и сказал:

— На дворе светит солнце, а тут как будто пасмурно. Откуда же взялся туман, когда небо безоблачно?

Вечно занятый только собственной особой, Тихомиров, не разобравшись, к чему относятся слова парторга, заявил:

— Туман скоро рассеется! Я написал письмо в совнархоз и думаю, что уж теперь-то с моим мнением посчитаются. Хотите, прочитаю копию?

— Увольте! — замахал руками Сафронов. — От своей писанины устали, а тут еще...

— Напрасно отмахиваетесь, — не сдавался Тихомиров, — очень интересный документ. Я

доказываю, что если в ближайшее время не прекратим работу в Сазаклы, то станем постоянными очевидцами пожаров, бушующих по целым неделям, будем разводить руками вокруг буровых, проглоченных землей...

— Но ведь это же давно прочитанная книга, — не выдержал Аман. — Я думал услышать что-нибудь новенькое...

— Новенькое, пожалуй, расскажет Аннатувак Таганович, — сказал Сулейманов.

Човдуров сверкнул глазами на геолога, но принял вызов.

— Что ж, если Султан Рустамович так торопится поделиться новостями, могу сказать... Бурильщика Атаджанова я освобожу от работы. Пусть только выйдет из больницы. Приказ уже подписан.

— За что? — резко спросил Аман.

— Не за что, а почему. Раз дело о нем передано следователю, ему, вероятно, не стоит приступать к работе.

Гул неодобрения пронесся по всем углам комнаты. Даже Тихомиров недовольно крикнул.

— Вы не поторопились? — деловито осведомился Сафронов. — Выводы комиссии еще не известны.

— Сейчас не стоит обсуждать мой приказ. Все равно не отменю. И вы, Андрей Николаевич, лучше всех должны знать, что я не из тех, кто глотает свою слюну.

— Вы забыли, видно, кое-что, — сказал Аман, от негодования заговоривший на «вы» со своим старым другом, — забыли, что по всей стране партия восстанавливает законность и охраняет трудящихся от произвола не для того, чтобы вам позволить снова творить безобразие над человеком...

— Я ничего не забыл... И тоже газеты читаю.

— Какое же право вы имеете прибегать к таким мерам, когда комиссия еще не сказала своего слова?

— Право начальника конторы!

— В этом случае у комиссии больше прав. Но есть еще и профсоюз!

— Вы так хорошо осведомлены обо всех правах и обязанностях, Аман Атабаевич, что, может быть, займете и мое место?

Аман хорошо понял, куда направлено острие этой насмешки. Човдуров намекал на его слабую осведомленность в технике нефтяного дела. Это едва не взорвало сдержанного парторга.

— Вам тоже хорошо известно, что за аварии на буровой несет ответственность и руководство конторы бурения.

— Может, все-таки заслушаем выводы комиссии? — поспешно вмешался Сафронов. Он от всей души сочувствовал Аману, но хотел прекратить перебранку.

— Если работа закончена, я не возражаю, — пожал плечами Аннатувак. — Где же председатель? Я что-то не вижу Зоряна!

— Вы же сами вчера послали его в Челекен, — сказал Сафронов. — Но он успел подписать решение. Вот сейчас все и узнаем.

Андрей Николаевич вышел из комнаты и через минуту вернулся вместе с Тамарой Даниловной. Аннатувак отрывисто спросил:

— Тамара! Ты зачем еще?

— Вызвана как член комиссии.

— Я тебя не вызывал!

Тамара Даниловна растерялась и, боясь, что Аннатувак устроит на людях семейную сцену, сказала с наигранной беспечностью:

— Что ж, обратная дорога известна! Не заблужусь!

— И чем скорее уйдешь, тем лучше!

— Постараюсь поторопиться, — по-прежнему шутливо ответила Тамара Даниловна.

— Товарищ Довженко, подождите, — нарочито официально остановил ее Аман.

— Не обращая внимания, Аннатувак закричал:

— А я прошу тебя не показываться здесь без моего вызова! Понятно?

— Это просто невыносимо! — повысила голос и Тамара Даниловна. — Ты можешь понять, что я пришла сюда по делу? Неужели нельзя отложить эти разъяснения, где я могу показываться, где не могу?..

Сафронов положил конец этой тягостной сцене.

— Мы просим вас, Тамара Даниловна, рассказать о решении комиссии.

— Комиссия считает, что причиной пожара послужило то обстоятельство, что нефтяной пласт оказался несколько выше, чем предполагалось по данным геологической разведки и как указывалось в геолого-техническом наряде. При внезапном выбросе из скважины газированного раствора бурильщик не мог закрыть превентор, потому что был ранен и потерял сознание. Моторист утверждает, что двигатели были выключены, как только раздался крик Атаджанова. Следовательно, пожар произошел, как обычно это бывает, от искры, вызванной ударом камня о сталь или стали о сталь. Искра вызвала взрыв газа, и фонтан вспыхнул как спичка.

Тихомиров так и подскочил на месте.

— А что я говорил? Виновата тектоника, а не бурильщик! При чем тут бурильщик, если геологи не разбираются в строении земли?

— Евгений Евсеевич совершенно прав, говоря об Атаджанове, — продолжала Тамара Даниловна. — Комиссия считает, что ни бурильщик, ни мастер не виноваты в аварии. Таган Човдуров вел проходку отлично, еще раз показал себя опытным мастером. Атаджанов рисковал жизнью, чтобы предотвратить пожар, и чудом уцелел. Поэтому комиссия просит администрацию довести до сведения всего коллектива о мужественном поведении Атаджанова и наградить его по своему усмотрению.

— Кончила? — спросил Аннатувак.

— Да, это все.

— Ну, а я считаю дело не конченным, — сказал Човдуров. — Я не утверждал состава комиссии, не знаю, из каких людей она собрана, да и прокурор не сказал своего слова.

— Побойтесь бога, Аннатувак Таганович! — свирепо загудел Сафронов. — Как можете вы не доверять своим работникам?

Тихомиров почти визжал, обращаясь к инженерам:

— Сулейманова под суд! Сулейманова! Не узнаю Човдурова! Бить надо по главной опасности!

Не слушая, Сулейманов разговаривал с Тамарой Даниловной, стараясь своей предупредительностью и вниманием загладить грубую выходку ее мужа. Аман вплотную подошел к Човдурову. После разговора с Айгюль в ресторане ему все было ясно. Неужели Аннатувак способен сводить личные счеты таким образом? Ведь нет других причин для такой спешки. Аман совсем по-новому видел сейчас Аннатувака. И красивая черная прядь на лбу, и длинные пальцы, терзавшие окурки папиросы, — все было чужое, незнакомое. Звонил телефон, и Човдуров раздраженно поднимал и бросал трубку, не желая разговаривать. И эти высокомерные замашки тоже раздражали сейчас Амана. Когда раздался очередной звонок, он взял трубку, отозвался и тотчас передал Аннатуваку.

— Из прокуратуры, — сухо объяснил он.

В комнате сразу стихло.

— ...Свидетельские показания? — переспрашивал Човдуров. — Странно! А чем же вы будете заниматься?.. Документация? Дошло через несколько дней. Пока можно начинать следствие... Ах, вернете?.. Вы это называете травмой? Очень странно. Я думал, что обращаюсь в прокуратуру, а не в санаторий.

Он швырнул трубку на рычаг, сел в свое кресло, раскрыл первую попавшуюся под руки папку и углубился в чтение, всем своим видом показывая, что собравшиеся в кабинете мешают работать.

Люди гуськом потянулись к двери. Только Аман продолжал стоять у стола. Когда закрылась дверь за Сафроновым, который вышел последним, он сказал:

— Стыдно за тебя, Аннатувак. Не в первый раз стыдно, но, кажется, в последний. За чужих не бывает стыдно. Не плюешь ли ты в бороду тому, кто тебя накормил? Ты на рабочего поднял руку. — Аннатувак восторженно, но Аман не дал ему говорить. — Не спорь. Знаю, что ты скажешь, но это неправда. Ты преследуешь Атаджанова не ради дела.

Глава сорок девятая

Таган идет по городу

Комиссии, изучавшие причины пожара и способы восстановления буровой в Сазаклы, закончили работу, и Таган Човдуров смог вернуться в Небит-Даг.

Дела складывались хорошо. Буровую обещали восстановить в две недели, в происшедшей аварии ни мастер, ни бурильщик не были виноваты. Первой заботой Тагана было поделиться

с Тойджаном радостными новостями.

Сбросив пропыленную спецовку и ватник, хорошенько отмывшись, он облачился в новый синий костюм, коричневое пальто, водрузил на голову бурую папаху, сунул в карман сверток с мандаринами, припасенный заботливой Айгюль, и отправился в больницу.

Он поторопился. Прием посетителей начинался позже, а сейчас у больных был час послеобеденного отдыха. Мастер вышел за ворота и уселся на кирпичи, сложенные около ограды. Рядом с больницей начинали строить новую поликлинику.

Предзакатное небо розовыми отблесками освещало стены белых домов; теплый безветренный воздух словно мягкой ладонью проводил по лицу мастера. Все тяжелое осталось позади, и вспоминать о нем не следовало. Так бы и сидеть без конца на солнышке, смотреть на порозовевшие дома, на прохожих... Вот идут две школьницы с нежным румянцем на щеках; вот сухощавый старик, как видно, достойнейший аксакал с неподвижным строгим лицом, неторопливо передвигает негнущиеся ноги; стайка воробьев купается в пыли придорожной канавы, и среди них выделяется один, нахохлившийся, отважный забияка... В детстве сын очень походил на эту бесстрашную птичку. Ах, какое прекрасное время юность! Таган вспомнил, как женился на Тыллагюзель. Даже теперь, если он слышит по радио стихи о любви, вспоминается то время. Да, в звонких рифмах поэта заключена иной раз золотая правда! И после женитьбы все складывалось счастливо, светло: Таган поставил себе кибитку, родился сын. Вот когда он стал хозяином жизни — у него был наследник, продолжатель рода. Он брал на руки ребенка, подбрасывал, а тот бесстрашно улыбался, что-то веселое лепетал на своем непонятном языке... А сколько радости доставлял Аннатувак, когда начал учиться! Старый украинец, учитель из Джебела, говорил Тагану, что такие способные дети редко встречаются и в больших городах. Нет, когда Аннатувак был маленьким, он доставлял родителям больше радости, чем печали. Да и потом сколько раз буровой мастер сиял от гордости, читая в письмах земляков, ушедших воевать, о боевой доблести Аннатувака! Немного зазнался и заважничал в последние годы, но, может, все-таки вернется в старую колею? Голова закружилась от непосильной работы, ответственности. Шутка ли, отвечать за десятки станков, за сотни людей... Пожалуй, и нельзя слишком строго судить сына... Солнце разнеживало, ласкало, тишина успокаивала... Мастеру хотелось думать только хорошее.

Он расстегнул пальто, снял папаху, положил на колени. Потом глянул в стекло подвального окна, там отразился его коричневый бритый череп, блестящий на солнце, как медная миска. Мастер погладил голову и сам не заметил, как начал потихоньку напевать.

В подъезд больницы потянулись люди с узелками и свертками. Таган нащупал в кармане сверток с мандаринами и направился вслед за другими.

В дверях палаты, разговаривая с сестрой, он из-за плеча взглянул на бурильщика и даже отвернулся: так поразило осунувшееся, мрачное лицо юноши. Оранжевый, никогда не сходивший загар почти исчез под болезненно-серым налетом. Это огорчило и встревожило. Еще утром Айгюль, которая каждый день ходила в больницу, уверяла отца, что Тойджан бодр и весел и врачи собираются через два дня выписать его на волю. Подойдя к постели, мастер, не умевший лукавить, спросил напрямик:

— Что-нибудь случилось с головой? Болезнь вернулась к тебе?

— Нет, мастер-ага, я совсем здоров.

— Взгляд у тебя такой, будто проиграл свой дом в кости.

— Очень рад, что вы пришли, мастер-ага, — постарался улыбнуться Тойджан, только улыбка получилась бледная, деланная.

— Не вижу радости, — буркнул Таган.

Оба помолчали.

— Соскучился по работе?

— Очень соскучился, мастер-ага, но я не знаю...

— Что путаешь мне мозги! Говори прямо, что тебя тревожит? Может, врачи сказали, что тебе нужно заняться другим делом?

— Врачи ничем не огорчили меня...

— Так кто же тебя огорчил? Почему боишься сказать правду? Как совесть позволяет таиться от человека, который годится тебе в отцы? Я заслужил это, по-твоему?

Тойджан колебался. Сказать всю правду мешала не скрытность, как думал Човдуров, а боязнь расстроить старика. А мастер продолжал, теперь уже мягко, уговаривать.

— Говори, дорогой, не скрывай ничего. Разве я желал когда-нибудь тебе зла? Если сумею — помогу, не смогу — промолчу. Выкладывай, что гложет твое сердце...

— Хорошо, мастер-ага, — сказал Тойджан. — Я и сам вижу, что одним кирпичом нельзя удержать покосившуюся стену. Так зачем же на минуту скрывать то, что все равно станет известно?..

Таган важно кивал, приготовившись слушать.

— Я не смогу вернуться в бригаду, — сказал Тойджан.

— Если врачи позволили работать на буровой, кто помешает тебе вернуться к товарищам! — загремел на всю палату Таган.

— Нашлись такие люди, — слабо улыбнулся Тойджан.

— Говори!

— Мое дело передано прокурору! — вымолвил наконец бурильщик.

— Кто посмел тащить тебя под суд, когда есть решение комиссии? Как ты объяснял Айгюль, так и вышло при проверке. Кто тут спутал твои мозги? Назови имя, и я переброшу негодяя через Балхан!

— Мастер-ага, это не враг сказал. Вы знаете механика Малюгу со второго участка на Вышке? Вчера он отправился в контору договориться с начальником о внеочередном отпуске. Язва у него. И, пока дожидался приема, увидел на столе письмо в прокуратуру и приказ о снятии меня с работы...

— Кто подписал письмо? — грозно спросил буровой мастер, чувствуя, что задает пустой вопрос. Надежды на то, что Аннатувак не причастен к этому делу, быть не может.

Тойджан старательно избегал имени Аннатувака.

— Контора подписала, — сказал он со вздохом, — Малюга с утра вломился в больницу, в неприемные часы, под предлогом отъезда, уговаривал меня написать письма в партком и в профсоюзную организацию. Но если комиссия решила, что я не виноват, это меняет все дело. Не хочется никуда писать... Если я невиновен — правда свое возьмет. Больше и толковать об этом нечего. Расскажите-ка лучше, что с буровой? Восстановить удастся?



— Земля — не человек, — горько улыбаясь, сказал Таган, — раны заживают быстро. Через две недели снова будешь держать в руках рычаги лебедки. Понял? Это я тебе говорю, Таган Човдуров!

— Я верю, мастер-ага! Раз комиссия решила — у меня с души камень свалился!

Таган только сейчас заметил, что все время держит в руках кулек с мандаринами. Он положил сверток на тумбочку и буркнул:

— Ешь и поправляйся!

Тойджан заметно повеселел. Его огорчала только мрачность Тагана, и тут ничем нельзя было помочь. Как заговорить с ним о сыне? Вмешиваться в такое дело совестно.

Через несколько минут Таган стал прощаться, объяснив, что устал с дороги. Ему хотелось побыть одному.

Солнце еще не успело спрятаться за крыши. Весь город утопал в золотых лучах. И дома, и асфальт, и стволы деревьев были пронизаны насквозь золотым сиянием. Воздух стал резким, начинался легкий вечерний морозец. На улице былолюдно — народ возвращался с работы, и буровой мастер чувствовал себя в этой оживленной толпе, как больная овца в стаде.

Оставив позади улицу Нефтяников и площадь Свободы, Таган не свернул домой, а пошел напрямик и вдруг остановился перед решетчатой железной оградой. Нет, он не сможет зайти в этот одноэтажный приветливый домик, крытый красной черепицей! Как часто он играл с маленьким Байрамом в этом палисаднике, густо засаженном кустарником! Как ласково встречала его Тумар-ханум широкой открытой улыбкой! Вспомнив милые лица внука и невестки, мастер направился было к калитке и тотчас отступил, будто очутился на краю обрыва. Нет, не переступит он порога этого дома!

Таган стоял в глубокой задумчивости, не замечая, что кто-то поздоровался с ним и даже пожал на ходу руку.

Это был Сафронов, торопившийся домой из конторы. Он успел, однако, заметить странное выражение лица Тагана, и на секунду промелькнула тревожная мысль — не рехнулся ли старик после пожара? Инженер замедлил шаг, но, видя, что буровой мастер не проявляет никаких признаков безумия, успокоился и пошел своей дорогой.

Очнулся от задумчивости и Таган. С удивлением посмотрел на торопливую толпу, повернулся и пошел обратно, в сторону площади Свободы. Старик с внучонком прошли мимо, и сердце мастера сжалось. Высокая девушка с непокрытой, гладко причесанной головой неторопливо обогнала Тагана, и он подумал об Айгюль. Странная смутная мысль промелькнула: «И люди похожи, и судьбы одинаковы...»

Он вышел на площадь. Статуя Ленина, устремленная в сторону промыслов, будто светилась серебристым светом в глубоких сумерках на фоне черного Балхана. Мастеру показалось, что Ленин говорит: «Ты одним из первых пришел сюда, Човдуров. Ты открывал глубины земных недр, залил светом свой край. Не падай духом, парень! Шире шагай, ничего не бойся, держи голову выше!»

Буровой мастер выпрямился и решительно двинулся вперед, будто и впрямь его кто-то подбодрил.

Теперь снова, как днем, когда сидел около больницы, он замечал все. Таган знал каждый дом, знал, для чего он выстроен, и его радовало, что в городе знаком каждый камень. Вот Дом культуры строителей, белый с голубым, двери широко распахнуты, входит кто хочет в

ярко освещенный клуб, слушай громкую, торжественную музыку, доносящуюся откуда-то из глубины здания. Наискосок, за углом, темно-серый дом нефтяного техникума, занявший половину квартала; в центре площади — здание Туркменнефти, а дальше горком, горисполком, ограда стадиона. Все это строилось при нем, при Тагане. Он свидетель и участник превращения пустыни в великолепный город. Вся жизнь доказала ему безграничное могущество самоотверженного, трудолюбивого человека, слитого душой и помыслами с партией, которая борется за благо трудового человека. Так можно ли складывать руки, падать духом, видя несправедливость, человеческое несовершенство? Мысли быстро проносились в голове, думалось с необыкновенной ясностью и отчетливостью, и, будто догоняя эти мысли, Таган быстро шагал по улице. Дойдя до буровой конторы, он резво, как юноша, взбежал на второй этаж и прошел прямо в партком.

Амана не было в кабинете. Он находился на совещании геологов у Сулейманова. Марджана, сидевшая в маленькой комнатке рядом с кабинетом парторга, посоветовала мастеру подождать. Совещание должно было кончиться скоро.

Попросив у Марджаны бумагу, Таган уселся за пустой канцелярский стол и принялся писать.

Девушке очень хотелось расспросить бурового мастера о пожаре в Сазаклы, потолковать о выводах комиссии, но торжественный вид старика не позволил нарушить молчание.

Мастер писал. Видно было, что это дело ему непривычно, дается с трудом. Он зачеркивал, исправлял, перечитывал, скомкал бумагу, потом изорвал на клочки и снова начал писать.

Может быть, нужно помочь? Марджана, всей душой расположенная к старику, подошла было к нему, но так и не решилась заговорить. В комнате появился Аман и, не заметив Тагана, быстро прошел к себе. Мастер даже не поднял головы. Наконец заявление было закончено. Таган вытер пот со лба, взял под мышку папаху. Марджана молча кивнула на дверь, давая понять, что парторг вернулся.

Держа перед собой исписанный лист, Таган вошел в кабинет. Парторг встал, чтобы его приветствовать, но мастер жестом показал, что церемонии излишни.

— Я старый член партии, — начал Таган, и голос его задрожал.

Аман очень ласково спросил:

— Кто же сомневается в этом?

А Таган продолжал отчужденным глухим голосом, как будто доносившимся из разбитого кувшина:

— И я состою в этой организации двадцать один...

— И это знаю, Таган-ага.

— Сынок, ты пойми меня, — вдруг совсем изменившимся голосом сказал мастер, — совесть заставила меня прийти сюда без зова. Не могу я идти прямо в горком...

Аман пристально поглядел на него. Живой глаз парторга выражал сочувствие, внимание, а вставной смотрел холодно и оттого строго. Зная эту особенность своего взгляда, Аман, чтобы не создавать ложного впечатления и не смущать мастера, попытался пошутить.

— Таган-ага, что-то сразу высоко берешь! Вижу, что волна, поднявшаяся в твоей душе, раскачивает тебя, будто лодку без паруса. Скажи, откуда взялся ветер. Если смогу — тело свое сделаю парусом, если нет — якорем повисну на твоей лодке, чтобы не опрокинулась.

Шутка всегда находила отклик в душе Тагана. Глаза его как будто просветлели, но губы так и не смогли сложиться в улыбку и только дрогнули, как у обиженного ребенка, и он разом излил душу, будто опрокинул ведро с водой.

— Я написал письмо в партком, прошу исключить из партии сына моего Аннатувака Човдурова. Он допустил такую несправедливость, какая позорит коммуниста. Он поднял руку на рабочего человека, преданного своему делу, геройски защищавшего буровую от пожара. Я не за Тойджана боюсь. Комиссия сказала справедливое слово. Бурильщика не дадут в обиду. Я боюсь за Аннатувака. Кто возится с ульями, у того руки испачканы медом, кто взбирается на вершину, у того скользит нога. Если вы не удержите сына моего, он свалится в пропасть.

Амана поразило, что мастер почти дословно повторил его мысль, высказанную вчера в кабинете Аннатувака. Значит, поступок начальника конторы вызывает негодование во всех справедливых сердцах!

— Таган-ага, — сказал парторг, — ты второй раз приходишь в эту комнату говорить о своем сыне. Тогда я с тобой спорил. Я защищал Аннатувака, верил, что он найдет в себе силы понять свои заблуждения. Этого не случилось. Не понял он до сих пор, чего хочет партия...

— Что ж, выходит, ты прав. Давай свое письмо. В среду будем разбирать на партийном собрании персональное дело Аннатувака Човдурова. Он хотел отдать Атаджанова под суд. Пусть теперь сам предстанет перед судом партийного коллектива.

## Глава пятидесятая

### Туман редет

— Ты простила меня, Ольга? Ты все поняла? — настойчиво спрашивал Нурджан, не выпуская Ольгину руку из своей горячей шершавой руки.

Они сидели в глубине двора нефтяного техникума, на той самой скамейке, где еще недавно, в годы ученья, так любили отдыхать в перерывах между лекциями. Нурджан и сам не знал, как их занесло сюда. Бродили по городу, не сговариваясь, свернули к техникуму, забились в дальний угол... Нурджан все время говорил без умолку, объяснял, как хотел уйти из отчего дома, уверенный, что мать оскорбила Ольгу, как пришел искать пристанища к брату, как мать принесла письмо и красная пелена ревности заволокла глаза. А потом умчался к отцу в Сазаклы, боясь встретиться с Ольгой, и там, при свете пожара, Айгюль все объяснила ему. И он поверил сразу. Поверил, потому что Ханык еще раньше подкрадывался к нему со своими сплетнями... Рассказывал, как стало стыдно оттого, что Айгюль верила Тойджану, а он усомнился в Ольге. Это главная его вина.

Ольга, прищурившись от солнца, смотрела сквозь сетку ветвей тутовника в дальний конец двора, где около длинного, покрашенного ярко-зеленой краской стола мальчишки играли в настольный теннис.

Она не знала, как отвечать Нурджану. Так много было пережито, что казалось, годы прошли, а не дни. После ночи, проведенной на промыслах, она в сильном жару слегла в постель, звала в бреду Нурджана, ждала его, выздоравливая, а он так и не появился... А теперь, когда он рядом и честно рассказывает все, как было, на сердце не радость, а какая-то пустота. Как объяснить другому то, чего как следует сама не понимаешь?

— Ты думал когда-нибудь, что такое исполнение желания? — вдруг спросила она.

— Нет... — растерянно ответил Нурджан. — А ты?

— Исполнение желания — это когда вовремя... А если сбывается, когда уже и желания нет...

— Я что-то не пойму.

— Знаешь, есть такое слово — перегорело...

Нурджан испуганно смотрел на Ольгу влажными черными глазами.

— Ты хочешь сказать?..

— Нет, не разлюбила, — вздохнула Ольга, поняв с полуслова. — Я и об этом сейчас думала. Если бы тебя тут не было, я бы очень мучилась. Но как бы получше сказать?.. Если стукнешься, сначала очень больно, а потом боль проходит, остается синяк... Посмотришь и вспомнишь, как было больно.

— Значит, не можешь забыть мою вину?

Нурджану трудно было понять Ольгу. Сам он еще никогда не испытывал ничего похожего. Сегодня, когда прибежал к ней, была только одна забота — рассказать и чтоб она поверила. Поверит, и все пойдет по-прежнему. А получается все так сложно, и нельзя догадаться, о чем она думает... Он смотрел в побледневшее после болезни лицо Ольги, она изменилась, как будто бы и подурнела: скулы выдались, запали глаза, подбородок заострился... И все-таки нельзя наглядеться. Она молчала, и Нурджану пришлось повторить:

— Не можешь забыть?

— Ах, я и не думаю об этом.

Нет, ее решительно нельзя узнать и невозможно понять! Куда девалась привычка поддразнивать, кокетничать, командовать, капризничать? Говорит не глядя, будто мысли унеслись за Балхан. Что ж, помолчать вместе с ней?

Из дверей техникума высыпал народ. Две девушки в длинных платьях из кетени, переливающихся фиолетовым и зеленым, с косами, переброшенными на грудь, степенно направились к дальней скамейке, где сидели Нурджан и Ольга. Светловолосый взлохмаченный паренек закричал вслед:

— Биби! Роза! Стол освободился! Идемте играть! Биби, скорее!

— Пойдем, пожалуй? — сказала Ольга. — Шумно становится.

Нурджан отметил про себя и эту новость. Раньше Ольга любила гулять в самые шумные часы, по самым людным улицам.

Они вышли в переулок, пустынный в этот дневной час, но Ольга повернула не к площади Свободы, а в сторону Балхана: одним концом переулок упирался в гору. Налетел порыв ветра, тонкие ветки белой акации, растущей вдоль тротуара, заломились в одну сторону, и в открывшемся небе Нурджан увидел, как пышное пуховое облако проглатывает солнце.

— Тебе холодно? — спросил он. — Хочешь мой плащ?

— Нурджан, ты милый, — сказала Ольга, будто не слыша вопроса, и улыбнулась, кажется, первый раз за весь день.

— Значит, не сердишься? — спросил он с надеждой.

— И никогда не сердилась. Я мучилась, если хочешь знать, — и в голосе ее слышались слезы. Как хорошо было пожалеть себя, вот сейчас, когда он идет рядом и крепко держит за локоть.

Родинка дрогнула на щеке Нурджана.

— Ну хорошо, я виноват, я сам себе никогда не прощу. Но что же теперь делать?

— А ничего! — Ольга широко улыбнулась. — У нас все еще будет очень хорошо, только по-новому... Я теперь гораздо старше стала.

А он? Разве он стал старше? Нурджан подумал о том, как теперь далек тот осенний день, день песчаной бури, когда он шел на промысел, качаясь на ветру, и выдумывал не то стихи, не то какие-то особенные слова, которые должны были поразить Ольгу. Оказалось, вовсе не надо было мудрить, ничего не надо придумывать... Чувствовать правильно, доверять, если любишь. Кажется, об этом толковал Аман в тот последний вечер перед бегством Нурджана в Сазаклы?..

Аман в это время ехал в машине с Сафроновым из Небит-Дага в Вышку. Ехали молча. Каждому было о чем подумать.

Андрея Николаевича угнетала перемена, происшедшая с Ольгой. Ее печаль и отчужденность замечала даже маленькая Верочка. В доме стало пасмурно, будто туча налетела, будто молодость покинула его навсегда... Он догадывался, что сестра поссорилась с Нурджаном, но причину ссоры не узнал, а спрашивать стеснялся. Слишком замкнута и скрытна стала Ольга за последние дни. В то же время Сафронов понимал, что Ольге надо помочь. Как часто девичье воображение разыгрывается на пустом месте, создает непреодолимые препятствия из камушка, лежащего на дороге... Кому же и вмешиваться в эти дела, как не близким, умудренным опытом? Может, Атабаев прольет свет на эту ссору? Кажется, он очень дружен с братом.

— Вы не знаете, что происходит с нашим подрастающим поколением, Аман Атабаевич?

Аман вздрогнул, очнувшись от мыслей, но сразу понял, о чем идет речь.

— Как будто начинаю разбираться, — уклончиво сказал он, не зная, деликатно ли посвящать Андрея Николаевича в отношения влюбленных.

— Меня очень тревожит Ольга, — продолжал Сафронов, — но я ничего не могу понять...

— Тут пустое недоразумение. Мерзкая сплетня по поводу поездки Ольги и Тойджана в колхоз.

— Но ведь вы тоже там были. Скажите, вы ведь не слишком были заняты скачками и выпивкой, вы обратили внимание, как вела себя Ольга?

— Как вела себя? — переспросил Аман. — Как птичка. Радовалась, что видит новое, расспрашивала обо всем, удивлялась...

— Я и не сомневался в ней, только думал, что по недомыслию юности она могла дать повод для разговоров...

— Ну, какой там повод! Те, кто распускает слухи, не нуждаются в поводах. Сами выдумывают все, что им требуется.

— А кто же все-таки распускает?

— По-моему, Ханык Дурдыев.

— Какая же может быть у него цель? — удивился Сафронов. — А ведь у такого типа должна быть какая-нибудь цель... Не так давно, незадолго до пожара, Човдуров уговаривал меня уволить Атаджанова и что-то туманно намекал на сведения, полученные от Дурдыева... Видите, как получается-то? Бьют по детям, а попадают куда?

— Значит, он еще до пожара хотел уволить Атаджанова? — быстро спросил Аман.

— В том то и штука!

— Да, — задумчиво произнес парторг, — наши дети только жертвы уличного движения. Дело вовсе не в них. Тут какая-то серьезная провокация, в которой нужно разобраться.

И снова оба надолго замолчали.

Мысли Амана были целиком заняты предстоящим партийным собранием. Он не мог забыть лица Аннатувака, когда тот узнал, что на следующей неделе будет разбираться его персональное дело. И ответил Аннатувак как-то загадочно: «Собака не лает, пока не услышит шороха». Смысл этой поговорки всем известен — дыма без огня не бывает. Но Аннатувак вкладывал какой-то другой смысл, что-то вроде «все на одного, и ты залаял». Он еще и жертвой самому себе кажется! Как же все-таки могло случиться, что человек, которого Аман видел героем в трудные дни войны, превратился в мелкого честолюбца? Надо было бы проследить историю этого превращения, вдуматься поглубже, может, отыскать долю и своей вины... Неужели это ничтожество Дурдыев мог повлиять на Аннатувака? В роли Ханыка тоже надо разобраться, а это самое противное. Припрешь такого к стене, и он сразу же начнет ворошить грязное белье, выльет ведро помоев на головы честных людей, начнет увиливать, отказываться от своих слов... И, преодолевая отвращение, придется во все это вникать. А загадок много. Как, например, попало к матери это подделанное письмо?

В этот час Ханык, занимавший мысли парторга и главного инженера, стучался в двери Мамыш.

Он все подсчитал. В конце концов рано или поздно придется отвечать за детей и Зулейху, но если еще прибавится клевета, подложное письмо, тогда несдобровать! Надо попробовать выкрутиться, и тут без старухи Атабаевой не обойдешься.

Как только Мамыш открыла дверь, он бросился к ней с раскрытыми объятиями.

— Мамочка, давай мне бушлук!

У Мамыш голова пошла кругом.

— На буровой Атабая ударил фонтан?

— Не угадала!

— Что же случилось?

— Мамочка, солнце радости обернулось к тебе!

— Ай, Расскажи, дорогой!

— Все узлы развязываются в твою пользу!

— Узлы? Польза?

— Я же говорил тебе: приведу Айгюль в дом твой...

Мамыш даже задохнулась и глотнула воздух открытым ртом.

— Ханык-джан, скажи: мне снится это счастье?

— Нет, мамочка. Сбылось твоё желание!

— Пусть светятся очи твои, мой дорогой!

Ханык начал рассказывать заранее придуманную историю о том, как Човдуров прогнал Тойджана с работы, как прочистил своё горло, накричав на Айгюль, а она говорила: «Брат мой, прости меня. Теперь я буду там, где ты пожелаешь». А Таган твердо сказал: «Дочь моя, не заглядывайся на какого-то бродягу, а поищи парня с головой. Если Тыллагюзель предлагает семью Атабаевых — с радостью прими. Породниться с Мамыш — есть ли большее счастье на земле?» А потом Айгюль на промыслах вызвала к себе Нурджана, и они долго оставались наедине. И всех надоумил и привел к верным мыслям не кто иной, как сын Дурдыева, Ханык.

Старуха кивала головой, не спуская умиленного взгляда с Ханыка.

— Дорогой мой, чтоб глаза твои не знали боли! Пусть господь воздаст тебе за все хорошее, что ты сделал для меня. Я и в могиле не забуду тебя!

— А мне и не нужно другого счастья на свете, как счастье порадовать тебя!

Старуха не могла наглядеться на Ханыка. Ей казалось, что это незримый пророк Хидыр, принявший образ человека. Она сожалела, что не догадалась подать ему руку и проверить, есть ли кость в его большом пальце. Древняя легенда говорила, что большой палец Хидыра должен быть мягким. Мамыш раскрыла буфет и ставила на стол все, что было в доме съестного. Ханык уплетал за обе щеки и чурек, и мясо, и дыню и с увлечением рисовал перед ней картины будущей свадьбы.

На свадебный той должны собраться все иомуды от Балхана до Каспия. Мамыш собиралась пригласить родственников и друзей из Челекена, из Чарыда, из Гыра. Поэтому нельзя спешить. Следовало заранее позаботиться и о машинах. По расчету Ханыка выходило, что из Ашхабада надо вызвать не меньше ста такси, а для угощения закупить не менее тонны риса и стада овец. Он обещал предоставить всю живность для тоя. Стоит ему черкнуть два слова в колхоз, и оттуда пришлют овец и десяток верблюдов в придачу для призов на празднике. Это будет его вклад в свадьбу, а с колхозом рассчитаться всегда успеет. Раздразнив вдоволь воображение старухи, Ханык неожиданно спросил:

— Мамочка, чем платят за хорошее? Добром или злом?

Не разобрав, к чему он ведет речь, Мамыш быстро ответила поговоркой:

— На хорошее ответить хорошим сумеет всякий, на плохое хорошим — только мужественный человек.

— Значит, тому, кто поддержит в трудную минуту, ты протянешь руку помощи?

— Ох, дорогой, о чем говорить? Пусть лучше меня живой похоронят, если я не помогу человеку, сделавшему мне хорошее. Ханык-джан, дорогой, если увижу, что тонет человек,

сделавший мне добро, или спасу его, или сама утону. Ты прямо скажи, что тебе нужно?

— Нехорошо скрывать свой грех, мамочка, но я боюсь запачкать твои чистые руки своей грязью, — сказал он и сам удивился тому, что сказал правду.

— Не бойся, Ханык-джан! И кровавое преступление не запачкает тебя в моих глазах. Говори, сынок!

— Ради твоего счастья, мамочка, я сделал одно грубое дело. Ты же понимаешь: чтобы привести сюда Айгюль, надо было поссорить Ольгу и Нурджана.

— Умные слова, дорогой.

— Я этого добился.

— Дело сделал, дорогой.

— А теперь нужно покрыть это дело.

— Чем покрыть?

— Ради тебя, мамочка, запомни, только ради тебя я написал то письмо от имени Тойджана к Ольге.

Мамыш вздрогнула.

— Значит, она не гулящая?

— Кто сказал — не гулящая? Ночевала с бурильщиком — и не гулящая? Но какое нам дело до нее? Важно, что из-за этого письма меня хотят встряхнуть немного.

— Тебя?

— Ну конечно! Ведь Тойджан может доказать, что это не его письмо.

— Понятно, понятно... — говорила старуха, поводя вокруг блуждающим взглядом.

— Что понятно?

Мамыш, не глядя, сказала:

— Сынок во сне повторял: «Тойджан не писал Ольге».

— Вот видишь, уже догадываются, что Тойджан не писал Ольге, а скоро разберутся, кто писал!

Старуха, занятая своими мыслями, снова повторила:

— Так и говорил: «Тойджан не писал Ольге...»

— Так я же о том и толкую, что письмо писал я сам!

— Можно сказать, как в жару бредил: «Тойджан не писал Ольге...»

Ханык потерял терпение:

— Что ты, мамочка, как наседка, кудахчешь одно и то же?

Мамыш сверкнула глазами.



— Как наседка?

— Не сердись, мамочка, мне нужна твоя помощь. Хорошо, если бы ты, когда дойдет до тебя дело, сказала, что сама просила сочинить это письмо.

— Я должна клеветать на себя?

— Мамочка, я ведь не для себя старался...

— Но почему же я должна лгать?

— Есть же поговорка: «рука руку моет, и обе чистые?»

Немного подумав, Мамыш ответила:

— Ханык-джан, если нужно, я могу стирать на тебя, носить на работу обед, если в деньгах нуждаешься — помогу, сколько возможно, но не толкай меня на ложь! Никто ведь не станет наговаривать сам на себя.

Упоминание о деньгах на минуту приласкало слух Ханыка, но, сообразив, что старуха может попросить деньги у Нурджана и проболтается, он сказал:

— Ай, мамочка! Не бывает сладкой пищи без горькой отрыжки. И в кишмише есть косточки, попадают и стебельки. Если будешь гнаться только за тем, чтобы быть чистенькой, птица счастья никогда не сядет на твою голову! Не удастся тебе увидеть Айгюль в своем углу, украсить свой дом. Подумай как следует и ответь мне. Хорошо?

Мамыш послушно погрузилась в глубокое раздумье. Если она отвернется от Ханыка, поводья счастья уйдут из рук. В ее углу сядет иная язычная, и, что хуже всего, от века чистый род Атабаевых загрязнится. Но, если запеть под музыку Ханыка, придется лгать. Одно дело, когда судачишь со старухами и приукрасишь свой рассказ какой-нибудь подробностью для пущей убедительности. Другое — явная ложь. Это непростительный грех. Солжешь, а что будешь говорить в день страшного суда? Или еще хуже: призовут на какое-нибудь собрание и скажут: «Ты писала письмо! Ты враг нашего строительства и самая настоящая националистка!» Это очень просто может случиться! Или Нурджан придет и скажет: «Если моя мать — игрушка в руках проходимца, мне не нужна такая мать!» И тогда Мамыш умрет на месте.

Она тяжело вздохнула, поплевала себе за ворот и, глядя на Ханыка ясными глазами, сказала:

— Дорогой мой, я не могу солгать.

Дурдыев заморгал, физиономия его задергалась.

— Может, ошибаешься?

— Нет, дорогой, не смогу!

— Ну тогда, мамочка, пеняй на себя! Если хочешь за мое же добро ткнуть меня носом в землю, подумай, как я расплачусь с тобой!

Похолодев от ужаса, старуха смотрела в исказившееся злобой лицо Дурдыева. И подумать только, что она приняла его за пророка Хидыра! Это же обезьяна, настоящая обезьяна! Обрадуешь его — вознесет тебя на небеса, обидишь — толкнет прямо в ад. Да что там обезьяна! Это злой дух в образе человека! Как только вырваться из его тисков?

— Ханык-джан, — сказала она ласково, — я не желаю плохого людям. Если нечаянно наступлю на муравья, у меня сердце кровью обольется... И вовсе не хочу ткнуть тебя носом в землю. Если ты такой обидчивый, давай лучше, пока мы совсем не разобидели друг друга, развяжем свой уговор. Я тебе не мать, ты мне не сын. Разойдемся, как будто и не знаем друг друга?

— Ах, вот как? — Ханык подскочил, будто накололся на иголку. — Хорошо, тетушка! Я уйду. Только рассчитай свои силы, сможешь ли вынести грозу, которую я обрушу на твою голову? Ты, конечно, больше меня топтала снег, больше меня съела хлеба, но не тебе сравниться со мной хитростью! Я найду свидетелей, что ты заставляла меня писать письмо, и тебе никто не поверит!

— Свидетелей? — ужаснулась старуха.

— И самый маленький из них, самый ничтожный, будет Эшебиби!

Хотя Мамыш и чувствовала себя воробышком против Эшебиби и боялась ее больше кары небесной, но ее привели в бешенство слова Ханыка. Как смеет угрожать ей этот чесоточный щенок! За что она должна расплачиваться? Только за то, что открыла проходимцу свое страдавшееся материнское сердце?

— Ты запомни навсегда со всей своей хитростью, что Мамыш запугать нельзя! Если заставишь меня вспыхнуть, я так надую свой платок, что ты полетишь, как соломенная труха, и не сможешь выговорить имени матери своей! А сыновьям про письмо я сама скажу, и тогда ты увидишь, как угрожать беспомощной старухе!

Дурдыев с таким проворством схватил кепочку и бросился вон из дома, как будто и в самом деле был злым духом.

## Глава пятьдесят первая

### День рождения

Ханык Дурдыев исчез.

Три дня он не выходил на работу. Когда хватились, обнаружилось, что он давно уже в отделе кадров обманным путем получил свое личное дело. В запертой комнате в кум-дагском общежитии нашли только грязные носки и недоеденную дыню на подоконнике под газетным листом. Позже говорили, что его видели на станции с чемоданчиком, а кто-то будто бы встретил даже в Красноводском порту, в ресторане. Пускай теперь несчастная Зулейха с ребятишками поищет его в Баку... Или во Втором Баку? Или в Третьем?... Страна велика. Разве не так же, точно крыса от беды, бежал он пять лет назад от родного селения?

Бегство негодяя в канун партийного собрания что-то надломило в окаменевшей душе Аннатувака Човдурова. Начальник конторы бурения по-прежнему напористо руководил всем фронтом работ от Кум-Дага до Сазаклы. Чувствовалась близость весны, март стоял на пороге, мусульмане уже готовились к наврузу, а в дни навруза — уж есть такая примета — то снег сыплет, то зарядит дождь на два-три дня без продыха, и на промыслах, на дорогах, в буровых бригадах то и дело возникают новые заботы. Аннатувак звонил по телефону, подписывал бумаги, выезжал на буровые, общался с утра до вечера со множеством людей. Никто не должен был видеть, как мечется его потревоженная совесть. Но деваться-то было некуда — он в упор глядел на собеседника, но видел не лицо, а мерзко дергающуюся

мордочку Ханыка, как будто прощально подмигивающего ему.

Можно подозревать родного отца в пристрастии к бурильщику. Можно обвинять старого друга Амана в ханжестве и предательстве и даже любимую жену Тумар-ханум, в черт его знает, в карьеризме, что ли... Но что делать с собственной совестью? Дурдыев бежал. Грязный клеветник, негодяй, уличенный в плутнях, предпочел скрыться от покинутой семьи, от суда общественности. Вот и все, что, собственно, случилось, а между тем в этом заурядном происшествии коммунист Човдуров разглядел гораздо большее — собственную линию поведения, свою готовность довериться подлецу, свою ревность, доведенную до бешенства... Как раздражил этот поганец его мрачную душу! Сейчас нельзя больше обманывать себя, будто бы тогда, слушая наветы Дурдыева, не видел, кто он такой, не знал ему настоящей цены. Нет, видел и знал, а все-таки слушал и верил, потому что сам жадно искал опоры для своей ненависти к Тойджану. Отсюда все это, недоброе, и началось.

Тойджан еще лежит в больнице — его не будет на собрании. Пойти к нему. Нет, это выше сил.

Айгюль избегала встреч, не подошла к телефону, а вечером прислала с матерью записку, в которой сообщала, что на собрание не придет, не хочет, ей будет больно за брата, за семью. Заклинала всей своей любовью быть честным и прямым, какой он есть на самом деле, не колебаться в доверии к товарищам, которые будут завтра его судить. И еще — заранее поздравляла его с днем рождения.

Он сунул записку в нагрудный карман пиджака и усмехнулся: в смутной атмосфере этого дня и Тамара и мать забыли, что завтра день его рождения. Сестра напомнила.

Собрание было бурным.

Давно не было таких партийных собраний в конторе бурения.

В Доме культуры собралось более ста человек — бурильщики, монтажники, плотники, трактористы. Аннатувак по привычке приехал с небольшим, минут на пять, опозданием и пожалел об этом — пришлось пробираться в уже переполненном зале. Стараясь не глядеть ни на кого, он все-таки смутно отмечал присутствие то одного, то другого. Вот журналист из газеты «Вышка» беседует с участковым геологом Зоряном. Вот астраханский балагур, водитель тягача, когда-то задававший каверзные вопросы на дороге в Сазаклы, беспечно грызет яблочко. Вот следователь из прокуратуры, которому передано дело о пожаре, о чем-то разговаривает с механиком Кузьминым. Вот старики — Атабай и отец — рядом сидят, одинаково положив на колени ушанки. Вот стороной проходит Андрей Николаевич. И все они, такие разные, собрались здесь, чтобы судить его?..

Своего личного шофера Аннатувак нигде не видел. Все эти дни Махтум был молчалив и мрачен, а вчера заболел, не явился на работу, и Аннатувак догадывался почему: бедняга просто не мог явиться на собрание, где будут по косточкам перемывать его начальника, с которым и горя хлебнул, зато и много хорошего пережил по-товарищески вместе. Сейчас Аннатуваку было безразлично отношение Махтума и его малодушное отчаяние.

— Здравствуй, Аннатувак! — донеслось в гуле голосов.

Он обернулся и густо покраснел. Из задних рядов его приветствовал человек, которого он не видел много лет, — старый украинец с удивительной фамилией Ксендз, бывший директор русской школы в Джебеле, где некогда, двадцать пять лет назад, учился мальчишкой Аннатувак. Он знал, что тот давно живет на покое, заседает в одной из секций горсовета да возится в своем садочке. И он — из другой партийной организации — тоже пришел судить?..

— Здравствуйте, Опанас Григорьевич, — торопливо откликнулся Човдуров. И уже заодно

пришлось пожать еще две-три руки.

В президиум были избраны весь состав парткома во главе с Аманом Атабаевым, а также секретарь горкома партии и управляющий Объединением. Потом члены пошептались, и Аман предложил избрать Тагана Човдунова. Негнувшийся угловатый старик под одобрительные аплодисменты полез на сцену.

Доклаживал по персональному делу Аннатувака Човдунова член парткома бурильщик Баяндыров. Это был немногословный человек, но разумный и справедливый, как говорят — совесть партийного коллектива. Читал он по бумаге, надев железные очки на мясистый нос, читал медленно, почти без выражения, о самодурстве Човдунова, нетерпимом характере, грубом администрировании несправедливом преследовании бурильщика Атаджанова — как он хотел его уволить еще до пожара на буровой, а после пожара поспешил передать дело следователю, даже не дождавшись технической экспертизы. Жалобу на начальника конторы принес в партком его родной отец Таган Човдунов. В зале раздавались негодующие реплики, стоял гул возмущения, а Баяндыров, не прерывая ни на секунду своего чтения, только вздымал перед собой мозолистую пятерню, и тишина восстанавливалась.

Кончив, он снял очки, свернул бумагу и добавил несколько слов:

— Обсуждайте теперь, товарищи. Тут нечего стесняться, что он начальник. Он прежде всего коммунист... А меня если спросите, я скажу, как отец меня учил: «Дерево, высоко держащее ветви, плодов не имеет». Вот вам, товарищ Човдунов, мой сказ...

Справа и слева от Аннатувака места остались свободными, и он сейчас в тишине примолкшего зала почти физически ощутил себя «деревом, высоко держащим ветви», — отовсюду было его видно, и он был один.

Кто-то рядом опустился в кресло. Он взглянул — это был старый учитель. Видно, издали заметил свободное место возле Човдунова и перебежал.

— Что, опять нашкодил? — зашептал он, усевшись. — Вот характер! Помнишь, как на меня-то, маленький, с кулачками полез? Сейчас терпи...

Столько доброты было в этом напоминании о детстве, что губы Аннатувака дрогнули. «Спасибо», — прошептал он, и Ксендз не расслышал, а понял.

Выступали Эсенов, Яковенко, Петросов — старые кадровики. За многие годы от самых близких людей не услышал о себе Аннатувак Човдунов столько плохого, сколько сейчас высказывали в глаза люди малознакомые. О некоторых своих провинностях он забыл, а ему безжалостно напоминали. Вопрос о Тойджане Атаджанове понемногу отодвинулся на второй план — столько открылось тяжелых проступков и оскорбительных действий. Дорожный мастер рассказал, как Аннатувак Човдунов расшвырял ногой чайники отдохавших землекопов, молодой слесарь — о том, как накричал однажды на комсомольского секретаря Марджану Зорян, обидел хорошую девушку, довел до слез, кого-то прогнал из кабинета, кому-то обещал «вырвать язык», в кого-то хотел запустить чернильницей. Аннатувак слушал — все было верно, ничего не придумали. Да, сгоряча обижал и обрывал грубо, вел себя некрасиво... Но ведь и себя не жалел? Почему же не вспомнят об этом? Ведь он ради дела — только ради общего дела. За долгие годы по молодости лет чего не натворишь, но ведь за долгие годы! А они словно колючие цветы собрали со всего луга и поднесли букет — на, дескать, нюхай! «Вот мы и добрались до тебя!» — слышалось Аннатуваку в речах коммунистов. «Неужели меня так ненавидят?» — подумал он в минутном отчаянии, и вдруг сам собой вспомнился обрывок из недавнего разговора с отцом. «Кто обо мне так говорит?..» — «Народ...» «Народ не может меня так ненавидеть!» — убежденно подумал Аннатувак, и сразу пришел ответ: «Значит, он ненавидит не меня, а мои недостатки, как мать в детстве ненавидела во мне мою болезнь...» Он сидел, опустив голову, как будто что-то записывал.

Искоса взглянув, старый учитель увидел, что карандаш Човдунова чертит на бумаге кривые линии и бублики, вроде детских рисунков, и сразу определил: волнуется человек, это хорошо...

И верно, Аннатувак был взволнован до слепоты, до глухоты, и только самые резкие слова осуждения достигали сознания.

— ...Думает, что он нежный персик, а на самом деле он колючий чингиль! — кричал чей-то звонкий голос.

А другой, вразумительный, говорил:

— ...У нас некоторые рабочие семьи никак с верблюдами не расстанутся. А ты, дорогой начальник, — со своими родимыми пятнами.

Многие припоминали Ханька Дурдыева — проходимца, который своей клеветой помог начальнику организовать травлю бурильщика Тойджана.

— Ты думал, что хорошо разбираешься в людях, — зло укорял буровой мастер Турбатлы. — Ты возомнил, будто читаешь в сердцах людей. Тойджана — под суд отдать. Ханька — за стол посадить. Видно, решил, что твой взор обострен мудростью и проникает в глубь вещей... А па деле выходит, что ты только и можешь — дыню разгадать по кожуре!

Слыша смех в зале, Аннатувак с горечью думал — неужели никто не проронит доброго слова, смотрел на Амана, но тот, сидя на председательском месте, никому не мешал смеяться, не стучал карандашом по графину и даже ни разу не взглянул в сторону друга, будто и не знал, где он сидит.

Последним перед перерывом выступил Андрей Николаевич. В зале наступила тишина — говорил главный инженер, его очень уважали, он проработал на промыслах Небит-Дага двадцать пять лет и всегда выступал на партийных собраниях независимо и честно, руководствуясь только собственной совестью.

Он начал с того, что не считает нужным говорить о достоинствах начальника конторы, пусть послушает Човдунов о своих недостатках. Обвинил Човдунова в заносчивости и самомнении, рассказал, как он, срывая важные совещания, убегал, хлопая дверью, и как под видом борьбы с семейственностью обидел родного отца.

— С Човдуновым дело обстоит плохо, товарищи! Вы все нефтяники и знаете, что в бурении самое страшное — это когда скважину прихватило. Или, к примеру, инструмент затянуло, — хмуро говорил Андрей Николаевич. — В жизни коммуниста тоже, как и со скважиной, самое главное — не допустить прихвата! А это случилось с нашим товарищем Човдуновым — и нечего нам в жмурки играть. Надо говорить начистоту...

И Сафронов подробно рассказал партийному собранию, как однажды понял истоки всех бед Човдунова. Это было во время охоты в рощах арчи на Большом Балхане. Аннатувак рассказал ему о своем детстве и при этом всех сверстников посчитал ниже своего колена. Не пощадил и двоюродного брата, который на Челекене как был, так и остался простым рабочим. Андрей Николаевич понял тогда, что его молодой друг, начальник конторы, хорошо осознав то чудо, которое произошло с ним лично за тридцать восемь лет жизни, не заметил, что чудо-то произошло не с ним одним, а со всем народом. Он все приписывает своим личным качествам, потому и верит только в свою непогрешимость.

— Вы больше всех знаете, лучше всех умеете и поэтому всегда правы, — говорил Андрей Николаевич, обращаясь уже прямо к Аннатуваку. — Голова у вас закружилась... Вы с вашим братом собирали саксаул в этих местах, где теперь наш город, и грузили на ослика, а сейчас

в вашем распоряжении самолет, если надо лететь в Сазаклы... И этот самолет, и личный шофер Махтум, и даже ковер на стене у вас в кабинете — все украшает в ваших глазах только вашу особу и подтверждает ваши личные достоинства. И вы не замечаете, что вместе с вами и даже быстрее вас растет целый народ!.. Молодежь не цените, хоть сами еще молодой... Или уже постарели? Три месяца назад из аула пришел здоровенный парень, его Пилмахмудом прозвали в шутку. Вы его заметили, Аннатувак Таганович?.. Нет, не заметили! А он быстрее вас растет, дорогой товарищ! Он попал на эксплуатационный участок, успел перебраться в разведку, уехал в Сазаклы и уже хорошо освоился в бригаде вашего отца. А на пожаре был просто герой: разреши ему мастер, он бы повторил подвиг Матросова. Вот какой человек! И он уже, конечно, не Пилмахмуд, а имеет фамилию: Чекер Туваков. Запомните! Пройдет пять лет — какой он будет?.. Вы ведь тоже не всегда были начальником конторы. Я вас помню маленьким...

— И я его помню маленьким! — вдруг вскочив с места, крикнул Опанас Григорьевич Ксендз.

Зал грохнул от смеха, — так неожиданно было вмешательство старика учителя. Раздались даже аплодисменты. Посмеявшись над самим собой вместе со всеми, добрый человек все-таки воспользовался минутой и добавил.

— Он ничего был парень, смышленный и напористый. Только вспыльчивый...

Когда смолкло оживление, Сафронов продолжал говорить еще минут десять.

— Так дальше нельзя, товарищ Човдуров! В наше время нет в стране незаменимых людей. Не Човдуров, так Хидыров, не Хидыров, так Игдыров... Советую вам, как старший товарищ, взгляните-ка на себя глазами коммуниста, просветленным взглядом, тогда поймете, о чем мы ведем с вами речь... И перестаньте оскорблять людей, забрасывать грязью даже таких уважаемых, как Сулейманов, всю свою жизнь посвятивших...

— Андрей Николаевич, — раздался из зала негромкий голос Султана Рустамовича. — Высказывайте, пожалуйста, свое мнение, пусть оно будет самое суровое, но только обойдитесь без меня, прошу вас.

Аннатувак впервые поднял голову. Реплика Сулейманова поразила его. Геолог застывает?

Несколько смешался и Андрей Николаевич.

— Разве я неправильно сказал? А ваш конфликт? Разве он не считал вас личным врагом?

— Нет, неверно, — спокойно возразил Сулейманов.

— Султан Рустамович, вы меня не сбивайте! — рассердился Сафронов. — Если я неправ, скажите в своем выступлении...

Ответив Сулейманову, Андрей Николаевич огляделся по сторонам, как бы спрашивая: «О чем же я говорил?», потом кивнул головой: «Вспомнил!» — и закончил:

— Мне один беспартийный рабочий так говорил о вас, товарищ Човдуров: «Этот начальник считает себя... луной неба. Он думает, что как на небе становится темно, когда луна зайдет, так у нас в конторе все развалится, если он уйдет... В яму может свалиться такой начальник. Хорошо, если только измажется, а может и навсегда искалечиться...» Этот рабочий по-туркменски говорил, а я его понял, потому что он говорил правду, товарищи!

Коммунисты долго и дружно аплодировали Сафронову.

Аман объявил перерыв на пятнадцать минут.

## Глава пятьдесят вторая

Отец не проронил ни слова...

С окаменелым лицом сидел Аннатувак в опустевшем зале, пока коммунисты, столпившись в вестибюле, курили и обсуждали речи ораторов. Опанас Григорьевич помялся возле задумавшегося Аннатувака, потом бочком встал и тоже удалился. Опустилась сцена. Никого не хотелось видеть, ни с кем не было нужды разговаривать, только вспомнился вдруг маленький Байрам — прижать бы его сейчас к груди...

Резко осуждая себя после бегства Дурдыева, Аннатувак подсознательно хранил одну важную мысль — он надеялся, что задуманное парткомом обсуждение его персонального вопроса — это только расплата за техническую политику, за сопротивление разведке в пустыне; конфликт с Тойджаном — только предлог, за ним скрывается более внушительный конфликт — с Сулеймановым и Сафроновым. Так думать было почему-то легче, утешительнее... Ход прений лишил его этой иллюзии. Нет, партийный коллектив не прощает чего-то гораздо более серьезного, чем его отношение к сазаклынской разведке. Ответ надо держать по всей линии жизненного поведения.

«День рождения...» — вспомнил Аннатувак с горечью и вынул записку сестры, перечитал. Буквы косые, почерк беглый, торопливый... «Как сказала, так и сделала — не пришла, молодец...» Вдруг Аннатуваку пришла мысль об отце: «Он сидел в президиуме, прямой, строгий. Что он сейчас думает обо мне? Должен выступить, ведь это он возбудил дело, написал заявление в партком... А сегодня день рождения Аннатувака — как же не выступить отцу!» С этой минуты в душе Аннатувака посветлело, то, что было главной обидой, могло стать утешением. Что бы ни сказал отец — пусть выступит...

Между тем зал снова наполнился. Члены президиума заняли свои места. Аман постучал карандашом по абажуру лампы и дал слово главному геологу конторы Сулейманову.

Султан Рустамович, идя на собрание, не предполагал выступать. Конфликт не помешал ему судить о Човдуrove справедливо. Он хорошо знал, что Аннатувак, какой он ни есть, подходит для своей должности: сердце у него чистое... Геолог внимательно слушал речи рабочих: правильно критикуют — жестко, а справедливо. И Сафронов выступил по-партийному, прямо и ясно, а все же перехлестнул, увлекся — ведь после такого осуждения со стороны главного инженера, пожалуй, нельзя оставлять человека на руководящей работе. Не надо бы так... С досадой Султан Рустамович бросал свои реплики Андрею Николаевичу, а в перерыве подошел к Аману и попросил записать в прения.

— Вот это хорошо, — сказал Аман. — Молодец Сафронов. Я рад, что и вы решились...

Что-то промямлив, Сулейманов отошел в сторону. Он совсем не собирался выступать с обвинительной речью.

И сейчас, стоя на трибуне, Султан Рустамович еще медлил, обдумывая каждое слово, которое предстоит сказать. Все знали, что целый год он противостоял начальнику конторы, ожесточенно спорил, рискуя всем в этой борьбе. Он лучше других знал Аннатувака Човдурова в состоянии крайнего раздражения, даже ненависти. Никто не ожидал от Сулейманова мягких слов.

— Я присоединяюсь к выступлению Андрея Николаевича, — начал тихим голосом маленький геолог. — Присоединяюсь к тому, что он сказал о нетерпимом характере Човдурова и о том,

что, к сожалению, начальник конторы в последнее время резкостью и грубостью отдалил себя от коллектива. Но не могу согласиться со многими тяжкими обвинениями, которые сегодня и в речи инженера и в некоторых других выступлениях громоздятся над головой начальника конторы... Товарищи, нет ничего вреднее несправедливости! Давайте все-таки вспомним, что достижения нашей конторы в перевыполнении государственного плана немало зависят и от энергии Човдунова, от его организаторских способностей. Он болеет за дело, равнодушен к делу, у него самоотверженное сердце...

Никто не замечал, как посмуглело от румянца и без того смуглое лицо Аннатувака. Он слушал великодушные слова Султана Рустамовича, и это возвращало ему достоинство, чувство самоуважения. Вдруг к горлу подкатил комок. Аннатувак нахмурил брови, боясь, что его волнение будет замечено.

— Спросите людей в буровых бригадах, — продолжал Сулейманов, — о грубости нашего начальника конторы они выскажутся тоже грубовато, не пощадят, но о деловых качествах скажут доброе слово: «Дело знает, энергичный, резину тянуть не любит». Такие суждения я слышал не раз. Мы столько сказали сегодня Човдунову горького, что можно разрешить себе сказать и это... Я не верил Човдунову еще недавно, в конце прошлого года. Думал о нем как о ловком хозяйственнике, который ради выполнения валовой программы в метрах бурения готов балансировать между легкими и трудными скважинами — легким отдавать предпочтение, а трудные, вроде тех, что в Сазаклы, замораживать и придерживать. Но я ошибся в этих низких предположениях. Мы, коммунисты, приходим на партийное собрание для того, чтобы говорить всю правду. Човдунов — не конъюнктурщик! Он искренне сомневался в перспективности сазаклинских пластов...

— Да и сейчас в них не верит! — бросил реплику из президиума управляющий.

— ...Но в этом нет еще нарушения партийной этики, партийной дисциплины! — возвысил голос Сулейманов. — Недра земли таятся от нас и часто озадачивают самых опытных и мудрых. А посмотрите, как работал наш Човдунов, даже не веря!.. Еще осенью он страдал трудностями: «Кто согласится работать в Сазаклы, кто пойдет туда, в Черные пески, как в ссылку?..» А в течение зимы так оборудовал жизнь в поселке, так обеспечил бытовыми удобствами бурильщиков и геологов, что сейчас уже оттуда людей не вытащишь, семьи туда тянутся, ребят везут... Вот вам и весь Човдунов!

И снова у Аннатувака подступил комок к горлу. Он слышал этот одобрительный ропот, и сердце ответно разволновалось. А в памяти снова возник обрывок разговора с отцом: «Кто же так думает обо мне?..» — «Народ». Вот как пророчил отец!.. Пусть же выступит! Теперь, после Сулейманова, ничего не страшно, пусть скажет по-отцовски горько, по-стариковски мудро, только бы не промолчал.

А Сулейманов, спокойный, тихим голосом говорил с трибуны, принуждая собрание утихнуть и слушать.

— Я не касаюсь поведения Човдунова после пожара. Тут он не заслуживает пощады! Жаль, что обиженный им Тойджан лежит в больнице...

— Так зачем же вы защищаете Човдунова? — бросил с места Андрей Николаевич.

— Нет, товарищ Сафронов, вы неправы, — мягко возразил Сулейманов. — Нам надо всем выйти отсюда мобилизованными, готовыми к новым трудным делам. Я не защищаю Човдунова — самовлюбленного горлопана, носителя пережитков, попирающего наши советские законы общежития. Я защищаю Човдунова — честного и деятельного организатора. По-моему, нечеловечно наносить жестокий удар товарищу, сделавшему неверный шаг в сложной обстановке. Я думаю также, что легко разрушить дом, но трудно построить...



— Ваше время истекло, Султан Рустамович, — коротко заметил Аман.

— А я уже кончил.

Речь Сулейманова была выслушана с вниманием и одобрением, но аплодировали скупое — и этого нельзя было не заметить. Партийное собрание — как живой человек, и этот человек, видимо, опасался, что такая защита, пусть даже справедливая, может ослабить впечатление слитности коллективной воли, единства мыслей коллектива, так резко устремившегося в бой с тем, что мешает ему идти вперед.

Не успел Сулейманов сойти со сцены, как из рядов поднялся и махнул ушанкой сыну, прося слова, мастер Атабай. Аман был, видно, застигнут врасплох: ему и в голову не приходило, что отец захочет говорить на таком многоядном собрании. Пока он раздумывал над тем, как величать его и вообще дать ли слово, старик уже направился к сцене, на ходу начав речь.

— Ишти, я из Челекена... — говорил он, неторопливо поднимаясь по лесенке и поглядывая в зал. — Ишти, потому ли, что я с детства остался сиротой, потому ли, что никто не интересовался, из какого я рода, но в общем у меня нет фамилии, неизвестно, чей я сын, есть только имя у меня — Атабай...

Понимая, что отец собирается завести долгий разговор, и считая неудобным делать замечание, Аман шепнул сидевшему рядом бурильщику Баяндырову:

— Скажи ему, что тут не место сказки рассказывать.

— Пусть пока говорит, там увидим, — шепнул Баяндыров.

Атабай между тем уже стоял на трибуне.

— Входить в воду покачиваясь я учился у раков, а быстро плавать — у рыб...

В рядах прокатился смешок. Атабай не обратил на это никакого внимания.

— А вот мой старый друг Таган-ага, тот, что сидит рядом с моим сыном в президиуме, — тот в Каракумах учился ползать у черепах, а бегать — у ящериц зем-земов...

Все в зале смеялись заранее, еще недослушав очередной фразы веселого старика. Секретарь горкома, сидевший за столом президиума, не зная, к чему клонится речь мастера, тоже улыбнулся и развел руками. Баяндыров решился сделать оратору замечание:

— Атабай-ага, незачем беспокоить морских обитателей и животных пустыни. Может быть, скажешь нам о цели твоего выступления?

Атабай бросил папаху на трибуну и уставился на Баяндырова.

— Товарищ Баяндыров, когда ты говорил, разве я мешал?

— Атабай-ага, но я не рассказывал свою биографию...

— Товарищ член президиума, если соловей поет, ворона только каркает. Ведь я не в саду вырос, у меня нет такого сладкого языка, как у тебя. Прошу простить за карканье!

Баяндыров сам был не рад своему вмешательству и попросил прощения у мастера:

— Атабай-ага, прости, больше не буду.

— Хорошо, прощаю. Лягушка любит воду, если взять меня, а мышь предпочитает песок, если взять Тагана-ага. Но почему мы сидим здесь? — Старик обвел рукой весь зал, словно ожидая

ответа на вопрос. — Есть чудесная сила, которая нас обоих — нет, не только нас, а и тебя, товарищ Баяндыров, и тебя, товарищ Сулейманов, и тебя, Андрей Николаевич, главный инженер, — привела сюда, дала нам цель, научила любить каждую пядь родной земли, подружила и побратала. С помощью этой силы мы не только меняем облик своей республики, но не оставляем разницы между морем и песком. Мы вот с Таганом двадцать пять лет ищем здесь свое счастье — свое, то есть народное. Мы золотой клад не в песке ищем, золотую рыбку не в море ловим, а находим в двух-трех километрах под землей... Вот почему борода моя побелела, и Таган-ага тоже выглядит не лучше меня. Но мы чувствуем себя молодыми, наше время не позволяет нам стареть!

В эту минуту Аман встал и как председатель официально обратился к отцу:

— Товарищ Атабаев, что вы хотите сказать... в конце концов?

Атабай выпятил грудь, погладил рукой три клока своей бороды и так же официально возразил сыну:

— Аман-товарищ, разве вы не на моем языке учились говорить «вода» или «хлеб»? Или выросли очень, чересчур стали культурными, перестали понимать язык отцов? Разве я по-персидски говорю?

— Здесь, в зале, собрались люди, понимающие разные языки.

— Но сын не понимает отца, так, что ли?

— Я вот что хочу тебе сказать: коротко и ясно изложи свое мнение.

— Пусть говорит! — раздались голоса.

Многие захлопали в ладоши. Атабай, не смущаясь шумом, взял в руки шапку, лежавшую на трибуне, и резко отчитал председательствующего:

— Если вам так уж невтерпёж, если вам не стыдно заглушать критику, я попробую говорить короче... Не так ли, Таган-ага?

Таган ничего не ответил на вопрос друга.

— Плохие новости разносятся с быстротой молнии, — продолжал Атабай. — Говорят, начальник конторы преследует не только молодого Тойджана, но и нас, мастеров. Хочет освободить нас от работы — меня отправить на Челекен ловить рыбу, а Тагана — в пески гоняться с палкой за зайцами... Таган-ага, не удивляйся — это яйца учат курицу! Пусть учат, но пусть на партийном собрании объяснят нам, почему мы стали плохи. Разве наша работа — брак? Разве... — Он перевел дух и закончил, обратившись к своему другу: — Ну как, Таган, достаточно или еще?

Под гомон восторженных восклицаний и гул аплодисментов Атабай важно прошел мимо президиума, важно спустился по лесенке в зал и, уже садясь на свое место, видно, не в силах справиться с волнением, натянул на голову свою большую ушанку.

Тщетно пытался Аман в течение нескольких минут успокоить собрание — речь Атабая всем понравилась. Она не поправилась, пожалуй, только его сыну. Балагурство хорошо за дружеской беседой, думал он, а не на партийном собрании, когда обсуждается вопрос о стиле руководства. В эти дни Аман слишком тяжело переживал все, что случилось с его другом, негодовал против него и жалел его и сейчас не мог оставаться равнодушным, видя, как разухабистая и цветистая, а в общем беззлобная речь отца рассеяла впечатление, развеселила людей, отпустила их сердца. Не так был настроен Аман, идя на собрание.

Много месяцев он видел свою обязанность партийного вожака в том, чтобы быть терпеливым и спокойным среди необузданных и пылких. Много месяцев, сдерживая самого себя, уравнивал крайние мнения, умирал чужую, даже справедливую горячность. Его могли упрекнуть скорее в том, что он тянет и молчит, поддерживает престиж начальника, тем более что все знали: они фронтовые друзья. Но случай с Тойджаном вывел его из привычной сдержанности, Аман решил больше не щадить самолюбие руководителя. Пусть наконец свершится партийный суд! С таким чувством шел Аман на собрание, с таким чувством им руководил. Ему не понравилось «справедливое» выступление рыцаря Сулейманова и огорчила веселая речь балагура отца. И хотя список ораторов далеко не был исчерпан, он воспользовался своим правом председательствующего и вышел на трибуну.

С первых же слов никто не мог узнать Амана — по резкости и жесткости интонаций, по меткости и неуравновешенной силе ударов, которые он наносил своему давнему другу Аннатуваку Човдурову. Он волновался. Единственным кулаком своим заключал каждую вескую фразу, пристукивая по трибуне. Лоб покрылся каплями пота. Сразу заметнее стала разница между мертвым глазом и живым...

— ...Мы оберегали до сих пор его авторитет, но это не помогло! — грозно говорил Аман и договаривал кулаком. — Тут снова защищают «нашего Човдурова» — и даже те, кто больше других пострадал от его необузданного своевластия. А не достаточно ли защищать?

И он подробно рассказал всю историю козней Ханыка Дурдыева, не постеснялся затронуть и семейную сторону дела, особенно подчеркнул тот момент, когда сплетня, пущенная Ханыком, стала уже делом общественно-политическим... Рассказал, как однажды уважаемый мастер Таган Човдуров пришел в партком и дрожащими руками бросил, разобиженный, на стол жалкие бумажки, справки о здоровье, медицинские заключения и свидетельства. Кто же позволил начальнику конторы под предлогом заботы о стариках сгонять с промысла здоровых, полных энергии и бодрости людей, цвет нашего рабочего класса! Рассказал о позорной ревности Аннатувака к бурильщику Тойджану. В его рассказе история последних дней — пожар в Сазаклы и поведение Аннатувака Човдурова — выглядели по-новому — он, видно, имел время обдумать подробности этой нехорошей истории.

— «Наш Човдуров» — коммунист и не мог радоваться пожару на буровой! — утверждал парторг. — И, сын своего отца, он также не мог радоваться такому несчастью... Он и не радовался. А ведь какая-то дьявольская, теневая сторона его души ликовала! Вышло-то ведь, как он пророчил, вышло по его, по-човдуровски! Ведь он торжествовал все эти дни, пока работали комиссии, изучая причину аварии. Торжествовал мрачно и озлобленно и без раздумья, без сожаления передал дело Тойджана в следственные органы... С ним, видите ли, не посчитались, его не послушались, а он-то лучше всех знал, как дорого нам обойдется нефть, даже если ее там и возьмем. И он ничего хорошего не ждал. Мы не узнавали его в январе — такую развел лихорадочную деятельность, всех подстегивал, поменялся ролями со своими противниками. А он жил с невысказанной надеждой — поскорее убедиться в своей правоте. Когда случился пожар, он не был поражен этой новостью — он ее ждал с нетерпением. Вот где она, подлость!.. — Аман вздохнул на весь зал от волнения и помолчал, чтобы дать себе остынуть. — В предании суду бурильщика тоже была какая-то своя, нехорошая, логика. Он думал так: если не послушались и сказали, что в Сазаклы бурить можно и должно, значит, теперь во всем будут виноваты не природа, не изломанная структура пластов, не пресловутая «разбитая тарелка»... А кто же? Надо искать виновников во что бы то ни стало. Или мастер, или бурильщик. И со злорадством возложил всю полноту ответственности за пожар на молодого товарища, чтобы отцу побольнее было... Это уже полная победа индивидуалиста, это неистовство сильного характера, бешеного темперамента... Опасно, когда такой человек руководит людьми! Но разве только в характере дело? Давайте задумаемся посерьезнее, товарищи! Вот перед нами Човдуров — кто он? Сын туркмена, работающий в советское время на земле своих предков. Плоть от плоти рабочего класса — вот перед нами его отец. Но этого мало: он инженер, хорошо знающий нефтяное

дело, честный человек, мужественный воин — я это лично знаю по годам войны. И вот этот человек кругом неправ в своих отношениях с коллективом! Почему же?.. Разве всему виной только упрямый характер, как думает его отец? Нет, Сулейманов, если хотите знать, еще упрямее Човдурова. Тут дело не только в характере, а еще в особом добавочке к нему, вроде присадки к железной руде. И называем мы эту присадку чутьем и совестью коммуниста, чувством партийности... Совсем как будто скромная добавка — малая доля хрома, или кремния, или вольфрама, а сталь получается удивительных свойств, прочная, выносливая,

легированная. Добавишь к упрямому, твердому характеру партийную совесть — и новыми свойствами озарится человек: и верой в людей, и уважением к труженику, и знанием своего коллектива, чувством товарищества, беззаветной преданностью делу партии, делу коммунизма.

Вслед за Аманом выходили на трибуну другие ораторы. Таган не просил слова, Таган молчал...

Был уже первый час ночи. Всем становилось ясно, что сегодня обсуждение не кончится. Коммунисты приходят на партийное собрание, чтобы сказать свое слово, и уходят с партийного собрания только тогда, когда слово становится делом.

## Глава пятьдесят третья

### Слово становится делом

И вот наступила туркменская весна, не похожая ни на какую другую весну в мире. Веселым солнечным утром Айгюль пришла за Тойджаном, и вскоре, простившись с Нязик, махнув рукой доктору, с которым тоже подружились, они вышли из больницы.

— Куда, милый?

— А куда глаза глядят...

Им было хорошо в это утро вдвоем. Взявшись за руки, они шли по джебелской дороге. Все приметы весны, и даже незаметные постороннему взгляду, были доступны их пониманию, потому что они родились, жили тут с детства и потому что они сейчас были вместе. Под палящими лучами солнца земля еще задыхалась, как от испуга. Она еще сырая, не успела впитать влагу недавних снегов и дождей, но уже кое-где ее покрыл прозрачный светло-зеленый пух молодой травы, ожили жесткие кусты саксаула и черкеза. Песчаные склоны дороги были словно испещрены иероглифами: следы ящериц и сусликов пересекались отпечатками заячьих лапок...

— Гляди!

В кустах мелькнул лисий хвост — и он уже был по-весеннему яркий, светло-желтый.

Они шли и молчали, вдыхали едва уловимый запах травы. Вскоре Тойджан с непривычки опьянел от всего этого и простодушно признался в этом Айгюль. Тогда она, как няня, усадила его на песчаный бугорок под кустом и сама села рядом.

Им была хорошо видна дорога, ведущая на Джебел и дальше — в Черные пески, в Сазаклы. И они заметили три машины, которые — с промежутками минут в десять — пятнадцать — проследовали одна за другой из города.

— А ведь это Аннатувак и Сулейманов...

— Смотри — и Аман... и Андрей Николаевич!

— А это машина геофизиков... Вот и перфораторная лаборатория...

— Значит, в Сазаклы сегодня простреливают скважину?

Их поразила новость. Это не могла быть скважина Тагана, недавно восстановленная после пожара. Но, значит, скважина Атабая дошла до проектной глубины и сегодня проводят ее испытание... Они долго стояли, держась за руки и глядя вслед давно исчезнувшим машинам. И вдруг, взглянув друг на друга, рассмеялись и крепко расцеловались — впервые за две недели больничных свиданий.

Пробежала еще одна машина. Кто-то из нее махнул им рукой, мелькнуло нечто розовое, сияющее на солнце... Лысина! Ах, это Тихомиров! Конечно, и он не отстает от событий.

В это ослепительно ясное утро в поселке Сазаклы было безлюдно и тихо. Только голенастый петух, медленно вытягивая ноги со шпорами из песка и клекоча от самодовольства, вышагивал вслед за своим походным гаремом, а куры, уже дважды обойдя весь поселок, копошились около ведер с разведенными белилами. В Сазаклы достраивались два общежития и сельмаг, уже шла побелка маленького домика отделения связи. Но сейчас не было видно девушек-малыаров, не было слышно задорных русских частушек. Молчал и черный рупор на столбе, врытом среди площади Молодых энтузиастов. Все, кто только мог, ушли в это утро на буровую Атабая. Для сазаклынцеv наступил долгожданный день испытания.

Еще с вечера прибыли с основными машинами и палаткой геофизики и перфораторная бригада. Несколько автофургонов и гусеничный трактор с барабаном и канатом и будка на санях расположились звездой вокруг вышки, так что кузова глядели на нее, а радиаторы — в пустыню. Вокруг были разложены пулеметы — так называются у нефтяников цилиндрические снаряды, которые погружаются в скважину и производят в ее глубинах, в нефтеносном пласту, выстрелы, пробивающие стальную обсадную трубу и открывающие дорогу нефти в скважину.

Операция опускания пулемета на глубину около трех тысяч метров занимала много часов. Работы начались еще ночью. В скважину подавали воду, и толстый шланг дрожал, как удав, а по желобу текла назад густая глина — в нее вглядывались теперь не только Атабай с бурильщиками, но и геологи, инженеры. К полудню на «газиках» подъехали руководители конторы.

Атабай толкнул в бок усатого бурильщика и пробурчал:

— Ишти, сегодня у нас в Сазаклы как на свадьбе.

Впрочем, это была его единственная шутка за целый день. Старый нефтяник, который умел всех подбадривать и веселить в самые тяжелые дни, сегодня в ожидании радостного события был молчалив, как будто язык присох к гортани. И товарищи не узнавали Атабая.

Парторга Атабаева тотчас же окружили рабочие, завязался горячий разговор. В последний месяц Аман стал частым гостем в поселке, недаром механик Кузьмин прозвал его сазаклыньским полпредом в Небит-Даге. Аннатувак Човдуров, выйдя из машины, сразу подошел к желобу, несколько минут внимательно изучал глинистый раствор, выходящий из скважины, потом отошел в сторону. Он присел на бугорок, издали поглядывая на людей, окружавших скважину.

С тех пор как месяц назад партийное собрание осудило его, в его поведении произошли заметные перемены. Он был так же горяч и бурлив, как прежде, но стал осмотрительнее, не так скор на решения. «Созерцательность вырабатывает...» — пошутил как-то Сафронов. А Сулейманов заступился: «Что ж, думать полезно не на бегу, а остановившись».

Пожалуй, Андрей Николаевич и не ошибся. Сидя на пригорке в стороне ото всех, Аннатувак сейчас и наблюдал и размышлял. Он отметил про себя, что инженеры держатся спокойно, а геологи не могут скрыть волнения. Особенно заинтересовал его молодой геолог, которого он недавно послал в Сазаклы. Юноша появился в Небит-Даге прямо с вузовской скамьи, но Аннатувак считал, что плавать надо учить на глубоком месте, и сразу отправил его в пустыню. Теперь Аннатувак с интересом наблюдал за ним. Юноша был взволнован: толкался возле скважины, то отходил в сторону и смотрел на носки своих сапог, будто не мог решить — стоять ли на месте или еще раз обойти скважину, шевелил губами, высчитывая что-то, и было видно, что весь он находится в трепетном ожидании чуда. «Болеет за дело, горит на работе» — привычными начальственными формулами подумал Аннатувак.

Но все эти мысли и наблюдения скользили по поверхности сознания, а где-то в глубине шел спор с самим собой. Сегодня — решающий день: пойдет нефть, и придется еще раз признать свое поражение? Или нефти не будет?.. А если не будет? Разве он станет радоваться? Нет, положи руку на сердце, сейчас он мог сказать, что поражение сазаклынцева переживал бы как собственную беду... Так что же это получается? Как ни кинь — все плохо? Он, Аннатувак Човдуров, всегда открыто гордившийся ясностью и прямолинейностью взглядов, заблудился в трех соснах? «Диалектика... — сказал бы Аман и еще добавил бы: — Тупик, в который упирается всякий, свернувший с единственно правильного партийного пути...» Что ж, теперь фронтовой друг может быть доволен. Даже мысленно разговаривая с ним, Аннатувак научился угадывать его возражения. Однако нехорошо сидеть здесь в одиночестве, будто сторонясь всех. Аннатувак поднялся и подошел к Сулейманову, который безотрывно всматривался в желоб.

К буровой, с трудом пробиваясь в глубоких бороздах, подъехал еще один «газик». Из него выскочил Тихомиров, а следом — двое работников филиала научно-исследовательского института.

— Факельщик приехал, — сказал Сулейманов и отвернулся.

Аннатувак холодно взглянул на Евгения Евсеевича. Он не звал его сюда, сам приехал. А зачем?

Встретившись взглядом с Човдуровым, Евгений Евсеевич сразу отвел глаза, резко повернулся и направился к Зоряну, молодому участковому геологу Сазаклы. Но тот и не заметил ученого. Потеряв голову от волнения, он метался взад и вперед, расталкивая своих и чужих, на ходу отдавая распоряжения всем, кто попадался на пути. Сулейманову он приказал убрать глину под желобом, Аннатуваку — собрать железо, разбросанное вокруг буровой, и никак не мог понять, почему все смеются.

До Аннатувака донесся голос Амана, тот говорил усатому бурильщику:

— От этого будет зависеть, начнем ли мы, например, устраивать здесь душевую...

Човдуров улыбнулся. Как странно, они с Аманом будто поменялись ролями. Тот решает практические вопросы, Аннатувак анализирует, обобщает, о диалектике задумался... Но, как ни хорошо Човдуров знал Амана, на этот раз он ошибся. Ни на минуту не покидало парторга ощущение значительности этого дня. Казалось, за испытанием заброшенной в песках буровой Атабая незримо следят сегодня и в Ашхабаде, и даже в Москве. Может быть, сегодня прозвучит первый сигнал к общему наступлению на пустыню всех туркменских нефтяников, к выходу на новые площади за большой нефтью.

Бывают такие дни в жизни каждого производственного коллектива, когда сквозь текучку будничных дел, сутолоку обычных хлопот и обязанностей вдруг у каждого начинают пробиваться догадки о смысле происходящего, о самом главном, ради чего работают. Эти дни как бы подбивают черту под многими годами, проработанными вместе, еще теснее сплавляют людей.

Бригада Тагана Човдунова, пройдя напрямик через два-три бархана, тоже явилась к буровой Атабая. Таган-ага сразу включился в работы и, пожалуй, суетился больше всех. Как мальчишка, бегал вызывать трактористов, чтобы убрать площадку вокруг буровой, и даже вместе с Чекером оттаскивал трубы в сторону. Ждали нефть не на его буровой, но Таган-ага ждал с такой же яростной надеждой, как и его старый друг Атабай. Ради такого дня он и стремился в Сазаклы, чтобы самому пробивать первый путь, как некогда в Небит-Даге, чтобы снова чувствовать руками и сердцем, что молодость еще не прошла...

Устав ворочать трубы, Таган-ага остановился на минуту рядом с Джапаром и заметил взгляд палатчика, устремленный куда-то вдаль, за барханы. Таган молча поглядел на товарища — словно тень прикрыла глаза и густые рыжие ресницы, и старик старался понять, что огорчило Джапара в этот сверкающий солнцем день. Угадывая молчаливый вопрос, Джапар сказал:

— Может, и он лежит под сыпучим барханом...

Таган понял, что Джапар вспомнил о своем отце, погибшем здесь еще в гражданскую войну.

— Они погибали в этих песках ради нашего счастья... — осторожно начал Таган.

— Да, да! Времена меняются быстро, — перебил Джапар, которому и самому не хотелось предаваться печальным воспоминаниям. — Наши отцы плелись тут вслед за единственным верблюдом, а мы добываем черный жемчуг под семью пластами земли.

— И добудем! — раздался из-за его спины голос Амана.

— Ты думаешь, товарищ парторг, буровая даст нефть? — недоверчиво спросил Чекер, подошедший вместе с Аманом. С тех пор как Аман взял его с собой однажды в город и повел в Дом культуры на концерт, а ночью долго беседовал, оставив его ночевать у себя в холостяцкой квартире, великан очень привязался к парторгу.

— Обязательно пойдет, — сказал Аман.

Чекера удивила уверенность парторга. Что он может знать об этой скважине? Пусть он сообразительный, пусть вожак коммунистов и беспартийных, но ведь он же не инженер и не геолог.

— А почему ты знаешь, что пойдет нефть?

Аман улыбнулся.

— Скажи-ка, Чекер, ты теперь можешь в этом разбираться: почему начали бурить именно здесь, а не на двадцать километров к западу и не на километр к востоку?

— Так геологи велели, — уверенно объяснил Чекер.

— Но почему показали именно это место?

— Значит, почувствовали, что здесь пахнет нефтью. Видно, шибануло им в ноздри. Ты лучше объясни, почему не дала нефть вторая буровая? Когда у Атабая было плохо, там было хорошо.

Аман понял, что в голове Чекера еще не совсем просветлело.

— Если бы каждый, кто берет в руки карандаш, был ученым, мы бы небесными звездами играли, как мячами. Если бы каждая буровая давала нефть, мы превратили бы весь мир в нефтяное озеро. Не всякая пуля попадает в цель. И если вторая буровая совсем не даст нефти, не будет ничего удивительного. Может быть, долото прошло мимо залежи нефти, как пуля проходит мимо мишени. Но я уверен, что и третья, и четвертая, и, если будет, пятидесятая буровая — все здесь дадут нефть.

Чекеру очень понравились рассуждения парторга.

— Вон как ты далеко заглядываешь вперед!

— У меня, Чекер, опыта больше, чем у тебя.

— По-моему, ты уже соображаешь, как инженер.

— Поработай на промыслах, поучись в техникуме, а потом и в институте — и ты будешь инженером.

Тут разговор оборвался, потому что Тихомиров протиснулся между ними, направляясь к Зоряну.

На редкость неважно чувствовал себя Евгений Евсеевич Тихомиров, по прозвищу «Вчерашний день». Если скважина действительно выдаст нефть, окажется, что он был неправ. Не слишком ли повредит его репутации такой промах? Между тем преждевременно и перестраиваться. Еще не решив, какой тактики следует ему держаться, Тихомиров заигрывал со всеми и избегал лишь одного Човдунова. Кто его знает, этого неистового человека, какую шутку он отколет сегодня?.. Во всяком случае, не следует подчеркивать свой союз с начальником конторы.

Любезно осклабясь, Тихомиров протолкался к Зоряну, взял под руку и спросил:

— Волнуетесь?

Молодой геолог пожал плечами.

— А как же иначе?

— А вы поспокойнее. Все будет хорошо, все обойдется, — ласково уговаривал геолога Тихомиров, точно больного перед операцией, — ничего страшного.

— Ничего страшного, если... В каком случае вы имеете в виду — если будет нефть или не будет?.. — спросил Зорян и грубо вырвал руку.

— А во всех случаях ничего страшного, — с наигранным простодушием ответил Тихомиров, но глаза нагло заблестели под непротертыми очками.

— Здорово вы умеете... лавировать!

— Лавировать? Я? Лавировать!

В умении изображать благородное негодование никто не мог сравниться с Тихомировым. Зорян заметил, что у него даже шея покраснела, и по добродушию своему стал оправдываться.

— Вы поймите, что мы больше года живем только этой надеждой, что пойдет нефть, что по всей пустыне поднимутся вышки, как грибы после дождя, что наш жалкий поселок



превратится во второй Небит-Даг, что тут зацветут акация и тутовник... А вы считаете, что ничего страшного не произойдет, если наша мечта, смысл нашего существования, разобьется в прах.

— Позвольте, позвольте! Этого я не говорил!

— Мало ли чего вы не говорили! Не в этом суть! Вы должны были бы гореть вместе с нами, надеяться вместе с нами... Что это? — перебил сам себя Зорян. — Как будто глина кончилась?

Но рыжая глина так же ровно текла по желобу, так же вздрагивал шланг, по-прежнему ослепительно сияло солнце. Томительное ожидание изматывало терпение Зорина. Забыв, с кем он говорит, он умоляюще вопрошал Тихомирова:

— Евгений Евсеевич, вы человек ученый, скажите по совести — даст скважина нефть?

А тому только и надо было это услышать. Он неторопливо прошелся взад и вперед и, собравшись с мыслями, заговорил, как оратор, вышедший на трибуну.

— Если вы помните, я один из первых указывал, что в Сазаклы богатые нефтяные залежи...

Зорян даже онемел от такой бесстыдной лжи, а когда к нему вернулся дар речи, мог только вымолвить:

— А «разбитая тарелка»?

— Помню, Ашот Гургенович, все помню, — спокойно возразил Тихомиров, — но ведь и вы понимаете, что пресловутая теория «разбитой тарелки» совершенно не исключает перспективности Сазаклы, а только указывает на технические трудности разведки... И если современная техника достигла такой высоты, то честь и хвала нашим инженерам и изобретателям! — И вдруг, вспомнив, что нефть еще не пошла, а может быть, и не пойдет вовсе, он закончил обыкновенным разговорным тоном: — А впрочем, бабушка еще надвое сказала. Знаете, метеорологи часто сообщают нам, что будет «великая сушь», а на другой день дождь хлещет. А подземная метеорология еще сложнее...

— Знаете, есть такая рыбка — угорь... — перебил Зорян, но закончить ему так и не удалось, потому что Тихомиров нырнул куда-то и исчез.

Собравшимся вокруг скважины казалось, что агрегаты работают уже неделю, месяц, год... Уши устали от непрерывного гула, бульканья воды, грохота тракторов, собиравших разбросанные вокруг буровой трубы. Подобно тому как хозяева коней, пущенных на большой приз, отходят в сторону от скакового круга, чтобы умерить свое волнение, так и геологи прогуливались вдали от буровой и обходили друг друга, точно боясь встреч. Некоторые взбирались на барханы и стояли там в одиночестве, словно столбы.

Но вот гул агрегатов начал постепенно слабеть, глина кончилась, из скважины пошла чистая вода.

Метрах в трехстах от буровой, на бугре были сооружены резервуары, чуть ближе стоял трап — стальные колонны для отделения газа от нефти. Труба от скважины была направлена к трапу, от него к резервуарам. Другая труба от трапа, предназначенная для сброса газа в факел, уходила вдаль за барханы.

Люди окружили трубу, выходящую отверстием в амбар. Обычно никто и не глядел на нее, перешагивали машинально и шли дальше. Сегодня все взоры сосредоточились на отверстии трубы. Народ прибывал, теперь в толпе можно было различить и пестрые женские платья. Пуском буровой заинтересовались не только девушки-маляры, но и телеграфистка и радистка

вновь открытого в Сазаклы отделения связи.

Тихомиров с демонстративной рассеянностью вытирал лоб перчаткой. Зорян топтался на месте, как будто под ногами у него были пружины. Взгляд Сулейманова был прикован к отверстию трубы. Неотрывно глядел на воду и Аннатувак, хотя мысли его были далеко. Томительное ожидание невольно располагало к разговору с самим собой. Да, конечно, сейчас стыдно было бы смотреть в глаза Тойджану. Но дело даже не в этом. Самым удивительным казалось ему, что еще недавно он и не задумывался над тем, что делает. Мог избавиться от Тойджана и попытаться избавиться. Аман был прав, говоря о партийности. Но и Сулейманов прав! Сегодня в Сазаклы должна пойти нефть, и, однако, никто не упрекает его за маловерие, никто не сторонится, кроме Тихомирова, пожалуй. Значит, можно иногда ошибаться, но нельзя никогда забывать, что ты коммунист.

Погруженный в свои раздумья, Аннатувак не догадывался, что кое-кто наблюдает за ним не меньше, чем за водой, выбегающей из трубы. Сафронов, поймав взгляд Амана, устремленный на Човдурова, сказал:

— Интересно, о чем он задумался?

— Лишь бы думал, — откликнулся Аман, — уж до дела обязательно додумается.

А из толпы с болью и надеждой наблюдал за сыном Таган. Теперь, когда прошла горечь обиды, когда весь народ стал за Тойджана, мастера больше всего беспокоило — понял ли сын, что отец заботился и о нем, что нельзя было обойтись без этого тяжелого урока. Мастер про все позабыл сейчас и только неотрывно глядел на сына, ожидая, что тот поднимет глаза и взгляды их встретятся.

Полуденное солнце припекало. На минуту примолкли моторы, и тогда донеслось из поселка пенье петуха. Он, видно, возвещал о наступлении полудня, но некоторым нетерпеливым людям, вроде молодого геолога, слышалось в его кукареканье поздравление с победой.

Аннатувак заметил на воде тонкую коричневую пленку и громко воскликнул:

— Неплохо!

Тихомиров нагнулся к трубе, покачал головой, ему захотелось показать всем, что он не союзник Аннатувака.

— Что вы тут видите, кроме чистой воды?

Действительно, скважина выбрасывала сейчас обратно чистую воду, которую накачивали все утро. Но теперь и Сулейманов заметил на ее поверхности тончайшую пленку. Геолог поддержал Аннатувака:

— Может, вам мешают очки, Евгений Евсеевич? Если вы посмотрите невооруженными глазами, обязательно увидите пленку!

Зорян тыкал пальцем в трубу и самозабвенно повторял:

— Смотрите! Вы только смотрите на воду!

Коричневую пленку на бурлящей воде теперь видели и Тихомиров, и Махтум, и даже Чекер. Толпа оживилась, слышались разговоры, смех.

Махтум тряс за плечо Чекара и повторял:

— Понятно теперь? Понятно?

Но раскатать Чекера было не легче, чем расшевелить слона. Он оставался неподвижным и недоверчиво бормотал:

— Аман-ага говорил, что скважина даст нефть. А где нефть?

Парторг показал на воду.

— А это что?

— Чистая вода.

— А пленку ты не видишь?

— Если из пленки получается нефть, я бы не стал бурить землю, а сразу пустил на воду масло.

— Брось свое упрямство, Чекер, и пойми: кислое молоко получается из закваски, а нефть из пленки.

— Я верю только тому, что вижу. Пока из скважины не потечет нефть, я и слышать не хочу про ваши закваски!

— Пилмахмуд не верит! — расхохотался Халапаев.

Аннатувак поднял голову — так вот он, этот Пилмахмуд, о котором говорил на партийном собрании Сафронов. Великан с маленькими глазками, с жесткими волосами, вроде лошадиной челки спускающимися на низкий лоб... Если бы отец в тридцатом году остался в ауле, не переехал в Небит-Даг, может быть, сегодня и Аннатувак недалеко ушел бы от этого Пилмахмуда.

— Товарищ Чекер Туваков! — крикнул Аннатувак. — Верить надо! Нефть обязательно будет!

Если бы Аннатувак видел, как просветлело в эту минуту лицо Тагана!

И вдруг вода, бегущая по желобу, стала чистой и заструилась, как серебро. Раньше других это заметил Сулейманов, и, хотя он знал, что означает этот зловещий признак, решил промолчать, пока окончательно не убедится в неудаче. Зорян не отличался выдержкой и откликнулся сразу:

— Плохо! Очень плохо!

Султан Рустамович ждал, что Тихомиров немедленно начнет похоронную речь над скважиной, но он ошибся: Евгений Евсеевич даже возразил Зоряну:

— Ничего страшного, Ашот Гургенович, ровно ничего!

— Вы думаете?

— Конечно! Изменение цвета еще ничего не значит.

Наступили тяжелые минуты. Зорян, не поверивший Тихомирову, считал, что спутал золу с золотом. Ему было стыдно смотреть в глаза людям, столпившимся у амбара, как будто он один был виноват в крушении их надежд.

— Ничего не вышло, — тихо сказал он.

Сулейманов и Човдуров низко склонились над трубой.

Аннатувак комкал папиросную коробку в кармане. Неужели это конец? Мелькнула легкая пленка и исчезла, как весеннее облачко? Да не может быть! Нефть должна появиться! Как он мог час назад торговаться с собой, разбираться, чье поражение лучше? Пусть даже снова будут его клеймить на партийном собрании, лишь бы скважина дала нефть!

— Смотрите — враги, — добродушно сказал Сафронов, показывая Аману на склонившиеся рядом головы: сине-черную, как вороново крыло, Аннатувака и лысоватую, покрытую курчавым пушком голову Сулейманова.

А Чекер Туваков, ожидавший чуда, все так же требовательно допрашивал парторга:

— Ты мне покажи нефть. Где она?

— Вон, смотри, — спокойно сказал Аман.

И в самом деле, сероватый газ, словно дымок, потянулся из трубы. Все грязнее становилась вода, перемешанная с нефтью. Сейчас уже всем было ясно, что это нефть пузырится на поверхности струи.

— Ай, молодец! — кричал Зорян, обращаясь неизвестно к кому. — Поздравляю! Поздравляю!

А Тихомиров визжал, размахивая фетровой шляпой:

— Я же говорил! Я говорил!

Скважина бурлила, дымился газ, отчетливо слышался запах нефти. Атабай подставил пригоршни к отверстию трубы, из его рук текла густая черная жидкость, он с наслаждением вдыхал ее запах.

— Теперь и детишек привезем в Сазаклы, — говорил он, — теперь пойдет все по порядку...

Люди словно ожили, кто протягивал руку к нефти, кто собирал ее в маленькие бутылочки, откуда-то появились фотографии и, бойко расталкивая толпу, пробирались к трубопроводу.

Аннатувак обмакнул пальцы в нефть и сказал Сулейманову:

— Смотрите, как чиста сазаклынская нефть! Я думаю, что в ней немного парафина, но это ничуть не помешает. А газ? Вы только посмотрите на газ.

Не отвечая, Сулейманов любовался чистосердечной радостью Човдунова. Нет, он не жалел сейчас о своем выступлении на партсобрании, как ни осуждал его Аман. При всех недостатках Аннатувак — настоящий человек, это не Тихомиров. А тот, нисколько не стесняясь, важно вмешался в разговор:

— Мне тоже нравится эта нефть, Аннатувак Таганович. Но об ее качестве поговорим после лабораторных исследований. Вот видите, мои люди собирают ее в бутылочки.

И очень довольный, что употребил выражение «мои люди», Тихомиров высокомерно и холодно посмотрел на Човдунова.

А рядом раздавался голос Чекера Тувакова:

— Смотри, Джапар, какие чудеса — нефть идет с глубины в три километра!

Вдруг его будто осенило. Он нагнулся к Джапару и зашептал что-то на ухо. Оба прыснули со смеху, опасливо покосившись на Тихомирова и начальника конторы. Пилмахмуд нагнулся, набрал полную пригоршню нефти, смазал по лицу Аннатувака и Тихомирова и исчез в толпе.

Поднялся веселый шум.

— Ай, молодец!

— Окунай их в нефть!

— И Зоряна тоже!

Аннатувак, не обращая внимания на измазанное лицо, весело смеялся. Он верил в эту примету нефтяников и желал, чтобы нефть потекла рекой. А Тихомиров совершенно растерялся и не догадывался воспользоваться платком или бумагой, а обтирал лицо руками. Глядя на него, Аннатувак хохотал еще громче.

— Ну над чем вы смеетесь? — огрызнулся Тихомиров.

— Доволен, что оказался не один!

— Ищите попутчика в ад?

— Разве это ад? — Аннатувак широким жестом показал вокруг. — Здесь скоро будет цветущий сад!

— Я не об этом! И зачем вам здешний сад — его тень и его плоды?.. Вы же небит-дагский житель.

— А я об этом! И я не небит-дагский житель.

Тихомиров насторожился. Неужели после выговора переведут в Ашхабад, в столицу республики? Что-то больно весел начальник конторы. Но выяснить ничего не удалось, Аннатувак отошел и разговаривал с Сулеймановым.

Скважина совсем разбушевалась. Газ уже клубился, бурно брызгала нефть. По знаку Сафронова рабочие быстро перекрыли задвижку, нефть и газ пошли. В наступившей тишине слышалось только бульканье. Карандаши забегали по блокнотам, и через несколько минут стало уже известно, что скважина будет давать сто пятьдесят тонн в сутки.

Аннатувак крепко пожимал руку Сулейманову. Слышался задорный голос Атабая, который тоном большого начальника поздравлял сазаклынецов с успехом и, подмигивая, приказывал выдать из директорского фонда баранов, вина, чтобы отпраздновать той. Аман показал Андрею Николаевичу на Аннатувака и сказал:

— Сегодня, кажется, выдержала испытание не только первая буровая.

Солнце уже клонилось к западу, когда Махтум вывел машину из песков на степную дорогу. Аннатувак и Аман выехали из Сазаклы последними. Парторг воспользовался случаем и побеседовал с новыми бригадами, которые еще не освоились в пустыне. Аннатувак о чем-то долго толковал с Очеретько, запершись в его комнатке, служившей и спальней и служебным кабинетом. И только Махтум, умевший во всякой обстановке находить себе развлечения, провел время весело и разнообразно: вымыл руки сазаклынской нефтью, попробовал на спор сдвинуть с места Пилмахмуда, проиграл и тут же утешился — принялся обучать девушек из малярной бригады песне нефтяников: «Приди на буровую, приди...» Потом пообедал с бурильщиками, успел и поспать и, когда двинулись в путь, был полон сил и бодрости. Парторг и начальник конторы тоже, как видно, чувствовали себя прекрасно.

Всех радовал успех сазаклынецов, веселила весенняя бодрящая погода.

Пустыня осталась позади, когда Аннатувак заметил на бугорке неподвижно застывшую зайчиху. По привычке он прикинул расстояние: довольно далеко, из двустволки можно и промахнуться. Но даже если бы зайчиха дождалась, когда подъедет машина, Аннатувак все равно не стал бы стрелять.

— Товарищ директор, стреляй! Видишь, на бугре? Стреляй же! — закричал Махтум.

— Брось, Махтум, нельзя сегодня лить кровь. Смотри, зайчиха ведь не убегает. Красуется, как будто говорит: «Полюбуйтесь на меня, порадитесь...» Она тоже довольна, что пришла весна. У меня и рука не потянется сейчас к курку.

Махтум резко остановил машину.

— У тебя не потянется, у меня потянется, — пробормотал он и схватился за ружье.

Човдуров дернул его за руку:

— Остановись!

И в ту же секунду зайчиха прыгнула, словно на пружинах, исчезла в кустах.

Аннатувак стащил шапку с шофера, бросил на сиденье, потрепал его за волосы.

— Ну, где у тебя соображение? В этой тыкве или еще где?

— Я же ваш служащий, — в тон ответил Махтум.

— Что ты хочешь сказать?

— Где у начальника соображение, там и у меня!

— Молодец Махтум! Не позволяй ему распускаться! — засмеялся Аман.

И, словно сговорившись, все трое вышли из машины. Махтум подмигнул Аману, хитро улыбнулся.

— Умишко у меня небольшой, товарищ Атабаев, но я хорошо знаю, что можно говорить и где можно говорить.

— Это ты к чему ведешь? — спросил Аннатувак, понимая, что шофер намекает на него.

— Если бы сказал эти слова товарищу Човдурову, когда мы были одни...

— Что бы случилось?

— Товарищ начальник вытаращил бы глаза, закричал: «Махтум, твой колючий язык за всякую ветку цепляется!» И кинулся бы на меня! Я бы, конечно, наутек, он — за мной, я бы вилял — он тоже. Я бы устал, он — взмок. Наконец схватил бы меня за шиворот и повалил на песок, как куль с мукой. Помял бы хорошенько мне бока, песком вымыл мои волосы...

— Ах ты, болтун! — сказал Аннатувак и шагнул к шоферу.

Махтум взвизгнул и помчался прочь. Аннатувак — за ним, но шофер то кружился между кустами, то взбегал на песчаные склоны. Аннатувак споткнулся о корень саксаула, Махтум скатился с пригорка.

Аман с улыбкой смотрел, как они, словно дети, гоняются друг за другом. Давно он не видел таким Аннатувака. Душевная ясность появилась в нем, добродушие... Неужели это все

сделала сазаклынская нефть? Нет, день сегодня необыкновенный... А вечер будет еще лучше. Вечером придет Маро, и больше не будет одиночества в неуютной бирюзовой комнате. Еще неделя ожидания — и одиночество исчезнет навеки. Все уже сказано, все договорено, остается только мать порадовать. Как все-таки прекрасна жизнь! Он не искал это сокровище, не просил жалости. Марджана пришла сама, как награда судьбы за все удары.

Тяжело дыша, Аннатувак подошел к другу. Глаза сияли, щеки пылали, он шапкой вытирал пот со лба. Ему очень хотелось повалить и Амана в песок, а если убежит — погнаться за ним. Так, бывало, они боролись на снегу, на Украине, во время затишья на фронте. Вот бы и сейчас затеять такую же возню.

Аман угадал его мысли и улыбнулся.

— Я вот стою и думаю, — сказал он, — что только наседка сидя выводит цыплят, а когда человек долго сидит на месте — он плесневеет, как стоячая вода, туго начинает думать. Надо чаще выезжать в степь, проветриваться. Мне кажется, ты сейчас освободился от многих забот, очистился от многих грехов.

Видно обидевшись, что его оставили без внимания, Махтум вмешался в разговор:

— А я, товарищ Аман?

— А ты, Махтум, чист со дня рождения!

— Молодец, Махтум! — Шофер ударил себя кулаком в грудь.

— У тебя одна забота — машина. А заботы и тревоги Аннатувака, верно, и по ночам не дают ему спать. Эта возня, которую ты затеял, — большой отдых для него.

— Молодец, Махтум! Слава богу, и твое имя не вычеркнули из списка!

Аннатувак повеселел теперь на целую неделю. Будет легко решать самые сложные вопросы.

— Я уже решил! — откликнулся Аннатувак.

Парторг удивленно посмотрел, но Аннатувак только улыбнулся и загадочно молчал.

Весенняя земля была прекрасна. Может быть, потому, что все трое родились в здешних краях, все они так остро чувствовали красоту этих просторов, и прелесть чуть зеленеющих кустов черкеза, и даже сверканье песчинок на солнце. Аман и Аннатувак присели на землю, а Махтум покатился вниз с крутого склона. Он верил, что на одежде не останется и следа нефти, если как следует вывалиться в песок.

Луна сквозь тюлевые шторы чертила узорчатую сетку на желтом полу. Ветер врывается в окно и раскачивает висевший над столом абажур, и тень от него смутно качалась на стене.

Огня не зажигали. Аннатувак лежал на диване рядом с женой, не выпуская из своей горячей ладони ее прохладную руку. Как тихо в доме, как хорошо... Шум с улицы не доносится. Только изредка, будто крылом, обмахнет стену полоса света от проезжающей машины, и снова сгустится полумрак.

Ресницы у Тамары длинные, стрельчатые, от них ложатся густые тени под глазами, и лицо кажется усталым. Оно и в самом деле усталое. В эту зиму ей было тяжелее, чем ему. А впереди вся жизнь с ним, с Аннатуваком. Раньше она хоть уважала его, а теперь? Нет, надо, чтобы и теперь...

— Тумар-джан, — сказал он, — я еду в Сазаклы.

— Опять?

— Не опять, а надолго. Заменю Очеретько.

— Нефть пошла?

Она хотела спросить: потому что пошла нефть? Но постеснялась. Аннатувак понял и не рассердился. Было только обидно.

— Нет, не потому. Когда по желобу после нефтяной пленки снова пошла чистая вода и все уже думали, что конец — пропало дело, я решил: не будет нефти, даже домой не вернусь, останусь в Сазаклы. Ты бы меня и не увидела сегодня, если бы скважина не дала нефти.

— Это правда, Тувак-джан?

— Правда, — горько улыбнувшись, сказал Аннатувак.

Он вскочил на ноги, стал ходить по комнате. Нет, он тысячу раз прав, что решил проситься работать в Сазаклы. Если даже Тамара сомневается, что думают все остальные? Люди были правы, когда осудили его за поступок с Тойджаном. Он пережил несколько невыносимо тягостных часов на партсобрании, он признал свои ошибки. И это вся расплата? К майским или октябрьским праздникам за успешную работу одного из участков его снова премируют и все пойдет по-старому? Нет, за поступки надо расплачиваться поступками. Слово должно становиться делом, и это дело он примет на себя добровольно. Теперь он с необыкновенной ясностью понимал, что всю эту зиму бурили скважины не только в пустыне, но и в нем, в его душе. И, как скважина Атабая, его судьба тоже «дала грифон», так пусть же пойдет нефть!

— А школу там строят? — спросила Тамара. — Через два года Байраму надо будет в школу идти.

— Вот верный друг! На два года вперед загадывает. У Аннатувака отлегло от сердца.

— Не бойся, строят. Уже ставят коробку...

— А ты знаешь, Байрам сердит на тебя.

— Сердит? Эй, Байрам, иди сюда!

— Тише! Его уложили спать...

Но было поздно. В длинной ночной рубашке появился на пороге Байрам, щуря полусонные глаза, качнулся, как неокрепший верблюжонок, и кинулся на грудь к Аннатуваку.

— Папа!

— Байрам-джан, дорогой мой, — бормотал Аннатувак, прижимаясь щетинистой щекой к его животу, — говорят, ты обиделся на меня?

Вспомнив об обиде, Байрам отстранился от отца.

— Не делай так. Щекотно, — строго сказал он.

— Нет, ты скажи, за что обиделся?

— Ты толкнул меня.



— Когда?

— Тогда. Ты пришел с работы, обнял меня. А когда я прыгнул тебе на шею, оттолкнул. И не посмотрел на меня, лег на диван. Помнишь?

Аннатувак не помнил, когда он оттолкнул Байрама, но знал, что мальчик говорит правду.

— Байрам-джан, я тебя люблю. Я, наверно, нечаянно толкнул тебя.

— Как это нечаянно?

— Я не хотел тебя толкнуть.

— А толкнул, — упрямо повторил Байрам.

— Больше не буду, — по-детски сказал Аннатувак. — Ты только знай, что я тебя очень люблю. Ты мое будущее, и всю мою жизнь, все силы я отдам, чтобы расцвело твое счастье, малыш. Твое будущее ясно, как солнце. Это будущее дает крылья и мне.

— Крылья? — поймав знакомое слово, удивился Байрам. — Какие крылья?

— Вот такие крылья! — Аннатувак подбросил сына к потолку.

— Осторожней! Уронишь! — вскрикнула Тамара Даниловна.

— Как же, уроню! — И он подбросил сына еще выше.

— Папа, еще, еще, папа! — кричал Байрам.

И долго еще раздавался его счастливый смех.

Н. Атаров

Титул поэта

1

В толпе гостей и делегатов Второго съезда писателей, когда в перерыве из Колонного зала они повалили «на перекур», меня окликнул знакомый английский поэт, корреспондировавший о съезде в Лондон:

— Кто этот — седой и смуглый? — спросил он.

— Кербабаяев.

— Индия?

— Туркмения.

— Красивый джентльмен, — заметил англичанин. — Благородная внешность... — И добавил: — Поэт на Востоке — это звучит как титул, не правда ли?

Так бывает: оценят давно знакомого тебе человека с неожиданной точки зрения, и сам начинаешь видеть его как бы другими глазами. В стенных зеркалах главной лестницы Дома Союзов среди светловолосых латышей, датчан, ирландцев я увидел в безукоризненном, как всегда, костюме седого азиата с очень темным лицом, на котором глубокие складки очертили слегка прижатый нос и крепко сомкнутый рот, а глаза в припухших веках смотрели со

сдержанным задором. Он шел — внушающий уважение, неуловимо где-то в выпрямленных плечах хранящий достоинство возраста, кивком седой головы отвечающий на непрестанные приветствия.

Едва ли кто-либо из шести тысяч советских писателей не знает в лицо Берды Кербабоева, и я, чтобы полностью удовлетворить любознательность англичанина, припомнил почтительные прозвища, прилагаемые к «титулу поэта», когда у нас, пишущих, заходит речь о Кербабоеве: Берды-ага, Берды-ата, яшули...

Помню, мы следовали за осанистой фигурой Кербабоева, и я разговорился с англичанином, хвастаясь литературной хроникой старинного дома. В самом деле, кого только не повидали эти стены! Конечно, Пушкин в начале начал. Потом здесь, в московском Благородном собрании, на балах танцевал молодой офицер, литератор, входивший в моду своими «Севастопольскими рассказами». (Англичанин понимающе улыбнулся.) Потом, как раз у зеркал на главной лестнице, если верить Бунину, Чехов однажды наблюдал Сумбатова-Южина, когда тот, ухватив за пуговицу одного разгонистого беллетриста, уговаривал его, что он первый писатель России... Потом, разумеется, Горький, Маяковский... А сейчас, в середине двадцатого века, в эпоху крушения всемирного колониализма, вот он, великолепный конклав социалистической литературы! Смотрите: Ананд из Индии, Гильенс Кубы, Амаду из Бразилии, Неруда из Чили. Идут французы во главе с Арагоном, немцы во главе с Анной Зегерс. И на этом торжественном горизонте плывет-уплывает царственная голова старого туркменского поэта.

— Вы побывали в его родном краю? — спросил англичанин.

Нечаянный вопрос отозвался далекой ассоциацией: я вспомнил, что и Рабиндраната Тагора я в свои юношеские годы увидел не там, где надо бы — на юге Индии, в родном краю великого поэта, — а здесь, в Москве, в Охотном ряду. И даже ради журнального интервью с мальчишеской дерзостью прорвался к нему в номер гостиницы «Националь».

— Нет, не бывал.

— Этих восточных пророков надо наблюдать в их домашней обстановке. Тогда вы постигнете даль столетий, — пояснил свою мысль английский поэт. 2

Но так случилось, что наблюдать Берды Мурадовича мне пришлось прежде всего в Москве: мы засели за перевод его романа «Небит-Даг». Я как-то рассказал ему этот случай с англичанином, он сдержанно посмеялся, видимо вполне довольный произведенным впечатлением.

— Титулы у нас уничтожены в семнадцатом году, — заметил он. — Вы ему об этом напомнили?

В Москве у него так же много общественных должностей, как и в Ашхабаде, — в Союзе писателей СССР, в Комитете по Ленинским премиям. В переполненном зале консерватории он открывал юбилейный вечер своего великого соотечественника Махтумкули. В Кремлевском театре шел спектакль по его роману «Решающий шаг». Только поздно вечером созванивались по телефону.

Круглые сутки пульсирует лифтовая система гостиницы «Москва», в каждый лифт входят сразу десять — пятнадцать человек. И было всегда приятно, пройдя сквозь толчею гостиничных вестибюлей, в назначенный час постучаться в нужную дверь — там, точно у себя дома, живет, принимает друзей туркменский поэт.

Завтра ему лететь в Гвинею, Мали и Сенегал. И он показывает мне, открыв чемодан, свои туркменские сувениры: томик Омара Хайяма, завернутый в алый шелковый шарф, в ковровой

сумке томик Кеминэ, узорчатые тюбетейки...

— А это нужно ли кому на экваторе? — говорю я, извлекая из чемодана шерстяные носки.

Он сдержанно смеется.

— Конечно, ненужная вещь для африканцев. Я тоже думаю, не будут носить. — Потом он задумывается. — Но разве подарок может быть бесполезным?

Он много поездил по свету: побывал в Кабуле, в Каире, дважды летал в Индию.

— Все караванные тропы проходят через Москву...

В его гостиничном номере можно было увидеть Карло Леви, в книгу которого «Христос остановился в Эболи» я был влюблен в тот год. Заглядывал в дверь индеец Яшпал; он перевел «Решающий шаг» на язык хинди. Седой пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз, с честью несший свой «титул поэта», — он был удостоен в Москве Международной Ленинской премии и по той же причине в родном краю — одиночной камеры в политической тюрьме. И Мулк Радж Ананд, и старый персидский поэт Саид Нефиси — все приходили в гости к Берды Мурадовичу. Хозяину легко общаться с поэтами Востока: он говорит и по-турецки, и по-узбекски, и по-татарски, и на языке фарси. А я слушал и не понимал их речи. Когда в медлительную восточную беседу явно вплетались ритмические строки стихов, я в самом деле грустил и огорчался. Закрыв глаза, я давал волю своему воображению и поселялся в другом столетии. «О чем они говорят? — думал я. О желтых розах Бадахшана? О гимнах соловья? О бренности жизни? О печали, которую бог создал раньше звезд?..» Эти восточные люди, издавека слетевшиеся на самолетах в гостиничный номер «Москвы», начинали и в самом деле казаться мне титулованными — какими-то владетельными князьями поэзии. Однажды я не выдержал и спросил Берды Мурадовича, что он сейчас нараспев читал своему индийскому другу.

Он рассмеялся:

— Омара Хайяма.

— Я угадал! Я очень люблю Омара Хайяма, только не в одеревенелых переводах Румера, а в живой тонировке Тхаржевского.

Не станет нас. А миру — хоть бы что...

Исчезнет след. А миру — хоть бы что...

Нас не было и нет, а он сиял. И — будет!

Исчезнем мы. А миру — хоть бы что...

Тут и фатальность и богоборство, очарование жизни и ее тайна. Настоящий одиннадцатый век. Такого старого вина нет больше в мехах поэзии.

Берды Мурадович помолчал, а потом, видно вспомнив про англичанина, спросил с легкой усмешкой:

— Муэдзин на минарете. Это тоже звучит как титул?

Иногда номер гостиницы наполнялся туркменами: уезжала на гастроли в Кабул со своими

товарищами, певцами и танцорами, прославленная Аннагюль Кулиева, или по пути на родину навещал старого друга наш посол в Тунисе Клыч Кулиев, или спешил в Африку на конференцию ректор Ашхабадского университета Пигам Азимов. Берды Мурадович провожал его до двери с шутливым напутствием:

— Запомни же: «ухурру» — это значит свобода...

— Знаю. Читал твой очерк в «Новом мире».

Дважды прибежал Расул Гамзатов — им вместе лететь в Дели. Берды Мурадович мнет в ладони теннисный мяч — это ему прописали врачи — и читает вполголоса стихи. Мне кажется, совсем неразборчиво, так читают, наверно, в час намаза молитву.

Мне намекают: стар, и шутят надо мной,

А я не огорчен моею сединой.

С почтеньем говорят при встрече: яшули!

А я готов пешком идти на край земли...

Советуют: пора! Мол, время отдохнуть

И пыль больших дорог с одежды отряхнуть.

О старости твердят и не хотят понять,

Что ей в пути как раз меня и не догнать.

Потом, разумеется, гонка по коридорам гостиницы, по лестницам: так быстрее, чем в лифте. И через полчаса телефонный звонок из аэропорта:

— Успели... Сейчас будет посадка. — И он сдержанно смеется. — Нет, не догнала меня старость. 3

Грустно работать над переводом туркменского романа, когда не знаешь туркменского языка. Но что же делать? И мы, притихшие, часами сидим плечом к плечу, стараясь поднять подстрочник, понять друг друга. Роман о нефти — и мы находим множество общих слов, потому что герои романа спорят о скоростях бурения, заглядывают в каротажные диаграммы, трактористы везут сквозь барханные пески барит и солярку, монтажники устанавливают центровку вышки, операторы следят, чтобы не текли сальники в вентилях на выкидных линиях, в краниках на замерных установках. Скучная материя?.. Внезапно Берды Мурадович откидывается в кресле и сдержанно улыбается:

— Они меня вымазали нефтью. Я как раз приехал в Котур-тепе, когда ударил фонтан. Бурильщики все лицо до бровей мне залепили нефтью... «Ничего, Берды-ага, терпи, Берды-ага». И у меня руки были по локоть в нефти, я тоже всех мазал подряд. Там от радости, когда фонтан ударит, все просто-напросто купаются в нефти — такой обычай.

Сразу становится увлекательно работать. Может, в этот час герои романа мажут друг друга нефтью.

Иногда работа не ладится, потому что не хватает подходящих слов. Не так уж богат русский словарь Берды Мурадовича, но он не щелкнет пальцем, не попросит помощи у жеста. Нет

слова — подождем... Он берет со стола только что купленный в «Академкниге» русско-арабский словарь, листает его — так, без пользы. И вдруг предлагает тонкую лексическую догадку:

— Вы задумывались над словом «Гибралтар»? У туркмен есть слово «джебел», что означает «гора». А что, если Гибралтар это Джебелтар?

Он не ждет ответа. Ему доставил удовольствие самый вопрос — в эту минуту он мысленно выводит свой небольшой народ, затерянный за Каспием в песках пустыни, на необозримый простор дальних путей человечества. Он сам очень любит дальние пути — наверно, мог бы сесть за штурмана на той воздушной трассе над Каспием и Астраханью, по которой несколько раз в год летает из Ашхабада в Москву и обратно.

— Путь перелетных птиц.

Иногда в поисках слова мы натываемся на такое, что радует его, будто встреча двух караванов в песках. Какое-нибудь хорошее русское слово, когда-то пришедшее к нам издалека и уже давно позабывшее свое иноязычное происхождение. Он узнает такое слово по конечному ударению и однозначности гласных: кафтан, каланча, саранча, балаган... Такое слово, произнесенное вслух, он как бы испаривает своим нерусским произношением, как испаривают надрезом ножа оранжевую толстую кожуру апельсина. И, так же как апельсин, такое слово вдруг источает тонкий восточный аромат... Бельмес, кайма, богатырь, казан, чепрак, шандал, тафта...

— Что значит по-русски десть? Сегодня покупал бумагу в Литфонде... Я слышал это слово на языке фарси. Давно это было — в детстве. Когда еще верблюдов нефтью лечили от чесотки.

И вдруг беседа разгорается, будто в костер плеснули керосину. Берды Мурадович доказывает, что в его романе правда написана, будто в Кум-Даге семьи рабочих-нефтяников не расстаются с верблюдами. Туркмены любят верблюжье молоко, кумыс.

— Очень мирное животное. Доброе. Трехлетний мальчик берет повод и ведет большое животное за собой.

Когда старый поэт так рассказывает о верблюдах, я начинаю понимать, как он любит это животное, как страдает оттого, что и оно, как конь, уступая железному веку, скоро исчезнет с лица земли. А человека нельзя так запросто разлучить с домашним животным — их связали десятки тысяч лет совместной жизни. Не зря же дети любят собак и кошек. И голубей. Не зря же и писатели повсюду «восстают» против железного хода времени. И мы вспоминаем, как армянский писатель Леонид Гурунц заступает в своих очерках за крестьянского ослика в Нагорном Карабахе, и тот же Карло Леви — за обыкновенную козу, единственное богатство батрака в южных провинциях Италии, потому что эту козу не нужно кормить, она прыгает по пустынным обрывам, жует колючий кустарник там, где не могли бы прожить ни овцы, ни телята.

Такой разговор далеко может увести от работы. Он и уводит далеко.

— Хотите послушать про щенка?

Он мнет в ладони лохматый белый мячик и читает стихи про щенка. Ему доставляет удовольствие пить коньяк, закусывая подсахаренным лимоном, и такое же удовольствие — худеть, молодеть по рецептам врачей.

Моему щенку всего недель шесть,

Морда пегая,

И рыжей масти шерсть!

А глаза — два колобочка.

Хвост торчком.

Разбежится мой щенок —

И кувырком!

Еще минута — и он зовет меня поехать в Небит-Даг. Ни одного лишнего жеста, чтобы не огорчиться при отказе. Только белые зубы сверкают сдержанной улыбкой. Где-то в выпрямленных плечах, неуловимо — достоинство возраста. Но, видно, он увлечен пришедшей внезапно мыслью: и нефтяные промыслы надо посмотреть, а заодно — щенка, он теперь большой пес, дом сторожит...

— Поедем. Я по всем промыслам вас проведу. Сами все посмотрите. Если роман о нефти, надо лицо нефтью вымазать. И наши горы увидите — Большой Балхан; что такое арча, узнаете. Думаете, одна пустыня? А у нас вся гора от пят до верхушки поросла хвойной арчей. Даже лесники есть, честное слово. И как иомудские девушки волосы убирают — не так, как текинские, на две косы, а на много косичек — увидите. И камышового кота увидите. Не в Ашхабадском музее, а живого, настоящего.

Я сдаюсь под таким напором. И только спрашиваю:

— Сколько вам лет, Берды Мурадович?

— Скоро будет семьдесят. Зачем об этом?

— Вы писали когда-нибудь о своем детстве?

— Не рановато ли? — вежливо возражает он. 4

И вот лунным вечером мы идем по Небит-Дагу. Только что кончился концерт во Дворце культуры нефтяников. Тепло — март, весна... На улице под сухой, еще уцелевшей с осени листвой деревьев по-южному многолюдно. Слышны оживленные голоса — говорят и по-туркменски и по-русски. А смех — не разберешь какой нации. И так же, как в Москве, в Доме Союзов, проходит Берды Мурадович в толпе хороших знакомых и отвечает кивком седой головы на непрестанные приветствия. Его тут все знают. Он приехал сюда на месяц и прожил три года. Это были едва ли не лучшие годы жизни — он не только мазал лицо нефтью в счастливые дни промысла, он видел страшные нефтяные пожары, мчался с аварийной машиной или на самолете в отдаленные районы бурения — в Окарем, Котур-тепе, Кизил-Арват, на комсомольских свадьбах сидел с матерью жениха и дарил ковры молодым, ночевал на дорогах с шоферами и трактористами, поднимался с каменщиками на строительные леса в новых кварталах города — в 160-м, 161-м, а поздно вечером грелся рюмочкой коньяка в ресторане «Восток», обдумывая в полудреме судьбу своего упрямого Аннатувака.

— Наверно, и внуки подросли в Ашхабаде за эти три года?

— Что же, надо было остаться, осмотреться. Я ничего не понимал. Я и сейчас ничего не понимаю. — Он находит шуточный поворот для этого неловкого разговора. — Если бы понимал, нашел бы нефть под землей!

— Людей нашли. Вот идете — и со всеми знакомы.

Этого Кербабаяев не оспаривает, называет встреченных знакомых. Вот переходит улицу молодой мастер Анна Джаныев из Котур-тепе, — видно, приехал домой погостить. Вот у киоска минеральных вод стоит Салих Шахаров; он родился неподалеку, у колодца Козах-молла, сюда с братом за саксаулом ездил на ишаках — города не было и в помине, помнит глиняные бараки, учился в саманной школе. А потом поехал в нефтяной институт.

— Эй, Салих, что пьешь — ижевскую?

— Здравствуйте, Берды Мурадович! Разве вы не знаете, что Небит-Даг находится в зоне ижевского источника? — шуткой откликается молодой инженер.

Кербабаяев зорко вглядывается в лица идущих с концерта. Он, видно, боится, что я чего-нибудь не угляжу. Может быть, потому, что роман уже написан, я не замечаю прямой связи между его жадной наблюдательностью и литературной задачей.

Небит-Даг в лунную ночь кажется игрушечным с его по-ленинградски прямыми улицами, необычайно чистым асфальтом, узорными решетками низких оград, за которыми в уютных садочках, напоминающих Украину, таятся одноэтажные белые коттеджи. Пустыня обступила город — это постигаешь звоном крови: на сотни километров барханные пески. Сейчас по-весеннему тепло, а летом зной, дует «афганец», жаркий, сухой, изнуряющий поток воздуха, и Большой Балхан — раскаленная скала, вплотную придвинутая к главной площади города, — по ночам отдает жар, точно утюг, нагретый за день.

— Хороши бульвары? — осторожно спрашивает Берды Мурадович.

Чувствую, от моего ответа зависит, скажет ли он то, что задумал сказать. Но молодые насаждения — акации, карагачи, тутовые деревья — в самом деле трогательны ранней весной, скрюченные и в то же время жесткие, стойкие и все же слабенькие, как дети. Весь город утонул в бульварах. И это, конечно, настоящее чудо.

— Раньше вода шла из Казанджика. Это плохая вода, — рассказывает Кербабаяев. — Когда нашли подземную воду, пошли в рост наши деревья. Это было прекрасно!..

И, чтобы сдержать свое чувство, он вспоминает смешную историю о сборщиках тутового листа.

— Шелкопрядильные фабрики разводят шелковичных червей, откармливают их тутовым листом. План огромный, а у червей бескормица, черви голодают. И вот кто-то сказал директору фабрики, что в Небит-Даге целые бульвары тутовых деревьев, он и послал сюда своих людей. Они как саранча налетели. Что делать? Пришлось изгнать сборщиков из города. Это была настоящая битва нефти с шелком! Но что делать — нельзя же без листвы оставить наши бульвары...

Так мы идем по опустевшим улицам. Луна старательно светит. Балхан сверкает отрогами. Поэт рассказывает, какая там, в горах, охота на архаров, какие ручьи, какая забытая крепость. Я вижу, никогда не наскучит ему Джебел, с этими скалами среди пустыни у него свои счеты, свои отношения. Они тоже старые, эти горы. И с их вершин виден Каспий. А может, и далекий Джебелтар.

Когда так, при луне, идешь по новому городу, возникшему в пустыне, где нет ни разбойников, ни нищенствующих монахов, ни бродячих собак, ни слепоты, ни проказы, идешь по улицам-бульварам, как в Ялте в декабре, то думаешь о нашем удивительном мире. Мы привыкли к нему. Небит-Даг — свидетельство юности жизни на земле. Этот город нефтяников нужен всем, кто в нем живет, их семьям, детям, еще не рожденным поколениям, он потому

так и хорош, что строили его люди, страстно желая, чтобы всем было лучше. Он простодушен и ясен — город, воздвигнутый на заре, как метеор из будущего, павший в пустыню где-то рядом с костями и черепками древней Нисы.

— Хотите отдохнуть? Устали?

Я подчиняюсь: он хозяин, и от лица этого города, этой луны, этих песков он ревностно следит за обеспеченностью гостя всем комфортом гостеприимства. 5

Рано утром он будит меня.

— Машина ждет.

— Куда поедем?

— В районы дальней разведки. «Барса-Гелмес» называется. Мрачное прозвище...

— Как перевести?

Берды Мурадович долго шепчет, складывает русские слова про себя, потом озаряется улыбкой, как школьник, решивший у доски задачу:

— «Пойдешь — не вернешься».

Видно, точнее не может быть перевода.

Поначалу дорога — асфальтовая стрела в песках. Асфальт заносит песком. Зыбкие орды песков — нечто живое: они легко переметывают через дорогу. Какая-то в них тысячелетняя кочевничья тоска. Белая палатка странно движется впереди на дороге. Подъезжаем ближе — это вроде азиатского паланкина от солнца над головой бульдозериста. Тяжелая машина грубо давит, теснит бархан, выползший на дорогу. А вот и рабочий с лопатой, его борьба с песчаными волнами, захлестывающими асфальт, отдает безнадежностью.

И пока мы едем в песках, пока сидим в знойный час в кружке дорожных рабочих — у каждого свой закоптелый конический чайник, — Берды Мурадович читает мне целую лекцию об источниках возникновения эоловых ветров, о способах борьбы с заносами, этой чумой туркменских нефтяников, о камышовых ажурных щитах, об озеленении барханов кустами тамариска, кандыма, черкеза. Рабочие угощают нас чаем, они-то знают, кто к ним подсел, но то же неуловимое достоинство в выпрямленных плечах: это все больше старики. Берды Мурадович успевает мне заметить весьма прозаично за разговором об эоловых ветрах:

— Кок-чай пьют без сахара.

Это чтоб гость не подумал плохого — что сахару пожалели.

И снова мы мчимся. Навстречу гусеничный тягач, зарываясь в песках, ползет на вырубку аварийной машине. И голубое небо, и гребень бархана на краю полдня. Мы выходим из машины. Всего каких-нибудь сто метров по бархану, закрепленному кустарником, песок весь в следках лис. Вдоль шоссе по кустам тянется тропа верблюжьего каравана. Берды Мурадович досказывает мне, что не успел в Москве: конь грузнет тонкой ногой в песке, а вьючный верблюд шлепает своей разлатой стопой. Именно шлепает и в то же время шествует. И старый поэт сдержанно улыбается, впервые связав, точно зарифмовав, два разноречивых понятия.

— Смотрите.

И я увидел верблюда, вышедшего из песков на асфальт. Он пересек шоссе в одиночку. Я



поглядел вдаль — один за другим, растянувшись на два километра, шествовали верблюды. Их разлатые лапы шлепали среди ветвей кандыма, как будто в мертвых цветах, в бело-черных листочках, мелких, звездастых...

А потом мы свернули с асфальтовой дороги, и не стало ни бульдозеров, ни верблюдов — мы двигались со скоростью не более десяти километров в час настоящей пустынной целиной. Только однажды за целый день мы нагнали грузовик — он вез на промысел дойную корову. Наш шофер долго переговаривался из кабины в кабину с шофером грузовика, как лучше проехать. Машины шли рядом, без колеи, на параллельном курсе.

Следы дороги иногда угадывались в обрывках тросов, в рваных баллонах, в пустых бутылках, вросших в песок. Да еще изредка напоминал о себе трубопровод: из бархана выползала труба, грубо обмотанная паклей.

В полдень мы въехали в кочевое становище. Черные кибитки стояли в беспорядке, верблюды теснились у каменной колоды с водой. Я подивился легкости, с какой Берды Мурадович выпрыгнул из машины — он, видно, радовался возможности показать мне видения детства. Ведь он родился в прошлом столетии, и этот полдник кочевого аула у каменной колоды с водой был ему знаком, может быть, как самое первое, самое острое впечатление бытия.

Он ввел меня в кибитку. В ее полумраке сидел у очага почтенный аксакал. Из уважения к гостям он натянул поверх тюбетейки баранью папаху и дал знак женщине, чтобы нас угостили чаем.

И снова, страдая немотой, я слушал и не понимал разговора двух стариков, я только с изумлением установил для себя, что они — кочевник и поэт — похожи, как два брата.

— Он говорит, когда был маленький, здесь проходила железная дорога, — сказал мне Берды Мурадович.

В косой угол белого света, ослепительно означившего выход из кибитки, можно было увидеть малозаметную гряду песка — она отличалась прямизной линий от мягких полукружий зыбучих волн. Я вдруг узнал полотно железной дороги — пустое, как сама пустыня, без шпал, без рельсов...

— Куда вела эта железная дорога? И почему ее нет теперь?

— Выйдем из кибитки. Увидите.

Мы вышли. То, что я различил на горизонте, в пыльной поземке надвигавшейся песчаной бури, ошеломило меня, как только в детстве ошеломяли миражи фантастических книг: я увидел морской порт в пустыне. Там, за такырами, виднелись развалины глинобитных магазинов, угадывалась набережная, вся усыпанная черепками разбитых кувшинов, а в котловине перед набережной — тысячи вбитых в песок бревенчатых свай. Здесь, у исчезнувших причалов, когда-то стояли корабли под погрузкой. Здесь была жизнь...

— Это порт Михайловский, — сказал Берды Мурадович. — Когда-то шумно было в караван-сараях — народ, верблюды, товары. В гавани звенели якоря. Потом море ушло, отступило на тридцать километров. Не нужен порт, не нужна железная дорога. Ее повернули на Красноводск. Там теперь жизнь. Поедем как-нибудь туда?

Я вспомнил Омара Хайяма:

Нас не было и нет, а он сиял. И — будет!

Исчезнем мы. А миру — хоть бы что...

— Ну-ну, — осудил меня Берды Мурадович. — Какой вы впечатлительный, молодой человек.

6

В Котур-тепе, куда мы приехали под вечер, нас окружили и повели в контору веселые люди. Берды Мурадович был среди них — свой среди своих, он называл мне по имени, по должности всех этих начальников каротажных партий, техников-взрывников, зарядчиков, вулканизаторов. Не успели мы пообедать и отдохнуть, землекопы повели его куда-то на край песчаного горизонта — показывать найденный ими бутовый камень. Вечером местный поэт, усадив его на ступеньках, читал свои стихи.

Я огляделся: заброшенный в песках промысел показался мне похож на гавань времен парусного флота. А может быть, это стояло в моих глазах видение Михайловского порта? Вдали боролась с песками фигура в брезентовом плаще — это брел к Берды Мурадовичу участковый геолог. Тоже, видно, с каким-то делом...

Я подошел к будке мастера. Бледно-желтый кот, похожий на того, обещанного еще в Москве, камышового, очень обрадовался мне, потребовал голосом и гибким обглаживанием вокруг моей ноги, чтобы я открыл дверь, но там было пусто. Молодой туркмен в промасленной спецовке вышел откуда-то из-за угла будки, вытащил из коробки папиросу, спросил, прикуривая:

— Вы с Кербабаяевым приехали?

— А вы читали его стихи?

— Разве ж в этом дело! Стихи он пишет от таланта. Это каждый по своему таланту может... А поглядели мы, как Берды-ага грязевой шланг с вертлюгом соединяет, думали уже определить его прорабом.

— Пророком? — переспросил я.

Но он не понял шутки, да и мудрено было ему понять мой дальний ход мысли.

— Нет, не пророком. А именно прорабом, — настойчиво повторил он.

Краткий пояснительный словарь

Абадан — город в Иране, на острове Абадан; конечный пункт нефтепровода.

Абулгази (около 1603–1663) — хивинский хан с 1643 года из династии Ильбарса; вел освободительные войны с захватчиками и совершал набеги на Бухару; историк и поэт, писал по-узбекски; известна его крупная историческая работа «Родословное древо тюрков».

Ага — вежливое обращение к мужчине, старшему по возрасту и положению.

Адат — обычай, неписаный закон у мусульманских народов, основан на привилегиях знати и богачей и пережитках родового и феодального строя.

Айрак — серна.

Аксакал — у народов Средней Азии почтенный, уважаемый человек, также форма вежливого обращения. Буквально — белобородый.

Алдар Косе — легендарный герой казахского и туркменского эпоса, хитрый и находчивый человек.

Алеппо — италянизированное, часто употребляемое название города Халеб (Сирия).

Архар (аргали, аркар, качкар) — дикий баран, обитатель гор Южной Сибири, Средней и Центральной Азии.

Арча — название можжевельников в Средней Азии.

Бабай — дедушка.

Барит — полупрозрачный минерал, природный сульфат бария.

Бентонит (название от форта Бентон в США) — разновидность отбеливающих глин.

Богара — неполивные возделываемые земли в районах орошаемого земледелия.

Бозбаш — суп из баранины.

Ботанизирка — металлическая коробка специального устройства для укладывания растений, собираемых во время ботанических экскурсий.

Буза — напиток из проса либо из гречневой или овсяной муки.

Бушлук — вознаграждение за добрую весть.

Гелнедже — сноха, тетушка.

Гореш — состязание в борьбе.

Градирня — башенный охладитель промышленного предприятия.

Грифон — внезапный выброс газа с водой и песком на нефтяном промысле.

Гюрза — крупная ядовитая змея.

Дагдан — женское украшение.

Джейран — вид некрупной антилопы, обитающей в Средней Азии, Казахстане и в Закавказье.

Дувал — глиняный забор.

Иомудский — иомуды — одно из туркменских племен, в прошлом скотоводы-кочевники.

Ишан — наставник у мусульманских дервишей (бродячих монахов) в Средней Азии.

Ишти — обращение.

Караван-сарай — постоянный двор на дорогах Переднего Востока, Средней Азии и Закавказья с гостиницами и помещениями для хранения товаров.

Каротаж — совокупность методов исследования геологического разреза буровых скважин путем измерения физических свойств горных пород.

Керн — образец породы в виде цилиндрического столбика, извлекаемый из скважин при бурении.

Кетень — шелковая домотканая материя.

Койдюк — народный туркменский духовой музыкальный инструмент.

Куля-Ургенча башня — 60-метровый минарет мавзолея Наджми-ад-Дина (XIV век), сохранившийся на окраине Куля-Ургенча.

Кыз — девушка.

Куртук — блюдо из теста с мясом.

Меджун — медведь.

Мирабилит (буквально: изумительный) — минерал, глауберова соль.

Мосул — город на севере Ирака, центр ливы (области) Мосул. Вблизи города нефтяные разработки.

Мусаватисты — члены контрреволюционной националистической партии буржуазии и помещиков Азербайджана «Мусават» («Равенство»), возникшей в 1912 году и ликвидированной в 1920, после установления Советской власти.

Навруз (новруз) — новогодний мусульманский праздник, отмечаемый в конце марта.

Ниса-древний город (в настоящее время развалины) в 18 км от Ашхабада с укрепленной дворцовой резиденцией, храмами и царскими гробницами, одна из цитаделей Парфянского государства. Древнейшая столица царства Парфии при династии Аршакидов (II—I века до н. э.). Неоднократно разрушался и вновь восстанавливался как крупный феодальный город.

Озокерит — горный воск — минерал из группы нефтяных битумов.

Пальван — силач, могучий борец.

Пендинка — пендинская язва, одно из распространенных названий кожного лейшманиоза; передается человеку от больных животных. Название связано с Пендинским оазисом в Туркменской ССР.

Пери

(персидск.) — волшебное существо, охраняющее людей от злых духов. Изображалось крылатой женщиной. Иносказательно — райская дева.

Пилмахмуд — слон чудовищной силы.

Превентор — предохранительный клапан на буровой установке.

Пуренджик — покрывало, которое носят замужние туркменские женщины.

Ротор — стол для вращения бурильных труб, часть буровой установки.

Сагбол — будь здорова, благодарю.

Сакгыч — парафин для жеванья.

Свеча — часть буровой установки: вращающаяся труба с накрученным на нее долотом.

Такыр (буквально: гладкий, голый) — плоские глинистые равнины в пустынях и полупустынях Средней Азии.

Тамерлан — искаженная европейская форма прозвища Тимура Тимурленг (то есть Тимур-хромец). Родился в 1336 году, умер в 1405 году; среднеазиатский полководец, эмир; завоевал Хорезм, Золотую Орду, Персию, часть Закавказья, часть Турции и Индии.

Тандыр — глиняная печь для выпечки хлеба, лепешек, чурека.

Теньга — мелкая серебряная монета.

Тектонический — связанный со структурными изменениями земной коры.

Теодолит — угломерный инструмент, применяемый при геодезической съемке и астрономических наблюдениях.

Той (

тюркск.) — у народов Средней Азии празднество, сопровождаемое пиршеством, музыкой, плясками.

Трап —

здесь: аппарат для отделения добытой из буровой скважины нефти от газа.

Умга — горный козел.

Факел — процесс постоянного сгорания избыточных нефтяных газов.

Филантропический — благотворительный.

Хелик-салам — ответное приветствие.

Хидыр — невидимый до определенного времени пророк.

Хирлы — кремневые ружья.

Чал — напиток из верблюжьего молока.

Чапади — кушанье, род блинов.

Чекмень

(тюркск.) — верхняя мужская одежда у кавказских народов.

Челекен — полуостров на восточном берегу Каспийского моря. Известен месторождениями нефти, природных газов, каменной соли и слюды; крупнейший пункт по добыче озокерита.

Черкез — многолетнее растение песчаных пустынь — высокий кустарник.

Чехтырма — мясное блюдо, тип соуса, похлебки.

Чингиль (чингил) — кустарник.

Чингисхан (собственное имя Темучин, около 1155–1227) — монгольский хан и полководец, завоеватель многих народов Северного Китая, Средней Азии, Ирана и Закавказья.

Човши — веревки, которыми закрепляют кибитку.

Чолук — подпасок.

Шаман — колдун-знахарь.

Шептала — сушеные на солнце плоды абрикосов или персиков.

Шурпа — суп.

Эдже — обращение к уважаемой, пожилой женщине.

Эоловый — песок, образовавшийся в результате накопления принесенных ветром частиц.

Янлык — кожаный сосуд для хранения жидкостей и сбивания масла.

Примечания

С родинкой.

2

Искаженное офицер.

3

Искаженное Кавказ.

4

Искаженное начальник.

5

«Бей уллакан» — «Какой большой».

6

«Бал акан» — «Протекал мед».